
Аркадий Аверченко
Бритва в киселе
23

Аркадий Аверченко

Аркадий Аверченко

Бритва в киселе



Аркадий Аверченко

Бритва в киселе

Избранные произведения

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ПРАВДА»
1990



84 Р
А 19

Составление,
вступительная статья
и примечания
С. С. НИКОНЕНКО

Иллюстрации
Е. О. ВЕДЕРНИКОВА

$А\frac{4702010000-2118}{080(02)-90}$ 2118-90

ISBN 5-253-00162-X

КОРОЛЬ СМЕХА

Некоторые древние мыслители считали, что человека можно определить как «животное, умеющее смеяться». И думается, в какой-то степени были правы, ибо не только умение ходить на двух ногах и трудовая деятельность выделили людей из животного мира, помогли выжить и пройти через все мыслимые и немыслимые испытания многотысячелетней истории, но и способность смеяться. Потому-то умевшие рассмешить пользовались популярностью во все века и у всех народов. Короли могли себе позволить держать при дворе шутов, а простой люд собирался на площадях, чтобы посмотреть представления странствующих комедиантов или скоморохов.

Интересно, что со временем появился титул короля смеха. Им награждали тех, кто достигал наибольших успехов в этом искусстве.

С конца первого десятилетия нашего века в России нигде официально не утвержденный титул короля смеха принадлежал Аркадию Аверченко.

Я помню дни: в веселой нашей роще
Царил и властвовал ремесленников цех,
Цвел трафарет и гарцевал на теще
Замызганный, лишенный хмеля смех.
И в эти дни, которые я вправе
Брезгливо выкинуть из памяти моей,
Явился — Он, с могучим словом «Ave»[1],
И развенчал всех наших королей.
Он был как вихрь. Влюбленный в жизнь и солнце,
Здоровый телом, сильный, молодой,
Он нас пьянил, врываясь к нам в оконце,
И ослеплял, блестя меж нас звездой.
Горя в огне безмерного успеха,
Очаровательно дурачась и шаля,
Он хохотал, и вся страна, как эхо,
Ликуя, вторила веселью короля.
О, как он был в те дни России дорог!
О, как мы верили, что он наш светлый Феб!
Мы, изглодавшие мильоны черствых корок,
Давно забывшие, что значит свежий хлеб...[2]

---

[1] Да здравствует, славься *(лат.)*. Один из псевдонимов Аверченко.
[2] Сатирикон, 1913, № 29.

Так писал поэт Василий Князев о первых годах восхождения Аркадия Аверченко к вершинам писательской славы.

Титул короля смеха был получен писателем по волеизъявлению широкой русской читательской массы. Разумеется, как и любой король, он не всем был угоден; находились лица, недовольные деятельностью Аверченко, упрекавшие автора в отсутствии твердой платформы, распыленности, уходе от решения кардинальных проблем времени. Обвиняли его и в том, что пригревает льстецов, поющих ему дифирамбы и уводящих с магистрального пути в болото мелких дел, меркантильности.

Что ж, доля истины здесь была. Никуда не денешься. Но чего нельзя отнять или замолчать,— это огромного таланта, трудолюбия, работоспособности. А это, согласитесь, уже не мало.

Несколько тысяч рассказов, фельетонов, пьес, рецензий на спектакли, юморесок, стихотворений — это всего лишь незначительная часть созданного писателем, ибо не следует забывать и того, что за десять лет его активной литературной жизни вышло более полутысячи номеров журналов «Сатирикон» и «Новый Сатирикон», где Аверченко выступал и в качестве редактора, и в качестве автора, а порой и художника. К этому следует добавить отбор произведений для сотен выпусков Дешевой библиотеки «Сатирикона» и «Нового Сатирикона», а также собраний сочинений известнейших юмористов мира.

Трудно даже представить, что это было сделано одним человеком.

* * *

Внешне история карьеры Аркадия Аверченко (до октября 1917 года) выглядела так, что могла бы служить хрестоматийным примером. Трудолюбие, настойчивость, последовательность в достижении цели — и успех обеспечен. В конце прошлого — начале нынешнего века выпускалось множество книжек о людях, которые достигли богатства лишь своим трудом. Генри Форд, Маркони, Эдиссон, Белл и другие имена завораживали. Неизвестно, читал ли Аверченко эти книги, но его деятельность, этапы пути, да и цели, задачи, какие он ставил перед собой, не находили себе аналогов за океаном.

Первые годы жизни, отрочество и юность, казалось, не оставляли никаких надежд на будущее. В смешной «Автобиографии», которой открывалась одна из первых книг писателя «Веселые устрицы», Аверченко дал несколько фрагментов своей долитературной жизни.

Некоторые дополнительные моменты мы находим в автобиографии, отправленной известному историку литературы Семену Афанасьевичу Венгерову в начале 1910 года: «Имя

мое — Аркадий Тимофеевич Аверченко. Родился в Севастополе 1881 года, 15 марта. Вероисповедания — православного. Отец был купцом, мать из мещан. Историю моего рода за недостаточностью данных проследить трудно. Известно только, что дед мой (по матери) был атаманом шайки разбойников, держал под Полтавой постоялый двор и безо всякого зазрения совести грабил проезжих по большой дороге. Мать моя — добрая, кроткая женщина — вспоминает об этом с ужасом... Мой отец был очень хорошим человеком, но крайне плохим купцом. Сочетание этих двух свойств привело к тому, что он совершенно разорился к тому времени, когда мне исполнилось 10 лет... Поэтому учиться пришлось дома, с помощью старших сестер — довольно скудно... Будучи пятнадцатилетним застенчивым мальчишкой, попал на Брянский каменно-уг<ольный> рудник (около Луганска) писцом и служил в ужасной, кошмарной обстановке безвыходной ямы — три года. Потом переехал в Харьков на службу в той же акционерной компании»[1]. Отголоски детских и юношеских впечатлений мы находим в рассказах Аверченко «О пароходных гудках», «Молния», «Отец», «Смерть африканского охотника», «Ресторан «Венецианский карнавал», «Три желудя» и многих других. Обстановка, в которую окунулся пошедший «в люди» застенчивый мальчишка, едва ли давала много поводов для смеха. «То конторщик Паланкинов запьет и в пьяном виде получит выговор от директора, то штейгерова корова взбесится, то свиньи съедят сынишку кухарки чертежника. А однажды рудничный врач в пьяном виде отрезал рабочему совсем не ту ногу, которую следовало...»[2] Это беспробудное пьянство сопровождалось унижением и оскорблением младших по службе старшими.

В стремлении вырваться из этого засасывающего болота повседневности, из этой беспросветности Аркадий Аверченко обращается к литературному труду (несколькими годами ранее сходный путь по ту сторону океана прошел Джек Лондон).

В Харькове Аверченко делает первые литературные шаги. «Самым значительным событием моей жизни считаю появление в печати моего первого литературного опыта — рассказа «Праведник» («Журн<ал> для всех», апрель 1904 г., № 4), — сообщал Аверченко Венгерову. — Но писал я тогда мало и напечатал всего несколько жалких юмористических рассказов в «Харьк<овских> губернск<их> ведомостях»[3].

---

[1] Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского дома на 1973 г. Л., 1976. С. 155.

[2] Аверченко А. Т. Молния: Сатирикон, 1910, № 40.

[3] Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского дома на 1973 г. Л., 1976. С. 155—156. Литературовед О. Михайлов обнаружил, что Аверченко ошибся в датировке начала своих публикаций, ибо 31 октября 1903 года в харьковской газете «Южный край» был напечатан его рассказ «Как мне пришлось застраховать жизнь» (см. Аверченко А. Т. Избранные рассказы. М., 1985. С. 7). Но, возможно, писатель считал важной вехой именно выступление в столичном журнале.

По справедливому замечанию О. Михайлова, «самоопределиться как профессиональному литератору и журналисту»[1] Аркадию Аверченко помогла первая русская революция. На волне общего подъема начинающий писатель основал в 1906 г. журнал сатирической литературы и юмора с рисунками в красках «Штык», который имел в Харькове и даже за его пределами крупный успех. «Я наполнял весь номер, пиша, редактируя и корректируя»[2],— вспоминал Аверченко. Жизнь журнала оказалась недолговечной. На 9-м номере юного редактора оштрафовали на 500 рублей. Заплатить штраф он не смог, да и не хотел, и журнал закрыли.

Но, познав радость первых побед, Аверченко не складывает оружия и в 1907 году открывает новый журнал — «Меч». Впрочем, на третьем номере его постигает участь предшественника.

Революционный подъем кончился, возникшие в период 1905—1907 гг. многочисленные сатирические издания — «Пулемет», «Молот», «Сигнал», «Удаль», «Барабан» и др.— были закрыты.

И вот в эту пору Аверченко приезжает в Петербург, чтобы его покорить. Когда это произошло точно, установить нельзя. В автобиографии, посланной С. А. Венгерову, писатель сообщал, что приехал в Петербург 24 декабря 1907 г., в письме В. Быкову утверждал, что оказался в Петербурге в январе 1908 года. Несколько разнятся также сведения об обстоятельствах создания нового «еженедельного журнала сатиры и юмора» «Сатирикон». Зато точно известно, что первый его номер вышел 1 апреля 1908 года и что главная роль в его создании принадлежит Аверченко. Итак, «пришел, увидел, победил». Всего три месяца или и того менее прошло с момента приезда в Петербург, как безвестный провинциальный самодеятельный журналист становится ведущим сотрудником, а вскоре и редактором (спустя несколько лет основным владельцем) журнала, который в течение последующего десятилетия станет самым популярным изданием дореволюционной России.

Начав сотрудничество в отживавшей свой век «Стрекозе», Аверченко сумел организовать и сплотить вокруг себя группу единомышленников, которые и приняли решение о создании нового журнала, а с 1 июня 1908 года о слиянии «Сатирикона» и «Стрекозы» в один журнал — «Сатирикон».

О начальной поре Аверченко в «Сатириконе» оставил воспоминания писатель О. Л. Д'Ор (О. Л. Оршер): «Ко мне пришел молодой человек лет двадцати восьми-тридцати. Был он высокий, толстый, рыхлый, бритый по-актерски, в пенсне. На

---

[1] Аверченко А. Т. Избранные рассказы. М., 1985. С. 7.
[2] Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского дома на 1973 г. Л., 1976. С. 156.

нем был чистенький новенький сюртук. Под сюртуком виднелся модный «штучный» жилет.

— Позвольте представиться! — сказал молодой человек шутливо. — Аркадий Аверченко.

Он улыбался добродушно, лукаво, ехидно, иронически, почтительно и фамильярно. Все это как-то совмещалось воедино. В его улыбке можно было прочесть:

— Я — парень хороший и товарищ отменный, но пальца в рот, пожалуйста, очень прошу вас, не кладите. Против воли откушу. У меня широкая рука: когда что есть — поделюсь. Но своего не спущу. В ресторан же всегда готов...

Таков он и был в жизни. <...>

— Был я редактором журнальчика «Штык», — начал он, — в Харькове это было. Так вот, понимаете, не читали его. Я и приехал сюда в Питер. Нашел тоже один журнал, которого тоже не читают, и решил заняться им. «Стрекоза» этот журнал. <...> У нас подобралась кучечка изумительных художников. Теперь очередь за писателями. Вы, Дымов, Тэффи, Саша Черный. <...> Дайте материал хороший. Это главное. Не в вывеске дело, а в товаре. Вот увидите...

Впоследствии я действительно увидел, что Аверченко был прав. Громадным своим успехом «Сатирикон» был исключительно обязан материалу. Подобрать талантливых людей и спаять их между собой — самый большой талант. Аверченко в совершенстве обладал этим талантом»[1].

Аркадий Аверченко прекрасно понимал значение созданного им журнала и того дела, которым он занимается. И сказал об этом прямо на страницах уже «Нового Сатирикона» в 1913 году в статье «Мы за пять лет». Лаконично, в нескольких строчках, он рисует крах революционных надежд после 1905 г. и наступление реакции: «Когда я приехал в Петербург (это было в начале 1908 года) — в окна редакций уже заглядывали зловещие лица «тещи», «купца, подвыпившего на маскараде», «дачника, угнетенного дачей» — и тому подобных персонажей русских юмористических листков, десятки лет питавшихся этой полусгнившей дрянью».

Уже из этих строк ясно, что Аверченко привлекали отнюдь не гастрономические и обывательские темы, как это упорно и по сию пору ему вменяют в вину. Тематика журнала была чрезвычайно широкой. Несмотря на цензурные рогатки. В той же статье, объясняя читателю отсутствие материалов на определенные темы, Аверченко отмечает: «Перечислю только то, чего нам категорически запрещено касаться:

1) Военных (даже бытовые рисунки).
2) Голодающих крестьян.
3) Монахов (даже самых скверных).

[1] Старый журналист. Литературный путь дореволюционного журналиста. М.; Л., 1930. С. 89—90.

4) Министров (даже самых бездарных).

А в последнем номере не пропущена даже карикатура, осмеивающая «Новое Время»[1].

Из многих номеров цензурой изымались фельетоны и карикатуры, редактора (Аверченко) неоднократно штрафовали. Все это говорит об определенной общественной позиции писателя. Эта позиция отражена и в его собственном литературном творчестве. Обличение существующих порядков, неприятие реальностей буржуазной действительности идет через показ характеров и отношений людей.

Здесь уместно привести высказывание американского писателя Генри Джеймса, которое как нельзя кстати подходит к литературной судьбе Аверченко, да, впрочем, и многих его коллег по журналу: «Лучшие произведения создаются, как правило, теми талантливыми художниками, которые входят в то или иное творческое содружество: легче работается, когда ты окружен соратниками и живешь в атмосфере советов, поддержки, сравнения и соревнования»[2].

Действительно, время работы в «Сатириконе» (и «Новом Сатириконе») явилось самым плодотворным для таких писателей, поэтов, художников, как Тэффи, Петр Потемкин, Саша Черный, Осип Дымов, Георгий Ландау, Аркадий Бухов, Александр Радаков, Александр Рославлев, Ре-Ми, Василий Князев, ну и, конечно же, сам Аверченко.

На роль журнала «Сатирикон» в общественной жизни дореволюционной России и в судьбе самих Аверченко, Тэффи и других сотрудников журнала обращали внимание многие писатели. Написанная вскоре после смерти Аркадия Аверченко статья А. И. Куприна так и называлась: «Аверченко и «Сатирикон». Отмечая, что в первую очередь успехом своим Аверченко обязан собственному таланту, Куприн вместе с тем отдает должное и широкому читателю, который быстро понял, какое новое явление в журналистике представлял «Сатирикон». «Аркадий Тимофеевич был избавлен от неприятной обязанности делать признательные улыбки и поклоны и выслушивать покровительственное: «Это я тебя, братец, в люди вывел».

Аверченко сразу нашел себя: свое русло, свой тон, свою марку. Читатели же — чуткая середина — необыкновенно быстро открыли его и сразу из уст в уста сделали ему большое и хорошее имя. Тут был и мой, не писательский, а читательский голос. <...> Молодой яркий талант Аверченко, его популярность, его легкая рука и его беззаботная энергия сделали здесь очень много. Но, и то сказать, какая славная семья сотрудников его»[3].

---

[1] Новый Сатирикон, 1913, № 28.

[2] Каули М. Дом со многими окнами. М., 1973. С. 212.

[3] Куприн А. И. Аверченко и «Сатирикон»: Сегодня. Рига, 1925, 29 марта.

Если критики в социал-демократической прессе отнеслись к новому журналу и к писателю прохладно, поскольку он, казалось, не выражал строгой лобовой партийной тенденции, то печать либеральная приняла Аверченко и его детище с восторгом. «Ни такого писателя, как Аверченко, ни такого журнала, как «Сатирикон», в России еще не было. Наши весельчаки были или безнадежно пошлы, или смеялись тем горьким смехом, от которого мороз продирает по коже. У нас совершенно не было смеха, о котором Свифт говорил, что он укрепляет здоровье. Наш смех разбивал нервы и вел к истерической зевоте»,— писал В. Азов в рецензии на книгу Аверченко «Юмористические рассказы»[1].

Атмосфера доброжелательности, которую сумел создать Аверченко в журнале, общие интересы сплачивали коллектив. «Сотрудники «Сатирикона», молодого журнала, одно время были неразлучны друг с другом и всюду ходили гурьбой. Завидев одного, можно было заранее сказать, что сейчас увидишь остальных,— вспоминал Корней Чуковский в предисловии к книге Саши Черного.— Впереди выступал круглолицый Аркадий Аверченко, крупный, дородный мужчина, очень плодовитый писатель, неистощимый остряк, заполнявший своей юмористикой чуть не половину журнала. Рядом шагал Радаков, художник, хохотун и богема, живописно лохматый, с широкими пушистыми баками, похожими на петушиные перья. Тут же бросалась в глаза длинная фигура поэта Потемкина, и над всеми возвышался Ре-Ми (или попросту Ремизов), замечательный карикатурист, с милым нелепым, курносым лицом...»[2]

Талант человеческого общения счастливо сочетался у Аверченко с его природным литературным даром, и это сочетание находило живой отклик и пробуждало лучшие качества у тех, кто с ним встречался, влекло к нему. Известный критик Петр Пильский, хорошо знавший Аверченко, отмечал: «...все, что он делал, было неизменно овеяно какой-то сердечной легкостью, окружено радостным дружелюбием, всегда сопровождалось удачами и счастьем.

В нем жила какая-то внутренняя свобода. С первых же слов он производил ясное впечатление смелости и прямоты. Казался очень уравновешенным и спокойным. Был насмешлив, но не дерзок, был выдержан, никогда не лгал, умел быть снисходительным к другим, внутренне строгим к себе, не растил в своей душе цветов зла и отместки...»[3]

Надежда Александровна Тэффи была одной из наиболее талантливых сотрудниц «Сатирикона». Ее рассказы и фельетоны появлялись на страницах журнала чуть ли не еженедельно,

---

[1] Речь, 1910, № 265.
[2] Черный Саша. Стихотворения. М.; Л., 1962. С. 5.
[3] Сегодня. Рига, 1925, 15 марта.

а сборники рассказов, умных и проникнутых тонким юмором, расходились мгновенно и большими тиражами. Имена Аверченко и Тэффи часто ставили рядом. Вспоминая об этом, Тэффи писала: «Читатели, видя наши имена так часто вместе, глубокомысленно решили, что мы должны непременно ненавидеть друг друга и друг другу завидовать. Поэтому, посылая восторженное письмо мне по поводу какого-нибудь понравившегося рассказа, не забывали прибавить: «Далеко до вас Аверченке». А поклонники Аверченка бранили меня.

Помню, как-то дама, ехавшая со мной в одном купе и не знавшая: кто я, очень ярко рассказывала мне об этом нашем соревновании:

— Они слышать друг о друге не могут, так прямо с лица и почернеют!

Я слушала ее с большим интересом и угощала конфетами, принесенными мне на дорогу Аверченкой.

Он был чудесный человек и прекрасный товарищ.

Личное обаяние его было очень велико. Все его приближенные — у него их всегда была целая свита — очень быстро приобретали его жесты, его тон, его манеру острить...

Слава Аверченки росла быстро. Года через два по основании им «Сатирикона», он уже стал получать письма из провинции с просьбой «научить жизни» (любопытно, что лет пятнадцать — двадцать спустя подобные письма стал получать другой прославленный юморист — Михаил Зощенко. — *Ст. Н.*)...»[1]

Помимо постоянных авторов «Сатирикона» и «Нового Сатирикона» Аверченко сумел привлечь к сотрудничеству таких замечательных поэтов и прозаиков, как Л. Андреев, А. Грин, А. Куприн, Н. Гумилев, О. Мандельштам, С. Маршак, В. Маяковский, А. Н. Толстой, П. Орешин, С. Городецкий...

Нельзя сказать, что Аверченко был безразлично ровным со всеми, с кем ему приходилось общаться. В середине 1913 года в результате расхождений во взглядах на направленность журнала (и в связи с денежными делами) редакция «Сатирикона» раскололась. Тогда и возник «Новый Сатирикон». И большинство пошло за Аверченко в «Новый Сатирикон».

Его личность, его внутренняя сила, самобытность выделяли его из писательской среды. И вызывали уважение. Посредственности и графомании Аверченко не терпел (достаточно только почитать его отповеди в «Почтовом ящике» журнала), но стоило ему увидеть в начинающем писателе хоть крупицу таланта, он готов был всячески поощрять и поддерживать. Свидетельств тому масса. В «Сатириконе» и «Новом Сатириконе» начинали многие авторы, ставшие потом известными писателями, причем их произведения не лежали месяцами

---

[1] Сегодня. Рига, 1925, 22 марта.

и годами в редакторском столе, а печатались в течение двух-трех недель.

Георгий Александрович Ландау (1883—1974) был человеком с двумя техническими дипломами — он окончил Институт путей сообщения в Петербурге и Политехнический институт в Цюрихе. Ландау зачитывался «Сатириконом» и рискнул послать в журнал несколько своих юмористических опытов. Уже через две недели вышел журнал с одним из его рассказов, а через некоторое время Ландау был приглашен к редактору.

— Хотите у нас работать? — с ходу спросил Аверченко.

— Но я служу в ведомстве путей сообщений...

— За пару недель разделаетесь?

Ландау замялся.

— Кстати, какие языки знаете?

Ландау в совершенстве владел французским, немецким, неплохо знал английский.

— Ну, в общем, вы нам годитесь. Тут мы собрались проехаться по Европе — Радаков, Ре-Ми, я, а с языками у нас немного не того...

Спустя две недели Георгий Александрович Ландау вместе с остальными членами группы сатириконцев разрабатывал маршрут экспедиции в Западную Европу...

В 1910 году вышли три первых сборника Аркадия Аверченко — «Юмористические рассказы», «Веселые устрицы» и «Зайчики на стене», а затем каждый год выходили две-три книги и переиздавались вышедшие ранее: «Круги по воде», «О хороших, в сущности, людях», «Черным по белому», «Рассказы для выздоравливающих», «Сорные травы», «Записки театральной крысы», «Шалуны и ротозеи», «О маленьких — для больших», «Позолоченные пилюли», «Синее с золотом», «Чудеса в решете»...

В 1911 году Аверченко и трое его сотрудников (писатель Георгий Ландау, художники Радаков и Ре-Ми) предприняли длительное путешествие в Западную Европу. Несколько месяцев они колесили по Европе, побывали в Германии, Австрии, Швейцарии, Италии, Франции, Испании, Португалии, заезжали на Капри к Горькому... По приезде выпустили большую книгу с иллюстрациями — «Экспедиция в Западную Европу». Однако даже вдали от родины Аверченко не мог отвлечься от русских тем и сюжетов. Рассказы, появлявшиеся в журнале с пометкой: Рим, Мюнхен или Тироль, повествовали вовсе не об альпийских красотах или ласковых водах Тирренского моря, а о событиях в каком-нибудь Старом Овраге или Нижней Гоголевке...

Шовинистический угар, охвативший всю правую прессу с началом первой мировой войны, затронул и «Новый Сатирикон». Во многих номерах журнала стали печататься грубые

антинемецкие фельетоны и юморески, карикатуры и стишки, зачастую лишенные вкуса и пошловатые.

Но наряду с этим в журнале продолжают появляться произведения глубокие и впечатляющие, в том числе принадлежащие перу Аверченко, например, один из лучших его рассказов — «Страшный мальчик» (декабрь 1914 г.)...

Февральскую революцию вся редакция «Нового Сатирикона» встретила с восторгом. Сатириконцы приветствовали падение прогнившего царского режима и ожидаемые демократические реформы. Однако вскоре после первых восторгов наступает разочарование, и на страницах «Нового Сатирикона» высмеивается временное правительство, бездарность его министров, беспринципность и беспомощность, неумение овладеть обстановкой. Крах временного правительства представляется Аверченко и его сотрудникам вполне закономерным. Но и победа большевиков вовсе его не радует. Обостряющиеся классовые схватки, углубление разрухи, вызванной мировой войной, экономические тяготы и трудности быта, которые, разумеется, нельзя было быстро преодолеть в условиях начавшейся гражданской войны, вызывают неприятие у писателя. «Новый Сатирикон» еще существует, но он доживает последние дни. Его позиция слишком разительно расходится с позицией большевистских изданий. Аверченко применяет к происходящему общечеловеческие, гуманистические критерии, тогда как победившие классы требуют резкого определения классовых позиций. Разумеется, Аркадий Аверченко, боровшийся всегда за справедливость и демократическую законность, не может принять таких явлений, как, скажем, расстрел в 1918 году 500 заложников (представителей бывших так называемых эксплуататорских классов) за убийство председателя Петроградской ВЧК Урицкого. Подобно В. Г. Короленко, осуждавшему в письмах к А. В. Луначарскому аналогичные методы классовой борьбы, применявшиеся новой властью, Аверченко выступает в своем журнале с резкой критикой тех эксцессов, свидетелем которых неоднократно был сам: расстрелов без суда и следствия прямо на улице, неизвестно кем санкционированных и необоснованных обысков, арестов, экспроприаций имущества. Аверченко полагает, что происходящие эксцессы не имеют ничего общего с марксизмом, и на обложке юбилейного номера журнала, посвященного столетию со дня рождения Маркса, рядом с портретом основоположника научного коммунизма идут надписи: «Карл Маркс. 1818. Родился в Германии. 1918. Похоронен в России».

Революция оказалась не такой, как ее себе представлял писатель. Она не принесла сразу изобилия. Рушился привычный, налаженный быт, под угрозой было дело жизни Аверченко — «Новый Сатирикон». Царское правительство его штрафовало и снимало наиболее острые материалы из журнала. Новое правительство во второй половине 1918 года вообще за-

крыло журнал, потому что антисоветская направленность его становилась все более очевидной.

Вместе с группой работников журнала Аверченко отправился на юг. Сначала он в Ростове-на-Дону сотрудничал в газетах «Приазовский край» и «Юг России», а в конце октября 1920 года вместе с остатками врангелевских войск отплыл в Константинополь.

Ни в Севастополе, где он провел почти год до эмиграции, ни в Константинополе Аверченко не переставал писать. Писал о деградации культуры в условиях гражданской войны, о бесприютности, обнищании, писал о беспросветном, трагикомическом бытии выброшенных на константинопольский берег бывших российских граждан.

Активности, работоспособности Аверченко не теряет. «Кипящий котел», «Записки Простодушного. Я в Европе», «Дюжина ножей в спину революции», «Дети», «Смешное в страшном», «Отдых на крапиве», «Записки циника» — эти и другие новые книги писателя выходят в Берлине, Константинополе, Праге, Париже, Варшаве, Загребе. С основанным им в Константинополе эстрадным театром «Гнездо перелетных птиц» Аверченко побывал на гастролях во многих странах Европы.

Наконец писатель поселяется в Праге, где после революции собралась большая русская колония. В конце 1924 года Аверченко тяжело заболел. Он лечился в санатории, и казалось, дело пошло на поправку. И все же вскоре после возвращения с курорта, 28 января 1925 года писатель попадает в Пражскую городскую больницу. И здесь, «на постели 2516, белой железной больничной постели, утром 12-го марта скончался Аркадий Тимофеевич Аверченко...»[1]

* * *

Насыщенная мировыми катаклизмами и революционными бурями эпоха, в которую разворачивалось творчество этого яркого и самобытного писателя, не давала возможности глубоко разобраться и по достоинству оценить его обширное и разнообразное творческое наследие.

Л. А. Спиридонова (Евстигнеева) пишет, что Аверченко «добросовестно учился у Чюминой, Дорошевича и Амфитеатрова, перенимал сатирические приемы «Зрителя», «Жупела», «Адской почты» и других петербургских изданий»[2], что «сочный юмор его рассказов немного напоминал раннего Гоголя»[3]. О. Михайлов полагает, что Аверченко «напоминает своей богатой выдумкой сотрудника «Стрекозы» и «Будильни-

---

[1] Бельговский К. Как умирал Аверченко: Сегодня. Рига, 1925, 17 марта.

[2] Спиридонова (Евстигнеева) Л. А. Русская сатирическая литература начала XX века. М., 1977. С. 134.

[3] Там же. С. 135.

ка» Антошу Чехонте»[1]. Правда, считает Михайлов, на этом сходство заканчивается, ибо уже в молодом Антоше Чехонте угадывалось что-то более глубокое, «Аверченко же остался юмористом по преимуществу, видящим лишь смешное в жизни своих героев...»[2]

Впрочем, еще задолго до советских литературоведов делались попытки прикладывать к Аркадию Аверченко мерки его великих предшественников. Об этом писала Тэффи: «Многие считали Аверченко русским Твеном. Некоторые в свое время предсказывали ему путь Чехова». И далее Тэффи высказывала свою точку зрения: «Но он не Твен и не Чехов. Он русский чистокровный юморист, без надрывов и смеха сквозь слезы. Место его в русской литературе свое, собственное, я бы сказала — единственного русского юмориста. Место, оставленное им, наверное, долгие годы будет пустым»[3].

Как и свойственно большинству пророчеств, прогноз Тэффи оказался ошибочным. На родине Аверченко уже в год его смерти блистали своими замечательными юмористическими рассказами Михаил Зощенко и Пантелеймон Романов, Михаил Булгаков и Валентин Катаев, а вслед за ними выступили Ильф и Петров, создатели сатирического эпоса о похождениях Остапа Бендера. Правда, этот всплеск советской сатиры и юмористики продолжался не столь долго, чуть больше десяти лет.

И все же в оценке Тэффи сохраняют свою справедливость слова о месте Аверченко в русской литературе. Конечно, определение Тэффи весьма расплывчато, и можно возразить: у каждого литератора есть свое собственное место. Но, думается, Тэффи права в том смысле, что не каждый пишущий имеет право вообще на какое-либо место в литературе. И вполне закономерно забвение имен в прошлом популярных писателей. Но вовсе не закономерно, когда этот процесс искусствен.

Порой литературоведы, заимствуя терминологию из математики, военного дела или же галантерейной практики, выстраивают писателей в ряды, возводят в ту или иную степень, помещают на ту или иную полку. И вот уже появляются писатели «первого ряда», «третьестепенные» и т. п. Некоторые даже применяют систему школьных оценок (так, В. Набоков, скажем, Пушкину поставил пятерку за успехи, а Достоевскому тройку, даже Гоголь еле-еле вытянул у него на четверку...)

Конечно, писатели различаются и глубиной постижения жизни, и выразительной, изобразительной силой слова, и ролью своего творчества в общественной жизни. Но, как бы ни был велик духом и талантом один писатель, он не заменит

---

[1] Михайлов О. Аркадий Аверченко: // *Аверченко А.* Избранные рассказы. М., 1985. С. 11—12.

[2] Там же. С. 12.

[3] Сегодня. Рига, 1925, 22 марта.

всех. Многообразие литературы выражает многообразие жизни и многообразие личностей.

Сейчас никто уже не оспаривает, что талант человеку дается от природы, «от Бога». Как будет развиваться этот талант, какие формы примет, во многом зависит от тех жизненных обстоятельств, в которые он попадает. «Счастьем для таланта Аверченко было то, что его носитель провел начало своей жизни не в Петербурге, в созерцании, сквозь грязный туман, соседнего брандмауэра, а побродил и потолкался по свету. В его памяти запечатлелось ставшее своим множество лиц, говоров, метких слов и оборотов, включая сюда и неуклюже-восхитительные капризы детской речи. И всем этим богатством он пользовался без труда, со свободой дыхания»[1].

Куприн далее отмечал, что первый смех Аверченко был чист и беззлобен. Разумеется, писатель усваивал некоторые приемы своих предшественников, но это никогда не было подражанием или копированием. Юмору невозможно научиться. Видеть смешное в действительности и умение выразить, передать его в искусстве слова — вообще разные вещи. И лишь соединение таланта видения с искусством выражения дает нужный эффект. У Аверченко эти два качества находились в органическом единстве. И при том его редко можно было упрекнуть в простом смехачестве. У смеха различают множество функций: его рассматривают как оружие, как щит, как лекарство, как отдых и т. д. и т. п. Произведения Аверченко с успехом выполняли все эти функции.

Богатство его выдумки неисчерпаемо, он высекает смех из каких-то немыслимо тривиальных ситуаций, в которые даже трудно поверить, настолько они кажутся придуманными, нереальными,— и все-таки смеешься, все-таки веришь. Ибо персонажи, попавшие в эти ситуации, поступают, действуют, говорят в полном соответствии с обстоятельствами и с собственным характером.

Вот внешне простенькая зарисовка, анекдот «В ресторане». Но насколько точно здесь передана психология и шутника, и потерпевшего — человека тупого, упрямого, представляющегося себе умным и хитрым!

Обилие тем, характеров, ситуаций переполняет воображение Аверченко. Написанные примерно в одно и то же время, а может быть, в один день, рассказы и фельетоны различаются интонацией, тематикой, глубиной постижения реальных событий, отношений. Уж сколько было сказано до Аверченко о силе клеветы, сплетни, а он находит новые краски для данной кочующей темы и в небольшом рассказе «Сплетня» дает анатомию этого, можно сказать, общественного явления, характерного для всех времен и народов, легко, играючи, убеди-

---

[1] Куприн А. И. Аверченко и «Сатирикон»: Сегодня. Рига, 1925, 29 марта.

тельно. И от того, что в рассказе сплетней окутана фигура маленького незаметного человечка, уничтожительная сила обличения растет, и нам не смешон мелкий чиновник Аквинский, а омерзительны окружающие его еще более мелкие людишки, наделенные столь низменным свойством человеческой натуры. Так, легкий, беззлобный смех писателя как бы независимо от его воли становится сатирой, осуждающей нравы общества.

Создается впечатление, что подобно мифическому царю Мидасу, от чьего прикосновения все превращалось в золото, Аверченко способен любую материю обратить в смех. Вероятно, нет такого литературного приема, к которому прибегали в прошлом и используют сегодня сатирики и юмористы, которым бы в совершенстве не владел писатель. Если бы можно было собрать целиком все наследие Аркадия Аверченко, то оно могло бы служить ярким наглядным пособием и иллюстрировать любой прием создания комического в литературе.

Пародия? Пожалуйста: «Пропавшая калоша Доббльса», «Неизлечимые», «По влечению сердца», «Рассказ для «Лягушонка».

Несоответствие между нагромождением средств и малозначительной целью? Великолепный пример: «Ложь».

Противоречие между тем, что человек о себе думает, и его истинным характером — «Мой сосед по кровати», «Бельмесов», «Роковой Воздуходуев», «Страшный человек».

Противоречием между внешней респектабельностью и подлостью натуры — «Случай с Патлецовыми».

Преувеличение, гиперболизация какой-либо черты характера, человеческого свойства? Пожалуйста: гипертрофия жадности, стяжательства — «Лакмусовая бумажка»; доведенная до абсурда глупость (в сочетании со стяжательством) — «Пылесос»; усердие, доведенное до абсурда, — «Провокатор»... Рассказы эти смешны. Но разве можно сказать, что здесь автор преследует смех ради смеха? А ведь в этом неоднократно упрекала Аверченко левая критика. Мы сталкиваемся, очевидно, с явлением, характерным для любой эпохи и страны. Нормативная критика и эстетика пытаются втиснуть в прокрустово ложе схем и канонов все без исключения произведения искусства, и если какое-то из них не укладывается, не умещается, выпирает за пределы очерченных рамок, его объявляют ущербным, дефектным, несовершенным. Подобные процедуры проделываются на протяжении веков. Достаточно вспомнить трактат «О поэтическом искусстве» Н. Буало или же взаимоисключающие оценки критиков из противоположных лагерей одних и тех же произведений, ставших русской классикой. Скажем, Писаревым и славянофилами...

Аверченко прекрасно понимал разницу между поверхностным зубоскальством, примитивным юмором положений и юмором, связанным с проникновением в сущность явлений,

с познанием человеческого характера, с анализом нравственной позиции героя.

Случайное дорожное происшествие сталкивает литератора Ошмянского и актрису Бронзову («Бритва в киселе»). Казалось бы, избитый сюжет, тривиальная ситуация. Но и здесь Аверченко извлекает максимум возможного комического эффекта, ибо он показывает резко контрастирующие характеры, абсолютно несовместимые; тонко и психологически точно рисует крах иллюзий Бронзовой.

Масса окрашенных теплым юмором эпизодов в рассказе «Страшный мальчик». И как неожиданная концовка наполняет образ Аптекаренка значимостью и нравственной высотой!

Порой в нашей критике об Аверченко в порядке поощрения говорилось, что в лучших своих произведениях он поднимался до уровня общественной сатиры, и при этом подразумевалось, что таких лучших произведений у писателя не столь уж много. В действительности же понятием «общественная сатира» можно охарактеризовать большую часть сделанного писателем. В одной из самых известных и популярных его книг — «Веселые устрицы», выдержавшей за семь лет 24 издания, есть раздел «В свободной России». Уже само название раздела проникнуто злой иронией. Чем же славна «свободная» Россия (имеются в виду дарованные царем конституционные свободы)? Ее облик — это жуткая, беспросветная темнота, безграмотность основной массы населения — крестьянства («Русская история»), бесправие и подконтрольность вообще каждого жителя как источник полевения даже аполитичного обывателя («История болезни Иванова»), разгул черносотенства («Кто ее продал...»), обыски как узаконенная повседневность («Люди», «Мученик науки»), слежка и доносительство («Робинзоны»), бесплодность буржуазных партий («Спермин», «Октябрист Чикалкин»), провокаторство («Путаница»)... Привлечь внимание хотя бы к этим нескольким темам в годы столыпинской реакции было проявлением определенной гражданской общественной позиции. А в те же годы журналы черносотенцев «Кнут», «Вече», «Жгут» и другие вовсю практиковались в проповеди шовинизма и антисемитизма, облаченной в излияния любви к родине, которую пора, пора спасать от жидов и революционеров...

Надо отдать должное твердой позиции Аверченко как писателя и как редактора журнала: он никогда не шел на поводу черносотенной пропаганды, всегда отстаивал равноправие всех народов России. Эта твердость и последовательность прослеживаются в отношении к делу Бейлиса, а также в таких рассказах, как «Функельман и сын», «Золотые часы», «Родители первого сорта» и др., где Аверченко с мягким юмором и с удивительным тактом рисует специфические черты еврей-

ского характера, тонко передает речевые интонации, вместе с тем не затрагивая, не оскорбляя национальных чувств.

Разумеется, это не могло не вызвать ненависти в лагере черносотенцев, которые не упускали случая заклеймить Аверченко как «еврействующего» писателя. Каждое его острое общественное выступление, обличающее политику русского правительства или же высмеивающее не лучшие проявления русского характера, вызывало злобную реакцию правой прессы. Скудоумные радетели России не способны были понять, что сила нации не убудет, а, наоборот, укрепится, если она порой и посмеется над своими недостатками; но самовозвеличивание, самовоспевание тормозит дальнейшее развитие, туманит сознание, притупляет волю, превращая народ в послушное стадо. Но дело здесь было вовсе не в том, что Аверченко подтрунивал над некоторыми человеческими свойствами. Русские сказки типа «По щучьему велению» вроде не подвергались нападкам. Произведения писателя вызывали неприязнь в правом лагере, поскольку делали очевидным, что именно существующий режим, условия жизни повинны в темноте, безграмотности народа, в пробуждении, культивировании не лучших его черт («Русская история», «Хлопотливая нация», «Отцы и дети», «Корибу», «Полевые работы», «Виктор Поликарпович», «Провокатор», «Робинзоны»).

При чтении рассказов Аверченко нас поражает необыкновенное знание жизни и человеческой природы. Среди его персонажей — люди самых разных профессий, социальной и национальной принадлежности. И каждый герой живет своей жизнью, проявляет свой собственный характер, обрисованный автором лаконично и правдиво.

Форма рассказов Аверченко проста и естественна, действие развивается, как правило, быстро и без лишних подробностей, если же они появляются, то лишь для того, чтобы создать дополнительный юмористический эффект (а значит, уже не лишние), и при этом детали, которые приводит Аверченко, всегда подмечены безошибочно.

«Находчивость и остроумие его достигали порой предела,— вспоминал Ландау.— Вот пример из его полемики с влиятельным тогда сотрудником «Нового времени», газеты-официоза, Меньшиковым, статьи которого под общим названием «Письма близким» именовались в ответах Аверченко «Письмами к недалеким». А когда Меньшиков, выведенный из себя нападками одной из газет, обвинявшей его в человеконенавистничестве, воскликнул: «Ну и откопали же слово! Такого другого мерзкого и длинного слова, в 24 буквы, и в обиходе-то нет!..» — Аверченко тотчас же ему подкинул: «Есть, и в вашем же обиходе, господин Меньшиков,— «высокопревосходительство». И ровно в 24 буквы»[1].

---

[1] Тайны вокруг нас. М., 1965. С. 76.

Яркость, бьющая через край веселость Аверченко запечатлены в одном из стихотворений В. В. Маяковского:

А там, где кончается звездочки точка,
месяц улыбается и заверчен, как
будто на небе строчка
из Аверченко...[1]

Было бы неверным ограничить творчество, как и саму личность Аверченко, лишь сферой юмора. Уже современники писателя отмечали это. «...Реальное лицо самого Аверченко никогда не было таким беззаботным, каким оно представлялось читателю»,— отмечал Скиталец[2]. «В нем сочеталась внешняя беспечность с внутренней серьезностью»[3] ,— вспоминал Петр Пильский.

Эта внутренняя серьезность явственно проглядывала сквозь насмешливую ткань таких рассказов, как «Отец», «Обыкновенная женщина», «Семь часов вечера», «Веселый вечер», «Трава, примятая сапогами», да и многих других.

О богатстве внутреннего мира писателя, многогранности его души и таланта свидетельствуют рассказы о детях и для детей. Аверченко женат не был, детей не имел, но он любил их, и они отвечали ему взаимностью. Три книги рассказов — «О маленьких — для больших», «Шалуны и ротозеи», «Дети» — далеко не исчерпывают всего того, что написано Аверченко о младшем поколении.

Писатель до мельчайших деталей постиг психологию детей, научился (или же просто не разучился, сохранив это знание до конца своих дней) говорить их языком о понятных и их волнующих вещах, выразил забавные, трогательные стороны детской души, ее наивность, доверчивость, жажду человеческого тепла.

В удивительно емком по смыслу рассказе «Смерть африканского охотника» точными, лаконичными штрихами совсем на немногих страницах Аркадий Аверченко нарисовал несколько ярких характеров и показал неожиданное и вместе с тем повседневное чудо превращения мальчика во взрослого человека.

Ребенок остается ребенком, пока он воспринимает мир как увлекательную игру; он может смотреть на окружающее глазами героев Майн Рида или Луи Буссенара, и ничего в этом предосудительного нет. Но в какой-то момент он вдруг почувствует, что жизнь гораздо сложнее, хотя и не всегда так увлекательна...

Этот рассказ, а также многие другие, включенные в сборник, раскрывают нам Аверченко не только как юмориста, на-

---

[1] Маяковский В. В. Полн. собр. соч.: В 13 т. М., 1955. Т. 1. С. 91.
[2] Скиталец. Река забвения. ЦГАЛИ, ф. 484, оп. 3, ед. хр. 20, л. 45.
[3] Пильский П. Сегодня. Рига, 1925, 15 марта.

смешника, но и тонкого психолога, глубокого, серьезного писателя.

Совсем в ином ключе написана «Индейская хитрость». И опять какое проникновение в глубины детской психологии! Мы смеемся над наивно-хитроумными уловками героя рассказа и ни на йоту не сомневаемся в правдивости поведанной автором незамысловатой истории, потому что ведь и с нами в этом возрасте происходило подобное...

Успех и популярность Аверченко коробили литературных снобов, вызывали зависть. И вот юмориста и сатирика стремятся представить обывателем, рассказчиком пошлых анекдотов. И надо признать, что кое-кому это удавалось. Писатель поднимал серьезнейшие вопросы, показывал ничтожество буржуазных партий, боролся за гражданские права для всех народов России, а его представляли как смехача, которого, конечно же, нельзя принимать всерьез, ибо его шутки плоски. Надо все же отдать должное Аркадию Аверченко: срывов у него было немного. И в рассказах, фельетонах, книгах, созданных уже после Октябрьской революции, мы встречаемся с Аверченко, полным новых сил, энергии, по-прежнему ярко талантливым. Как это ни парадоксально, но именно неприятие революции и эмигрантское бытие разбудили его фантазию, придали его перу еще большую виртуозность. И недаром В. И. Ленин обратил внимание на его небольшую книжку «Дюжина ножей в спину революции». Многие из рассказов, составивших сборник, написаны в жанре сатирической социальной антиутопии.

Ленин не согласен с Аверченко, его вера в созидательные силы революционного народа велика, и тем не менее он рекомендует перепечатать лучшие рассказы сборника, «талант надо поощрять», замечает он. Эта рецензия, появившаяся в «Правде» вскоре после того, как сборник Аверченко вышел в Париже, сыграла огромную роль в популяризации творчества писателя-эмигранта на родине. За десять лет вышло до десятка книг Аверченко в нашей стране. Несмотря на то, что в предисловиях к ним автора клеймили как злобного врага революции и Советской власти, книги мгновенно раскупались и пользовались громадным успехом...

В. И. Ленин был прав, когда говорил, что многие страницы книги «Дюжина ножей...» проникнуты злобой к революции, затмевающей автору реальную картину жизни. И вместе с тем отмечал, что в ней «с поразительным талантом изображены впечатления и настроения представителя старой помещичьей и фабрикантской, богатой, объевшейся и объедавшейся России»[1].

Историческая ценность книги именно в том и состоит, что в ней отражены взгляды другой, побежденной в революции,

---

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т 44, С. 249.

стороны, что она помогает понять позицию тех, кому было что терять. Мрачные прогнозы Аверченко не оправдались. Зато те недостатки и извращения в политической, хозяйственной, культурной жизни Советской России, которые подметил он в другой своей книге, «Смешное в страшном» (1923), не изжиты, к сожалению, и по сей день: раздувание административного аппарата («Мурка»), бесконечные совещания и митинги («Хомут, натягиваемый клещами»), регламентация в искусстве и литературе («Контроль над производством»)...

Зоркость, наблюдательность, меткость фразы не утрачивал Аверченко никогда. Его «Записки Простодушного» (1922) о бытии русских эмигрантов в Константинополе могут быть вполне названными «смешным в страшном». Здесь нарисована поразительно живая панорама оскудения, обнищания личности, духовного и нравственного, в тех условиях на чужбине, когда утрачены социальные связи, идеалы, когда остается единственная цель — выжить...

Аверченко еще успеет написать несколько хороших произведений, среди них и веселые рассказы о театре (безусловно, здесь нашел выражение и собственный опыт автора-актера), и такие тонкие мягкие вещи, как «Индейка с каштанами» и «Белая ворона», и единственный роман «Шутка Мецената», шаржированно воссоздающий литературную жизнь Петербурга 1910-х годов. Но силы Аркадия Аверченко на исходе, он еще полон замыслов, на больничной койке в Праге устно сочиняет новые рассказы, однако их никогда уже не прочтет читатель...

* * *

Влияние, которое Аркадий Тимофеевич Аверченко оказал на советскую сатиру и юмористику, огромно, хотя долгие годы его как бы не было в русской литературе. Влияние это воплотилось в слове, в образах, в сюжетах у таких разных писателей, как Мих. Зощенко и Пант. Романов, Ильф и Петров и Гр. Горин... Разумеется, речь идет не о прямых заимствованиях, но достаточно сравнить «Роковой выигрыш», «Рассказ о колоколе» Аверченко и «Козу», «Собачий нюх» Зощенко, «Бедствие» Аверченко и «Стихийное бедствие» Романова, образ Подходцева, «скептика, атеиста, мистификатора», проявляющего в трудную минуту «ту спокойную наглость, которая так часто вывозит в жизни»[1], с образом великого комбинатора Остапа Бендера, «Юмор для дураков» Аверченко и «Почему повязка на ноге?» Гр. Горина, чтобы стало очевидным, что дух Аркадия Аверченко, образ его мысли, направленность нашли свою материализацию в произведениях советских писателей.

Сегодня со всей очевидностью мы убеждаемся, что высший суд — суд времени — творчество Аверченко выдержало. Пото-

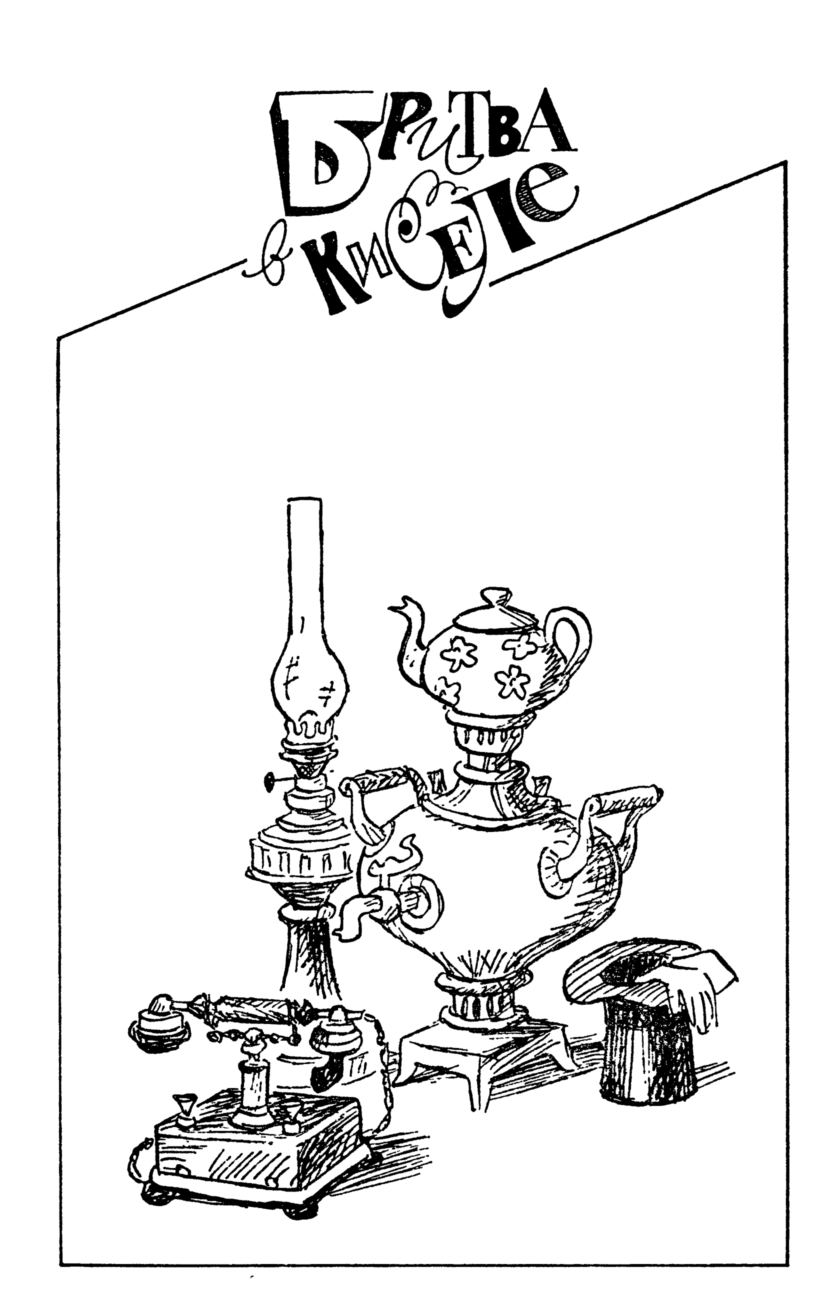
---

[1] Аверченко А. Т. Подходцев и двое других. Пг., 1917. С. 90.

му что в лучших своих произведениях писатель с изяществом и внешней простотой вскрывал глубинные пласты человеческой души, потому что он обнажал и привлекал внимание к тем общественным порокам и нравственным изъянам, которые сохранились в людях на протяжении тысячелетий и, конечно же, еще долго будут давать свои вспышки, цветы и плоды — зависть, угодничество, клевету, подлость, ложь, беспринципность, стяжательство, властолюбие.

Значимость Аркадия Аверченко еще и в том, что его многогранное, многообразное творческое наследие — юмористическо-сатирическая энциклопедия русской жизни первых десятилетий XX столетия, той прошлой жизни, представляющейся сегодня такой туманно-далекой, но знание которой, даже в веселой и легкой форме, помогает осмыслить настоящее и задуматься о грядущем.

Ст. Никоненко


Бритва
в киселе

Автобиография

Еще за пятнадцать минут до рождения я не знал, что появлюсь на белый свет. Это само по себе пустячное указание я делаю лишь потому, что желаю опередить на четверть часа всех других замечательных людей, жизнь которых с утомительным однообразием описывалась непременно с момента рождения. Ну, вот.

Когда акушерка преподнесла меня отцу, он с видом знатока осмотрел то, что я из себя представлял, и воскликнул:

— Держу пари на золотой, что это мальчишка!

«Старая лисица! — подумал я, внутренно усмехнувшись,— ты играешь наверняка».

С этого разговора и началось наше знакомство, а потом и дружба.

Из скромности я остерегусь указать на тот факт, что в день моего рождения звонили в колокола и было всеобщее народное ликование. Злые языки связывали это ликование с каким-то большим праздником, совпавшим с днем моего появления на свет, но я до сих пор не понимаю, при чем здесь еще какой-то праздник?

Приглядевшись к окружающему, я решил, что мне нужно первым долгом вырасти. Я исполнял это с таким тщанием, что к восьми годам увидел однажды отца берущим меня за руку. Конечно, и до этого отец неоднократно брал меня за указанную конечность, но предыдущие попытки являлись не более как реальными симптомами отеческой ласки. В настоящем же случае он, кроме того, нахлобучил на головы себе и мне по шляпе — и мы вышли на улицу.

— Куда это нас черти несут? — спросил я с прямизной, всегда меня отличавшей.

— Тебе надо учиться.

— Очень нужно! Не хочу учиться.

— Почему?

Чтобы отвязаться, я сказал первое, что пришло в голову:

— Я болен.

— Что у тебя болит?

Я перебрал на память все свои органы и выбрал самый нежный:

— Глаза.

— Гм... Пойдем к доктору.

Когда мы явились к доктору, я наткнулся на него, на его пациента и свалил маленький столик.

— Ты, мальчик, ничего решительно не видишь?

— Ничего,— ответил я, утаив хвост фразы, который докончил в уме: «...хорошего в ученьи».

Так я и не занимался науками.

* * *

Легенда о том, что я мальчик больной, хилый, который не может учиться, росла и укреплялась, и больше всего заботился об этом я сам.

Отец мой, будучи по профессии купцом, не обращал на меня никакого внимания, так как по горло был занят хлопотами и планами: каким бы образом поскорее разориться? Это было мечтой его жизни, и нужно отдать ему полную справедливость — добрый старик достиг своих стремлений самым безукоризненным образом. Он это сделал при соучастии целой плеяды воров, которые обворовывали его магазин, покупателей, которые брали исключительно и планомерно в долг, и — пожаров, испепелявших те из отцовских товаров, которые не были растащены ворами и покупателями.

Воры, пожары и покупатели долгое время стояли стеной между мной и отцом, и я так и остался бы неграмотным, если бы старшим сестрам не пришла в голову забавная, сулившая им массу новых ощущений мысль: заняться моим образованием. Очевидно, я представлял из себя лакомый кусочек, так как из-за весьма сомнительного удовольствия осветить мой ленивый мозг светом знания сестры не только спорили, но однажды даже вступили врукопашную, и результат схватки — вывихнутый палец — нисколько не охладил преподавательского пыла старшей сестры Любы.

Так — на фоне родственной заботливости, любви, пожаров, воров и покупателей — совершался мой рост и развивалось сознательное отношение к окружающему.

* * *

Когда мне исполнилось 15 лет, отец, с сожалением распростившийся с ворами, покупателями и пожарами, однажды сказал мне:

— Надо тебе служить.

— Да я не умею,— возразил я, по своему обыкновению выбирая такую позицию, которая могла гарантировать мне полный и безмятежный покой.

— Вздор!—возразил отец.—Сережа Зельцер не старше тебя, а он уже служит!

Этот Сережа был самым большим кошмаром моей юности. Чистенький, аккуратный немчик, наш сосед по дому, Сережа с самого раннего возраста ставился мне в пример, как образец выдержанности, трудолюбия и аккуратности.

— Посмотри на Сережу,—говорила печально мать.—Мальчик служит, заслуживает любовь начальства, умеет поговорить, в обществе держится свободно, на гитаре играет, поет... А ты?

Обескураженный этими упреками, я немедленно подходил к гитаре, висевшей на стене, дергал струну, начинал визжать пронзительным голосом какую-то неведомую песню, старался «держаться свободнее», шаркая ногами по стенам, но все это было слабо, все было второго сорта. Сережа оставался недосягаем!

— Сережа служит, а ты еще не служишь...—упрекнул меня отец.

— Сережа, может быть, дома лягушек ест,—возразил я, подумав.—Так и мне прикажете?

— Прикажу, если понадобится!—гаркнул отец, стуча кулаком по столу.—Черрт возьми! Я сделаю из тебя шелкового!

Как человек со вкусом, отец из всех материй предпочитал шелк, и другой материал для меня казался ему неподходящим.

* * *

Помню, первый день моей службы, которую я должен был начать в какой-то сонной транспортной конторе по перевозке кладей.

Я забрался туда чуть ли не в восемь часов утра и застал только одного человека в жилете без пиджака, очень приветливого и скромного.

«Это, наверное, и есть главный агент»,—подумал я.

— Здравствуйте!—сказал я, крепко пожимая ему руку.—Как делишки?

— Ничего себе. Садитесь, поболтаем!

Мы дружески закурили папиросы, и я завел дипломатичный разговор о своей будущей карьере, рассказав о себе всю подноготную.

Неожиданно сзади нас раздался резкий голос:

— Ты что же, болван, до сих пор даже пыли не стер?!

Тот, в ком я подозревал главного агента, с криком испуга вскочил и схватился за пыльную тряпку. Начальнический голос вновь пришедшего молодого человека убедил меня, что я имею дело с самим главным агентом.

— Здравствуйте,— сказал я.— Как живете-можете? (Общительность и светскость по Сереже Зельцеру.)

— Ничего,— сказал молодой господин.— Вы наш новый служащий? Ого! Очень рад!

Мы дружески разговорились и даже не заметили, как в контору вошел человек средних лет, схвативший молодого господина за плечо и резко крикнувший во все горло:

— Так-то вы, дьявольский дармоед, заготовляете реестра? Выгоню я вас, если будете лодырничать!

Господин, принятый мною за главного агента, побледнел, опустил печально голову и побрел за свой стол. А главный агент опустился в кресло, откинулся на спинку и стал преважно расспрашивать меня о моих талантах и способностях.

«Дурак я,— думал я про себя.— Как я мог не разобрать раньше, что за птицы мои предыдущие собеседники. Вот этот начальник — так начальник! Сразу уж видно!»

В это время в передней послышалась возня.

— Посмотрите, кто там? — попросил меня главный агент.

Я выглянул в переднюю и успокоительно сообщил:

— Какой-то плюгавый старичишка стягивает пальто.

Плюгавый старичишка вошел и закричал:

— Десятый час, а никто из вас ни черта не делает!! Будет ли когда-нибудь этому конец?!

Предыдущий важный начальник подскочил в кресле как мяч, а молодой господин, названный им до того «лодырем», предупредительно сообщил мне на ухо:

— Главный агент притащился.

Так я начал свою службу.

* * *

Прослужил я год, все время самым постыдным образом плетясь в хвосте Сережи Зельцера. Этот юноша получал 25 рублей в месяц, когда я получал 15, а когда и я дослужился

до 25 рублей,— ему дали 40. Ненавидел я его, как какого-то отвратительного, вымытого душистым мылом паука...

Шестнадцати лет я расстался со своей сонной транспортной конторой и уехал из Севастополя (забыл сказать — это моя родина) на какие-то каменноугольные рудники. Это место было наименее для меня подходящим, и потому, вероятно, я и очутился там по совету своего опытного в житейских передрягах отца...

Это был самый грязный и глухой рудник в свете. Между осенью и другими временами года разница заключалась лишь в том, что осенью грязь была там выше колен, а в другое время — ниже.

И все обитатели этого места пили, как сапожники, и я пил не хуже других. Население было такое небольшое, что одно лицо имело целую уйму должностей и занятий. Повар Кузьма был в то же время и подрядчиком и попечителем рудничной школы, фельдшер был акушеркой, а когда я впервые пришел к известнейшему в тех краях парикмахеру, жена его просила меня немного обождать, так как супруг ее пошел вставлять кому-то стекла, выбитые шахтерами в прошлую ночь.

Эти шахтеры (углекопы) казались мне тоже престранным народом: будучи, большей частью, беглыми с каторги, паспортов они не имели, и отсутствие этой непременной принадлежности российского гражданина заливали с горестным видом и отчаянием в душе — целым морем водки.

Вся их жизнь имела такой вид, что рождались они для водки, работали и губили свое здоровье непосильной работой — ради водки и отправлялись на тот свет при ближайшем участии и помощи той же водки.

Однажды ехал я перед Рождеством с рудника в ближайшее село и видел ряд черных тел, лежавших без движения на всем протяжении моего пути; попадались по двое, по трое через каждые 20 шагов.

— Что это такое? — изумился я...

— А шахтеры,— улыбнулся сочувственно возница.— Горилку куповалы у селе. Для Божьего праздничку.

— Ну?

— Тай не донесли. На мисти высмоктали. Ось как!

Так мы и ехали мимо целых залежей мертвецки пьяных людей, которые обладали, очевидно, настолько слабой волей, что не успевали даже добежать до дому, сдаваясь охватившей их глотки палящей жажде там, где эта жажда их застигала. И лежали они в снегу, с черными бессмысленными лицами, и если бы я не знал дороги до села, то нашел бы ее по этим

гигантским черным камням, разбросанным гигантским мальчиком-с-пальчиком на всем пути.

Народ это был, однако, по большей части крепкий, закаленный, и самые чудовищные эксперименты над своим телом обходились ему сравнительно дешево. Проламывали друг другу головы, уничтожали начисто носы и уши, а один смельчак даже взялся однажды на заманчивое пари (без сомнения — бутылка водки) съесть динамитный патрон. Проделав это, он в течение двух-трех дней, несмотря на сильную рвоту, пользовался самым бережливым и заботливым вниманием со стороны товарищей, которые все боялись, что он взорвется.

По миновании же этого странного карантина — был он жестоко избит.

Служащие конторы отличались от рабочих тем, что меньше дрались и больше пили. Все это были люди, по большей части отвергнутые всем остальным светом за бездарность и неспособность к жизни, и, таким образом, на нашем маленьком, окруженном неизмеримыми степями островке собралась самая чудовищная компания глупых, грязных и бездарных алкоголиков, отбросов и обгрызков брезгливого белого света.

Занесенные сюда гигантской метлой Божьего произволения, все они махнули рукой на внешний мир и стали жить, как Бог на душу положит. Пили, играли в карты, ругались прежестокими отчаянными словами и во хмелю пели что-то настойчивое тягучее и танцевали угрюмо-сосредоточенно, ломая каблуками полы и извергая из ослабевших уст целые потоки хулы на человечество.

В этом и состояла веселая сторона рудничной жизни. Темные ее стороны заключались в каторжной работе, шагании по глубочайшей грязи из конторы в колонию и обратно, а также в отсиживании в кордегардии по целому ряду диковинных протоколов, составленных пьяным урядником.

* * *

Когда правление рудников было переведено в Харьков, туда же забрали и меня, и я ожил душой и окреп телом...

По целым дням бродил я по городу, сдвинув шляпу набекрень и независимо насвистывая самые залихватские мотивы, подслушанные мною в летних шантанах — месте, которое восхищало меня сначала до глубины души.

Работал я в конторе преотвратительно и до сих пор недоумеваю: за что держали меня там шесть лет, ленивого, смотревшего на работу с отвращением и по каждому поводу

вступавшего не только с бухгалтером, но и с директором в длинные, ожесточенные споры и полемику.

Вероятно, потому, что был я превеселым, радостно глядящим на широкий Божий мир человеком, с готовностью откладывавшим работу для смеха, шуток и ряда замысловатых анекдотов, что освежало окружающих, погрязших в работе, скучных счетах и дрязгах.

* * *

Литературная моя деятельность была начата в 1904[1] году и была она, как мне казалось, сплошным триумфом. Во-первых я написал рассказ... Во-вторых, я отнес его в «Южный край». И в-третьих (до сих пор я того мнения, что в рассказе это самое главное), в-третьих, он был напечатан!

Гонорар я за него почему-то не получил, и это тем более несправедливо, что едва он вышел в свет, как подписка и розница газеты сейчас же удвоилась...

Те же самые завистливые, злые языки, которые пытались связать день моего рождения с каким-то еще другим праздником, связали и факт поднятия розницы с началом русско-японской войны.

Ну, да мы-то, читатель, знаем с вами, где истина...

Написав за два года четыре рассказа, я решил, что поработал достаточно на пользу родной литературы и решил основательно отдохнуть, но подкатился 1905 год и, подхватив меня, закрутил меня, как щепку.

Я стал редактировать журнал «Штык», имевший в Харькове большой успех, и совершенно забросил службу... Лихорадочно писал я, рисовал карикатуры, редактировал и корректировал, и на девятом номере дорисовался до того, что генерал-губернатор Пешков оштрафовал меня на 500 рублей, мечтая, что немедленно заплачу их из карманных денег.

Я отказался по многим причинам, главные из которых были: отсутствие денег и нежелание потворствовать капризам легкомысленного администратора.

Увидев мою непоколебимость (штраф был без замены тюремным заключением), Пешков спустил цену до 100 рублей.

Я отказался.

---

[1] В «Автобиографии», предпосланной сборнику «Веселые устрицы» (1910), первое выступление Аверченко в печати ошибочно датируется 1905 годом. В 24-м издании сборника, по которому воспроизводится текст, сам автор исправляет дату на 1904 год. В действительности же, как это явствует из дальнейшего текста и подтверждается разысканиями О. Михайлова, наиболее вероятен 1903 год. *(Примеч. сост.)*

Мы торговались, как маклаки, и я являлся к нему чуть не десять раз. Денег ему так и не удалось выжать из меня!

Тогда он, обидевшись, сказал:

— Один из нас должен уехать из Харькова!

— Ваше превосходительство! — возразил я. — Давайте предложим харьковцам: кого они выберут?

Так как в городе меня любили и даже до меня доходили смутные слухи о желании граждан увековечить мой образ постановкой памятника, то г. Пешков не захотел рисковать своей популярностью.

И я уехал, успев все-таки до отъезда выпустить 3 номера журнала «Меч», который был так популярен, что экземпляры его можно найти даже в Публичной библиотеке.

* * *

В Петроград я приехал как раз на Новый год.

Опять была иллюминация, улицы были украшены флагами, транспарантами и фонариками. Но я уж ничего не скажу! Помолчу.

И так меня иногда упрекают, что я думаю о своих заслугах больше, чем это требуется обычной скромностью. А я, — могу дать честное слово, — увидев всю эту иллюминацию и радость, сделал вид, что совершенно не замечаю невинной хитрости и сентиментальных, простодушных попыток муниципалитета скрасить мой первый приезд в большой незнакомый город... Скромно, инкогнито, сел на извозчика и инкогнито поехал на место своей новой жизни.

И вот — начал я ее.

Первые мои шаги были связаны с основанным нами журналом «Сатирикон», и до сих пор я люблю, как собственное дитя, этот прекрасный, веселый журнал (в год 8 руб., на полгода 4 руб.).

Успех его был наполовину моим успехом, и я с гордостью могу сказать теперь, что редкий культурный человек не знает нашего «Сатирикона» (на год 8 руб., на полгода 4 руб.).

В этом месте я подхожу уже к последней, ближайшей эре моей жизни, и я не скажу, но всякий поймет, почему я в этом месте умолкаю.

Из чуткой, нежной, до болезненности нежной скромности я умолкаю.

* * *

Не буду перечислять имена тех лиц, которые в последнее время мною заинтересовались и желали со мной познакомиться. Но если читатель вдумается в истинные причины приезда славянской депутации, испанского инфанта и президента Фальера, то, может быть, моя скромная личность, упорно державшаяся в тени, получит совершенно другое освещение...

В ресторане

— Фокусы! Это колдовство! — услышал я фразу за соседним столиком.

Произнес ее мрачный человек с черными обмокшими усами и стеклянным недоумевающим взглядом.

Черные мокрые усы, волосы, сползшие чуть не на брови, и стеклянный взгляд непоколебимо доказывали, что обладатель перечисленных сокровищ был дурак.

Был дурак в прямом и ясном смысле этого слова.

Один из его собеседников налил себе пива, потер руки и сказал:

— Не более как ловкость и проворство рук.

— Это колдовство! — упрямо стоял на своем черный, обсасывая свой ус.

Человек, стоявший за проворство рук, сатирически посмотрел на третьего из компании и воскликнул:

— Хорошо! Что здесь нет колдовства, хотите, я докажу?

Черный мрачно улыбнулся.

— Да разве вы, как его... пре-сти-ди-жи-да-тор?

— Вероятно, если я это говорю! Ну, хотите, я предлагаю пари на сто рублей, что отрежу в пять минут все ваши пуговицы и пришью их?

Черный подергал для чего-то жилетную пуговицу и сказал:

— За пять минут? Отрезать и пришить? Это непостижимо!

— Вполне постижимо! Ну, идет — сто рублей?

— Нет, это много! У меня есть только пять.

— Да ведь мне все равно... Можно меньше — хотите три бутылки пива?

Черный ядовито подмигнул.

— Да ведь проиграете?

— Кто, я? Увидим!..

Он протянул руку, пожал худые пальцы черного человека, а третий из компании развел руки.

— Ну, смотрите на часы и следите, чтобы не было больше пяти минут!

Все мы были заинтригованы, и даже сонный лакей, которого послали за тарелкой и острым ножом, расстался со своим оцепенелым видом.

— Раз, два, три! Начинаю!

Человек, объявивший себя фокусником, взял нож, поставил тарелку, срезал в нее все жилетные пуговицы.

— На пиджаке тоже есть?

— Как же!.. Сзади, на рукавах, около карманов.

Пуговицы со стуком сыпались в тарелку.

— У меня и на брюках есть! — корчась от смеха, говорил черный. — И на ботинках!

— Ладно, ладно! Что же, я хочу у вас зажилить какую-нибудь пуговицу?.. Не беспокойтесь, все будет отрезано!

Так как верхнее платье лишилось сдерживающего элемента, то явилась возможность перейти на нижнее.

Когда осыпались последние пуговицы на брюках, черный злорадно положил ноги на стол.

— На ботинках по восьми пуговиц. Посмотрим, как это вы успеете пришить их обратно?

Фокусник, уже не отвечая, лихорадочно работал своим ножом.

Скоро он вытер мокрый лоб и, поставивши на стол тарелку, на которой, подобно неведомым ягодам, лежали разноцветные пуговицы и запонки, проворчал:

— Готово, все!

Лакей восхищенно всплеснул руками:

— 82 штуки. Ловко!

— Теперь пойди, принеси мне иголку и ниток! — скомандовал фокусник. — Живо, ну!

Собутыльник их помахал в воздухе часами и неожиданно захлопнул крышку.

— Поздно! Есть! Пять минут прошло. Вы проиграли!

Тот, к кому это относилось, с досадой бросил нож.

— Черт меня возьми! Проиграл!.. Ну, нечего делать!.. Человек! принеси за мой счет этим господам три бутылки пива и, кстати, скажи, сколько с меня следует?

Черный человек побледнел.

— Ку-куда же вы?

Фокусник зевнул.

— На боковую... Спать хочется, как собаке. Намаешься за день...

— А пуговицы... пришить?

— Что? Чего же я их буду пришивать, если проиграл... Не успел, моя вина. Проигрыш поставлен... Всех благ, господа!

Черный человек умоляюще потянулся руками за уходящим, и при этом движении все его одежды упали, как скорлупа с вылупившегося цыпленка. Он стыдливо подтянул обратно брюки и с ужасом заморгал глазами.

— Гос-по-ди! Что же теперь будет?

Что с ним было, я не знаю.

Я вышел вместе с третьим из компании, который, вероятно, покинул человека без пуговиц.

Не будучи знакомы, мы стали на углу улицы друг против друга и долго без слов хохотали.

Сплетня

Контролер чайно-рассыпочного отделения Федор Иванович Аквинский шел в купальню, находящуюся в двух верстах от нанимаемой им собачьей будки, которую только разгоряченная фантазия владельца могла считать «дачей»...

Войдя в купальню, Аквинский быстро разделся и, вздрагивая от мягкого утреннего холодка, осторожно спустился по ветхой шаткой лесенке к воде. Солнце светлое, только что омытое предрассветной росой, бросало слабые теплые блики на тихую, как зеркало, воду.

Какая-то не совсем проснувшаяся мошка, очертя голову, взлетела над самой водой и, едва коснувшись ее крылом, вызвала медленные, ленивые круги, тихо расплывшиеся по поверхности.

Аквинский попробовал голой ногой температуру воды и отдернул, будто обжегшись. Купался он каждый день и каждый же день по полчаса собирался с духом, не решаясь броситься в холодную, прозрачную влагу...

И только что он затаил дыхание и вытянул руки, чтобы нелепо, по-лягушачьи прыгнуть, как в стороне женской купальни послышались всплески воды и чья-то возня.

Аквинский остановился и посмотрел налево.

Из-за серой позеленевшей внизу от воды перегородки показалась сначала женская рука, потом голова и, наконец, выплыла полная рослая блондинка в голубом купальном костюме. Ее красивое белое лицо от холода порозовело, и, когда она сильно, по-мужски, взмахивала рукой, то из воды четко показывалась высокая пышная грудь, чуть прикрытая голубой материей.

Аквинский, смотря на нее, почему-то вздохнул, потрепал голой рукой съеденную молью бородку и сказал сам себе:

— Это жена нашего члена таможни купается. Ишь ты, какой костюм! Читал я, что за границей, в какой-то там Ривьере, и женщины, и мужчины купаются вместе... Ну, и штука!

Когда он, выкупавшись, натягивал на тощие ноги панталоны, то подумал:

— Ну, хорошо... скажем, купаются вместе... а раздеваться как же? Значит, все-таки, как ни вертись, нужно два помещения. Выдумают тоже!

Придя на службу в таможню, он после обычной возни в пакгаузе сел на ящик из-под чаю и, спросив у коллеги Ниткина папиросу, с наслаждением затянулся скверным дешевым дымом...

— Купался я сегодня, Ниткин, утром и смотрю — из женской купальни наша членша Тарасиха выплывает... Ну, думаю, увидит меня да мужу скажет... Смех! Уж очень близко было. А вот за границей, в Ривьере, говорят, мужчины и бабы вместе купаются... Гы!.. Вот бы поехать!

Когда,через полчаса после этого разговора, Ниткин пил в архиве с канцеляристами водку, то, накладывая на ломоть хлеба кусок ветчины, сказал, ни к кому не обращаясь:

— Вот-то штука! Аквинский сегодня с женой нашего члена Тарасова в реке купался... Говорит, что в какой-то там Ривьере все вместе — и мужчины и женщины купаются. Говорит — поеду в Ривьеру. Поедешь, как же... На это деньги надо, голубчик!

— Отчего же! — вмешался пакгаузный Нибелунгов. — У него тетка, говорят, богатая; может у тетки взять...

Послышались шаги секретаря, и вся закусывающая компания, как мыши, разбежалась в разные стороны.

А за обедом экспедитор Портупеев, наливая борщ в тарелку, говорил жене, маленькой, сухонькой женщине с колючими глазками и синими жилистыми руками:

— Вот дела-то какие, Петровна у нас в таможне! Аквинский, чтоб ему пусто было, собрался к черту на кулички в Ривьеру ехать и Тарасова жену с собой сманил... Деньги у тетки берет! А Тарасиха с ним вместе сегодня купалась и рассказывала ему, что за границей так принято... Хе-хе!

— Ах, бесстыдники! — целомудренно потупилась Петровна. — Ну, и езжали бы себе подальше, а то — на-ко здесь разврат заводят! Только куда ему с ней... Она баба здоровая, а он так — тьфу!

На другой день, когда горничная Тарасовых, живших недалеко от Портупеевых, пришла к Петровне просить по-сосед

ски утюги для барыниных юбок, душа госпожи Портупеевой не выдержала:

— Это что же, для Ривьеры глаженые юбки понадобились?

— Ах, что вы! Слова такие! — усмехнулась, стрельнув глазами, горничная, истолковавшая фразу Петровны совершенно неведомым образом.

— Ну, да! Небось, тебе-то, да не знать...

Она скорбно помолчала.

— Эх-ма, дурость бабья наша... И чего нашла она в нем?

Горничная, все-таки не понимавшая, в чем дело, вытаращила глаза...

— Да, ваша Марья Григорьевна — хороша, нечего сказать! С пакгаузной крысой Аквинским снюхалась! Хорош любовничек! Да-с. Сговорились в какую-то дурацкую Ривьеру, на купанье бежать и деньги у тетки он достать посулился... Достанет, как же! Скрадет у тетки деньги, вот и все!

Горничная всплеснула руками.

— Да правда ли это, Анисья Петровна?

— Врать тебе буду. Весь город щуршит об этом.

— Ах, ужасти!

Горничная опрометью, позабывши об утюгах, бросилась домой и на пороге кухни столкнулась с самим членом таможни, который без сюртука и жилета нес в стаканчике воду для канарейки.

— Что с вами, Миликтриса Кирбитьевна? — прищурив глаза и взяв горничную за пухлый локоть, пропел Тарасов. — Вы так летите, будто спасаетесь от привидений ваших погубленных поклонников...

— Оставьте! — огрызнулась горничная, не особенно церемонившаяся во время этих случайных tête-á-tête[1]. — Вечно вы проходу не дадите!.. Лучше бы за барыней смотрели покрепче, чем руками...

Пухлое, невозмутимое лицо члена таможни приобрело сразу совсем другое выражение.

Господин Тарасов принадлежал к тому общеизвестному типу мужей, которые не пропустят ни одной хорошенькой, чтобы не ущипнуть ее, зевая в то же время в обществе жены до вывиха челюстей и стараясь при всяком удобном случае заменить домашний очаг неизбежным винтом или chemin de fer'ом[2].

Но учуяв какой-нибудь намек на супружескую неверность жены, эти кроткие, безобидные люди превращаются в Отелло с теми особенностями и отклонениями от этого типа, которые

---

[1] *Здесь:* свиданий наедине *(фр.)*

[2] Железной дорогой *(фр.)*

налагаются пыльными канцеляриями и присутственными местами.

Тарасов выронил стаканчик с водой и опять схватил горничную за локоть, но уже другим образом.

— Что? Что ты говоришь, п-подлая? Повтори-ка!!?

Испуганная этим неожиданным превращением члена таможни, горничная слезливо заморгала глазами и потупилась:

— Барин, Павел Ефимович, вот вам крест, я тут ни при чем! Мое дело сторона! А как весь город уже говорит, то, чтоб после на меня чего не было... Скажут — ты помогала! А я как перед Господом!..

Тарасов выпил воды из кувшина, стоявшего на столе, и, потупив голову, сказал:

— Рассказывай: с кем, как и когда?..

Горничная почуяла под собой почву.

— Да все с этим же... трухлявым! Федором Ивановичем... что в прошлом году раков вам в подарок принес... Вот тебе и раки! И как они это ловко... Уже все и уговорено: он у тетки деньги из комода скрадет — тетка евонная богатая, — и вместе купаться поедут в Ривьеру, куда-то... Срам-то, срам какой! Надо думать, завтра с вечерним поездом и двинут, голубчики!..

* * *

Сидя за покосившимся столиком в нескольких шагах от своей собачьей будки, контролер чайно-рассыпочного отделения Аквинский что-то писал, склонив набок голову и любовно выводя каждое слово.

Дерево, под которым стоял столик, иронически помахивало пыльными ветвями, и пятна света скользили по столику, бумаге и серой голове Аквинского... Бородка его, как будто приклеенная, шевелилась от ветра, и общий вид казался измученным и вялым.

Похоже было, что кто-то, по небрежности, забыл пересыпать никому не нужную вещь — Аквинского — нафталином и сложить на лето в сундук... Моль и поела Аквинского.

Он писал:

«Милая тетенька! Осмелюсь вас уведомить, что я нахожусь в полнейшем недоумении... За что же? Я вас спрашиваю. Впрочем, вот передаю, как было дело... Вчера досмотрщик Сычевой сказал, подойдя к моему столику, что меня требуют член таможни господин Тарасов, тот самый, которому я в прошлом году от усердия поднес сотню раков. Я пошел, ничего

не думая, и, вообразите, он наговорил мне столько странных и ужасных вещей, что я ничего не понял... Сначала говорит: «Вы», говорит, «Аквинский, кажется, в Ривьеру собираетесь?» — «Никак нет», отвечаю... А он как закричит: «Так вот как!!! Не лгите! Вы», говорит, «попрали самые священные законы естества и супружества! Вы устои колеблете!! Вы ворвались в нормальный очаг и произвели водоворот, в котором — предупреждаю — вы же и захлебнетесь!!» Ужасно эти ученые люди туманно говорят... Потом и про вас, тетенька... «Вы», говорит, «вашу тетку порешили ограбить... вашу старую тетку, а это стыдно! безнравственно!!» Откуда он мог узнать, что я уже второй месяц не посылаю вам обычных десяти рублей на содержание? Как я уже Вам объяснял — это произошло потому, что я заплатил за дачу вперед на все лето. Завтра я постараюсь выслать вам сразу за два месяца. Но все-таки — не понимаю. Обидно! Вот я теперь уволен со службы... А за что? Какие-то устои, водоворот... Насчет же семейной жизни, что он говорил, так это совсем непостижимо! Как вам известно, тетенька, я не женат»...

Пропавшая калоша Добблься

(СОЧ. А. КОНАН-ДОЙЛЯ)

Мы сидели в своей уютной квартирке на Бэкер-стрит в то время, когда за окном шел дождь и выла буря. (Удивительно: когда я что-нибудь рассказываю о Холмсе, обязательно мне без бури и дождя не обойтись...)

Итак, по обыкновению, выла буря, Холмс, по обыкновению, молча курил, а я, по обыкновению, ожидал своей очереди чему-нибудь удивиться.

— Ватсон, я вижу — у тебя флюс.

Я удивился.

— Откуда вы это узнали?

— Нужно быть пошлым дураком, чтобы не заметить этого! Ведь вспухшая щека у тебя подвязана платком.

— Поразительно!! Этакая наблюдательность.

Холмс взял кочергу и завязал ее своими жилистыми руками на шее в кокетливый бант. Потом вынул скрипку и сыграл вальс Шопена, ноктюрн Нострадамуса и полонез Васко-де-Гама.



Когда он заканчивал 39-ю симфонию Юлия Генриха Циммермана, в комнату с треском ввалился неизвестный человек в плаще, забрызганный грязью.

— Г. Холмс! Я Джон Бенгам... Ради Бога помогите! У меня украли... украли... Ах! страшно даже вымолвить...

Слезы затуманили его глаза.

— Я знаю,— хладнокровно сказал Холмс,— у вас украли фамильные драгоценности.

Бенгам вытер рукавом слезы и с нескрываемым удивлением взглянул на Шерлока.

— Как вы сказали? Фамильные... что? У меня украли мои стихи.

— Я так и думал! Расскажите обстоятельства дела.

— Какие там обстоятельства! Просто я шел по Трафальгар-скверу и, значит, нес их, стихи-то, под мышкой, а он выхвати да бежать! Я за ним, а калоша и соскочи у него. Вор-то убежал, а калоша — вот.

Холмс взял протянутую калошу, осмотрел ее, понюхал, полизал языком и, наконец, откусивши кусок, с трудом разжевал его и проглотил.

— Теперь я понимаю! — радостно сказал он.

Мы вперили в него взоры, полные ожидания.

— Я понимаю... Ясно, что эта калоша — резиновая!

Изумленные, мы вскочили с кресел.

Я уже немного привык к этим блестящим выводам, которым Холмс скромно не придавал значения, но на гостя такое проникновение в суть вещей страшно подействовало.

— Господи помилуй! Это колдовство какое-то!

По уходе Бенгама мы помолчали.

— Знаешь, кто это был? — спросил Холмс. — Это мужчина, он говорит по-английски, живет в настоящее время в Лондоне. Занимается поэзией.

Я всплеснул руками.

— Холмс! Вы сущий дьявол. Откуда же вы все это знаете?

Холмс презрительно усмехнулся.

— Я знаю еще больше. Я могу утверждать, что вор — несомненно, мужчина!

— Да какая же сорока принесла вам это на хвосте?

— Ты обратил внимание, что калоша мужская? Ясно, что женщины таких калош носить не могут!

Я был подавлен логикой своего знаменитого друга и ходил весь день, как дурак.

Двое суток Холмс сидел на диване, курил трубку и играл на скрипке.

Подобно Богу, он сидел в облаках дыма и исполнял свои лучшие мелодии.

Кончивши элегию Ньютона, он перешел на рапсодию Микель-Анджело и на половине этой прелестной безделушки английского композитора обратился ко мне:

— Ну, Ватсон — собирайся! Я-таки нащупал нить этого загадочного преступления.

Мы оделись и вышли.

Зная, что Холмса расспрашивать бесполезно, я обратил внимание на дом, к которому мы подходили. Это была редакция «Таймса».

Мы прошли прямо к редактору.

— Сэр, — сказал Холмс, уверенно сжимая тонкие губы. — Если человек, обутый в одну калошу, принесет вам стихи — задержите его и сообщите мне.

Я всплеснул руками.

— Боги! Как это просто... и гениально.

После «Таймса» мы зашли в редакцию «Дэли-Нью», «Пель-Мель» и еще в несколько. Все получили предупреждение.

Затем мы стали выжидать.

Все время стояла хорошая погода, и к нам никто не являл-

ся. Но однажды, когда выла буря и бушевал дождь, кто-то с треском ввалился в комнату забрызганный грязью.

— Холмс,— сказал неизвестный грубым голосом.— Я — Дробблс. Если вы найдете мою пропавшую на Трафальгар-сквере калошу — я вас озолочу. Кстати, отыщите также хозяина этих дрянных стишонок. Из-за чтения этой белиберды я потерял способность пить свою вечернюю порцию виски.

— Ну, мы эти штуки знаем, любезный,— пробормотал Холмс, стараясь свалить негодяя на пол.

Но Добблс прыгнул к дверям и, бросивши в лицо Шерлоку рукопись, как метеор скатился с лестницы и исчез.

Другую калошу мы нашли после в передней.

. . . .

Я мог бы рассказать еще о судьбе поэта Бенгама, его стихов и пары калош, но так как здесь замешаны коронованные особы, то это не представляется удобным.

Кроме этого преступления, Холмс открыл и другие, может быть, более интересные, но я рассказал о «Пропавшей калоше Добблься», как о деле, наиболее типичном для Шерлока.

Друг

I

Душилов вскочил с своего места и, схватив руку Крошкина, попытался выдернуть ее из предплечья.

Он был бы очень удивлен, если бы кто-нибудь сказал ему, что эта хирургическая операция имела очень мало сходства с обыкновенным дружеским пожатием.

— Крошкин, дружище! Кой черт тебя дернул на это?

Душилов помолчал и взял руку Крошкина на этот раз с осторожностью, как будто дивясь прочности крошкиных связок после давешнего рукопожатия.

— Видишь, ты уже раскаиваешься... Ведь я эти глупые романы знаю — вот как! Я как будто сейчас вижу завязку этой гадости: когда, однажды, никого из ближних не было, ты ни с того, ни с сего взял и поцеловал ее в физиономию. У них иногда, действительно, бывают такие физиономии... забавные. Она, конечно, как полагается в хороших домах, повисла у тебя на шее, а ты, вместо того, чтобы стряхнуть ее на пол, сделал предложение... было так?

Крошкин пожал плечами.

— Уж очень ты оригинально излагаешь! Впрочем, что-то подобное было. Но что поделаешь... Глупость совершена — предложение сделано.

— Ах, ты Господи! Можно все еще исправить. Ты еще можешь разойтись.

— Черт возьми! Как?!

Душилов впал в унылое раздумье.

— Не мог ли бы ты... поколотить ее отца, что ли! Тогда, я полагаю, всё бы расстроилось, а?

— То есть как поколотить? За что?

— Ну... причину можно найти. Явиться не в своем виде — прямо к старику. Ты, что, мол, делаешь? Газету читаешь? Так вот тебе газета! Да по голове его!

— Послушай... Как ты думаешь: может дурак хотя иногда чувствовать себя дураком?

— Иногда, пожалуй,— согласился Душилов серьезно.— Но сейчас я не чувствую в себе припадка особенной глупости: обычное хроническое состояние. Хотя старика, пожалуй, бить жалко...

— Ну, вот видишь! Ах, если бы она меня разлюбила! Не нашел бы ты человека счастливее меня!

Душилов сделал новую попытку вывихнуть руку Крошкина, но тот привычным движением спрятал ее в карман.

— Друг Крошкин! Хочешь, я это сделаю? Хочешь, она тебя разлюбит?

— Может, ты ее собираешься поколотить?

— Фи, что ты! Я только буду иметь с ней разговор... в котором немного преувеличу твои недостатки, а?

Крошкин подумал.

— Знаешь, удав,— это мысль! Только ты можешь все испортить?!

— Кто, я? Будет сделано гениально.

— Сумасшедший, постой! Куда ты?

Боясь, чтобы друг не раздумал, Душилов схватил шапку, опрокинул столик, оторвал драпировку и исчез.

II

Душилов сидел в саду с прехорошенькой блондинкой и вел с ней крайне странный разговор.

— Итак, вы, Душилов, чувствуете себя превосходно... я рада за вас. А что поделывает Крошкин?

— Какой Крошкин?

— Ну, ваш друг!

— Он мне теперь не друг!
— Что вы говорите! Почему?
— Потому что он не Крошкин!
— А кто же он?
Душилов сокрушенно вздохнул.
— Человек, который живет по фальшивому паспорту, не может быть моим другом.
Побледневшая блондинка открыла широко испуганные глаза.
— Что вы говорите? Зачем ему это понадобилось?
— Вы читали в прошлом году об убийстве в Москве старого ростовщика? Убийца его, студент Зверев, до сих пор не найден... Теперь вы понимаете!?
— Душилов... Вы меня... с ума сведете.
— Еще бы! Я и сам хожу теперь, как потерянный!
— Боже мой... Такой симпатичный, скромный, непьющий...
Душилов развел руками.
— Это он-то непьющий?! Потомственный почетный алкоголик... Вчера он у вас не был?
— Не был.
— Вчера он ночевал в участке. Доктор говорит, что скоро будет белая горячка. Погибший парень!
— Я с ума сойду! Ведь он был такой добрый... Когда умерла его тетка, он пришел к нам и навзрыд плакал...
— Комедия! Если бы отрыть тетку и произвести экспертизу внутренностей...
— Господи! Вы думаете...
— Я уверен.
— Но каково это его сестре!
Душилов грубо расхохотался.
— Полноте! Вы имеете наивность думать, что это его сестра! У них в Могилеве была фабрика фальшивых монет, а познакомились они в Киеве, где оба обобрали одного сонного сахарозаводчика. Хорошая сестра!
На глазах девушки стояли слезы.
— Вы знаете, что он хотел на мне жениться?
— Знаю! Он вам говорил о своем намерении совершить свадебную поездку по Черному морю?
— Да... Мы так мечтали.
— Знайте же, слепая безумица, что вы должны были попасть в продажу на константинопольский рынок невольниц. У них с сестрой уже это все было устроено!..
Добрые, сочувственные глаза Душилова с искренним состраданием смотрели на девушку.

— Душилов... один вопрос: значит, он меня не любил?

— Видите ли... У него есть любовница — француженка Берта, отбывшая в прошлом году в парижском Сен-Лазаре наказание за кражи и разврат.

Девушка глухо, беззвучно плакала.

— Этого... я ему никогда не прощу.

— И не прощайте! Я вас вполне понимаю... Кстати, у вас столовое серебро в целости?

— Ка-ак? Неужели он дошел до этого?

— Ничего не скажу... Вы знаете, я не люблю сплетничать, но вчера мне удалось видеть у него две столовые ложки с инициалами вашей доброй мамы. Ну, мне пора. Прикажете передать Крошкину, alias[1] Звереву, от вас привет?

Девушка вскочила с растрепанной прической и гневным лицом:

— Скажите ему... что он самый низкий мерзавец! Что ему и имени нет!

— Так и скажу. Хотя имя у него есть, и даже целых четыре. Я еще скажу, что он, кроме мерзавца, поджигатель и детоубийца — я нисколько не ошибусь. Ну-с, всего доброго. Поклон уважаемому папаше!

Душилов ушел из сада в самом благодушном настроении.

III

На другой день он решил зайти к другу Крошкину поделиться удачными результатами.

Вбежавши, как всегда, без доклада, он заглянул в кабинет друга и увидел его в странной компании.

За столом сидел судебный следователь и сухо, официально спрашивал бледного, перепуганного Крошкина:

— Итак, убийство ростовщика вы решительно отрицаете? Лучше всего вам сознаться. Хорошо-с! А не скажете ли вы нам, чем вы занимались в прошлом году в Могилеве с вашей сообщницей, которую вы выдаете за сестру и которая так ловко оперировала в деле с сахарозаводчиком... Не согласитесь ли вы сознаться, что смерть вашей несчастной тетки ускорена не природой, а человеком, и этот человек были вы, — при соучастии любовницы, француженки Берты, которую полиция сегодня тщетно разыскивает. Не запирайтесь, вы видите, что правосудию все известно!..

---

[1] *Здесь:* ина́че (говоря) *(лат.)*.

Поездка в театр

Ловким, грациозным движением Коля Кинжалов подсадил Лизочку Миловидову на площадку трамвая, а потом, вслед за ней, так же грациозно вскочил и сам.

Коля Кинжалов в этот вечер чувствовал себя в особенном ударе. Был он в новом смокинге, лаковых ботинках, купленных по чрезвычайно удачному случаю, и теперь ехал с Лизочкой в театр, что сулило ему много впечатлений, прекрасных и захватывающе интересных.

— Пардон-с, пардон-с,— вежливо, но твердо говорил он стоявшей в проходе публике,— позвольте даме пройти вперед!

У него в уме уже назревала остроумная шутка, которую он скажет, получая от кондуктора билет. Это должно было рассмешить Лизочку, а, развеселившись, она будет еще плотнее прижиматься к его плечу и еще более мягким взглядом будет смотреть на него, сильного и умного Колю Кинжалова...

— Господа, пардон! Позвольте даме пройти вперед и, ради Бога, не толкайтесь.

Вагон неожиданно остановился.

Сделав испуганное лицо, Коля Кинжалов пошатнулся, растопырил руки, подпрыгнул и сел на колени какому-то дремавшему человеку в меховой куртке, пребольно наступив ему на ногу.

Господин встрепенулся, столкнул с себя Колю и сурово сказал:

— А чтобы тебя черти взяли! Медведь!!

Сердце Коли Кинжалова колыхнулось и провалилось куда-то далеко, далеко...

Он сразу, с ужасающей ясностью, почувствовал, что сейчас, после этого оскорбления, должно произойти что-то такое ужасное, такое неотвратимое и такое ничем уже непоправимое, после чего сотрется и исчезнет их поездка, театр, новый смокинг, купленные по чрезвычайно удачному случаю лаковые ботинки и даже сама Лизочка Миловидова — его первая благоуханная любовь.

Он оставил руку Лизочки, обернул свое пылавшее жаром лицо к господину в меховой куртке и тонким, срывающимся голосом, чувствуя за спиной Лизочку, вскричал:

— То есть... Это кто же медведь?!

— Вы — медведь, черти бы вас разорвали! Своей лапой вы совсем в лепешку расплющили мою ногу!

— Сейчас надо ударить,— лихорадочно быстро пронеслось в голове Коли Кинжалова.— Кулаком или ладошкой? Ладош-

кой лучше, потому что это считается пощечиной... Благороднее и оскорбительнее...

Коля вынул правую руку из кармана и дрожащим голосом сказал:

— Если вы смеете оскорбляться, то я... смею драться!! Я вам покажу сейчас.

Немедленно же Коля пожалел, что не ударил своего противника сразу: в таких случаях, обыкновенно, не разговаривают.

— Вы у меня узнаете, как оскорбляться!!.

— Чего-с?!

Господин вскочил, двинулся на Колю, и Коля сразу увидел, что господин выше его на целую голову...

— За такие оскорбления бьют...— болезненным шепотом вырвалось у Коли.

— Неужели? — иронически протянул вскочивший, расстегивая меховую куртку.— Неужели? А что, если я выдеру сейчас твои красные ушонки и засуну тебя под скамейку, как паршивого зайчонка! А?!

Кто-то из публики, с наслаждением дожидавшейся начала драки, засмеялся.

Мастеровой в издерганной шапчонке восторженно хлопнул себя по животу и взвизгнул:

— Бейтесь, братцы!

Истинный художник — он интересовался не результатом дела, а его процессом...

Двумя звонкими пощечинами прозвенели в ушах Коли Кинжалова незабываемые на всю жизнь слова:

— Красные ушонки.., паршивый зайчонок...

Падая в бездну, Коля, сам не зная для чего, схватил господина за руку и жалобно пролепетал:

— Нет... этого я так не оставлю...

Но тот уже странно, устало сгорбился, с оскорбительным равнодушием зевнул в самое лицо Коли и небрежно обратился к кондуктору:

— Конюшенная скоро?

— Сейчас остановка.

Господин стряхнул с себя Колину руку и, насвистывая, направился к выходу.

Цепляясь за меховую куртку, Коля шел за уходящим и плачущим голосом кричал, теряя по дороге остатки рыцарства:

— Нет, вы так не уйдете... Вы меня оскорбили...

— Ну!! — угрожающе обернулся тот.— Что нужно?!

— Вы ругались, вы оскорбляли меня, хорошо же...

Одной рукой Коля держал господина за рукав, а другой – неуклюже шарил в смокинге одеревеневшими пальцами бумажник.

— Ага... Вот! Если вы порядочный человек!

Коля вынул карточку и подал ее господину в меховой куртке. Ощущение чего-то невыносимо позорного и скверного стало исчезать, уступив место сознанию, что сейчас Коля думает и поступает, как решительный человек и джентльмен с твердыми правилами.

— Это что еще за комедия?

— Это не комедия... это моя карточка, с помощью которой я вызываю вас на дуэль!

— На дуэ-эль?!

Господин, не читая, потрепал карточкой по пальцам своей левой руки, скомкал карточку, бросил карточку на пол, сказал громко и раздельно:

— Ду-рак!

И вышел на площадку, ловко соскочил потом со ступеньки, еще до остановки вагона.

Коля двинулся вслед за ним и, перевесившись через перила, закричал:

— А, что, испугался, негодяй?! То-то! А то бы я переломал твои кривые ножонки! Трус, трус, подлец!!

Странно: Коля Кинжалов сделал, кажется, все, что полагалось порядочному человеку, но возвращался он к Лизочке со странным и неприятным ощущением высеченного человека...

И она его встретила странно: отдернула руку и нервно сказала:

— Садитесь уж!.. Вон свободное место.

Ехали молча.

Коля пожевал губами, проглотил обильную слюну и непринужденно начал:

— Его счастье, что удрал!.. А то бы...

Потом небрежно улыбнулся:

— Был у меня в Ялте тоже подобный случай, только с более печальным для того человека исходом... Сажусь я тоже таким же родом в трамвай и, представьте...

Коля говорил нарочно громко, чтобы его слышала и посторонняя публика.

— Сажусь я в трамвай и, представьте...

Сосед Лизы, отставной военный улыбнулся и сказал, обращаясь более к Лизе:

— Жаль только, что в Ялте нет трамвая!

Восторженный мастеровой захохотал. Усмехнулись и другие.

Коля наклонил голову и стал застегивать уже застегнутую пуговицу пальто.

— То есть не трамвай... а этот самый... как его...

— Дирижабль? — подсказал кто-то из угла.

Лизочка звонко расхохоталась. Коля насильственно улыбнулся и пошутил:

— Ну, вот... вы еще скажите: воздушный шар! Да... сажусь в дилижанс, а он меня, как-ак толкнет! — Извинитесь! — Не желаю. — Извинитесь! — Не желаю. — Ага... не желаете? — Схватил его, да в запертое окно — трах! — и выбросил. Двенадцать рублей потом взыскали с меня за разбитое стекло! Хе-хе-хе...

Все сконфуженно молчали.

Толстый купец, сосед Коли, закашлялся и, наклонившись, сплюнул. Плевок описал полукруг, попал на лакированный ботинок Коли и застыл на нем.

Лизочка это видела и заметила, что это видел и Коля. Коля, в свою очередь, чувствовал, что Лизочке известно позорное состояние его ботинка, но вместо того, чтобы потребовать от купца извинения, он потихоньку пододвинул ногу под скамейку и угрюмо, злобно проговорил:

— А то еще был со мной такой забавный слу...

— Ладно, пойдем, — нервно вскочила Лизочка. — Нам здесь сходить.

* * *

Коля Кинжалов и Лизочка, съежившись под мелким дождем, молча шли к театру.

Коля ненавидел и театр, и ботинок, и Лизочку, и себя — главным образом себя.

Сзади их кто-то догонял.

Мокрый мастеровой внезапно выпрыгнул из тьмы около электрического фонаря и, подойдя боком к Коле, негодующе и презрительно ткнул пальцем в его щеку.

— Эх, ты! Курица... Туда же... Отчего ты не свистнул ему по уху? Интеллигенты!

Обиженный мастеровой вздохнул и скрылся во тьме.

А Коля оперся плечом об электрический столб и, не стесняясь уже присутствия Лизочки, беззвучно плакал.

Провокатор

Начальник староовражского охранного отделения, ложась спать, обвязал платком лысую голову и сообщил жене, сладко зевая:

— Знаешь, душенька, я выписал для нашего отделения провокатора.

Жена сбросила с себя одеяло и, привставши, спросила:

— Молоденький?

— Бес его знает. Просто провокатор.

— Для чего же он тебе нужен?..

Муж поморщил лоб и отвечал точными словами доклада, который он подавал по этому поводу:

— На предмет имения в революционной среде верного человека для своевременного открытия имеющих быть сделанными террористических актов.

— Вечные глупости ты придумываешь! Где же это у нас, в Старом Овраге, террористические акты? После прошлого года, когда извозчик Куцыба побил городового Пурбуарова, я не помню ни одного акта.

— Ну, да! А дьякон Экклезиастов, который ниспровергал строй на крестинах у Меренчихи? А поручик Уныленко, стрелявший в портрет Льва Толстого, пожалованного высшим правительством в графы? А писарь Кургузин, скончавшийся в участке за призыв к неплатежу податей? Пока гидра революции... и тому подобное — нам необходимо завести провокатора.

Спали спокойно.

* * *

На другой день в кухне начальника сидел высокий угреватый парень с рыжими жиденькими волосами и пил чай.

От времени до времени он, для придания себе солидности, сопел, делал страшные глаза и шевелил толстым волосатым ухом.

В кухню вышел начальник, желая взглянуть на нового провокатора.

— Здравствуй, братец. Ты и есть самый провокатор?

Парень пошевелил ухом и загудел в стакан:

— Самый и есть бровокадор!!

— Как ты думаешь: есть тут у нас преступники?

Парень скосил глаз на кухарку, возившуюся у стола, и загадочно сказал:

— Оны везде есть!

Потом наклонился к уху начальника и тихо прогудел:

— Кухарка сейчас котлету в бумажке спрятала в стол. Не иначе, как полюбовнику!

— Неужели? Ах, подлая. Пойду жене скажу.

Вышла жена.

— Вы... провокатор?

— Так точно, сударыня!

— А скажите: террористы бывают страшные?

— Разные бывают. Есть страшные, есть не страшные.

— Вы их поймайте!

— Слушаю-с, сударыня.

Потом вышел маленький Ленька и, опершись на толстое колено парня, долго смотрел на него, не мигая.

— Ты пьявокатай?

— Ладно, барчук. Ты не очень об этом говори.

— А когда ты именинник?

— Нешто, дурашка, это имя? Это как бы должность, вроде вот — ваш папаша... А промежду прочим, я вас, парнишка, съем. Вот так — гам!

Парень открыл громадную пасть и зарычал. Ленька в ужасе бросился в детскую и до обеда сидел, притаившись за сундуком.

* * *

На другой день рыжий парень зашел в кабинет начальника и, таинственно подмигнув, зашептал:

— Неблагополучно у нас, ваше высокородие!

— Не может быть? В чем дело?

— Бонна, что с вашим дитем гуляла в саду, неблагополучна по поведению. С кадетом Персиковым целовалась.

Начальника передернуло.

— Вот что-с! Хорошо же... Впрочем, послушай: почему ты докладываешь мне об этом, когда это — дело частное?

Парень захихикал.

— Я вчера в окошечко видел ее в кабинете вашего высокородия. То, в рассуждении, что она и с вами, и с тем — считаю ее в этом недопустимой!

— Так ты, негодяй, за мной подглядываешь? Чтоб этого больше не было! Пошел вон.

Прошло три дня.

Вечером, когда начальница провожала через глухой сад молодого акцизника Лакированного и, проводив его, тихонько пробиралась в свою комнату, перед ней вырос из-за кустов, с загадочным выражением лица, провокатор.

— Барыня! Неблагополучно у нас.

Начальница вспыхнула и отрывисто спросила:

— Что?

— Во-первых, замечено мной, что Ленька сахар из буфета ворует, а также кухарка вчера в разговоре со мной назвала вас жидоморами, а также супруг ваш насчет бонны Олимпиады не прочен.

Оставив начальницу пораженной последним сведением, парень хлопотливо повернулся и с деловым видом побежал в кабинет начальника.

— Имею честь доложить,— сказал он, сочувственно кивая головой,— что госпожа ваша супруга с их благородием Лакированным находятся в презренных отношениях, в чем мной и выслежена. Также письмоводитель ваш утащил сегодня шесть листов графленой бумаги № 5.

От начальника он выскочил испуганный, с выражением ужаса на лице. Постояв за дверьми, вздохнул, тихонько пробрался к бонне и сообщил ей, что кадет Персиков ходит к доктору по накожным болезням, а у кухарки он видел в сундуке боннины подвязки.

Потом сидел весь вечер у кухарки и рассказал ей что-то такое, от чего она плакала до утра.

* * *

Утром в каморку провокатора зашел печальный, похудевший и оклеенный пластырем начальник с твердой целью отправить любознательного парня обратно.

Любознательный парень спал, истомленный, за столом, положив руки на исписанный лист, на котором было выведено кривым почерком:

«На основании секретно данного мне поручения выследить постановку дела в Старом Овраге, то сообщаю: дела запущены, начальник ничем не занимается и письмоводитель берет с политических за проживания взятки, а начальник казенным сургучом заклеивает частные письма...»

Поэт

— Господин редактор,— сказал мне посетитель, смущенно потупив глаза на свои ботинки,— мне очень совестно, что я беспокою вас. Когда я подумаю, что отнимаю у вас минутку драгоценного времени, мысли мои ввергаются в пучину мрачного отчаяния... Ради бога, простите меня!

— Ничего, ничего,— ласково сказал я,— не извиняйтесь.

Он печально свесил голову на грудь.

— Нет, что уж там... Знаю, что обеспокоил вас. Для меня, не привыкшего быть назойливым, это вдвойне тяжело.

— Да вы не стесняйтесь! Я очень рад. К сожалению только, ваши стишки не подошли.

— Э?

Разинув рот, он изумленно посмотрел на меня.

— Эти стишки не подошли??!

— Да, да. Эти самые.

— Эти стишки??!! Начинающиеся:

Хотел бы я ей черный локон
Каждое утро чесать
И, чтоб не гневался Аполлон,
Ее власы целовать...

Эти стихи, говорите вы, не пойдут?!

— К сожалению, должен сказать, что не пойдут именно эти стихи, а не какие-нибудь другие. Именно начинающиеся словами:

Хотел бы я ей черный локон...

— Почему же, господин редактор? Ведь они хорошие.

— Согласен. Лично я очень ими позабавился, но... для журнала они не подходят.

— Да вы бы их еще раз прочли!

— Да зачем же? Ведь я читал.

— Еще разик!

Я прочел в угоду посетителю еще разик и выразил одной половиной лица восхищение, а другой — сожаление, что стихи все-таки не подойдут.

— Гм... Тогда позвольте их... Я прочту! «Хотел бы я ей черный локон...»

Я терпеливо выслушал эти стихи еще раз, но потом твердо и сухо сказал:

— Стихи не подходят.

— Удивительно. Знаете что: я вам оставлю рукопись, а вы после вчитайтесь в нее. Вдруг да подойдет.

— Нет, зачем же оставлять?!

— Право, оставлю. Вы бы посоветовались с кем-нибудь, а?

— Не надо. Оставьте их у себя.

— Я в отчаянии, что отнимаю у вас секундочку времени, но...

— До свиданья!

Он ушел, а я взялся за книгу, которую читал до этого. Развернув ее, я увидел положенную между страниц бумажку. Прочел:

«Хотел бы я ей черный локон
Каждое утро чесать
И, чтоб не гневался Аполл...»

— Ах, черт его возьми! Забыл свою белиберду... Опять будет шляться! Николай! Догони того человека, что был у меня, и отдай ему эту бумагу.

Николай помчался вдогонку за поэтом и удачно выполнил мое поручение.

В пять часов я поехал домой обедать.

Расплачиваясь с извозчиком, сунул руку в карман пальто и нащупал там какую-то бумажку, неизвестно как в карман попавшую.

Вынул, развернул и прочел:

«Хотел бы я ей черный локон
Каждое утро чесать
И, чтоб не гневался Аполлон,
Ее власы целовать...»и т. д.

Недоумевая, как эта штука попала ко мне в карман, я пожал плечами, выбросил ее на тротуар и пошел обедать.

Когда горничная внесла суп, то, помявшись, подошла ко мне и сказала:

— Кухарка чичас нашла на полу кухни бумажку с написанным. Может, нужное.

— Покажи.

Я взял бумажку и прочел:

— «Хотел бы я ей черный ло...» Ничего не понимаю! Ты говоришь, в кухне, на полу? Черт его знает... Кошмар какой-то!

Я изорвал странные стихи в клочья и в скверном настроении сел обедать.

— Чего ты такой задумчивый? — спросила жена.

— Хотел бы я ей черный ло... Фу ты черт!! Ничего, милая. Устал я.

За десертом в передней позвонили и вызвали меня... В дверях стоял швейцар и таинственно манил меня пальцем.

— Что такое?

— Тс... Письмо вам! Велено сказать, что от одной барышни... Что оне очень, мол, на вас надеются и что вы их ожидания удовлетворите!..

Швейцар дружелюбно подмигнул мне и хихикнул в кулак.

В недоумении я взял письмо и осмотрел его. Оно пахло духами, было запечатано розовым сургучом, а когда я, пожав плечами, распечатал его, там оказалась бумажка, на которой было написано:

«Хотел бы я ей черный локон...»

Все от первой до последней строчки.

В бешенстве изорвал я письмо в клочья и бросил на пол. Из-за моей спины выдвинулась жена и в зловещем молчании подобрала несколько обрывков письма.

— От кого это?

— Брось! Это так... глупости. Один очень надоедливый человек.

— Да? А что это тут написано?.. Гм... «Целовать»... «аждое утро»... «черны... локон...» Негодяй!

В лицо мне полетели клочки письма. Было не особенно больно, но обидно.

Так как обед был испорчен, то я оделся и, печальный, пошел побродить по улицам. На углу я заметил около себя мальчишку, который вертелся у моих ног, пытаясь всунуть в карман пальто что-то беленькое, сложенное в комочек. Я дал ему тумака и, заскрежетав зубами, убежал.

На душе было тоскливо. Потолкавшись по шумным улицам, я вернулся домой и на пороге парадных дверей столкнулся с нянькой, которая возвращалась с четырехлетним Володей из кинематографа.

— Папочка! — радостно закричал Володя.— Меня дядя держал на руках! Незнакомый... дал шоколадку... бумажечку дал... Передай, говорит, папе. Я, папочка, шоколадку съел, а бумажечку тебе принес.

— Я тебя высеку,— злобно закричал я, вырывая из его рук бумажку со знакомыми словами: «Хотел бы я ей черный локон»...— Ты у меня будешь знать!..

Жена встретила меня пренебрежительно и с презрением, но все-таки сочла нужным сообщить:

— Был один господин здесь без тебя. Очень извинялся за беспокойство, что принес рукопись на дом. Он оставил ее тебе для прочтения. Наговорил мне массу комплиментов,— вот это

настоящий человек, умеющий ценить то, что другие не ценят, меняя *это то* на продажных тварей,— и просил замолвить словечко за его стихи. По-моему, что ж, стихи как стихи... Ах! Когда он читал о локонах, то так смотрел на меня...

Я пожал плечами и пошел в кабинет. На столе лежало знакомое мне желание автора целовать чьи-то власы. Это желание я обнаружил и в ящике с сигарами, который стоял на этажерке. Затем это желание было обнаружено внутри холодной курицы, которую с обеда осудили служить нам ужином. Как это желание туда попало, кухарка толком объяснить не могла.

Желание чесать чьи-то власы было усмотрено мной и тогда, когда я откинул одеяло с целью лечь спать. Я поправил подушку. Из нее выпало то же желание.

* * *

Утром после бессонной ночи я встал и, взявши вычищенные кухаркой ботинки, пытался натянуть их на ноги, но не мог, так как в каждом лежало по идиотскому желанию целовать чьи-то власы.

Я вышел в кабинет и, севши за стол, написал издателю письмо с просьбой об освобождении меня от редакторских обязанностей.

Письмо пришлось переписывать, так как, сворачивая его, я заметил на обороте знакомый почерк:

«Хотел бы я ей черный локон...»

День госпожи Спандиковой

День госпожи Спандиковой начался обычно.

С утра она поколотила сына Кольку, выругала соседку по даче «хронической дурой» и «рыжей тетехой», а потом долго причесывалась.

Причесавшись, долго прикалывала к голове модную шляпу и долго ругала прислугу за какую-то зеленую коробку.

Когда зеленая коробка забылась обеими спорящими сторонами, а вместо этого прислуга выставила ряд основательных возражений против поведения Кольки, госпожа Спандикова неожиданно вспомнила о городе и, схватив за руки сына Кольку и дочь Галочку, помчалась с ними к вокзалу.

В городе она купила десять фунтов сахарного песку, цветок в глиняном горшке и опять колотила Кольку.

Колька наружно отнесся к невзгодам своей молодой жизни равнодушно, но тайно поклялся отомстить своей матери при первом удобном случае.

Направляясь к вокзалу, госпожа Спандикова засмотрелась на какого-то красивого молодого человека, вздохнула, сделала грустные глаза и сейчас же попала под оглоблю извозчика.

Извозчик сообщил, что считает ее чертовой куклой, а госпожа Спандикова высказала соображение, что извозчик мерзавец и что долг подсказывает ей довести о его поведении до сведения какого-то генерал-прокурора.

Но извозчик уже уехал, и госпожа Спандикова, схватив за руки сына Кольку и дочь Галочку, помчалась на вокзал.

Колька, сахар, госпожа Спандикова и цветок поместились в вагоне, а Галочка куда-то делась. Так как искать ее по вокзалу было поздно, то, когда тронулся поезд, госпожа Спандикова успокоилась.

— Дрянная девчонка вернется на городскую квартиру и переночует у соседки Наседкиной.

Поезд мчался. Стоя на площадке вагона, госпожа Спандикова разговаривала с жирной женщиной, не обращая внимания на Кольку. А Колька вынул ножик и тихонько пропорол им мешочек с сахарным песком.

Когда поезд остановился на промежуточной станции, госпожа Спандикова почувствовала, что мешочек сделался легок и сначала радовалась, но потом, ахнув, бросилась из вагона в хвост поезда подбирать сахар.

Поезд же, неожиданно для госпожи Спандиковой, тронулся и умчался, унося сына Кольку, а подобрать сахарный песок оказалось задачей невыполнимой, потому что он растянулся на целую версту и перемешался с настоящим песком.

— Мука моя мученская! — простонала госпожа Спандикова и бросила пустой мешочек. С полчаса побродила бесцельно по пути и, вздохнув, решила идти до своей дачи пешком.

Из Галочки, сахара, цветка, Кольки и госпожи Спандиковой осталось двое: Спандикова и цветок, от которого горшок отвалился на рельсу и разбился, так как владелица растения держала его за верхушку.

Вернувшись на дачу с верхушкой цветка, госпожа Спандикова долго колотила Кольку, но не за его проделку с мешком, а за то, что поезд двинулся раньше времени, необходимого госпоже Спандиковой для сбора сахара.

* * *

Перед обедом госпожа Спандикова отправилась купаться и, так как долго не возвращалась, то муж обеспокоился и, пообедав, пошел за ней.

Он нашел ее сидящей на нижней ступеньке лестницы, около самой воды, уже одетой, но горько плачущей.

— Чего ты? — спросил господин Спандиков.

— Я потеряла обручальное кольцо в воде, — всхлипнула госпожа Спандикова.

— Ну? Очень жаль. Впрочем, что же делать — потеряла, значит, и нет его. Пойдем.

— Как пойдем? — вспыхнула госпожа Спандикова. — Так может говорить только старый осел!

— Чего ты ругаешься? Кто же может быть виноват в том, что кольцо пропало?

Так как кольцо в свое время было подарено мужем, то госпожа Спандикова, призадумавшись, ответила:

— Ты.

— Ну ладно, ну я... Пойдем, милая.

— Как пойдем?! Кольцо необходимо найти.

— Я куплю другое. Пойдем, милая.

— Он купит другое! Да неужели ты не знаешь, что потерять обручальное кольцо, значит — большое несчастье.

— Первый раз слышу!

— Он первый раз слышит!.. Это известно всякому младенцу.

— Ну, я иду домой.

— Он пойдет домой! Неужели ты не догадываешься, что тебе нужно сделать?

— Купить другое? — пошутил муж.

Госпожа Спандикова всплеснула руками.

— Он купит другое! Раздевайся сейчас же и лезь в воду. Я не могу уйти без кольца... Это принесет нам страшное несчастье.

— Да мне не хочется.

— Лезь.

Между супругами возгорелся жаркий спор, результатом которого явилось то, что господин Спандиков разделся и, морщась, полез в воду.

— Ищи тут!

Он нырнул и, наткнувшись ухом на какой-то камень, вылез обратно.

— Ищи же тут! Нырни еще.

Муж нырнул еще. Потом, отфыркиваясь, спросил:

— Разве ты в этом месте купалась?

— Нет... вот здесь! Но я думаю, что течением отнесло его в эту сторону.

— Да течение не оттуда, а отсюда.

— Не может быть... Почему же, когда мы купались у Красной рощи, течение было отсюда?

— Потому что мы были на том берегу реки.

— Это все равно! Ищи!

Посиневший, дрожащий господин Спандиков нырнул и потом вылез на лесенку, грустный, с искаженным лицом...

— Не могу больше! — прохрипел он.

— Это еще что за новости?!

— Я только что пообедал, а ты меня держишь полчаса в холодной воде. Это может отразиться плохо для моего здоровья.

— Вот глупости! А если мы не найдем кольца, то примета говорит, что с нами приключится несчастье... Поищи еще здесь...

* * *

Солнце уже закатилось, а госпожа Спандикова наклонялась к мужу и кричала:

— Поищи еще вот тут! В то время, когда я купалась, дул северо-восточный ветер...

В сущности, ветер указанного госпожой Спандиковой направления не дул, да и сама она не знала, какое он имел отношение к местопребыванию кольца, но, тем не менее, господин Спандиков, зеленый, как лягушка, покорно окунался в воду и потом, отдуваясь, поднимался со странной, маленькой от мокрых волос головой и слипшейся бородкой.

Вернулись вечером.

Господин Спандиков лег в постель и все время дрожал, хотя его укрыли теплым одеялом. Потом ему дали коньяку, но у него появилась рвота. В одиннадцать с половиной часов господин Спандиков умер . . . .

. . . .

На даче все оживилось.

Послышался вой прислуги, плач детей и рыдания самой госпожи Спандиковой.

Чтобы разделить с кем-нибудь горе, госпожа Спандикова послала за соседкой, названной ею утром «хронической дурой» и «рыжей тетехой».

Забыв обиду, хроническая дура пришла и долго выслушивала жалобы на жестокую судьбу.

Сочувствовала.

Утром рыжая соседка говорила своему мужу:

— Видишь! А ты еще не верил приметам. Спандиковы-то, что живут рядом с нами... Вчера жена потеряла обручальное кольцо. Это страшно скверная примета!

— Ну? — спросил муж хронической дуры.

— Ну — и в тот же день у нее умирает муж! Можешь себе представить?

Страшный человек

I

В одной транспортной конторе (перевозка и застрахование грузов) служил помощником счетовода мещанин Матвей Петрович Химиков.

Снаружи это был человек маленького роста, с кривыми ногами, бледными, грязноватого цвета глазами и большими красными руками. Рыжеватая растительность напоминала редкий мох, скупо покрывающий какую-нибудь северную скалу, а грудь была такая впалая, что коснуться спины ей мешали только ребра, распиравшие бока Химикова с таким упорством, которое характеризует ребра всех тощих людей.

Это было снаружи. А внутри Химиков имел сердце благородного убийцы: аристократа духа и обольстителя прекрасных женщин. Какая-нибудь заблудившаяся душа рыцаря прежних времен, добывавшего себе средства к жизни шпагой, а расположение духа — любовью женщин, набрела на Химикова и поселилась в нем, мешая несчастному помощнику счетовода жить так, как живут тысячи других помощников счетовода.

Химикову грезились странные приключения, бешеная скачка на лошадях при лунном свете, стрельба из мушкетов, ограбление проезжих дилижансов, мрачные таверны, наполненные подозрительными личностями с нахлобученными на глаза шляпами и какие-то красавицы, которых Химиков неизменно щадил, тронутый их молодостью и слезами. В это же самое время Химикову кричали с другого стола:

— Одно место домашних вещей. Напишите квитанцию, два пуда три фунта.

Химиков писал квитанцию, но когда занятия в конторе кончались, он набрасывал на плечи длинный плащ, нахлобучивал на глаза широкополую шляпу и, озираясь, шагал по улице, похожий на странного, дурацкого вида разбойника.

Под плащом он всегда держал на всякий случай кинжал, и если бы по дороге на него было произведено нападение, помощник счетовода захохотал бы жутким, зловещим смехом и всадил бы кинжал в грудь негодяя по самую рукоять.

Но или негодяям было не до него, или людные улицы, по которым он гордо шагал, вызывая всеобщее удивление, не заключали в себе того сорта негодяев, которые набрасываются среди тьмы народа на путников.

II

Химиков благополучно добирался домой, с отвращением съедал обед из двух блюд с вечным киселем на сладкое.

Из-за обеда у него с хозяйкой шла вечная, упорная борьба.

— Я не хочу вашего супа с битком,— говорил он обиженно.— Разве нельзя когда-нибудь дать мне простую яичницу, кусок жаренного на вертеле мяса и добрый глоток вина?

О жаренном на вертеле мясе и яичнице он мечтал давно, но бестолковая хозяйка не понимала его идеалов, оправдываясь непитательностью такого меню.

Он хотел сделать так.

Съесть, надвинув на глаза шляпу, мясо, запить добрым глотком вина, закутаться в плащ и лечь на ковер у кровати, чтобы выспаться перед вечерними приключениями.

Но, раз не было жаренного на вертеле мяса и прочего, эффектный отдых в плаще на полу не имел смысла, и помощник счетовода отправлялся на вечерние приключения без этого.

Вечерние приключения состояли в том, что Химиков брал свой вечный кинжал, кутался в плащ и шел, озираясь, в трактир «Черный Лебедь».

Этот трактир он избрал потому, что ему очень нравилось его название «Черный Лебедь», что там собирались подонки населения города и что низкие, закопченные комнаты трактира располагали к разного рода мечтам о приключениях.

Химиков пробирался в дальний угол, садился, драпируясь в свой плащ, и старался сверкать глазами из-под надвинутой на них шляпы.

И всегда он таинственно озирался, хотя за ним никто не следил и мало кто интересовался этой маленькой фигуркой в театральном черном плаще и шляпе, с выглядывающими из-под нее тусклыми глазами, которые никак не могли засверкать, несмотря на героические усилия их обладателя.

Усевшись, помощник счетовода хлопал в ладоши и кричал срывающимся голосом:

— Эй, паренек, позови ко мне трактирщика! Что там у него есть?

— Их нет-с,—говорил обычно слуга.—Они редко бывают. Что прикажете? Я могу подать.

— Дай ты мне пива, только не в бутылке, а вылей в какой-нибудь кувшин. Да прикажи там повару зажарить добрую яичницу. Ха-ха!—грубо смеялся он, хлопая себя по карману.—Старый Матвей хочет сегодня погулять: он сделал сегодня недурное дельце.

Слуга в изумлении смотрел на него и потом, приняв прежний апатичный вид, шел заказывать яичницу.

«Дельце» Химикова состояло в том, что он продал какому-то из купцов-клиентов имевшееся у него на комиссии деревянное масло, но со стороны казалось, что заработанные Химиковым три рубля обрызганы кровью ограбленного ночного путника.

Когда приносили яичницу и пиво, он брал кувшин, смотрел его на свет и с видом записного пьяницы приговаривал:

— Доброе пиво! Есть чем Матвею промочить глотку.

И в это время он, маленький, худой, забывал о конторе, «домашних местах» и квитанциях, сидя под своей громадной шляпой и уничтожая добрую яичницу, в полной уверенности, что на него все смотрят с некоторым страхом и суеверным почтением.

III

Вокруг него шумела и ругалась городская голытьба, он думал: «Хорошо бы набрать шаечку человек в сорок, да и навести ужас на все окрестности. Кто,—будут со страхом спрашивать,—стоит во главе? Вы не знаете? Старый Матвей. Это—страшный человек! Потом княжну какую-нибудь украсть...»

Он шарил под плащом находившийся там между складками кинжал и, найдя, судорожно сжимал рукоятку.

Покончив с яичницей и пивом, расплачивался, небрежно бросал слуге на чай и, драпируясь в плащ, удалялся.

«Хорошо бы,— подумал он,— если бы у дверей трактира была привязана лошадь. Вскочил бы и ускакал».

И помощник счетовода чувствовал такой прилив смелости, что мог идти на грабеж, убийство, кражу, но непременно у богатого человека («эти деньги я все равно отдал бы нуждающимся»).

Если по пути попадался нищий, Химиков вынимал из кармана серебряную монету (несмотря на скудость бюджета, он никогда не вынул бы медной монеты) и, бросая ее барским жестом, говорил:

— Вот... возьми себе.

При этом монету бросал он на землю, что доставляло нищему большие хлопоты и вызывало утомительные поиски, но Химиков понимал благотворительность только при помощи этого эффектного жеста, никогда не давая монету в руку попрошайке.

IV

У помощника счетовода был один только друг — сын квартирной хозяйки, Мотька, в глазах которого раз навсегда застыл ужас и преклонение перед помощником счетовода.

Было ему девять лет. Каждый вечер с нетерпением ждал он той минуты, когда Химиков, вернувшись из трактира, постучит к его матери в дверь и крикнет:

— Мотя! Хочешь ко мне?

Замирая от страха и любопытства, Мотька робко входил в комнату Химикова и садился в уголок.

Химиков в задумчивости шагал из угла в угол, не снимая своего плаща, и наконец останавливался перед Мотькой.

— Ну, тезка... Было сегодня жаркое дело.

— Бы-ло? — спрашивал Мотька, дрожа всем телом.

Химиков зловеще хохотал, качал головой и, вынув из кармана кинжал, делал вид, что стирает с него кровь.

— Да, брат... Купчишку одного маленько пощипали. Золота было немного, но шелковые ткани, парча — чудо что такое.

— А что же вы с купцом сделали? — тихо спросил бледный Мотька.

— Купец? Ха-ха! Если бы он не сопротивлялся, я бы, пожалуй, отпустил бы его. Но этот негодяй уложил лучшего из моих молодцов — Лоренцо, и я, ха-ха, поквитался с ним!

— Кричал? — умирающим шепотом спрашивал Мотька, чувствуя, как волосы тихо шевелятся у него на голове.

— Не цыкнул. Нет, это что... Это забава сравнительно с делом старухи Монморанси.

— Какой... старухи? — прижимаясь к печке, спрашивал Мотька.

— Была, брат, такая старуха... Мои молодцы пронюхали, что у нее водятся деньжата. Хорошо-с... Отравили мы ее пса, один из моей шайки подпоил старого слугу этой ведьмы и открыл нам двери... Но каким-то образом полицейские ищейки пронюхали. Ха-ха! Вот-то была потеха! Я четырех уложил... Ну, и мне попало! Две недели мои молодцы меня в овраге отхаживали.

Мотька смотрел на помощника счетовода глазами, полными любви и пугливого преклонения, и шептал пересохшими губами:

— А сколько... вы вообще человек... уложили?

Химиков задумывался:

— Человек... двадцать, двадцать пять. Не помню, право. А что?

— Мне жалко вас, что вы будете на том свете в котле кипеть...

Химиков подмигивал и бил себя кулаками по худым бедрам.

— Ничего, брат, зато я здесь, на этом свете, натешусь всласть... а потом можно и покаяться перед смертью. Отдам все свое состояние на монастыри и пойду босой в Иерусалим...

Химиков кутался в плащ и мрачно шагал из угла в угол.

— Покажите мне еще раз ваш кинжал, — просил Мотька.

— Вот он, старый друг, — оживлялся Химиков, вынимая из-под плаща кинжал. — Я-таки частенько утоляю его жажду. Ха-ха! Любит он свежее мясо... Хах-ха!

И он, зловеще вертя кинжалом, озирался, закидывая конец плаща на плечо и худым пальцем указывал на ржавчину, выступившую на клинке от сырости и потных рук.

Потом Химиков говорил:

— Ну, Мотя, устал я после всех этих передряг. Лягу спать.

И, закутавшись в плащ, ложился, маленький, бледный, на ковер у кровати.

— Зачем вы предпочитаете пол? — почтительно спрашивал Мотька.

— Э-э, брат! Надо привыкать... Это еще хорошо. После ночей в болотах или на ветвях деревьев это — царская постель.

И он, не дождавшись ухода Мотьки, засыпал тяжелым сном.

Мотька долго сидел подле него, глядя с любовью и страхом в скупо покрытое рыжими волосами лицо.

И вдвойне ужасным казалось ему, то что весь Химиков — такой маленький, жалкий и незначительный. И что под этой незначительностью скрывается опасный убийца, искатель приключений и азартный игрок в кости.

Насмотревшись на лицо спящего помощника счетовода, Мотька заботливо прикрывал его сверх плаща одеялом, гасил лампу и на цыпочках, стараясь не потревожить тяжелый сон убийцы, уходил к себе.

V

Помощник счетовода Химиков, благородный авантюрист, рыцарь и искатель приключений, всей душой привязанный к отошедшему в вечность,— закопченным тавернам, нападениям на дилижансы и мастерским ударам кинжала,— влюбился.

Его идеал,— бледная, стройная графиня, сидящая на козетке в старинном барском доме,— нашел воплощение в девице без определенных занятий — Полине Козловой, если иногда и бледной, то не от благородного происхождения, а от бессонных ночей, проводимых ею не совсем согласно с кодексом обычной добродетели.

Однажды, когда дико живописный Химиков шагал аршинными решительными шагами по улице, закутанный в свой вечный плащ и прикрытый сверху чудовищной шляпой, он услышал впереди себя разговор:

— Очень даже это нетактично приставать к незнакомым девушкам.

— Сударыня, Маруся... Я уверен, что такое очаровательное существо может именоваться только Марусей... Маруся! Не вносите аккорда в диссонанс нашей мимолетной встречи. Позвольте быть вам проводимой мной. Где вы живете?

— Ишь, чего захотели. Никогда я не скажу вам, хотя бы вы проводили меня до самого дома на Московской улице, номер семь... Ах, что я сказала! Я, кажется, проговорилась... Нет, забудьте, забудьте, что я вам сказала!

Подслушивание Химиков считал самым неблагородным делом, но когда до него донесся этот разговор, его мужественное сердце наполнилось состраданием к преследуемой и бешеным негодованием против гнусного преследователя.

— Милостивый государь! — загремел он, приблизившись к дон-жуану и смотря на него снизу вверх.— Оставьте эту беззащитную девушку, или вы будете иметь дело со мной!

Беззащитная девушка с некоторым неудовольствием взглянула на мужественного Химикова, а ее кавалер сердито вырвал руку и закричал:

— Кто вы такой, черти вас раздери?

— Негодяй! Я тот, которого провидение нашло нужным послать в критическую для этого существа минуту. Защищайся!

Противник Химикова, громадный, толстый блондин, сжал кулак, но вид маленького Химикова, бешено извивавшегося у его ног с кинжалом в руке, заставил его отступить.

— Ч-черт з-знает, что такое,— пробормотал он, отскакивая от бледной, худой руки, которая бешено чертила кинжалом вокруг него замысловатые круги и восьмерки.— Черт знает... решительно не понимаю...— оторопело промычал блондин и стал быстрыми шагами удаляться от Химикова, оставшегося около девицы.

VI

— Сударыня,— сказал Химиков, снимая свою черную странную шляпу и опуская ее до самой земли.— Прошу извинений, если ваше ухо было оскорблено несколькими грубыми словами, произнести которые вынудила меня необходимость. Ха-ха!— зловеще захохотал Химиков.— Парень, очевидно, боится запаха крови и ловко избежал маленького кровопускания... Ха-ха-ха!

— Кто вы такой?— спросила изумленная Полина Козлова, осматривая Химикова.

— Я...

Химикову неловко было сказать, что его фамилия Химиков и что он служит помощником счетовода в транспортной конторе. Он опустил голову, забросил конец плаща на плечо и, как будто стряхнувши с себя что-то, сказал:

— Когда-нибудь... когда будет возможно, человек с черной бородой явится к вам, покажет этот кинжал и сообщит, кто я... Пока же... сударыня, не забывайте, что город этот страшен. Он таит совершенно неизвестные вам опасности, и нужно иметь мою звериную хитрость и ловкость, чтобы избежать их. Но вы... Как ваши престарелые родители рискуют отпустить вас в эту страшную ночь... Не найдете ли вы удобным соблаго-

волить дать мне милостивое разрешение предложить сопутствовать вам до вашего дома.

— Ну что ж, можно,— усмехнулась Полина Козлова.

Химиков взял девушку под руку и, свирепо озираясь на встречных прохожих, бережно повел ее по улице. Через сто шагов он уже узнал, что у его спутницы нет родителей и что она носит фамилию — Полина Козлова.

— Так молоды и, увы, беззащитны,— прошептал Химиков, тронутый ее историей.— Скорбь об утрате ваших почтенных родителей смешивается в моей душе со сладкой надеждой быть вам чем-нибудь полезным и принять на свою грудь направленные на вас удары злобной интриги и происки вра...

— Покатайте меня на автомобиле,— сказала девушка, щуря на Химикова глаза.

По своим убеждениям Химиков ненавидел автомобили, предпочитая им старые добрые дилижансы. Но желание женщины было для него законом.

— Сударыня, вашу руку...

Они долго катались на автомобиле, а потом девушка проголóдалась и заявила, что хочет в ресторан.

Химиков не возражал ей ни слова, но про себя решил, что если в ресторане у него не хватит денег, он выйдет в переднюю и там заколется кинжалом. Пусть лучше над ним нависнет роковая тайна, чем прозаический отказ в ужине. В кабинете ресторана девушка поправила растрепавшуюся прическу, подошла к Химикову и, севши на его худые, неверные колени, поцеловала помощника счетовода в щеку.

Сердце Химикова затрепетало и оборвалось.

— Суд... Полина. Вв... вы... меня... полюбили! О, пусть эта неожиданно вспыхнувшая страсть будет залогом моего стремления посвятить вам отныне мою жизнь.

— Дайте папиросу,— попросила Полина, разглаживая его редкие рыжие волосы.

— Грациозная шалунья! Резвящаяся сирота!— в экстазе воскликнул Химиков и прижал девушку к своей груди.

После ужина Химиков проводил Полину домой, у подъезда ее дома снял шляпу, низко, почтительно поклонился и, поцеловав руку, удалился, закутанный в свой длинный плащ.

Сбитая с толку девушка удивленно посмотрела ему вслед, улыбнулась и сказала:

— Сегодня я сплю одна.

Это был самый редкий и курьезный случай в ее жизни.

VII

Химиков зажил странной жизнью.

Транспортную контору, трактир «Черный Лебедь», добрый кувшин пива — все это поглотило молодое поэтичное чувство, загоревшееся в его тощей груди.

Он часто встречался с Полиной и, рыцарски вежливый, рабски исполнял все капризы девушки, очень полюбившей автомобили и театральные представления. Долги зловещего авантюриста росли с головокружительной быстротой, и ряд прозаических неприятностей обрушился на его бедную голову. В конторе стали коситься на его небрежность в писании квитанций и вечные просьбы жалованья вперед. Хозяйка перестала получать за квартиру и почти не кормила иссохшего от страсти и лишений Химикова.

И Химиков, голодный, лишенный даже «доброй яичницы» в трактире «Черный Лебедь», ждал с нетерпением вечера, когда можно было накинуть плащ и, захватив кинжал и маску (маска появилась в самое последнее время, как атрибут любовного похождения), отправиться на свидание.

Полина Козлова была нехорошей девушкой.

Химикову изменяли — он не замечал этого. Над Химиковым смеялись — он считал это оригинальным выражением любви. Химикова разоряли — он был слишком поэтичной натурой, чтобы обратить на это внимание...

И наступило крушение.

VIII

Как всякому авантюристу, Химикову дороже всего было его оружие, и Химиков берег кинжал, как зеницу ока.

Но однажды Полина сказала:

— Принесите завтра конфект.

И разоренный Химиков на другой день без колебаний завернул кинжал в бумагу и понес его торговцу старинными вещами.

— Что это? — спросил удивленный торговец.

— Кинжал. Это мой старый друг, сослуживший мне не одну службу, — печально сказал Химиков, запахиваясь в плащ.

— Это простой нож для разрезывания книг, а не кинжал, — улыбнулся торговец. — С чего вы взяли, что он кинжал? Таких можно купить по семи гривен где угодно. Даже более новых, не заржавленных.

Изумленный Химиков взял свой кинжал и побрел домой. В голове его мелькала мысль, что сегодня можно к Полине не пойти, а завтра сказать, что с ним случилось странное приключение: какие-то неизвестные люди похитили его, увезли в карете и продержали сутки в таинственном подземелье.

IX

А на другой день, так как вопрос о конфектах не разрешился, Химиков решил ограбить кого-нибудь на улице.

Решил он это без всяких колебаний и сомнений. Ограбить богатого человека он считал вовсе не позорным делом, твердо стоя на точке зрения рыцарей прошлых веков, не особенно разборчивых в сложных вопросах морали.

Тут же он решил, если ограбит большую сумму, отдать излишек бедным.

Закутанный в плащ, с кинжалом в руке, Химиков в тот же вечер отправился на улицы города, зорко оглядываясь по сторонам.

Все было как следует. Ветер рвал полы его плаща, луна пряталась за тучами, и прохожих было немного. Химиков притаился в какой-то впадине стены и стал ждать.

Гулкие шаги по пустынной улице возвестили помощнику счетовода о приближении добычи. Вдали показался господин, одетый в дорогое пальто и лоснящийся цилиндр. Химиков судорожно сжал кинжал, выскользнул из засады и предстал — маленький, в громадной шляпе, как чудовищный гриб — перед прохожим.

— Ха-ха-ха! — жутким смехом захохотал он. — Нет ли денег?

— Бедняга! — сострадательно сказал господин, приостанавливаясь. — В такую холодную ночь просить милостыню... Это ужасно. На тебе двугривенный, пойди, обогрейся!

Химиков зажал в кулак всунутый ему в руку двугривенный и, лихорадочно стуча зубами, пустился бежать по улице. Голова его кружилась, и так странно окончившийся грабеж наполнял сердце обидой. Черной, странной птицей несся он по улице, а ветер, как крыльями, шлепал полами его плаща и продувал удивительного помощника счетовода.

X

Химиков лежал на своей убогой кровати, смотря остановившимся взглядом в потолок.

Около него сидел неутешный хозяйский сын Мотька и, со слезами на грязном лице, гладил бледную руку Химикова.



— Да... брат... Мотя,— подмигнул ему Химиков,— много я грешил на своем веку, и вот теперь расплата.

— Мама говорила, что, может, не умрете,— попытался обрадовать страшного счетовода Мотька.

— Нет уж, брат... Пожито, пограблено, выпущено крови довольно. Мотя, у меня не было друзей, кроме тебя. Хочешь, я тебе подарю, что мне дороже всего,— мой кинжал?

На минуту Мотькины глаза засверкали радостью.

— Спасибо, Матвей Петрович! Я тоже, когда выросту, буду им убивать.

— Ха-ха-ха! — зловеще засмеялся Химиков.— Вот он, мой наследник и продолжатель моего дела! Мотя, жди, когда придут к тебе трое людей в плащах, с винтовками в руках,— тогда начинайте действовать. Пусть льется кровь сильных в защиту слабых.

Он оборвал разговор и затих.

Уже несколько времени Химиков ломал голову над разрешением одного вопроса: какие сказать ему последние предсмертные слова: было много красивых фраз, но все они не нравились Химикову.

И он мучительно думал.

Над Химиковым склонился доктор и Мотькина мать.

— Кто он такой? — шепотом спросил доктор, удивленно смотря на висевшую в углу громадную шляпу и плащ.

— Лекарь,— с трудом сказал Химиков, открывая глаза,— тебе не удастся проникнуть в тайну моего рождения. Ха-ха-ха!

Он схватился за грудь и прохрипел:

— Души загубленных мной толпятся перед моими глазами длинной вереницей... Но дам я за них ответ только перед престолом всевышн... Засни, Красный Матвей!

И затих.

Люди четырех измерений

I

— Удивительно они забавные! — сказала она, улыбаясь мечтательно и рассеянно.

Не зная, хвалит ли женщина в подобных случаях или порицает, я ответил, стараясь быть неопределенным:

— Совершенно верно.— Это частенько можно утверждать, не рискуя впасть в ошибку.

— Иногда они смешат меня.

— Это мило с их стороны,— осторожно заметил я, усиливаясь ее понять.

— Вы знаете, он — настоящий Отелло.

Так как до сих пор мы говорили о старике-докторе, их домашнем враче, то я, удивленный этим странным его свойством, возразил:

— Никогда этого нельзя было подумать!

Она вздохнула.

— Да. И ужасно сознавать, что ты в полной власти такого человека. Иногда я жалею, что вышла за него замуж. Я уверена, что у него голова расшиблена до сих пор.

— Ах, вы говорите о муже! Но ведь он...

Она удивленно посмотрела на меня.

— Голова расшиблена не у мужа. Он ее сам расшиб.

— Упал, что ли?

— Да нет. Он ее расшиб этому молодому человеку.

Так как последний раз разговор о молодых людях был у нас недели три тому назад, то «этот молодой человек», если она не называла так доктора, был, очевидно, для меня личностью совершенно неизвестной.

Я беспомощно взглянул на нее и сказал:

— До тех пор, пока вы не разъясните причины несчастья с «молодым человеком», судьба этого незнакомца будет чужда моему сердцу.

— Ах, я и забыла, что вы не знаете этого случая! Недели три тому назад мы шли с ним из гостей, знаете, через сквер. А он сидел на скамейке, пока мы не попали на полосу электрического света. Бледный такой, черноволосый. Эти мужчины иногда бывают удивительно безрассудны. На мне тогда была большая черная шляпа, которая мне так к лицу, и от ходьбы я очень разрумянилась. Этот сумасброд внимательно посмотрел на меня и вдруг, вставши со скамьи, подходит к нам. Вы понимаете — я с мужем. Это сумасшествие. Молоденький такой. А муж, как я вам уже говорила,— настоящий Отелло. Подходит, берет мужа за рукав. «Позвольте,— говорит,— закурить». Александр выдергивает у него руку, быстрее молнии наклоняется к земле и каким-то кирпичом его по голове — трах! И молодой человек, как этот самый... сноп,— падает. Ужас!

— Неужели, он его приревновал ни с того ни с сего?!

Она пожала плечами.

— Я же вам говорю,— они удивительно забавные!

II

Простившись с ней, я вышел из дому и на углу улицы столкнулся с мужем.

— Ба! Вот неожиданная встреча! Что это вы и глаз не кажете!

— И не покажусь,— пошутил я.— Говорят, вы кирпичами ломаете головы, как каленые орехи.

Он захохотал.

— Жена рассказала? Хорошо, что мне под руку кирпич подвернулся. А то,— подумайте,— у меня было тысячи полторы денег при себе, на жене бриллиантовые серьги...

Я отшатнулся от него.

— Но... причем здесь серьги?

— Ведь он их с мясом мог. Сквер пустой и глушь отчаянная.

— Вы думаете, что это грабитель?

— Нет, атташе французского посольства! Подходит в глухом месте человек, просит закурить и хватает за руку — ясно, кажется.

Он обиженно замолчал.

— Так вы его... кирпичом?

— По голове. Не пискнул даже... Мы тоже эти дела понимаем.

Недоумевая, я простился и пошел дальше.

III

— За вами не поспеешь! — раздался сзади меня голос.

Я оглянулся и увидел своего приятеля, которого не видел недели три.

Вглядевшись в него, я всплеснул руками и не удержался от крика.

— Боже! Что с вами сделалось?!

— Сегодня только из больницы вышел; слаб еще.

— Но... ради Бога! Чем вы были больны?

Он слабо улыбнулся и спросил в свою очередь:

— Скажите, вы не слышали: в последние три недели в нашем городе не было побегов из дома умалишенных?

— Не знаю. А что?

— Ну... не было случаев нападения бежавшего сумасшедшего на мирных прохожих?

— Охота вам таким вздором интересоваться!.. Расскажите лучше о себе.

— Да что! Был я три недели между жизнью и смертью. До сих пор шрам.

Я схватил его за руку и с неожиданным интересом воскликнул:

— Вы говорите — шрам? Три недели назад? Не сидели ли вы тогда в сквере?

— Ну, да. Вы, вероятно, прочли в газете? Это самый нелепый случай моей жизни... Сижу я как-то теплым, тихим вечером в сквере. Лень, истома. Хочу закурить папиросу,— черт возьми! Нет спичек... Ну, думаю, будет проходить добрая душа,— попрошу. Как раз минут через десять проходит господин с дамой. Ее я не рассмотрел: — рожа, кажется. Но он курил. Подхожу, трогаю его самым вежливым образом за рукав: «Позвольте закурить». И — что же вы думаете! Этот бесноватый наклоняется к земле, поднимает что-то — и я, с разбитой головой, без памяти, лечу на землю. Подумать только, что эта несчастная беззащитная женщина шла с ним, даже не подозревая, вероятно, что это за птица.

Я посмотрел ему в глаза и строго спросил:

— Вы... действительно думаете, что имели дело с сумасшедшим?

— Я в этом уверен.

IV

Через полтора часа я лихорадочно рылся в старых номерах местной газеты и, наконец, нашел, что мне требовалось.

Это была небольшая заметка в хронике происшествий:

«Под парами алкоголя.—Вчера утром сторожами, убиравшими сквер, был замечен неизвестный молодой человек, оказавшийся по паспорту дворянином, который, будучи в сильном опьянении, упал на дорожке сквера так неудачно, что разбил себе о лежавший неподалеку кирпич голову. Горе несчастных родителей этого заблудшего молодого человека не поддается описанию...»

Я сейчас стою на соборной колокольне, смотрю на движущиеся по улице кучки серых людей, напоминающих муравьев, которые сходятся, расходятся, сталкиваются и опять без всякой цели и плана расползаются во все стороны...

И смеюсь, смеюсь.

История одной картины

ИЗ ВЫСТАВОЧНЫХ ВСТРЕЧ

До сих пор, при случайных встречах с модернистами, я смотрел на них с некоторым страхом: мне казалось, что такой художник-модернист среди разговора или неожиданно укусит меня за плечо, или попросит взаймы.

Но это странное чувство улетучилось после первого же ближайшего знакомства с таким художником.

Он оказался человеком крайне миролюбивого характера и джентльменом, хотя и с примесью бесстыдного лганья.

Я тогда был на одной из картинных выставок, сезон которых теперь в полном разгаре,—и тратил вторые полчаса на созерцание висевшей передо мной странной картины. Картина эта не возбуждала во мне веселого настроения... Через все полотно шла желтая полоса, по одну сторону которой были наставлены маленькие закорючки черного цвета. Такие же закорючки, но лилового цвета, приятно разнообразили тон внизу картины. Сбоку висело солнце, которое было бы очень недурным астрономическим светилом, если бы не было односторонним и притом—голубого цвета.

Первое предположение, которое мелькнуло во мне при взгляде на эту картину,—что предо мной морской вид. Но

черные закорючки сверху разрушали это предположение самым безжалостным образом.

— Э! — сказал я сам себе. — Ловкач-художник просто изобразил внутренность нормандской хижины...

Но одностороннее солнце всем своим видом и положением отрицало эту несложную версию.

Я попробовал взглянуть на картину в кулак: впечатление сконцентрировалось, и удивительная картина стала еще непонятнее...

Я пустился на хитрость — крепко зажмурил глаза и потом, поболтав головой, сразу широко открыл их...

Одностороннее солнце по-прежнему пузырилось выпуклой стороной и закорючки с утомительной стойкостью висели — каждая на своем месте.

Около меня вертелся уже минут десять незнакомый молодой господин с зеленоватым лицом и таким широким галстуком, что я должен был все время вежливо от него сторониться. Молодой господин заглядывал мне в лицо, подергивал плечом и вообще выражал живейшее удовольствие по поводу всего его окружающего.

— Черт возьми! — проворчал я, наконец потеряв терпение. — Хотелось бы мне знать автора этой картины... Я б ему...

Молодой господин радостно закивал головой.

— Правда? Вам картина нравится?! Я очень рад, что вы оторваться от нее не можете. Другие ругались, а вы... Позвольте мне пожать вам руку.

— Кто вы такой? — отрывисто спросил я.

— Я? Автор этой картины! Какова штучка?!

— Да-а... Скажите, — сурово обратился я к нему. — Что это такое?

— Это? Господи боже мой... «Четырнадцатая скрипичная соната Бетховена, опус восемнадцатый». Самая простейшая соната.

Я еще раз внимательно осмотрел картину.

— Соната?

— Соната.

— Вы говорите, восемнадцатый? — мрачно переспросил я.

— Да-с, восемнадцатый.

— Не перепутали ли вы? Не есть ли это пятая соната Бетховена; опус двадцать четвертый?

Он побледнел.

— Н-нет... Насколько я помню, это именно четырнадцатая соната.

Я недоверчиво посмотрел на его зеленое лицо.

— Объясните мне... Какие бы изменения сделали вы, если бы вам пришлось переделать эту вещь опуса на два выше?.. Или дернуть даже шестую сонату... А? Чего нам с вами, молодой человек, стесняться? Как вы думаете?

Он заволновался.

— Так нельзя... Вы вводите в настроение математическое начало... Это продукт моего личного переживания! Подходите к этому, как к четырнадцатой сонате.

Я грустно улыбнулся.

— К сожалению, мне трудно исполнить ваше предложение... О-очень трудно! Четырнадцатой сонаты я не увижу.

— Почему?!!

— Потому что их всего десять. Скрипичных сонат Бетховена, к сожалению, всего десять. Старикашка был преленивым субъектом.

— Что вы ко мне пристаете?! Значит, эта вещь игралась не на скрипке, а на виолончели!.. Вот и все! На высоких нотах... Я и переживал.

— Старик как будто задался целью строить вам козни... Виолончельных-то сонат всего шесть им и состряпано.

Мой собеседник, удрученный, стоял, опустив голову, и отколупывал от статуи кусочки гипса.

— Не надо портить статуи,— попросил я.

Он вздохнул.

У него был такой вид, что я сжалился над заблудившимся импрессионистом.

— Вы знаете... Пусть это останется между нами. Но при условии, если вы дадите мне слово исправиться и начать вести новую честную жизнь. Вы не будете выставлять таких картин, а я буду помалкивать о вашем этом переживании. Ладно?

Он сморщил зеленое лицо в гримасу, но обещал.

* * *

Через неделю я увидел на другой выставке новую его картину: «Седьмая фуга Чайковского, Оп. 9, изд. Ю. Г. Циммермана».

Он не сдержал обещания. Я — тоже.

Магнит

I

Первый раз в жизни я имел свой собственный телефон. Это радовало меня, как ребенка. Уходя утром из дому, я с напускной небрежностью сказал жене:

— Если мне будут звонить,— спроси — кто, и запиши номер.

Я прекрасно знал, что ни одна душа в мире, кроме монтера и телефонной станции, не имела представления о том, что я уже восемь часов имею свой собственный телефон, но бес гордости и хвастовства захватил меня в свои цепкие лапы, и я, одеваясь в передней, кроме жены, предупредил горничную и восьмилетнюю Китти, выбежавшую проводить меня:

— Если мне будут звонить,— спросите — кто, и запишите номер.

— Слушаю-с, барин!

— Хорошо, папа!

И я вышел с сознанием собственного достоинства и солидности, шагал по улицам так важно, что нисколько бы не удивился, услышав сзади себя разговор прохожих:

— Смотрите, какой он важный!

— Да, у него такой дурацкий вид, что будто он только что обзавелся собственным телефоном.

II

Вернувшись домой, я был несказанно удивлен поведением горничной: она открыла дверь, отскочила от меня, убежала за вешалку и, выпучив глаза, стала оттуда манить меня пальцем.

— Что такое?

— Барин, барин,— шептала она, давясь от смеха.— Подите-ка, что я вам скажу! Как бы только барыня не услыхала...

Первой мыслью моей было, что она пьяна; второй, что я вскружил ей голову своей наружностью, и она предлагает вступить с ней в преступную связь.

Я подошел ближе, строго спросив:

— Чего ты хочешь?

— Тш... барин. Сегодня к Вере Павловне не приезжайте ночью, потому ихний муж не едет в Москву.

Я растерянно посмотрел на загадочное, улыбающееся лицо горничной и тут же решил, что она по-прежнему равнодушна

ко мне, но спиртные напитки лишили ее душевного равновесия, и она говорит первое, что взбрело ей на ум.

Из детской вылетела Китти, с размаху бросилась ко мне на шею и заплакала.

— Что случилось? — обеспокоился я.

— Бедный папочка! Мне жалко, что ты будешь слепой... Папочка, лучше ты брось эту драную кошку, Бельскую.

— Какую... Бельс-ку-ю? — ахнул я, смотря ей прямо в заплаканные глаза.

— Да твою любовницу. Которая играет в театре. Клеманс сказала, что она драная кошка. Клеманс сказала, что, если ты ее не бросишь, она выжжет тебе оба глаза кислотой, а потом она просила, чтобы ты сегодня обязательно приехал к ней в шантан. Я мамочке не говорила, чтобы ее не расстраивать, о глазах-то.

Вне себя, я оттолкнул Китти и бросился к жене.

Жена сидела в моем рабочем кабинете и держала в руках телефонную трубку. Истерическим, дрожащим от слез голосом она говорила:

— И это передать... Хорошо-с... Можно и это передать. И поцелуи... Что?.. Тысячу поцелуев. Передам и это. Все равно уж заодно.

Она повесила телефонную трубку, обернулась и, смотря мне прямо в глаза, сказала странную фразу:

— В вашем гнездышке на Бассейной бывать уже опасно. Муж, кажется, проследил.

— Это дом сумасшедших! — вскричал я. — Ничего не понимаю.

Жена подошла ко мне и, приблизив свое лицо к моему, без всякого колебания сказала:

— Ты... мерзавец!

— Первый раз об этом слышу. Это, вероятно, самые свежие вечерние новости.

— Ты смеешься? Будешь ли ты смеяться, взглянув на это?

Он взяла со стола испещренную надписями бумажку и прочла:

— № 349—27 — «Мечтаю тебя увидеть хоть одним глазком сегодня в театре и послать хоть издали поцелуй».

№ 259—09 — «Куда ты, котик, девал то бриллиантовое кольцо, которое я тебе подарила? Неужели заложил подарок любящей тебя Дуси Петровой?»

№ 317—01 — «Я на тебя сердита... Клялся, что я для тебя единственная, а на самом деле тебя видели на Невском с полной брюнеткой. Не шути с огнем!»

№ 102—12—«Ты—негодяй! Надеюсь, понимаешь».

№ 9—17—«Мерзавец—и больше ничего!»

№ 177—02—«Позвони, как только придешь, моя радость! А то явится муж, и нам не удастся уговориться о вечере. Любишь ли ты по-прежнему свою Надю?»

Жена скомкала листок и с отвращением бросила его мне в лицо.

— Что же ты стоишь? Чего же ты не звонишь своей Наде?—с дрожью в голосе спросила она.—Я понимаю теперь, почему ты с таким нетерпением ждал телефона. Позвони же ей—№ 177—02, а то придет муж, и вам не удастся условиться о вечере. Подлец!

Я пожал плечами.

Если это была какая-нибудь шутка, то эти шутки не доставили мне радости, покоя и скромного веселья.

Я поднял бумажку, внимательно прочитал ее и подошел к телефону.

— Центральная, № 177—02? Спасибо. № 177—02?

Мужской голос ответил мне:

— Да, кто говорит?

— № 300—05. Позовите к телефону Надю.

— Ах, вы № 300—05. Я на нем ее однажды поймал. И вы ее называете Надей? Знайте, молодой человек, что при встрече я надаю вам пощечин... Я знаю, кто вы такой!

— Спасибо! Кланяйтесь от меня вашей Наде и скажите ей, что она сумасшедшая.

— Я ее и не виню, бедняжку. Подобные вам негодяи хоть кому вскружат голову. Ха-ха-ха! Профессиональные обольстители. Знайте, № 300—05, что я поколочу вас не позже завтрашнего дня.

Этот разговор не успокоил меня, не освежил моей воспаленной головы, а, наоборот, еще больше сбил меня с толку.

III

Обед прошел в тяжелом молчании.

Жена за супом плакала в салфетку, оросила слезами жаркое и сладкое, а дочь Китти, не отрываясь, смотрела в мои глаза, представляя их выжженными, и, когда жена отворачивалась, дружески шептала мне:

— Папа, так ты бросишь эту драную кошку—Бельскую? Смотри же! Брось ее!

Горничная, убирая тарелки, делала мне таинственные знаки, грозила в мою сторону пальцем и фыркала в соусник.

По ее лицу было видно, что она считает себя уже навеки связанной со мной ложью, тайной и преступлением.

Зазвонил телефон.

Я вскочил и помчался в кабинет.

— Кто звонит?

— Это № 300—05?

— Да, что нужно?

Послышался женский смех.

— Это говорю я, Дуся. Неужели у тебя уже нет подаренного мною кольца? Куда ты его девал?

— Кольца у меня нет,— отвечал я.— И не звони ты мне больше никогда, чтоб тебя дьявол забрал!

И повесил трубку.

После обеда, отверженный всей семьей, я угрюмо занимался в кабинете и несколько раз говорил по телефону.

Один раз мне сказали, что если я не дам на воспитание ребенка, то он будет подброшен под мои двери с соответствующей запиской, а потом кто-то подтвердил свое обещание выжечь мне глаза серной кислотой, если я не брошу «эту драную кошку» — Бельскую.

Я обещал ребенка усыновить, а Бельскую бросить раз и навсегда.

IV

На другой день утром к нам явился неизвестный молодой человек с бритым лицом и, отрекомендовавшись актером Радугиным, сказал мне:

— Если вам все равно, поменяемся номерами телефонов.

— А зачем? — удивился я.

— Видите ли, ваш номер 300—05 был раньше моим, и знакомые все уже к нему привыкли.

— Да, они уж очень к нему привыкли,— согласился я.

— И потому, так как мой новый номер мало кому известен, происходит путаница.

— Совершенно верно,— согласился я.— Происходит путаница. Надеюсь, с вами вчера ничего дурного не случилось? Потому что муж Веры Павловны не поехал ночью в Москву, как предполагал.

— Да? — обрадовался молодой человек.— Хорошо, что я вчера запутался с Клеманс и не попал к ней.

— А Клеманс-то собирается за Бельскую выжечь вам глаза,— сообщил я, подмигивая.

— Вы думаете? Хвастает. Никогда из-за нее не брошу Бельскую.

— Как хотите, а я обещал, что бросите. Потом тут вам ребенка вашего хотел подкинуть № 77—92. Я обещал усыновить.

— Вы думаете, он мой? — задумчиво спросил бритый господин.— Я уже, признаться, совершенно спутался: где мои — где не мои.

Его простодушный вид возмутил меня.

— А тут еще один какой-то муж Нади обещался вас поколотить палкой. Поколотил?

Он улыбнулся и добродушно махнул рукой.

— Ну уж и палка. Простая тросточка. Да и темно. Вчера. Вечером. Так как же, поменяемся номерами?

— Ладно. Сейчас скажу на станцию.

V

Я вызвал к нему в гостиную жену, а сам пошел к телефону.

Разговаривая, я слышал доносившиеся из гостиной голоса.

— Так вы артист? Я очень люблю театр.

— О, сударыня. Я это предчувствовал с первого взгляда. В ваших глазах есть что-то такое магнетическое. Почему вы не играете? Вы так интересны! Вы так прекрасны! В вас чувствуется что-то такое, что манит и сулит небывалое счастье, о чем можно грезить только в сне, которое... которое...

Послышался слабый протестующий голос жены, легкий шум, все это покрылось звуком поцелуя.

Кривые Углы

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Приезд

Гимназист 6-го класса харьковской гимназии Furthermore

ся на лошадь и, погрозив Поползухину грязным кулаком, молниеносно заснул.

Поползухин потащил чемодан на руках и, усталый, расстроенный, к вечеру добрел до усадьбы Кривые Углы.

Неизвестная девка выглянула из окна флигеля, увидала его, выпала оттуда на землю и с криком ужаса понеслась в барский дом.

Поджарая старуха выскочила на крыльцо дома, всплеснула руками и, подскакивая на ходу, убежала в заросший, густой сад.

Маленький мальчик осторожно высунул голову из дверей голубятни, увидел гимназиста Поползухина с чемоданом в руках, показал язык и громко заплакал.

— Чтоб ты пропал, собачий учитель! Напрасно украл я для кучера Афанасия бутылку водки, чтобы он завез тебя в лес и бросил. Обожди, оболью я тебе костюм чернилом!

Поползухин погрозил ему пальцем, вошел в дом и, не найдя никого, сел на деревянный диван.

Парень лет семнадцати вышел с грязной тарелкой в руках, остановился при виде гимназиста и долго стоял так, обомлевший, с круглыми от страха глазами. Постояв немного, уронил тарелку на пол, стал на колени, подобрал осколки в карманы штанов и ушел.

Вошел толстый человек в халате и с трубкой. Пососав ее задумчиво, разогнал волосатой рукой дым и сказал громко:

— Наверно, это самый учитель и есть! Приехал с чемоданом. Да. Сидит на диване. Так-то, брат Плантов! Учитель к тебе приехал.

Сообщив самому себе эту новость, помещик Плантов обрадовался, заторопился, захлопал в ладоши, затанцевал на толстых ногах.

— Эй, кто есть? Копанчук! Павло! Возьмите его чемодан. А что, учитель, играете вы в кончины?

— Нет,— сказал Поползухин.— А ваш мальчик меня языком дразнил!

— Высеку! Да это нетрудно: сдаются карты вместе с кончинами... Пойдем... покажу!

Схватив Поползухина за рукав, он потащил его во внутренние комнаты; в столовой они наткнулись на нестарую женщину в темной кофте с бантом на груди.

— Чего ты его тащишь? Опять, верно, со своими проклятыми картами! Дай ты ему лучше отдохнуть, умыться с дороги.

— Здравствуйте, сударыня! Я — учитель Поползухин, из города.

— Ну, что же делать? — вздохнула она. — Мало ли с кем как бывает. Иногда и среди учителей попадаются хорошие люди. Только ты, уж сделай милость, у нас мертвецов не режь!

— Зачем же мне их резать? — удивился Поползухин.

— То-то я и говорю — незачем. От Бога грех и от людей страм. Пойди к себе, хоть лицо оплесни! Опылило тебя.

Таков был первый день приезда гимназиста Поползухина к помещику Плантову.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Триумф

На другой день, после обеда, Поползухин, сидя в своей комнате, чистил мылом пиджак, залитый чернилами. Мальчик Андрейка стоял тут же в углу и горько плакал, перемежая это занятие с попытками вытащить при помощи зубов маленький гвоздик, забитый в стену на высоте его носа.

Против Поползухина сидел с колодой карт помещик Плантов и ожидал, когда Поползухин окончит свою работу.

— Учение — очень трудная вещь, — говорил Поползухин. — Вы знаете, что такое тригонометрия?

— Нет!

— Десять лет изучать надо. Алгебру — семь с половиной лет. Латинский язык — десять лет. Да и то потом ни черта не знаешь. Трудно! Профессора двадцать тысяч в год получают.

Плантов подпер щеку рукой и сосредоточенно слушал Поползухина.

— Да, теперь народ другой, — сказал он. — Все знают. Вы на граммофоне умеете играть?

— Как играть?

— А так... Прислал мне тесть на именины из города граммофон... Труба есть такая, кружочки. А как на нем играть, бес его знает! Так и стоит без дела.

Поползухин внимательно посмотрел на Плантова, отложил в сторону пиджак и сказал:

— Да, я на граммофоне немного умею играть. Учился. Только это трудно, откровенно говоря!

— Ну? Играете? Вот так браво!..

Плантов оживился, вскочил и схватил гимназиста за руку.

— Пойдем! Вы нам поиграете. Ну его к бесу, ваш пиджак!



После отчистите! Послушаем, как оно это... Жена, жена!.. Иди сюда, бери вязанье, учитель на граммофоне будет играть!

Граммофон лежал в зеленом сундуке под беличьим салопом, завернутый в какие-то газеты и коленкор.

Поползухин с мрачным, решительным лицом вынул граммофон, установил его, приставил рупор и махнул рукой.

— Потрудитесь, господа, отойти подальше! Андрейка, ты зачем с колен встал? Как пиджаки чернилами обливать, на это ты мастер, а как на коленях стоять, так не мастер! Господа, будьте любезны сесть подальше, вы меня нервируете!

— А вы его не испортите? — испуганно спросил Плантов.— Вещь дорогая.

Поползухин презрительно усмехнулся.

— Не беспокойтесь, не с такими аппаратами дело имели!

Он всунул в отверстие иглу, положил пластинку и завел пружину.

Все ахнули. Из трубы донесся визгливый человеческий голос, кричавший: «Выйду ль я на реченьку».

Бледный от гордости и упоенный собственным могуществом, стоял Поползухин около граммофона и изредка, с хладнокровием опытного, видавшего виды мастера подкручивал винтик, регулирующий высоту звука.

Помещик Плантов хлопал себя по бедрам, вскакивал и, подбегая ко всем, говорил:

— Ты понимаешь, что это такое? Человеческий голос из трубы! Андрейка, видишь, болван, какого мы тебе хорошего учителя нашли? А ты все по крышам лазишь!.. А ну еще что-нибудь изобразите, господин Furious Поползухин!

В дверях столпилась дворня с исковерканными изумлением и тайным страхом лицами: девка, выпавшая вчера из окна, мальчишка, разбивший тарелку, и даже продажный кучер Афанасий, сговорившийся с Андрейкой погубить учителя.

Потом крадучись пришла вчерашняя старуха. Она заглянула в комнату, увидела учителя, блестящий рупор, всплеснула руками и снова умчалась, подпрыгивая, в сад.

В Кривых Углах она считалась самым пугливым, диким и глупым существом.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Светлые дни

Для гимназиста Поползухина наступили светлые, безоблачные дни. Андрейка боялся его до обморока и большей частью сидел на крыше, спускаясь только тогда, когда играл граммофон. Помещик Плантов забыл уже о кончинах и целый день ходил по пятам за Поползухиным, монотонно повторяя молящим голосом:

— Ну, сыграйте что-нибудь!.. Очень вас прошу! Чего в самом деле?

— Да ничего сейчас не могу! — манерничал Поползухин.

— Почему не можете?

— А для этого нужно подходящее настроение! А ваш Андрейка меня разнервничал.

— А бес с ним! Плюньте вы на это учение! Будем лучше играть на граммофоне... Ну, сыграйте сейчас!

— Эх! — качал мохнатой головой Поползухин. — Что уж с вами делать! Пойдемте!

Госпожа Плантова за обедом подкладывала Поползухину лучшие куски, поила его наливкой и всем своим видом показывала, что она не прочь нарушить свой супружеский долг ради такого искусного музыканта и галантного человека.

Вся дворня при встрече с Поползухиным снимала шапки и кланялась. Выпавшая в свое время из окна девка каждый день ставила в комнату учителя громадный свежий букет цве-

тов, а парень, разбивший тарелку, чистил сапоги учителя так яростно, что во время этой операции к нему опасно было подходить на близкое расстояние: амплитуда колебаний щетки достигала чуть не целой сажени.

И только одна поджарая старуха не могла превозмочь непобедимую робость перед странным могуществом учителя — при виде его с криком убегала в сад и долго сидела в крыжовнике, что отражалось на ее хозяйственных работах.

Сам Furthermore Поползухин, кроме граммофонных занятий, ничего не делал: Андрейку не видал по целым дням, помыкал всем домом, ел пять раз в сутки и иногда, просыпаясь ночью, звал приставленного к нему парня:

— Принеси-ка мне чего-нибудь поесть! Студня, что ли, или мяса! Да наливки дай!

Услышав шум, помещик Плантов поднимался с кровати, надевал халат и заходил к учителю.

— Кушаете? А что, в самом деле, выпью-ка и я наливки! А ежели вам спать не особенно хочется, пойдем-ка, вы мне поиграете что-нибудь. А?

Поползухин съедал принесенное, выпроваживал огорченного Плантова и заваливался спать.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Крах

С утра Поползухин уходил гулять в поле, к реке. Дворня, по поручению Плантова, бегала за ним, искала, аукала и, найдя, говорила:

— Идите, барчук, в дом! Барин просят вас на той машине играть.

— А ну его к черту! — морщился Поползухин. — Не пойду! Скажите, нет настроения для игры!

— Идите, барчук!.. Барыня тоже очень просила. И Андрейка плачут, слухать хочут.

— Скажите, вечером поиграю!

Однажды ничего не подозревавший Поползухин возвращался с прогулки к обеду. В двадцати шагах от дома он вдруг остановился и, вздрогнув, стал прислушиваться.

«Выйду ль я на реченьку», — заливался граммофон.

С криком бешенства и ужаса схватился гимназист Поползухин за голову и бросился в дом. Сомнения не было: граммофон играл, а в трех шагах от него стоял неизвестный Поползухи-

ну студент и добродушно-насмешливо поглядывал на окружающих.

— Да что ж тут мудреного? — говорил он. — Механизм самый простой. Даже Андрейка великолепно с ним управится.

— Зачем вы без меня трогали граммофон? — сердито крикнул Furthermore Поползухин.

— Смотри, какая цаца! — сказал ядовито помещик Плантов. — Будто это его граммофон. Что же ты нам кружил голову, что на нем играть нужно учиться? А вот Митя Колонтарев приехал и сразу заиграл. Эх, ты... карандаш! А позвольте, Митя, я теперь заведу! То-то здорово! Теперь целый день буду играть. Позвольте вас поцеловать, уважаемый Митя, что вздумали свизитировать нас, стариков.

За обедом на Поползухина не обращали никакого внимания. Говядину ему положили жилистую, с костью, вместо наливки он пил квас, а после обеда Плантов, уронив рассеянный взгляд на Андрейку, схватил его за ухо и крикнул:

— Ну, брат, довольно тебе шалберничать... нагулялся!.. Учитель, займитесь!

Поползухин схватил Андрейку за руку и бешено дернул его:

— Пойдем!

И они пошли, не смотря друг на друга...

По дороге гимназист дал Андрейке два тумака, а тот улучил минуту и плюнул учителю на сапог.

Жвачка

Однажды на обеде в память Чехова несколько критиков говорили речи.

Один сказал:

— Чехов был поэтом сумерек, изобразителем безвольной интеллигенции...

— Браво! — зааплодировали присутствующие.

Другой критик заявил, что и он тоже хочет сказать речь... Подумав немного, он сказал:

— Изобразитель российских сумерек, Чехов в то же время был певцом интеллигентского безволия.

Третий критик объявил, что если присутствующие ничего не имеют против, то и он готов возложить скромный словесный венок на могилу «певца сумерек».

— Браво!

Критик поклонился и начал:

— В дополнение к прекрасным характеристикам Чехова, сделанным моими коллегами, я скажу, что талант Чехова расцветал в сумерках русской жизни, в которых текла и жизнь безвольной интеллигенции... Да, господа! Чехов, если так можно выразиться, поэт сумерек...

И встал четвертый критик.

— Говоря о Чехове, многие забывают указать на ту внешнюю обстановку, в которой жил великий писатель. Время тогда было серенькое, и это отражалось на героях его произведений. Все они были серенькие, сумеречные, ибо то время — было время сумерек, и Чехов был его поэтом. Безвольная, рыхлая интеллигенция того времени нашла в нем своего бытописателя; и, подводя итоги деятельности Чехова, о нем можно выразиться в заключительных словах: «Чехов был настоящим поэтом сумерек, изобразителем безвольной интеллигенции...»

* * *

Я отозвал этого четвертого критика в сторону и спросил:

— Откуда вы узнали, что Чехов был поэтом сумерек?

Он тупо посмотрел на меня.

— Я знаю это из достоверных источников.

— Изумительно! Так-таки — поэт сумерек?

— Ей-Богу. И еще — певец безвольной интеллигенции.

— Да?!

Я потихоньку подводил его к открытому, по случаю духоты, окну и, в то же время, с интересом говорил:

— Как вы все это ловко и оригинально подмечаете!..

Опершись на подоконник, он сказал:

— Интеллигентское безволие, расцветшее в сумерках Чеховск...

Кивая сочувственно головой, я неожиданно схватил его за ноги и выбросил в окно.

Оно находилось на высоте четвертого этажа.

Одним глупым критиком сделалось меньше.

* * *

Это была моя жертва на алтарь прекрасного, чуткого писателя...

Певца сумерек...

Отец

Стоит мне только вспомнить об отце, как он представляется мне взбирающимся по лестнице, с оживленным озабоченным лицом и размашистыми движениями, сопровождаемый несколькими дюжими носильщиками, обремененными тяжелой ношей.

Это странное представление рождается в мозгу, вероятно, потому, что чаще всего мне приходилось видеть отца взбирающимся по лестнице, в сопровождении кряхтящих и ругающихся носильщиков.

Мой отец был удивительным человеком. Все в нем было какое-то оригинальное, не такое, как у других... Он знал несколько языков, но это были странные, ненужные никому другому языки: румынский, турецкий, болгарский, татарский. Ни французского, ни немецкого он не знал. Имел он голос, но когда пел, ничего нельзя было разобрать — такой это был густой, низкий голос. Слышалось какое-то удивительное громыхание и рокот, до того низкий, что казался он выходящим из-под его ног. Любил отец столярные работы — но тоже они были как-то ни к чему — делал он только деревянные пароходики. Возился над каждым пароходиком около года, делал его со всеми деталями, а когда кончал, то, удовлетворенный, говорил:

— Такую штуку можно продать не меньше чем за пятнадцать рублей!

— А матерьял стоил тридцать! — подхватывала мать.

— Молчи, Варя, — говорил отец. — Ты ничего не понимаешь...

— Конечно, — горько усмехаясь, возражала мать. — Ты много понимаешь...

Главным занятием отца была торговля. Но здесь он превосходил себя по странности и ненужности — с коммерческой точки зрения — тех операций, которые в магазине происходили.

Для отца не было лучшего удовольствия, как отпустить кому-нибудь товар в долг. Покупатель, задолжавший отцу, делался его лучшим другом... Отец зазывал его в лавку, поил чаем, играл с ним в шашки и бывал обижен на мать до глубины души, если она, узнав об этом, говорила:

— Лучше бы он деньги отдал, чем в шашки играть.

— Ты ничего не понимаешь, Варя, — деликатно возражал отец. — Он очень хороший человек. Две дочери в гимназии

учатся. Сам на войне был. Ты бы послушала, как он о военных порядках рассказывает.

— Да нам-то что от этого! Мало ли кто был на войне — так всем и давать в долг?

— Ты ничего не понимаешь, Варя,— печально говорил отец и шел в сарай делать пароход.

Со мной у него были хорошие отношения, но характеры мы имели различные. Я не мог понять его увлечений, скептически относился к пароходам и, когда он подарил мне один пароход, думая привести этим в восторг, я хладнокровно, со скучающим видом потрогал какую-то деревянную штучку на носу крошечного судна и отошел.

— Ты ничего не понимаешь, Васька,— сказал, сконфузившись, отец.

Я любил книжки, а он купил мне полдюжины каких-то голубей-трубачей. Почему я должен был восхищаться тем, что у них хвосты не плоские, а трубой, до сих пор считаю невыясненным. Мне приходилось вставать рано утром, давая этим голубям корм и воду, что вовсе не увлекало меня. Через три-четыре дня я привел в исполнение адский план — открыл дверцу голубиной будки, думая, что голуби сейчас же улетят. Но проклятые птицы вертели хвостами и мирно сидели на своем месте. Впрочем, открытая дверца принесла свою пользу: в ту же ночь кошка передушила всех трубачей, принеся мне облегчение, а отцу горе и тихие слезы.

Как все в отце было оригинально, так же была оригинальна и необычна его страсть — покупать редкие вещи. Требования, которые предъявлял он к этого рода операциям, были следующие: чтобы вещь приводила своим видом всех окружающих в удивление, чтобы она была монументальна и чтобы все думали, что вещь куплена за пятьсот рублей, когда за нее заплачено только тридцать.

* * *

Однажды на лестнице дома, где мы жили, послышалось топанье многочисленных ног, крики и кряхтенье. Мы выбежали на площадку лестницы и увидели отца, который вел за собою несколько носильщиков, обремененных большой, странного вида вещью.

— Что это такое? — с беспокойством спросила мать.

Лучезарное лицо отца сияло гордостью и скрытой радостью человека, замыслившего прехорошенький сюрприз.

— Увидите,—дрожа от нетерпения, говорил он.—Сейчас поставим его.

Когда «его» поставили и носильщики, облагодетельствованные отцом, удалились, «он» оказался колоссальной величины умывальником с мраморной лопнувшей пополам доской и красным потрескавшимся деревом.

— Ну?—торжествующе обратился отец к окружающим.—Во сколько вы оцените эту штуку?

— Да для чего она?—спросила мать.

— Ты ничего не понимаешь, Варя. Алеша, скажи-ка ты—сколько, по-твоему, стоит сей умывальник?

Алеша—льстец, гиперболист и фальшивая низкопоклонная душонка—всплеснул измазанными чернилами руками и ненатурально воскликнул:

— Какая прелесть! Сколько стоит? Четыреста двадцать пять рублей!

— Ха-ха-ха!—торжествующе захохотал отец.—А ты, Варя, сколько скажешь?

Мать скептически покачала головой.

— Да что ж... рублей пятнадцать за него еще можно дать.

— Много ты понимаешь! Можете представить—весь этот мрамор, красное дерево и все—стоит по случаю всего двадцать пять рублей. Вот сейчас мы его попробуем! Марья! Воды.

В монументальный рукомойник налили ведро воды... Нажатая ногой педаль не вызвала из крана ни одной капли жидкости, но зато, когда мы посмотрели вниз, ноги наши были окружены целым озером воды.

— Течет!—сказал отец.—Надо позвать слесаря. Марья! Сбегай.

Слесарь повозился с полчаса над умывальником, взял за это шесть рублей и, уходя, украл из передней шапку.

Умывальник поселился у нас.

Когда отца не было дома, все с наслаждением умывались из маленького стенного рукомойника, но если это происходило при отце, он кричал, ругался, заставлял всех умываться из его покупки и говорил:

— Вы ничего не понимаете!

У всех было основание избегать большого умывальника. У него был ехидный отвратительный нрав и непостоянство в симпатиях. Иногда он обнаруживал собачью привязанность к сестре Лизе и давался умываться из него нормальным, обычным способом. Или дружился с Алешей, был предупредителен к нему—покорный, как ребенок, лил прозрачную струю на

черные Алешины руки и не позволял себе непристойных выходок.

Со всеми же другими поступал так: стоило только нажать педаль, как из крана со свистом вылетала горизонтальная струя воды и попадала неосторожному человеку в живот или грудь; потом струя моментально опадала и, притаившись, ждала следующего нажатия педали. Человек нагибался и подставлял руки, надеясь поймать проклятую струю в том самом месте, куда она била.

Но струя не дремала...

Увидя склоненные плечи, она взлетала фонтаном вверх, обрушивалась вниз, обливала голову и затылок доверчивого человека, моментально пропадала и, нацелившись на ноги, орошала их так щедро, что человек, побежденный умывальником, с проклятием отскакивал в сторону и убегал.

Иногда же умывальник вертел струей, как змея головой, поворачивал ее, кривлялся, и тогда нужно было бегать вокруг этой монументальной дряни, чтобы поймать руками ускользающую увертливую струю. Потом уже мы придумали делать на нее форменную облаву: становились вокруг, протягивали десяток рук, и загнанная струя, как ни изворачивалась, а кому-нибудь попадала...

* * *

Однажды на лестнице раздался знакомый топот и кряхтенье... Это отец, предводительствуя армией носильщиков, вел новую покупку.

То была странная процессия.

Впереди три человека тащили громадный четырехугольник с отверстием посередине, за ними двое несли странный точеный стержень, а сзади замыкали шествие еще два человека с каким-то подобием громадного глобуса и стеклянным матовым полушарием, величиной с крышу небольшого сарайчика.

— Что это? — с тайным страхом спросила мать.

— Лампа, — весело отвечал отец.

— А я думала — тумба для афиш.

— Не правда ли, — подхватил отец, — прегромадная вещь. Я и торговался полчаса, пока мне не уступили.

Лампу установили рядом с умывальником. Она была ростом под потолок и вида самого странного, на редкость неудобного — тяжелая, некрасивая, похожая на какое-то чудовищное африканское растение.

— Ну, как думаешь, Алеша... Сколько она стоит?

— Три тысячи! — уверенно сказал Алеша.

— Ха-ха! А ты что скажешь, Варя?

Мать, севши в уголку, беззвучно плакала.

С отца весь восторг сразу слетел, и он, обескураженный, подошел к матери, нагнулся и нежно поцеловал ее в голову.

— Эх, Варя! Ты ничего не понимаешь!.. Васька! Сколько, по-твоему, должна стоить такая лампа?

— Семь тысяч, — сказал я, обойдя вокруг лампы. — По крайней мере, я дал бы за нее столько, лишь бы ее отсюда убрали.

— Много ты понимаешь! — растерялся отец.

Лампа оказалась из одного семейства с умывальником. Керосин (четырнадцать фунтов), налитый в нее, потек, отравил воздух, а когда слесарь исправил ее (тот самый, который украл шапку), то лампа втянула в себя громадный черный фитиль и ни за что не хотела выпустить его. Вытащенный какими-то щипцами, фитиль загорелся, но так начадил, что соседи пришли спасать нас от пожара, предлагая бесплатные услуги по выносу вещей и тушению огня.

А громадная необъятная лампа горела маленьким микроскопическим огоньком, таким, какой теплится в лампадке у икон, тихо потрескивала и язвительно прищелкивала своим крохотным красным язычком.

Отец стоял перед ней в немом восторге.

* * *

Однажды на лестнице послышался такой же шум, грохот и крики.

— Что еще? — выскочила мать.

— Часы, — счастливо смеясь, сообщил отец.

Это было самое поразительное, самое неслыханное из всего купленного отцом.

По громадному циферблату стремительно носились две стрелки, не считаясь ни с временем, ни с усилиями людей, которые вздумали бы удержать их от этого. Внизу грозно раскачивался колоссальный маятник, делая размах аршина четыре, а впереди весь механизм хрипло и тяжело дышал, как загнанный носорог или полузадушенный подушкой человек...

Кто их сделал? Какому пьяному, ненормальному, воспаленному алкоголем мозгу явилась мысль соорудить этот безобразный неуклюжий аппарат, со всеми частями, болезненно,

как в бреду, преувеличенными, с ходом без логики и с пьяным отвратительным дыханием внутри, дыханием их творца, который, может быть, околел уже где-нибудь под забором, истерзанный белой горячкой, изглоданный ревматизмом и подагрой.

Часы стали рядом с умывальником и лампой, перемигнулись и сразу поняли, как им вести себя в этом доме.

Маятник стремительно носился от стены к стене и все норовил сбить с ног нас, когда мы стремглав проскакивали у него сбоку... Механизм ворчал, кашлял и стонал, как умирающий, а стрелки резвились на циферблате, разбегаясь, сходясь и кружась в лихой вакхической пляске...

Отец вздумал подчинить нас времени, показываемому этими часами, но скоро убедился, что обедать придется ночью, спать в полдень и что нас через неделю исключат из училищ за появление на уроки в одиннадцать часов вечера.

Часы пригодились нам, как спортивный, не виданный доселе нигде аппарат... Мы брали трехлетнюю сестренку Олю, усаживали ее на колоссальный маятник, и она, уцепившись судорожно за стержень, носилась, трепещущая, испуганная, из стороны в сторону, возбуждая веселье окружающей молодежи.

Мать назвала эту комнату «Проклятой комнатой».

Целый день оттуда доносился удушливый запах керосина, журчали ручейки воды, вытекавшей из умывальника на пол, а по ночам нас будили и пугали страшные стоны, которые испускали часы, перемежая иногда эти стоны хриплым зловещим хохотом и ржаньем.

Однажды, когда мы вернулись из школы и хлынули толпой в нашу любимую комнату повеселиться около часов, мы отступили, изумленные, испуганные: комната была пуста, и только три крашеных четырехугольника на полу показывали те места, где стояли отцовы покупки.

— Что ты с ними сделала? — спросили мы мать.

— Продала.

— Много дали? — спросил молчавший доселе отец.

— Три рубля. Только не они дали, а я... Чтобы их унесли. Никто не хотел связываться с ними даром...

Отец опустил голову, и по пустой комнате гулко прошелся его подавленный шепот:

— Много ты понимаешь!

Теперь он умер, мой отец.

Лакмусовая бумажка

I

Я был в гостях у старого чудака Кабакевича, и мы занимались тем, что тихо беседовали о человеческих недостатках. Мы вели беседу главным образом о недостатках других людей, не касаясь себя, и это придавало всему разговору мирный, гармоничный оттенок.

— Вокруг меня,— благодушно говорил Кабакевич,— собралась преотличная музейная компания круглых дураков, лжецов, мошенников, корыстолюбцев, лентяев, развратников и развратниц — все мои добрые знакомые и друзья. Собираюсь заняться когда-нибудь составлением систематического каталога, на манер тех, которые продаются в паноптикумах по гривеннику штука. Если бы все эти людишки были маленькие, величиной с майского жука, и за них не нужно бы отвечать перед судом присяжных, я переловил бы их и, вздев на булавки, имел бы в коробке из-под сигар единственную в мире коллекцию! Жаль, что они такие большие и толстые... Куда мне с ними!

— Неужели,— удивился я,— нет около вас простых хороших, умных людей, без глупости, лжи и испорченности?

Мне казалось,— я этими словами так наглядно нарисовал свой портрет, что Кабакевич поспешит признать существование приятного исключения из общего правила — в лице его гостя и собеседника.

— Нет! — печально сказал он.— А вот, ей-Богу, нет!

— Сам-то ты хорош, старый пьяница,— критически подумал я.

— Видишь, молодой человек, ты, может быть, не так наблюдателен, как я, и многое от тебя ускользает. Я строю мнение о человеке на основании таких микроскопических, незаметных черточек, которые вам при первом взгляде ничего не скажут. Вы увидите н а с т о я щ е е л и ц о рассматриваемого человека только тогда, когда его перенести на исключительно благоприятную для его недостатка почву. Иными словами, вам нужна лакмусовая бумажка для определения присутствия кислоты, а мне эта бумажка не нужна. Я и так, миленький, все вижу!

— Это все бездоказательно,— возразил я.— Докажите на примере.

— Ладно. Назови имя.

— Чье?

— Какого-нибудь нашего знакомого, это безразлично.

— Ну, Прягин Илья Иванович. Идет?

— Идет. Корыстолюбие!

— Прягин корыстолюбив? Вот бы никогда не подумал... Ха-ха! Прягин корыстолюбив?

— Конечно. Ты, молодой человек, этого не замечал, потому что не было случая. А мне случая не нужно.

Он умолк и долго сидел, что-то обдумывая.

— Хочешь, молодой человек, проверим меня. Показать тебе Прягина в натуральную величину?

— Показывайте.

— Сегодня? Сейчас?

— Ладно. Все равно, делать нечего.

Кабакевич подошел к телефону.

— Центральная? 543—12! Спасибо. Квартира Прягина? Здравствуй, Илья. Ты свободен? Приезжай немедленно ко мне. Есть очень большое, важное дело... Что? Да, очень большое... Ждем!

Он повесил трубку и вернулся ко мне.

— Приедет. Теперь приготовим для него лакмусовую бумажку. Придумай, молодой человек, какое-нибудь предприятие, могущее принести миллиона два прибыли...

Я засмеялся.

— Поверьте, что если бы я придумал такое предприятие, я держал бы его в секрете.

— Да нет... Можно выдумать что-нибудь самое глупое, но оглушительное. Какой-нибудь ослепительный мираж, грезу, закованную в колоссальные цифры.

— Ну, ладно... Гм... Что бы такое? Разве так: печатать объявления на петербургских тротуарах.

— Все равно. Великолепно!.. Оглушительно! Миллионный оборот! Сотни агентов! Струи золота, снег из кредитных бумажек! Брраво! Только все-таки разработаем до его прихода цифры и встретим его с оружием в руках.

Мы энергично принялись за работу.

II

— Что такое стряслось? — спросил Прягин, пожимая нам руки. — Пожар у тебя случился или двести тысяч выиграл?

Кабакевич загадочно посмотрел на Прягина.

— Не шути, Прягин. Дело очень серьезное. Скажи, Прягин... Мог бы ты вступить в дело, которое может дать до трех тысяч процентов дохода?

— Вы сумасшедшие,— засмеялся Прягин.— Такого дела не может быть.

Кабакевич схватил его за руку и, сжав ее до боли, прошептал:

— А если я докажу тебе, что такое дело есть?

— Тогда, значит, я сумасшедший.

— Хорошо,— спокойно сказал Кабакевич, пожимая плечами и опускаясь на диван.— Тогда извиняюсь, что побеспокоил тебя. Обойдемся как-нибудь сами. (Он помолчал.) Ну, что... был вчера на скачках?

— Да какое же вы дело затеваете?

— Дело? Ах, да... Это, видишь ли, большой секрет, и если ты относишься скептически, то зачем же...

— А ты расскажи,— нервно вскричал Прягин.— Не могу же я святым духом знать. Может, и возьмусь.

Кабакевич притворил обе двери, таинственно огляделся и сказал:

— Надеюсь на твою скромность и порядочность. Если дело тебе не понравится — ради Бога, чтобы ни одна душа о нем не знала.

Он сел в кресло и замолчал.

— Ну?!

— Прягин! Ты обратил внимание на то, что дома главных улиц Петербурга сверху донизу покрыты тысячами вывесок и реклам? Кажется, больше уже некуда приткнуть самой крошечной вывесочки или объявления! А между тем есть место, которое совершенно никем не использовано, никого до сих пор не интересовало и мысль о котором никому не приходила в голову... Есть такое громадное, неизмеримое место!

— Небо? — спросил иронически Прягин.

— Земля! Знаешь ли ты, Прягин, что тротуары главных улиц Петербурга занимают площадь в четыре миллиона квадратных аршин?

— Может быть, но...

— Постой! Знаешь ли ты, что мы можем получить от города совершенно бесплатно право пользования главными тротуарами?

— Это неслыханно!

— Нет, слыхано! Я иду в городскую думу и говорю: «Ежегодный ремонт тротуаров стоит городу сотни тысяч рублей. Хотите, я берусь делать это за вас? Правда, у меня на каждой тротуарной плите будет публикация какой-нибудь фирмы, но не все ли вам равно? Красота города не пострадает от этого, потому что стены домов все равно пестрят тысячами вывесок

и афиш — и никого это не шокирует... Я предлагаю вам еще более блестящую вещь: у вас тротуарные плиты из плохого гранита, а у меня они будут чистейшего мрамора!

Прягин наморщил лоб.

— Допустим, что они и согласятся, но это все-таки вздор и чепуха: где вы наберете такую уйму объявлений, чтобы окупить стоимость мрамора?

— Очень просто: мраморная плита стоит два рубля, а объявление, вечное, несмываемое объявление — двадцать пять рублей!

— Вздор! Кто вам даст объявления?

Кабакевич пожал плечами. Помолчал.

— А, впрочем, как хочешь. Не подходит тебе — найду другого компаньона.

— Вздор! — взревел Прягин. — К черту другого компаньона... Но ты скажи мне — кто даст вам объявления?

— Кто? Все. Что нужно для купца? Чтобы его объявление читали. И чтобы читало наибольшее количество людей. А по главным улицам Петербурга ходят миллионы народу за день, некоторые по нескольку раз и все смотрят себе под ноги. Ясно, что — хочешь, не хочешь, — а какой-нибудь «Гуталин» намозолит прохожему глаза до тошноты.

— Какую же мы прибыль от этого получим? — нерешительно спросил Прягин. — Пустяки какие-нибудь? Тысяч сто, полтораста?

— Странный ты человек... Ты зарабатываешь полторы тысячи в год и говоришь о ста тысячах, как о пяти копейках. Но могу успокоить тебя: заработаем мы больше.

— Ну, сколько же все-таки? Сколько? Сколько?

— Считай: четыре миллиона квадратных аршин тротуара. Возьмем даже три миллиона (видишь, я беру все минимумы) и помножим на 25 рублей... Сколько получается? 75 миллионов! Хорошо-с. Какие у нас расходы? 30% агентам по сбору реклам — 25 миллионов. Стоимость плит с работой по вырезыванию на них фирмы — по три рубля... Ну, будем считать даже по четыре рубля — выйдет 16 миллионов! Пусть — больше! Посчитаем даже двадцать! На подмазку нужных человечков и содержание конторы — миллион. Выходит 46 миллионов. Ладно! Кладем еще на мелкие расходы 4 миллиона... И что же останется в нашу пользу? 25 миллионов чистоганом! Пусть мы не все плиты заполним — пусть половину! Пусть — треть! И тогда у нас будет прибыли 10 миллионов... А? Недурно, Прягин. По 5 миллионов на брата.

Прягин сидел мокрый, полураздавленный.

— Ну, что? — спросил хладнокровно Кабакевич. — Откажешься?

— По... подумаю, — хрипло, чужим голосом сказал Прягин. — Можно до завтра? Ах, черт возьми!..

III

Я вздохнул и заискивающе обратился к Кабакевичу и Прягину:

— Возьмите и меня в компанию...

— Пожалуй, — нерешительно сказал Кабакевич.

— Да зачем же, ведь дело не такое, чтобы требовало многих людей, — возразил Прягин. — Я думаю, и вдвоем управимся.

— Почему же вам меня не взять? Я тоже буду работать... Отчего вам не дать и мне заработочек?

— Нет, — покачал головой Прягин. — Это что ж тогда выйдет. Налезет десять человек, и каждому придется по копейке получить. Нет, не надо.

— Прягин!

Я схватил его за руку и умоляюще закричал:

— Прягин! Примите меня! Мы всегда были с вами в хороших отношениях, считались друзьями. Мой отец спас однажды вашему — жизнь. Возьмите меня!

— Мне даже странно, — криво улыбнулся Прягин. — Вы так странно просите... Нет! Это неудобно.

Я забегал по кабинету, хватаясь за голову и бормоча что-то.

— Прягин! — сказал я, глядя на него воспаленными глазами. — Если так — продайте мне ваше право участия в деле. Хотите десять тысяч?

Он презрительно пожал плечами.

— Десять тысяч! Вы не дурак, я вижу.

— Прягин! Я отдам вам свои двадцать тысяч — все, что у меня есть. Подумайте, Прягин: завтра утром мы едем с вами в банк, и я отдаю вам чистенькие, аккуратно сложенные двадцать тысяч рублей. Подумайте, Прягин: когда вы входили сюда, вы продали бы это дело за три рубля! А теперь, — что изменилось в мире? Я предлагаю вам капитал — и вы отказываетесь! Бог его знает, как у вас еще выйдет это дело с тротуарами!.. Городская дума может отказать...

— Не может быть!! — бешено закричал Прягин. — Не смеет!! Ей это выгодно!!

— Торговые фирмы могут найти такой способ рекламы не достигающим цели...

— Идиотство!! Глупо! Это лучшая в мире реклама! Всякий смотрит себе под ноги и всякий читает ее...

— Прягин! У меня есть богатая тетка... Я возьму у нее еще двадцать тысяч и дам вам сорок... Уступите мне дело!!

— Перестанем говорить об этом,— сухо сказал Прягин.— Довольно!! Кабакевич... я завтра утром у тебя; условимся о подробностях, напишем проект договора...

— А, так...— злобно закричал я.— Так вот же вам: сегодня же пойду в одно место, расскажу все и составлю свою компанию... Я у вас из-под носа выдерну это дело!

Я вскочил и побежал к дверям, а Прягин одним прыжком догнал меня, повалил на ковер, уцепившись за горло, и стал душить.

— Нет, ты не уйдешь, негодяй... Каба... кевич... Помо... ги мне!..

Нечаянно, в пылу этой дурацкой борьбы, мои глаза встретились с глазами Прягина, и я прочел в них определенное, страшное, напряженное выражение...

Кабакевич был удивительный человек.

— *Прочли,*— догадался он, освобождая меня из-под Прягина.— Ну, довольно. У вас разорван галстук... Не находите ли вы, что кислоты слишком подействовали на лакмусовую бумажку?

— Вот не ожидал я от него этого,— тяжело дыша, проворчал я.

— Ага!— засмеялся старый Кабакевич.— Ага? Прочли? Глаза-то, глаза — видели? Ха! Такую вещь приходится читать не каждый день!..

Русская история

Посвящается Мин-ву нар. просвещения

I

Один русский студент погиб от того, что любил ботанику.

Пошел он в поле собирать растения. Шел, песенку напевал, цветочки рвал.

А с другой стороны поля показалась толпа мужиков и баб из Нижней Гоголевки.

— Здравствуйте, милые поселяне,— сказал вежливый студент, снимая фуражку и раскланиваясь.

— Здравствуй, щучий сын, чтоб тебе пусто было,— отвечали поселяне.— Ты чего?

— Благодарю вас, ничего,— говорил им студент, наклоняясь и срывая какую-то травинку.

— Ты — чего?!!

— Как видите: гербаризацией балуюсь.

— Ты — чего?!!?!

Ухо студента уловило, наконец, странные нотки в настойчивом вопросе мужиков.

Он посмотрел на них и увидел горящие испугом и злобой глаза, бледные лица, грязные жилистые кулаки.

— Ты — чего?!!?!

— Да что вы, братцы... Если вам цветочков жалко,— я, пожалуй, отдам вам ваши цветочки...

И выдвинулся из среды мужиков мудрейший среди них старик, Петр Савельев Неуважай-Корыто.

Был он старик белый, как лунь, и глупый, как колода.

— Цветочки собираешь, паршивец,— прохрипел мудрейший.— Брешет он, ребята! Холеру пущает.

Авторитет стариков, белых, как лунь, и глупых, как колода, всегда высоко стоял среди поселян...

— Правильно, Савельич!.. Хватай его, братцы... Заходи оттелева!

Студент завопил.

— Визгани, визгани еще, чертов сын! Может, дьявол,— твой батя — и придет тебе на выручку. Обыскивай его, дядя Миняй! Нет ли порошку какого?

Порошок нашелся.

Хотя он был зубной, но так как чистка зубов у поселян села Гоголевки происходила всего раз в неделю у казенной винной лавки и то — самым примитивным способом, то культурное завоевание, найденное у студента в кармане, завернутым в бумажку,— с наглядностью удостоверило в глазах поселян злокозненность студента.

— Вот он, порошок-то! Холерный... Как, ребята, располагаете: потопить парня, али так, помять?

Обе перспективы оказались настолько не заманчивыми для студента, что он сказал:

— Что вы, господа! Это простой зубной порошок. Он не вредный... Ну, хотите — я съем его?

— Брешешь! Не съешь!

— Уверяю вас! Съем — и мне ничего не будет.

— Все равно, погибать ему, братцы. Пусть слопает!

Студент сел посредине замкнутого круга и принялся уписывать за обе щеки зубной порошок.

Более сердобольные бабы, глядя на это, плакали навзрыд и шептали про себя:

— Смерть-то какую, болезный, принимает! Молоденький такой... а без покаяния.

— Весь! — сказал студент, показывая пустой пакетик.

— Ешь и бумагу,— решил Петр Савельев, белый, как лунь, и глупый, как колода.

По газетным известиям насыщение студента остановилось на зубном порошке, после чего — его, якобы, отпустили.

А на самом деле было не так: студент, морщась, проглотил пустой пакетик, после чего его стали снова обыскивать: нашли записную книжку, зубочистку и флакон с гуммиарабиком.

— Ешь! — приказал распорядитель неприхотливого студенческого обеда, Неуважай-Корыто.

Студент хотел поблагодарить, указавши на то, что он сыт, но когда увидел наклонившиеся к нему решительные бородатые лица, то безмолвно принялся за записную книжку. Покончив с ней, раздробил крепкими молодыми зубами зубочистку, запил гуммиарабиком и торжествующе сказал:

— Видите, господа? Не прав ли я был, утверждая, что это совершенно безопасные вещи?..

— Видимое дело,— сказал добродушный мужик по прозванию Коровий-Кирпич.— Занапрасну скубента изобидели.

— Темный вы народ,— сказал студент, вздыхая.

Ему бы нужно было, ругнувши мужиков, раскланяться с ними и удалиться, но студента погубило то, что он был интеллигент до мозга костей.

— Темный вы народ! — повторил он.— Знаете ли вы, например, что эпидемия холеры распространяется не от порошков, а от маленьких таких штучек, которые бывают в воде, на плодах и овощах — так называемых вибрионов, столь маленьких, что на капле воды их гораздо больше, чем несколько тысяч.

— Толкуй! — недоверчиво возразил Петр Савельев, но кое-кто сделал вид, что поверил.

В общем настроение было настолько благожелательное, что студенту простили даже его утверждение, будто бы молния происходит от электричества, и что тучи есть следствие водяных испарений, переносимых ветром с одного места на другое.

Глухой ропот поднялся лишь после совершенно неслыханного факта, что луна сама не светит, а отражает только солнечный свет.



Когда же студент осмелился нахально заявить, что земля круглая и что она ходит вокруг солнца, то толпа мужиков навалилась на студента и стала бить...

Били долго, а потом утопили в реке.

Почему газеты об этом умолчали — неизвестно.

II

Выгнанный за пьянство телеграфист Васька Свищ долго слонялся по полустанку, ища какого-нибудь выхода из своего тяжелого положения.

И совершенно неожиданно выход был найден, в виде измятой кокарды, оброненной между рельсами каким-то загулявшим офицером.

— Дело! — сказал Васька Свищ.

Приладил к своей телеграфистской фуражке офицерову кокарду, надел тужурку, нанял ямщика и, развалившись в кибитке, скомандовал:

— Пшел в деревню Нижняя Гоголевка! Жив-ва!! Там заплатят.

Лихо звеня бубенцами, подлетела тройка к старостиной избе.

Васька Свищ молодцевато выскочил из кибитки и, ударив в ухо изумленного его парадным видом прохожего мужика, крикнул:

— Меррзавцы!! Запорю!! Начальство не уважаете?? Беспутничаете! Старосту сюда!!

Испуганный, перетревоженный выскочил староста.

— Чего изволишь, батюшка?

— «Батюшка»? Я тебе, ррракалия, покажу,— батюшка!! Генерала не видишь? Это кто там в телеге едет?.. Ты кто? Шапку нужно снять или не надо? Как тебя?

— Ко... коровий-Кирпич.

Телеграфист нахмурился и ткнул кулаком в зубы растерявшегося Коровьего-Кирпича...

— Староста! Взять его! Впредь до разбора дела. Я покажу вам!!! Распустились тут? Староста, сбей мне мужиков сейчас: бумагу прочитать.

Через десять минут все мужики Нижней Гоголевки собрались серой испуганной, встревоженной тучей.

— Тихо! — крикнул Васька Свищ, выступая вперед.— Шапки долой! Бумага: вследствие отношения государственной интендантской комиссии санитарных образцов с приложением сургучной печати, по соглашению с эмеритурным отделом публичной библиотеки — собрать со всех крестьян по два рубля десять копеек тротуарного сбора, со внесением оного в Санкт-Петербургский мировой съезд!.. Поняли, ребята? Виновные в уклонении подвергаются заключению в крепость сроком до двух лет, с заменой штрафом до 500 рублей. Поняли?!

— Поняли, ваше благородие! — зашелестели мужицкие губы.

— Благоро-о-оодие?!! — завопил телеграфист.— Меррзавцы!!! Кокарды не знаете? Установлений казенной палаты на предмет геральдики не читали?! Староста! Взять этого! И этого! Пусть посидят! Тебя как? Неуважай-Корыто? Взять!

Через час староста с поклоном вошел в избу, положил перед телеграфистом деньги и сказал робко:

— Может, оно... насчет бумаги... поглядеть бы... Касательно печати...

— Осел!!! — рявкнул телеграфист, сунул в карман деньги, брезгливо отшвырнул растерянного старосту с дороги и, выйдя на улицу, вскочил в кибитку.

— Я покажу вам, негодяи,— погрозил старосте телеграфист и скрылся в облаке пыли.

Мудрейший из мужиков Петр Савельев Неуважай-Корыто, белый, как лунь, и глупый, как колода, подошел к старосте и, почесавшись, сказал:

— С самого Петербурху. Чичас видно! Дешево отделались, робята!

«Аполлон»

Однажды в витрине книжного магазина я увидел книгу... По наружному виду она походила на солидный, серьезный каталог технической конторы, что меня и соблазнило, так как я очень интересуюсь новинками в области техники.

А когда мне ее показали ближе, я увидел, что это не каталог, а литературный ежемесячный журнал.

— Как же он... называется? — растерянно спросил я.

— Да ведь заглавие-то на обложке!

Я внимательно всмотрелся в заглавие, перевернул книгу боком, потом вниз головой и, заинтересованный, сказал:

— Не знаю! Может быть, вы будете так любезны посвятить меня в заглавие, если, конечно, оно вам известно?.. Со своей стороны, могу дать вам слово, что если то, что вы мне сообщите, секрет, — я буду свято хранить его.

— Здесь нет секрета, — сказал приказчик. — Журнал называется «Аполлон», а если буквы греческие, то это ничего... Следующий номер вам дастся гораздо легче, третий еще легче, а дальше все пойдет, как по маслу.

— Почему же журнал называется «Аполлон», а на рисунке изображена пронзенная стрелами ящерица?..

Приказчик призадумался.

— Аполлон — Бог красоты и света, а ящерица — символ чего-то скользкого, противного... Вот она, очевидно, и пронзена Богом света.

Мне понравилась эта замысловатость.

Когда я издам книгу своих рассказов под названием «Скрежет», то на обложке попрошу нарисовать барышню, входящую в здание зубоврачебных курсов...

Заинтересованный диковинным «Аполлоном», я купил журнал и ушел.

* * *

Первая статья, которую я начал читать, — Иннокентия Анненского, — называлась «О современном лиризме».

Первая фраза была такая:

«Жасминовые тирсы наших первых мэнад примахались быстро...»

Мне отчасти до боли сделалось жаль наш бестолковый русский народ, а отчасти было досадно: ничего нельзя поручить русскому человеку... Дали ему в руки жасминовый тирс, а он обрадовался и ну — махать им, пока примахал этот инструмент окончательно.

Фраза, случайно выхваченная мною из середины «лиризма», тоже не развеселила меня:

«В русской поэзии носятся частицы теософического кокса, этого буржуазнейшего из Антисмертинов...»

Это было до боли обидно.

Я так расстроился, что дальше даже не мог читать статьи «О современном лиризме»...

* * *

Неприятное чувство сгладила другая статья: «В ожидании гимна Аполлону».

Я человек очень жизнерадостный, и веселье бьет во мне ключом, так что мне совершенно по вкусу пришлось предложение автора:

«Так как танец есть прекраснейшее явление в жизни, то нужно сплетаться всем людям в хороводы и танцевать. Люди должны сделаться прекрасными, непрестанно во всех своих действиях, и танец будет законом жизни».

Последующие слова автора относительно зажжения алтарей, учреждения обетных шествий и плясов привели меня в решительный восторг.

«Действительно! — думал я. — Как мы живем... Ни тебе удовольствия, ни тебе веселья. Все ползают на земле, как умирающие черви, уныние сковывает костенеющие члены... Нет, решительно, обетные шествия и плясы — вот то, что выведет нас на новую дорогу».

Дальше автор говорил:

«Не случайно происходит за последние годы повышение интереса к танцу...»

«Вот оно! — подумал я. — Начинается!»

У меня захватило дыхание от предвкушения близкого веселья, и я должен был сделать усилие, чтобы заставить себя перейти к следующей статье:

«О театре».

* * *

Автор статьи о театре видел единственное спасение и возрождение театра в том, чтобы публика участвовала в действии наравне с актерами.

Идея мне понравилась, но многое показалось неясным: будет ли публика на жаловании у дирекции театра, или актеры будут уравнены с публикой в правах тем, что им придется приобретать в кассе билеты «на право игры»... И как отнесутся актеры к той ленивой, инертной части публики, которая предпочтет участию в игре — простое глазение на все происходящее?..

Впрочем, я вполне согласен с автором, что важна идея, а детали можно разработать после.

* * *

Вечером я поехал к одним знакомым и застал у них гостей.

Все сидели в гостиной небольшими группами и вели разговор о бюрократическом засилье, указывая на примеры Англии и Америки.

— Господа! — предложил я. — Не лучше ли нам сплестись в радостный хоровод и понестись в обетном плясе к Дионису?!

Мое предложение вызвало недоумение.

— То есть?..

— В нашей повседневности есть плясовой ритм. Сплетенный хоровод должен нестись даже в будничной жизни, перейдя с подмостков в жизнь... Позвольте вашу руку, мадам!.. Вот так... Господа! Ну, зачем быть такими унылыми?.. Возьмите вашу соседку за руку. Что вы смотрите на меня так недоумевающе? Готово? Ну, теперь можете нестись в радостном хороводе. Господа... Нельзя же так!..

Гости растерянно опустили сплетенные по моему указанию руки и робко уселись на свои места.

— Почему вам взбрела в голову такая идея — танцевать? — сухо спросил хозяин дома. — Когда будет танцевальный вечер, там молодежь и потанцует. А людям солидным ни с того ни с сего выкидывать козла — согласитесь сами...

Желая смягчить неловкую паузу, хозяйка сказала:

— А поэта Бунина в академики выбрали... Слышали?

Я пожал плечами.

— Ах, уж эта русская поэзия! В ней носятся частицы теософического кокса, этого буржуазнейшего из Антисмертинов...

Хозяйка побледнела.

А хозяин взял меня под руку, отвел в сторону и сурово шепнул:

— Надеюсь, после всего вами сказанного вы сами поймете, что бывать вам у нас неудобно...

Я укоризненно покачал головой и похлопал его по плечу:

— То-то и оно! Быстро примахались жасминовые тирсы наших первых мэнад. Вам только поручи какое-нибудь дело... Благодарю вас, не беспокойтесь... Я сам спущусь! Тут всего несколько ступенек...

* * *

По улице я шагал с тяжелым чувством.

— Вот и устраивай с таким народом обетные плясы, вот и води хороводы! Дай ему жасминовый тирс, так он его не только примахает, да еще, в извозчичий кнут обратив, тебя же им и оттузит! Дионисы!

Огорченный, я зашел в театр.

На сцене стоял, сжав кулаки, городничий, а перед ним на коленях купцы.

— Так — жаловаться?! — гремел городничий.

Я решил попытаться провести в жизнь так понравившуюся мне идею слияния публики со сценой.

— ...Жаловаться? Архиплуты, протобестии...

Я встал с места и, изобразив на лице возмущение, со своей стороны, продолжал:

— ...Надувалы морские! Да знаете ли вы, семь чертей и одна ведьма вам в зубы, что...

Оказалось, что идея участия публики в актерской игре еще не вошла в жизнь...

Когда околоточный надзиратель, сидя в конторе театра, писал протокол, он поднял на меня глаза и спросил:

— Что побудило вас вмешаться в действие пьесы?..

Я попытался оправдаться:

— Тирсы уж очень примахались, господин околоточный...

— Знаем мы вас, — скептически сказал околоточный. — Напьются, а потом — тирсы!.. . . . .

. . . .

Подмостки

Я сидел в четвертом ряду кресел и вслушивался в слова, которые произносил на сцене человек с небольшой русой бородой и мягким взглядом добрых, ласковых глаз.

— Зачем такая ненависть? Зачем возмущение? Они тоже, может быть, хорошие люди, но слепые, сами не понимающие, что они делают... Понять их надо, а не ненавидеть!

Другой артист, загримированный суровым, обличающим человеком, нахмурил брови и непреклонно сказал:

— Да, но как тяжело видеть всюду раболепство, тупость и косность! У благородного человека сердце разрывается от этого.

Героиня, полулежа на кушетке, грустно возражала:

— Господа, воздух так чист, и птички так звонко поют... В небе сияет солнце, и тихий ветерок порхает с цветочка на цветочек... Зачем спорить?

Обличающий человек закрыл лицо руками и, сквозь рыдания, простонал:

— Божжже мой! Божжжже мой!.. Как тяжело жить!

Человек, загримированный всепрощающим, тихо положил руки на плечо тому, который говорил «Божже мой!»

— Ирина,— прошептал он, обращаясь к героине,— у этого человека большая душа!

На моих глазах выступили слезы.

Я, вообще, очень чувствителен и не могу видеть равнодушно даже, если на моих глазах режут человека.

Я смахнул слезу и почувствовал, что эти люди своей талантливой игрой делают меня хорошим, чистым человеком. Мне страстно захотелось пойти в антракте в уборную к тому актеру, который всех прощал, и к тому, который страдал, и к грустной героине — и поблагодарить их за те чувства, которые они разбудили в моей душе.

И я пошел к ним в первом же антракте.

Вот каким образом познакомился я с интересным миром деятелей подмосток...

* * *

— Можно пройти в уборную Эрастова?

— А вы не сапожник?

— Лично я не могу об этом судить,— нерешительно ответил я.— Хотя некоторые критики находили недостатки в моих рассказах, но не до такой степени, чтобы...

— Пожалуйте!

Я шагнул в дверь и очутился перед человеком, загримированным всепрощающим.

— Ваш поклонник! — отрекомендовался я. — Пришел познакомиться лично.

Он был растроган.

— Очень рад... садитесь!

— Спасибо, — сказал я, оглядывая уборную. — Как интересна жизнь артиста, не правда ли?.. Все вы такие душевные, ласковые, талантливые...

Эрастов снисходительно усмехнулся.

— Ну, уж и талантливые... Далеко не все талантливы!

— Не скромничайте, — возразил я, садясь.

— Конечно... Разве этот старый башмак имеет хоть какую-нибудь искру? Ни малейшей!

— Какой старый башмак? — вздрогнул я.

— Фиалкин-Грохотов! Тот, который так подло играл роль героя.

— Вы находите, что он не справился с ролью? Зачем же тогда режиссер поручил ему эту роль?

Эрастов всплеснул руками.

— Дитя! Вы ничего не знаете? Да ведь режиссер живет с его женой! А сам он пользуется щедротами купчихи Поливаловой, которая — родственница буфетчика Илькина, имеющего на антрепренера векселей на сорок тысяч.

Я был ошеломлен.

— Какой негодяй! И с таким человеком должны играть вы и эта милая, симпатичная Лучезарская!..

— Героиня? Да ей-то что... Она сама живет с суфлером только потому, что тот приходится двоюродным братом рецензенту Кулдыбину. У нее, впрочем, есть муж и дочь лет двенадцати. Но она своими побоями скоро вгонит девчонку в гроб — я в этом уверен. Впрочем, она не прочь продать девчонку комику Зубчаткину только потому, что у того есть некоторые связи в Н-ом театре, куда она мечтает пробраться...

— Неужели она такая?

— Да, знаете... Готова с каждым первым попавшимся. Покажите ей десять рублей — побежит. Ей комическая старуха Мяткина-Строева давно уже руки не подает!

— Смотрите-ка! Комическая старуха, а какая благородная брезгливость, — изумился я.

— Она не потому. Просто у Мяткиной-Строевой был любовник на выходах — Клеопатров, которого она содержала, а Лучезарская насплетничала, что он в бутафорской шлем

украл — его и уволили среди сезона. Вы меня извините, сейчас мой выход минут на пять, если хотите — подождите... Я вернусь, еще поболтаем. Ужасно, знаете, мне с моими взглядами жить среди этой грязи и сплетен. Я сейчас!

Он ушел. Я остался один.

Дверь скрипнула, и в уборную вошел Фиалкин-Грохотов, весело что-то насвистывая.

— Васьки нет? — спросил он благодушно.

— Нет, — ответил я, вежливо раскланиваясь. — Очень рад с вами познакомиться — вы прекрасно играли!

Лицо его сделалось грустным.

— Я мог бы прекрасно играть, но не здесь. Я мог бы играть, но с этим... Эрастовым! Знаете ли вы, что этот человек в диалоге невозможен? Он перехватывает реплики, не дает досказывать, комкает ваши слова и своими дурацкими гримасами отвлекает внимание публики от говорящего.

— Неужели он такой? — удивился я.

— Он? Это бы еще ничего, если бы он в частной жизни был порядочным человеком. Но ведь его вечные истории с несовершеннолетними гимназистками, эта подозрительно-счастливая игра в карты и бесцеремонность в займах — вот что тяжело и ужасно. Кстати, он у вас еще взаймы не просил?

— Нет. А что?

— Попросит. Больше десяти рублей не одолжайте — все равно не отдаст. Я вам скажу — он да Лучезарская...

В двери послышался стук.

— Можно? — спросила Лучезарская, входя в уборную. — Ах, извините! Очень рада познакомиться!

— Ну, что, голуба? — приветливо сказал Фиалкин-Грохотов, смотря на нее. — Что он там?..

— Ужас, что такое! — страдальчески ответила Лучезарская, поднимая руки кверху. — Это такой кошмар... Все время путает слова, переигрывает, то шепчет, как простуженный, то орет. Я с ним совершенно измоталась!

— Бедная вы моя, — ласково и грустно посмотрел на нее Фиалкин-Грохотов. — Каково вам-то.

— Мне-то ничего... У меня сегодня с ним почти нет игры, а вот вы... Я думаю, — вам с вашей школой, с игрой, сердцем и нервами, после большой столичной сцены... тяжело? О, как мне все это понятно! Вам сейчас выходить, милый... Идите!

Он вышел, а Лучезарская нахмурила брови и, наклонившись ко мне, озабоченно прошептала:

— Что вам говорил сейчас этот кретин?

— Он? Так кое-что... Светский разговор.

— Это страшный сплетник и лгун... Мы его все боимся, как огня. Он способен, например, выйти сейчас и рассказать, что застал вас обшаривающим карманы висящего пиджака Эрастова.

— Неужели? — испугался я.

— Алкоголик и морфинист. Мы очень будем рады, если его засадят в тюрьму.

— Неужели? За что?

— Шантажировал какую-то богатую барыню. Теперь все раскрылось. Я очень буду рада, потому что играть с ним — чистое мучение! Когда он да эта горилла — Эрастов на сцене, то ни в чем не можешь быть уверенным. Все провалят!

— Почему же режиссер дает им такие ответственные роли?

— Очень просто! Эрастов живет с женой режиссера, а тому только этого и надо, потому что ему не мешают тогда наслаждаться счастием с этой распутницей Каширской-Мелиной, которая жила в прошлом году с Зубчаткиным.

Она грустно улыбнулась и вздохнула:

— Вас, вероятно, ужасает наше театральное болото? Меня оно ужасает еще больше, но... что делать! Я слишком люблю сцену!..

В уборную влетел Эрастов и, скрежеща зубами, сказал:

— Душечка, Марья Павловна, посмотрите, что сделала эта скотина с началом второго действия! Что он там натворил...

— Я это и раньше говорила, — пожала плечами Лучезарская. — Эта роль — главная в пьесе и поэтому по справедливости должна была принадлежать вам! Впрочем... Вы ведь знаете режиссера!

* * *

Следующий акт я опять смотрел.

Лучезарская стояла около окна, вся залитая лунным светом, и говорила, положив голову на плечо Фиалкина-Грохотова:

— Я не могу понять того чувства, которое овладевает мною в вашем присутствии: сердце ширится, растет... Что это такое, Кайсаров?

— Милая... чудная! Я хотел бы, чтобы судорога счастья быть любимым вами сразу захватила мое сердце, и я упал бы к вашим ногам бездыханным с последним словом на устах: люблю!

Около меня кто-то вынул платок, задев меня локтем, и растроганный, вытер глаза.

— Чего вы толкаетесь,— грубо проворчал я.— Болтают тут руками — сами не знают чего!..

Неизлечимые

«Спрос на порнографическую литературу упал. Публика начинает интересоваться сочинениями по истории и естествознанию».

(Книжн. известия)

Писатель Кукушкин вошел, веселый, радостный, к издателю Залежалову и, усмехнувшись, ткнул его игриво кулаком в бок.

— В чем дело?

— Вещь!

— Которая?

— Ага! Разгорелись глазки? Вот тут у меня лежит в кармане. Если будете паинькой в рассуждении аванса — так и быть, отдам!

Издатель нахмурил брови.

— Повесть?

— Она. Ха-ха! То есть такую машину закрутил, такую, что небо содрогнется! Вот вам наудачу, две-три выдержки.

Писатель развернул рукопись.

«...Темная мрачная шахта поглотила их. При свете лампочки была видна полная, волнующаяся грудь Лидии и ее упругие бедра, на которые Гремин смотрел жадным взглядом. Не помня себя, он судорожно прижал ее к груди, и все заверте...»

— Еще что? — сухо спросил издатель.

— Еще я такую штучку вывернул: «Дирижабль плавно взмахнул крыльями и взлетел... На руле сидел Маевич и жадным взором смотрел на Лидию, полная грудь которой волновалась и упругие выпуклые бедра дразнили своей близостью. Не помня себя, Маевич бросил руль, остановил пружину, прижал ее к груди, и все заверте...»

— Еще что? — спросил издатель так сухо, что писатель Кукушкин в ужасе и смятении посмотрел на него и опустил глаза.

— А... еще... вот... Зззаб... бавно! «Линевич и Лидия, стесненные тяжестью водолазных костюмов, жадно смотрели друг на друга сквозь круглые стеклянные окошечки в головных шлемах... Над их головами шмыгали пароходы и броненосцы, но

они не чувствовали этого. Сквозь неуклюжую, мешковатую одежду водолаза Линевич угадывал полную волнующуюся грудь Лидии и ее упругие выпуклые бедра. Не помня себя, Линевич взмахнул в воде руками, бросился к Лидии, и все заверте...»

— Не надо,— сказал издатель.

— Что не надо?— вздрогнул писатель Кукушкин.

— Не надо. Идите, идите с богом.

— В-вам... не нравится? У... у меня другие места есть... Внучек увидел бабушку в купальне... А она еще была молодая...

— Ладно, ладно. Знаем! «Не помня себя он бросился к ней, схватил ее в объятия, и все заверте...»

— Откуда вы узнали?— ахнул, удивившись, писатель Кукушкин.— Действительно, так и есть у меня.

— Штука не хитрая. Младенец догадается! Теперь это, брат Кукушкин, уже не читается. Ау! Ищи, брат Кукушкин, новых путей.

Писатель Кукушкин с отчаянием в глазах почесал затылок и огляделся:

— А где тут у вас корзина?

— Вот она,— указал издатель.

Писатель Кукушкин бросил свою рукопись в корзину, вытер носовым платком мокрое лицо и лаконично спросил:

— О чем нужно?

— Первее всего теперь читается естествознание и исторические книги. Пиши, брат Кукушкин, что-нибудь там о боярах, о жизни мух разных...

— А аванс дадите?

— Под боярина дам. Под муху дам. А под упругие бедра не дам! И под «все завертелось» не дам!!!

— Давайте под муху,— вздохнул писатель Кукушкин.

* * *

Через неделю издатель Залежалов получил две рукописи. Были они такие:

I. *Боярская проруха*

Боярышня Лидия, сидя в своем тереме старинной архитектуры, решила ложиться спать. Сняв с высокой волнующейся груди кокошник, она стала стягивать с красивой полной ноги

сарафан, но в это время распахнулась старинная дверь и вошел молодой князь Курбский.

Затуманенным взором, молча, смотрел он на высокую волнующуюся грудь девушки и ее упругие выпуклые бедра.

— Ой, ты, гой, еси,— воскликнул он на старинном языке того времени.

— Ой, ты, гой, еси, исполать тебе, добрый молодец! — воскликнула боярышня, падая князю на грудь, и — все заверте...

II. *Мухи и их привычки*

(ОЧЕРКИ ИЗ ЖИЗНИ НАСЕКОМЫХ)

Небольшая стройная муха с высокой грудью и упругими бедрами ползла по откосу запыленного окна.

Звали ее по-мушиному — Лидия.

Из-за угла вылетела большая черная муха, села против первой и с еле сдерживаемым порывом страсти стала потирать над головой стройными мускулистыми лапками. Высокая волнующаяся грудь Лидии ударила в голову черной мухи чем-то пьянящим... Простерши лапки, она крепко прижала Лидию к своей груди, и все заверте...

Золотой век

I

По приезде в Петербург я явился к старому другу, репортеру Стремглавову, и сказал ему так:

— Стремглавов! Я хочу быть знаменитым.

Стремглавов кивнул одобрительно головой, побарабанил пальцами по столу, закурил папиросу, закрутил на столе пепельницу, поболтал ногой — он всегда делал несколько дел сразу — и отвечал:

— Нынче многие хотят сделаться знаменитыми.

— Я не «многий»,— скромно возразил я.— Василиев, чтоб они были Максимычами и в то же время Кандыбинами — встретишь, брат, не каждый день. Это очень редкая комбинация!

— Ты давно пишешь? — спросил Стремглавов.

— Что ... пишу?

— Ну, вообще,— сочиняешь!

— Да я ничего и не сочиняю.

— Ага! Значит — другая специальность. Рубенсом думаешь сделаться?

— У меня нет слуха,— откровенно сознался я.

— На что слуха?

— Чтобы быть этим вот... как ты его там назвал?.. Музыкантом...

— Ну, брат, это ты слишком. Рубенс не музыкант, а художник.

Так как я не интересовался живописью, то не мог упомнить всех русских художников, о чем Стремглавову и заявил, добавив:

— Я умею рисовать метки для белья.

— Не надо. На сцене играл?

— Играл. Но когда я начинал объясняться героине в любви, у меня получался такой тон, будто бы я требую за переноску рояля на водку. Антрепренер и сказал, что лучше уж пусть я на самом деле таскаю на спине рояли. И выгнал меня.

— И ты все-таки хочешь стать знаменитостью?

— Хочу. Не забывай, что я умею рисовать метки!

Стремглавов почесал затылок и сразу же сделал несколько дел: взял спичку, откусил половину, завернул ее в бумажку, бросил в корзину, вынул часы и, засвистав, сказал:

— Хорошо. Придется сделать тебя знаменитостью. Отчасти, знаешь, даже хорошо, что ты мешаешь Рубенса с Робинзоном Крузо и таскаешь на спине рояли — это придает тебе оттенок непосредственности.

Он дружески похлопал меня по плечу и обещал сделать все, что от него зависит.

II

На другой день я увидел в двух газетах в отделе «Новости искусства» такую странную строку:

— «Здоровье Кандыбина поправляется».

— Послушай, Стремглавов,— спросил я, приехав к нему,— почему мое здоровье поправляется? Я и не был болен.

— Это так надо,— сказал Стремглавов.— Первое известие, которое сообщается о тебе, должно быть благоприятным... Публика любит, когда кто-нибудь поправляется.

— А она знает — кто такой Кандыбин?

— Нет. Но она теперь уже заинтересовалась твоим здоровьем, и все будут при встречах сообщать друг другу: «а здоровье Кандыбина поправляется».

— А если тот спросит: «Какого Кандыбина?»

— Не спросит. Тот скажет только: «Да? А я думал, что ему хуже».

— Стремглавов! Ведь они сейчас же и забудут обо мне!

— Забудут. А я завтра пущу еще такую заметку:

«В здоровье нашего маститого» ... Ты чем хочешь быть: писателем? художником?..

— Можно писателем.

«В здоровье нашего маститого писателя Кандыбина наступило временное ухудшение. Вчера он съел только одну котлетку и два яйца всмятку. Температура 39,7».

— А портрета еще не нужно?

— Рано. Ты меня извини, я должен сейчас ехать давать заметку о котлете.

И он, озабоченный, убежал.

III

Я с лихорадочным любопытством следил за своей новой жизнью.

Поправлялся я медленно, но верно. Температура падала, количество котлет, нашедших приют в моем желудке, все увеличивалось, а яйца я рисковал уже съесть не только всмятку, но и вкрутую.

Наконец, я не только выздоровел, но даже пустился в авантюры.

— «Вчера,— писала одна газета,— на вокзале произошло печальное столкновение, которое может окончиться дуэлью. Известный Кандыбин, возмущенный резким отзывом капитана в отставке о русской литературе, дал последнему пощечину. Противники обменялись карточками».

Этот инцидент вызвал в газетах шум.

Некоторые писали, что я должен отказаться от всякой дуэли, так как в пощечине не было состава оскорбления, и что общество должно беречь русские таланты, находящиеся в расцвете сил.

Одна газета говорила:

— Вечная история Пушкина и Дантеса повторяется в нашей полной несообразностей стране. Скоро, вероятно, Кандыбин подставит свой лоб под пулю какого-то капитана Ч*. И мы спрашиваем — справедливо ли это? С одной стороны — Кандыбин, с другой — какой-то никому неведомый капитан Ч*.

— Мы уверены,— писала другая газета,— что друзья Кандыбина не допустят его до дуэли.

Большое впечатление произвело известие, что Стремглавов (ближайший друг писателя) дал клятву, в случае несчастного исхода дуэли, драться самому с капитаном Ч*.

Ко мне заезжали репортеры.

— Скажите,— спросили они,— что побудило вас дать капитану пощечину?

— Да ведь вы читали,— сказал я.— Он резко отзывался о русской литературе. Наглец сказал, что Айвазовский был бездарным писакой.

— Но ведь Айвазовский — художник! — изумленно воскликнул репортер.

— Все равно. Великие имена должны быть святыней,— строго отвечал я.

IV

Сегодня я узнал, что капитан Ч* позорно отказался от дуэли, а я уезжаю в Ялту.

При встрече со Стремглавовым я спросил его:

— Что, я тебе надоел, что ты меня сплавляешь?

— Это надо. Пусть публика немного отдохнет от тебя. И потом это шикарно: «Кандыбин едет в Ялту, надеясь окончить среди чудной природы юга большую, начатую им вещь».

— А какую вещь я начал?

— Драму «Грани смерти».

— Антрепренеры не будут просить ее для постановки?

— Конечно, будут. Ты скажешь, что, закончив, остался ею недоволен и сжег три акта. Для публики это канальски эффектно!

Через неделю я узнал, что в Ялте со мной случилось несчастье: взбираясь по горной круче, я упал в долину и вывихнул себе ногу. Опять началась длинная и утомительная история с сиденьем на куриных котлетках и яйцах.

Потом я выздоровел и для чего-то поехал в Рим... Дальнейшие мои поступки страдали полным отсутствием всякой последовательности и логики.

В Ницце я купил виллу, но не остался в ней жить, а отправился в Бретань кончать комедию «На заре жизни». Пожар моего дома уничтожил рукопись, и поэтому (совершенно идиотский поступок) я приобрел клочок земли под Нюренбергом.

Мне так надоели бессмысленные мытарства по белу свету и непроизводительная трата денег, что я отправился к Стремглавову и категорически заявил:

— Надоело! Хочу, чтобы юбилей.

— Какой юбилей?

— Двадцатипятилетний.

— Много. Ты всего-то три месяца в Петербурге. Хочешь десятилетний?

— Ладно,— сказал я.— Хорошо проработанные 10 лет дороже бессмысленно прожитых 25.

— Ты рассуждаешь, как Толстой,— восхищенно вскричал Стремглавов.

— Даже лучше. Потому что я о Толстом ничего не знаю, а он обо мне узнает.

V

Сегодня справлял десятилетний юбилей своей литературной и научно-просветительной деятельности...

На торжественном обеде один маститый литератор (не знаю его фамилии) сказал речь.

— Вас приветствовали, как носителя идеалов молодежи, как певца родной скорби и нищеты,— я же скажу только два слова, но которые рвутся из самой глубины наших душ: Здравствуй, Кандыбин!!

— А, здравствуйте,— приветливо отвечал я, польщенный.— Как вы поживаете?

Все целовали меня.

Мозаика

— Я несчастный человек — вот что!

— Что за вздор?! Никогда я этому не поверю.

— Уверяю тебя.

— Ты можешь уверять меня целую неделю, и все-таки я скажу, что ты городишь самый отчаянный вздор. Чего тебе недостает? Ты имеешь ровный, мягкий характер, деньги, кучу друзей и, главное,— пользуешься вниманием и успехом у женщин.

Вглядываясь печальными глазами в неосвещенный угол комнаты, Кораблев тихо сказал:

— Я пользуюсь успехом у женщин...

Посмотрел на меня исподлобья и смущенно сказал:

— Знаешь ли ты, что у меня шесть возлюбленных?!

— Ты хочешь сказать — было шесть возлюбленных? В разное время? Я, признаться, думал, что больше.

— Нет, не в разное время,— вскричал с неожиданным одушевлением в голосе Кораблев,— не в разное время!! Они сейчас у меня есть! Все!

Я в изумлении всплеснул руками.

— Кораблев! Зачем же тебе столько?

Он опустил голову.

— Оказывается,— меньше никак нельзя. Да... Ах, если бы ты знал, что это за беспокойная, хлопотливая штука... Нужно держать в памяти целый ряд фактов, уйму имен, запоминать всякие пустяки, случайно оброненные слова, изворачиваться и каждый день, с самого утра, лежа в постели, придумывать целый воз тонкой, хитроумной лжи на текущий день.

— Кораблев! Для чего же... шесть?

Он положил руку на грудь.

— Должен тебе сказать, что я вовсе не испорченный человек. Если бы я нашел женщину по своему вкусу, которая наполнила бы все мое сердце,— я женился бы завтра. Но со мной происходит странная вещь: свой идеал женщины я нашел не в одном человеке, а в шести. Это, знаешь, вроде мозаики.

— Мо-за-ики?

— Ну, да, знаешь такое из разноцветных кусочков складывается. А потом картина выходит. Мне принадлежит прекрасная идеальная женщина, но куски ее разбросаны в шести персонах...

— Как же это вышло?— в ужасе спросил я.

— Да так. Я, видишь ли, не из того сорта людей, которые, встретившись с женщиной, влюбляются в нее, не обращая внимания на многое отрицательное, что есть в ней. Я не согласен с тем, что любовь слепа. Я знал таких простаков, которые до безумия влюблялись в женщин за их прекрасные глаза и серебристый голосок, не обращая внимания на слишком низкую талию или большие красные руки. Я в таких случаях поступаю не так. Я влюбляюсь в красивые глаза и великолепный голос, но так как женщина без талии и рук существовать не может — отправляюсь на поиски всего этого. Нахожу вторую женщину — стройную, как Венера, с обворожительными ручками. Но у нее сентиментальный, плаксивый характер. Это, может быть, хорошо, но очень и очень изредка... Что из этого следует? Что я должен отыскать женщину с искрометным прекрасным характером и широким душевным размахом! Иду, ищу... Так их и набралось шестеро!

Я серьезно взглянул на него.

— Да это действительно похоже на мозаику.

— Не правда ли? Форменная. У меня, таким образом, составилась лучшая, может быть, женщина в мире, но если бы ты знал — как это тяжело! Как это дорого мне обходится!..

Со стоном он схватил себя руками за волосы и закачал головой направо и налево.

— Все время я должен висеть на волоске. У меня плохая память, я очень рассеянный, а у меня в голове должен находиться целый арсенал таких вещей, которые, если тебе рассказать, привели бы тебя в изумление. Кое-что я, правда, записываю, но это помогает лишь отчасти.

— Как записываешь?

— В записной книжке. Хочешь? У меня сейчас минута откровенности, и я без утайки тебе все рассказываю. Поэтому, могу показать и свою книжку. Только ты не смейся надо мной.

Я пожал ему руку.

— Не буду смеяться. Это слишком серьезно... Какие уж тут шутки!

— Спасибо. Вот видишь — скелет всего дела у меня отмечен довольно подробно. «Смотри: «Елена Николаевна. Ровный, добрый характер, чудесные зубы, стройная. Поет. Играет на фортепиано».

Он почесал углом книжки лоб.

— Я, видишь ли, люблю очень музыку. Потом, когда она смеется — я получаю истинное наслаждение; очень люблю ее! Здесь есть подробности: «Любит, чтобы называли ее Лялей. Любит желтые розы. Во мне ей нравится веселье и юмор. Люб. шампанск. Аи. Набожн. Остерег. своб. рассужд. о религ. вопр. Остерег. спрашив. о подруге Китти. Подозрев., что подруга Китти неравнодушна ко мне»... Теперь дальше: «Китти... Сорванец, способный на всякую шалость. Рост маленький. Не люб., когда ее целуют в ухо. Кричит. Остерег. целов. при посторонн. Из цветов люб. гиацинты. Шамп. только рейнское. Гибкая, как лоза, чудесно танц. матчиш. Люб. засахар. каштаны и ненавид. музыку. Остерег. музыки и упоминания об Елене Ник. Подозрев.»

Кораблев поднял от книжки измученное, страдальческое лицо.

— И так далее. Понимаешь ли — я очень хитер, увертлив, но иногда бывают моменты, когда я чувствую себя летящим в пропасть... Частенько случалось, что я Китти называл «дорогой единственной своей Настей», а Надежду Павловну просил, чтобы славная Маруся не забывала своего верного возлюбленного. В тех слезах, которые исторгались после подобных случаев, можно было бы с пользой выкупаться.

Однажды Лялю я назвал Соней и избежал скандала только тем, что указал на это слово, как на производное от слова «спать». И, хотя она ни капельки не была сонная, но я победил ее своей правдивостью. Потом уже я решил всех поголовно называть дусями, без имени, благо, что около того времени пришлось мне встретиться с девицей, по имени Дуся (прекрасные волосы и крошечные ножки. Люб. театр. Автомоб. ненавидит. Остерег. автомоб. и упомин. о Насте. Подозрев.).

Я помолчал.

— А они... тебе верны?

— Конечно. Так же, как я им. И каждую из них я люблю по-своему за то, что есть у нее хорошего. Но шестеро — это тяжело до обморока. Это напоминает мне человека, который когда собирается обедать, то суп у него находится на одной улице, хлеб на другой, а за солью ему приходится бегать на дальний конец города, возвращаясь опять за жарким и десертом в разные стороны. Такому человеку, так же, как и мне, приходилось бы день-деньской носиться, как угорелому, по всему городу, всюду опаздывать,— слышать упреки и насмешки прохожих... И во имя чего?!

Я был подавлен его рассказом. Помолчав, встал и сказал:

— Ну, мне пора. Ты остаешься здесь, у себя?

— Нет,— отвечал Кораблев, безнадежно смотря на часы.— Сегодня мне в половине седьмого нужно провести вечер по обещанию у Елены Николаевны, а в семь — у Насти, которая живет на другом конце города.

— Как же ты устроишься?

— Я придумал сегодня утром. Заеду на минутку к Елене Николаевне и осыплю ее градом упреков за то, что на прошлой неделе знакомые видели ее в театре с каким-то блондином. Так как это сплошная выдумка, то она ответит мне в резком, возмущенном тоне,— я обижусь, хлопну дверью и уйду. Поеду к Насте.

Беседуя со мной таким образом, Кораблев взял палку, надел шляпу и остановился, задумчивый, что-то соображающий.

— Что с тобой?

Молча снял он с пальца кольцо с рубином, спрятал его в карман, вынул часы, перевел стрелки и затем стал возиться около письменного стола.

— Что ты делаешь?

— Видишь, тут у меня стоит фотографическая карточка Насти, подаренная мне с обязательством всегда держать ее на столе. Так как Настя сегодня ждет меня у себя и ко мне, следо-

вательно, никоим образом не заедет, то я без всякого риска могу спрятать портрет в стол. Ты спросишь — почему я это делаю? Да потому, что ко мне может забежать маленький сорванец Китти и, не застав меня, захочет написать два-три слова о своем огорчении. Хорошо ли будет, если я оставлю на столе портрет соперницы? Лучше же я поставлю на это время карточку Китти.

— А если заедет не Китти, а Маруся... И вдруг она увидит на столе Киттин портрет?

Кораблев потер голову.

— Я уже думал об этом... Маруся ее в лицо не знает, и я скажу, что это портрет моей замужней сестры.

— А зачем ты кольцо снял с пальца?

— Это подарок Насти. Елена Николаевна однажды приревновала меня к этому кольцу и взяла слово, чтоб я его не носил. Я, конечно, обещал. И теперь перед Еленой Николаевной я его снимаю, а когда предстоит встреча с Настей — надеваю. Помимо этого мне приходится регулировать запахи своих духов, цвет галстуков, переводить стрелки часов, подкупать швейцаров, извозчиков и держать в памяти не только все сказанные слова, но и то — кому они сказаны и по какому поводу.

— Несчастный ты человек,— участливо прошептал я.

— Я же тебе и говорил! Конечно, несчастный.

II

Расставшись на улице с Кораблевым, я потерял его из виду на целый месяц. Дважды за это время мною получаемы были от него странные телеграммы:

«2 и 3 числа настоящего месяца мы ездили с тобой в Финляндию. Смотри, не ошибись. При встрече с Еленой сообщи ей это».

И:

— «Кольцо с рубином у тебя. Ты отдал его ювелиру, чтобы изготовить такое же. Напиши об этом Насте. Остерег. Елены».

Очевидно, мой друг непрерывно кипел в том страшном котле, который был им сотворен в угоду своему идеалу женщины; очевидно, все это время он, как угорелый, носился по городу, подкупал швейцаров, жонглировал кольцами, портретами и вел ту странную, нелепую бухгалтерию, которая его только и спасала от крушения всего предприятия.

Встретившись однажды с Настей, я вскользь упомянул, что взял на время у Кораблева прекрасное кольцо, которое теперь у ювелира — для изготовления такого же другого.

Настя расцвела.

— Правда? Так это верно? Бедняжка он... Напрасно я так его терзала. Кстати, вы знаете — его нет в городе! Он на две недели уехал к родным в Москву.

Я этого не знал, да и, вообще, был уверен, что это один из сложных бухгалтерских приемов Кораблева; но все-таки тут же счел долгом поспешно воскликнуть:

— Как же, как же! Я уверен, что он в Москве.

Скоро я, однако, узнал, что Кораблев действительно был в Москве и что с ним там случилось страшное несчастье.

Узнал я об этом, по возвращении Кораблева,— от него самого.

III

. . . .

— Как же это случилось?

— Бог его знает! Ума не приложу. Очевидно, вместо бумажника жулики вытащили. Я делал публикации, обещал большие деньги — все тщетно! Погиб я теперь окончательно.

— А по памяти восстановить не можешь?

— Да... попробуй-ка! Ведь там было, в этой книжке, все до мельчайших деталей — целая литература! Да еще за две недели отсутствия я все забыл, все перепуталось в голове, и я не знаю — нужно ли мне сейчас поднести Марусе букет желтых роз или она их терпеть не может? И кому я обещал привезти из Москвы духи «Лотос» — Насте или Елене? Кому-то из них я обещал духи, а кому-то полдюжины перчаток номер шесть с четвертью... А может — пять три четверти? Кому? Кто швырнет мне в физиономию духи? И кто — перчатки? Кто подарил мне галстук, с обязательством надевать его при свиданиях? Соня? Или Соня, именно, и требовала, чтобы я не надевал никогда этой темно-зеленой дряни, подаренной — «я знаю кем!» Кто из них не бывал у меня на квартире никогда? И кто бывал? И чьи фотографии я должен прятать? И когда?

Он сидел с непередаваемым отчаянием во взоре. Сердце мое сжалось.

— Бедняга ты! — сочувственно прошептал я.— Дай-ка, может быть, я кое-что вспомню... Кольцо подарено Настей. Значит, «остерег. Елены»... Затем карточки... Если приходит Китти, то Марусю можно прятать, так как она ее знает, Настю — не прятать? Или, нет — Настю прятать? Кто из них сходил за твою сестру? Кто из них кого знает?

— Не з-наю,— простонал он, сжимая виски.— Ничего не помню! Э, черт! Будь, что будет.

Он вскочил и схватился за шляпу.

— Еду к ней!

— Сними кольцо,— посоветовал я.

— Не стоит. Маруся к кольцу равнодушна.

— Тогда надень темно-зеленый галстук.

— Если бы я знал! Если бы знать — кто его подарил и кто его ненавидит... Э, все равно!.. Прощай, друг.

IV

Всю ночь я беспокоился, боясь за моего несчастного друга. На другой день утром я был у него. Желтый, измученный, сидел он у стола и писал какое-то письмо.

— Ну? Что, как дела?

Он устало помотал в воздухе рукой.

— Все кончено. Все погибло. Я опять почти одинок!..

— Что же случилось?

— Дрянь случилась, бессмыслица. Я хотел действовать на авось... Захватил перчатки и поехал к Соне. «Вот дорогая моя Ляля,— сказал я ласково,— то, что ты хотела иметь! Кстати, я взял билеты в оперу. Мы пойдем, хочешь? Я знаю, это доставит тебе удовольствие»... Она взяла коробку, бросила ее в угол и, упавши ничком на диван, зарыдала. «Поезжайте,— сказала она,— к вашей Ляле и отдайте ей эту дрянь. Кстати, с ней же можете прослушать ту отвратительную оперную какофонию, которую я так ненавижу». «Маруся,— сказал я,— это недоразумение!»... «Конечно»,— закричала она,— недоразумение, потому что я с детства — не Маруся, а Соня! Уходите отсюда!» От нее я поехал к Елене Николаевне... Забыл снять кольцо, которое обещал ей уничтожить, привез засахаренные каштаны, от которых ее тошнит и которые, по ее словам, так любит ее подруга Китти... Спросил у нее: «Почему у моей Китти такие печальные глазки?..», лепетал, растерявшись, что-то о том, что Китти — это производное от слова «спать» и, изгнанный, помчался к Китти спасать обломки своего благополучия. У Китти были гости... Я отвел ее за портьеру и, по своему обыкновению, поцеловал в ухо, отчего произошел крик, шум и тяжелый скандал. Только после я вспомнил, что для нее это хуже острого ножа... Ухо-то. Ежели его поцеловать...

— А остальные? — тихо спросил я.

— Остались двое: Маруся и Дуся. Но это — ничто. Или почти ничто. Я понимаю, что можно быть счастливым с ц е л о й

гармоничной женщиной, но если эту женщину разрезают на куски, дают тебе только ноги, волосы, пару голосовых связок и красивые уши — будешь ли ты любить эти разрозненные мертвые куски?.. Где же женщина? Где гармония?

— Как так? — вскричал я.

— Да так... Из моего идеала остались теперь две крохотных ножки, волосы (Дуся) да хороший голос с парой прекрасных, сводивших меня с ума ушей (Маруся). Вот и все.

— Что же ты теперь думаешь делать?

— Что?

В глазах его засветился огонек надежды.

— Что? Скажи, милый, с кем ты был позавчера в театре?? Такая высокая, с чудесными глазами и прекрасной, гибкой фигурой.

Я призадумался.

— Кто?.. Ах, да! Это я был со своей кузиной. Жена инспектора страхового общества.

— Милый! Познакомь!

Четверо

I

В купе второго класса курьерского поезда ехало трое: чиновник казенной палаты Четвероруков, его молодая жена — Симочка и представитель фирмы Эванс и Крумбель — Василий Абрамович Сандомирский...

А на одной из остановок к ним в купе подсел незнакомец в косматом пальто и дорожной шапочке. Он внимательно оглядел супругов Четвероруковых, представителя фирмы Эванс и Крумбель и, вынув газету, погрузился в чтение.

Особенная — дорожная — скука повисла над всеми. Четвероруков вертел в руках портсигар, Симочка постукивала каблучками и переводила рассеянный взгляд с незначительной физиономии Сандомирского на подсевшего к ним незнакомца, а Сандомирский в десятый раз перелистывал скверный юмористический журнал, в котором он прочел все, вплоть до фамилии типографщика и приема подписки.

— Нам еще ехать пять часов, — сказала Симочка, сладко зевая. — Пять часов отчаянной скуки!

— Езда на железных дорогах однообразна, чем и утомляет пассажиров, — наставительно отвечал муж.

А Сандомирский сказал:

— И железные дороги невыносимо дорого стоят. Вы подумайте: какой-нибудь билет — стоит двенадцать рублей.

И, пересмотрев еще раз свой юмористический журнал, добавил:

— Уже я не говорю о плацкарте!

— Главное, что скучно! — стукнула ботинком Симочка.

Сидевший у дверей незнакомец сложил газету, обвел снова всю компанию странным взглядом и засмеялся.

И смех его был странный, клокочущий, придушенный, и последующие слова его несказанно всех удивили.

— Вам скучно? Я знаю, отчего происходит скука... От того, что все вы — не те, которыми притворяетесь, а это ужасно скучно.

— То есть, как мы не те? — обиженно возразил Сандомирский. — Мы вовсе — те. Я, как человек интеллигентный...

Незнакомец улыбнулся и сказал:

— Мы все не те, которыми притворяемся. Вот вы — кто вы такой?

— Я? — поднял брови Сандомирский. — Я представитель фирмы Эванс и Крумбель, сукна, трико и бумазеи.

— Ах-ха-ха-ха! — закатился смехом незнакомец. — Так я и знал, что вы придумаете самое нелепое! Ну, зачем же вы лжете себе и другим? Ведь вы кардинал при папском дворе в Ватикане и нарочно прячетесь под личиной какого-то Крумбеля!

— Ватикан? — пролепетал испуганный и удивленный Сандомирский. — Я Ватикан?

— Не Ватикан, а кардинал! Не притворяйтесь дураком. Я знаю, что вы одна из умнейших и хитрейших личностей современности! Я слышал кое-что о вас!

— Извините, — сказал Сандомирский. — Но эти шутки мне не надо!

II

— Джузеппе! — серьезно проворчал незнакомец, кладя обе руки на плечи представителя фирмы Эванс и Крумбель. — Ты меня не обманешь! Вместо глупых разговоров я бы хотел послушать от тебя что-нибудь о Ватикане, о тамошних порядках и о твоих успехах среди набожных знатных итальянок...

— Пустите меня, — в ужасе закричал Сандомирский. — Что это такое?!

— Тссс! — зашипел незнакомец, закрывая ладонью рот коммивояжера. — Не надо кричать. Здесь дама.

Он сел на свое место у дверей, потом засунул руку в карман и, вынув револьвер, навел его на Сандомирского.

— Джузеппе! Я человек предобрый, но если около меня сидит притворщик, я этого не переношу!

Симочка ахнула и откинулась в самый угол. Четвероруков поерзал на диване, попытался встать, но решительный жест незнакомца пригвоздил его к месту.

— Господа! — сказал странный пассажир. — Я вам ничего дурного не делаю. Будьте спокойны. Я только требую от этого человека, чтобы он признался — кто он такой?

— Я Сандомирский! — прошептал белыми губами коммивояжер.

— Лжешь, Джузеппе! Ты кардинал.

Дуло револьвера смотрело на Сандомирского одиноким черным глазом.

Четвероруков испуганно покосился на незнакомца и шепнул Сандомирскому:

— Вы видите, с кем вы имеете дело... Скажите ему, что вы кардинал. Что вам стоит?

— Я же не кардинал!! — в отчаянии прошептал Сандомирский.

— Он стесняется сказать вам, что он кардинал, — заискивающе обратился к незнакомому господину Четвероруков. — Но, вероятно, он кардинал.

— Не правда ли?! — подхватил незнакомец. — Вы не находите, что в его лице есть что-то кардинальное?

— Есть! — с готовностью отвечал Четвероруков. — Но... стоит ли вам так волноваться из-за этого?..

— Пусть он скажет! — капризно потребовал пассажир, играя револьвером.

— Ну, хорошо! — закричал Сандомирский. — Хорошо! Ну, я кардинал.

III

— Видите! — сделал незнакомец торжествующий жест. — Я вам говорил... Все люди не те, кем они кажутся! Благословите меня, ваше преподобие!

Коммивояжер нерешительно пожал плечами, протянул обе руки и помахал ими над головой незнакомца.

Симочка фыркнула.

— При чем тут смех? — обиделся Сандомирский. — Позвольте мне, господин, на минутку выйти.

— Нет, я вас не пущу,— сказал пассажир.— Я хочу, чтобы вы нам рассказали о какой-нибудь забавной интрижке с вашими прихожанками.

— Какие прихожанки? Какая может быть интриж...?!

При взгляде на револьвер, коммивояжер понизил голос и уныло сказал:

— Ну, были интрижки,— стоит об этом говорить...

— Говорите!! — бешено закричал незнакомец.

— Уберите ваш пистолет — тогда расскажу. Ну, что вам рассказать... Однажды в меня влюбилась одна итальянская дама...

— Графиня? — спросил пассажир.

— Ну, графиня. Вася,— говорит,— я тебя так люблю, что ужас. Целовались.

— Нет, вы подробнее... Где вы с ней встретились и как впервые возникло в вас это чувство?..

Представитель фирмы Эванс и Крумбель наморщил лоб и, взглянув с тоской на Четверорукова, продолжал:

— Она была на балу. Такое белое платье с розами. Нас познакомил посланник какой-то. Я говорю: «Ой, графиня, какая вы хорошень..!»

— Что вы путаете,— сурово перебил пассажир.— Разве можно вам, духовному лицу, быть на балу?

— Ну, какой это бал! Маленькая домашняя вечеринка. Она мне говорит: «Джузеппе, я несчастна! Я хотела бы перед вами причаститься».

— Исповедаться! — поправил незнакомец.

— Ну, исповедаться. Хорошо, говорю я. Приезжайте. А она приехала и говорит: «Джузеппе, извините меня, но я вас люблю».

— Ужасно глупый роман! — бесцеремонно заявил незнакомец.— Ваши соседи выслушали его без всякого интереса. Если у папы все такие кардиналы, я ему не завидую!

IV

Он благосклонно взглянул на Четверорукова и вежливо сказал:

— Я не понимаю, как вы можете оставлять вашу жену скучающей, когда у вас есть такой прекрасный дар...

Четвероруков побледнел и робко спросил:

— Ка...кой ддар?

— Господи! Да пение же! Ведь вы хитрец! Думаете, если около вас висит форменная фуражка, так уж никто и не дога-

дается, что вы знаменитый баритон, пожинавший такие лавры в столицах?..

— Вы ошиблись,— насильственно улыбнулся Четвероруков.— Я чиновник Четвероруков, а это моя жена Симочка...

— Кардинал! — воскликнул незнакомец, переведя дуло револьвера на чиновника.— Как ты думаешь, кто он: чиновник или знаменитый баритон?

Сандомирский злорадно взглянул на Четверорукова и, пожав плечами, сказал:

— Наверное, баритон!

— Видите! Устами кардиналов глаголет истина. Спойте что-нибудь, маэстро! Я вас умоляю.

— Я не умею! — беспомощно пролепетал Четвероруков.— Уверяю вас, у меня голос противный, скрипучий!

— Ах-хах-ха! — засмеялся незнакомец.— Скромность истинного таланта! Прошу вас — пойте!

— Уверяю вас...

— Пойте! Пойте, черт возьми!!!

Четвероруков конфузливо взглянул на нахмуренное лицо жены и, спрятав руки в карманы, робко и фальшиво запел:

По синим волнам океана,
Лишь звезды блеснут в небесах...

Подперев голову рукой, незнакомец внимательно, с интересом, слушал пение. Время от времени он подщелкивал пальцами и подпевал.

— Хорошо поете! Тысяч шесть получаете? Наверное, больше! Знаете, что там ни говори, а музыка смягчает нравы. Не правда ли, кардинал?

— Еще как! — нерешительно сказал Сандомирский.

— Вот видите, господа! Едва вы перестали притворяться, стали сами собою, как настроение ваше улучшилось и скуки как ни бывало. Ведь вы не скучаете?

— Какая тут скука! — вздохнул представитель фирмы Эванс и Крумбель.— Сплошное веселье.

— Я очень рад. Я замечаю, сударыня, что и ваше личико изменило свое выражение. Самое ужасное в жизни, господа, это фальшь, притворство. И если смело, энергично за это взяться — все фальшивое и притворное рассеется. Ведь вы раньше считали, вероятно, этого господина коммивояжером, а вашего мужа чиновником. Считали, может быть, всю жизнь... А я в два приема снял с них личину. Один оказался кардиналом, другой — баритоном. Не правда ли, кардинал?

— Вы говорите, как какая-нибудь книга,— печально сказал Сандомирский.



— И самое ужасное, что ложь во всем. Она окружает нас с пеленок, сопровождает на каждом шагу, мы ею дышим, носим ее на своем лице, на теле. Вот, сударыня, вы одеты в светлое платье, корсет и ботинки с высокими каблуками. Я ненавижу все лживое, обманчивое. Сударыня! Осмелюсь почтительнейше попросить вас — снимите платье! Оно скрывает прекраснейшее, что есть в природе — тело!

Странный пассажир галантно направил револьвер на мужа Симочки и, глядя на нее в упор, мягко продолжал:

— Будьте добры раздеться... Ведь ваш супруг ничего не будет иметь против этого?..

Супруг Симочки взглянул потускневшими глазами на дуло револьвера и, стуча зубами, отвечал:

— Я... нич...чего... Я сам любблю красоту. Немножко раздеться можно, хе...хе...

Глаза Симочки метали молнии. Она с отвращением посмотрела на бледного Четверорукова, на притихшего Сандомирского, энергично вскочила и сказала, истерически смеясь:

— Я тоже люблю красоту и ненавижу трусость. Я для вас разденусь! Прикажите только вашему кардиналу отвернуться.

— Кардинал! — строго сказал незнакомец.— Вам, как духовному лицу, нельзя смотреть на сцену сцен. Закройтесь газетой!

— Симочка...— пролепетал Четвероруков.— Ты... немножко.

— Отстань, без тебя знаю!

Она расстегнула лиф, спустила юбку и, ни на кого не смотря, продолжала раздеваться, бледная, с нахмуренными бровями.

— Не правда ли, я интересная? — задорно сказала она, улыбаясь углами рта.— Если вы желаете меня поцеловать, можете попросить разрешения у мужа — он, вероятно, позволит.

— Баритон! Разреши мне почтительнейше прикоснуться к одной из лучших женщин, которых я знал. Многие считают меня ненормальным, но я разбираюсь в людях!

Четвероруков, молча, с прыгающей нижней челюстью и ужасом в глазах, смотрел на страшного пассажира.

— Сударыня! Он, очевидно, ничего не имеет против. Я почтительнейше поцелую вашу руку...

Поезд замедлял ход, подходя к вокзалу большого губернского города.

— Зачем же руку? — болезненно улыбнулась Симочка.— Мы просто поцелуемся! Ведь я вам нравлюсь?

Незнакомец посмотрел на ее стройные ноги в черных чулках, обнаженные руки и воскликнул:

— Я буду счастлив!

Не сводя с мужа пылающего взгляда, Симочка обняла голыми руками незнакомца и крепко его поцеловала.

Поезд остановился.

Незнакомец поцеловал Симочкину руку, забрал свои вещи и сказал:

— Вы, кардинал, и вы, баритон! Поезд стоит здесь пять минут. Эти пять минут я тоже буду стоять на перроне с револьвером в кармане. Если кто-нибудь из вас выйдет — я застрелю того. Ладно?

— Идите уж себе! — простонал Сандомирский.

Когда поезд двинулся, дверцы купе приоткрылись, и в отверстие просунулась рука кондуктора с запиской.

Четвероруков взял ее и с недоумением прочел:

«Сознайтесь, что мы не проскучали... Этот оригинальный, но действительный способ сокращать дорожное время имеет еще то преимущество, что всякий показывает себя в натуральную величину. Нас было четверо: дурак, трус, мужественная женщина и я — весельчак, душа общества. Баритон! Поцелуйте от меня кардинала...»

Ложь

Трудно понять китайцев и женщин.

Я знал китайцев, которые два-три года терпеливо просиживали над кусочком слоновой кости величиной с орех. Из этого бесформенного куска китаец с помощью целой армии крохотных ножичков и пилочек вырезывал корабль — чудо хитроумия и терпения: корабль имел все снасти, паруса, нес на себе соответствующее количество команды, причем каждый из матросов был величиной с маковое зерно, а канаты были так тонки, что даже не отбрасывали тени — и все это было ни к чему... Не говоря уже о том, что на таком судне нельзя было сделать самой незначительной поездки — сам корабль был настолько хрупок и непрочен, что одно легкое нажатие ладони уничтожало сатанинский труд глупого китайца.

Женская ложь часто напоминает мне китайский корабль величиной с орех — масса терпения, хитрости — и все это совершенно бесцельно, безрезультатно, все гибнет от простого прикосновения.

* * *

Чтение пьесы было назначено в 12 часов ночи.

Я приехал немного раньше и, куря сигару, убивал ленивое время в болтовне с хозяином дома адвокатом Лязговым.

Вскоре после меня в кабинет, где мы сидели, влетела розовая, оживленная жена Лязгова, которую час тому назад я мельком видел в театре сидящей рядом с нашей общей знакомой Таней Черножуковой.

— Что же это,— весело вскричала жена Лязгова.— Около двенадцати, а публики еще нет?!

— Подойдут,— сказал Лязгов.— Откуда ты, Симочка?

— Я... была на катке, что на Бассейной, с сестрой Тарского.

Медленно, осторожно повернулся я в кресле и посмотрел в лицо Серафимы Петровны.

Зачем она солгала? Что это значит?

Я задумался.

Зачем она солгала? Трудно предположить, что здесь был замешан любовник... В театре она все время сидела с Таней Черножуковой и из театра, судя по времени, прямо поехала домой. Значит, она хотела скрыть или свое пребывание в театре, или — встречу с Таней Черножуковой.

Тут же я вспомнил, что Лязгов раза два-три при мне просил жену реже встречаться с Черножуковой, которая, по его

словам, была глупой, напыщенной дурой и имела на жену дурное влияние... И тут же я подивился: какая пустяковая, ничтожная причина может иногда заставить женщину солгать...

* * *

Приехал студент Конякин. Поздоровавшись с нами, он обернулся к жене Лязгова и спросил:

— Ну, как сегодняшняя пьеса в театре... Интересна?

Серафима Петровна удивленно вскинула плечами.

— С чего вы взяли, что я знаю об этом? Я же не была в театре.

— Как же не были? А я заезжал к Черножуковым — мне сказали, что вы с Татьяной Викторовной уехали в театр.

Серафима Петровна опустила голову и, разглаживая юбку на коленях, усмехнулась:

— В таком случае я не виновата, что Таня такая глупая; когда она уезжала из дому, то могла солгать как-нибудь иначе...

Лязгов, заинтересованный, взглянул на жену.

— Почему она должна была солгать?

— Неужели ты не догадываешься? Наверное, поехала к своему поэту!

Студент Конякин живо обернулся к Серафиме Петровне.

— К поэту? К Гагарову? Но этого не может быть! Гагаров на днях уехал в Москву, и я сам его провожал.

Серафима Петровна упрямо качнула головой и, с видом человека, прыгающего в пропасть, сказала:

— А он все-таки здесь!

— Не понимаю...— пожал плечами студент Конякин.— Мы с Гагаровым друзья, и он, если бы вернулся, первым долгом известил бы меня.

— Он, кажется, скрывается,— постукивая носком ботинка о ковер, сообщила Серафима Петровна.— За ним следят.

Последняя фраза, очевидно, была сказана просто так, чтобы прекратить скользкий разговор о Гагарове.

Но студент Конякин забеспокоился.

— Следят??! Кто следит?

— Эти, вот... Сыщики.

— Позвольте, Серафима Петровна... Вы говорите что-то странное: с какой стати сыщикам следить за Гагаровым, когда он не революционер и политикой никогда не занимался?!

Серафима Петровна окинула студента враждебным взглядом и, проведя языком по запекшимся губам, раздельно ответила:

— Не занимался, а тепе́рь занимается. Впрочем, что мы все: Гагаров, да Гагаров. Хотите, господа, чаю?

* * *

Пришел еще один гость — газетный рецензент Блюхин.

— Мороз,— заявил он,— а хорошо! Холодно до гадости. Я сейчас часа два на коньках катался. Прекрасный на Бассейной каток.

— А жена тоже сейчас только оттуда,— прихлебывая чай из стакана, сообщил Лязгов.— Встретились?

— Что вы говорите?! — изумился Блюхин.— Я все время катался и вас, Серафима Петровна, не видел.

Серафима Петровна улыбнулась.

— Однако я там была. С Марьей Александровной Шемшуриной.

— Удивительно... Ни вас, ни ее я не видел. Это тем более странно, что каток ведь крошечный,— все, как на ладони.

— Мы больше сидели все... около музыки,— сказала Серафима Петровна.— У меня винт на коньке расшатался.

— Ах, так! Хотите, я вам сейчас исправлю? Я мастер на эти дела. Где он у вас?

Нога нервно застучала по ковру.

— Я уже отдала его слесарю.

— Как же это ты ухитрилась отдать слесарю, когда теперь ночь? — спросил Лязгов.

Серафима Петровна рассердилась.

— Так и отдала! Что ты пристал? Слесарная, по случаю срочной работы, была открыта. Я и отдала. Слесаря Матвеем зовут.

* * *

Наконец, явился давно ожидаемый драматург Селиванский с пьесой, свернутой в трубку и перевязанной ленточкой.

— Извиняюсь, что опоздал,— раскланялся он.— Задержал прекрасный пол.

— На драматурга большой спрос,— улыбнулся Лязгов.— Кто же это тебя задержал?

— Шемшурина, Марья Александровна. Читал ей пьесу.

Лязгов захлопал в ладоши.

— Соврал, соврал драматург! Драматург скрывает свои любовные похождения! Никакой Шемшуриной ты не мог читать пьесу!

— Как не читал? — обводя компанию недоуменным, подозрительным взглядом, вскричал Селиванский. — Читал! Именно ей читал.

— Ха-ха! — засмеялся Лязгов. — Скажи же ему, Симочка, что он попался с поличным: ведь Шемшурина была с тобой на катке.

— Да, она со мной была, — кивнула головой Серафима Петровна, осматривая всех нас холодным взглядом.

— Когда?! Я с половины девятого до двенадцати сидел у нее и читал свою «Комету».

— Вы что-нибудь спутали, — пожала плечами Серафима Петровна.

— Что? Что я мог спутать? Часы я мог спутать, Шемшурину мог спутать с кем-нибудь или свою пьесу с отрывным календарем?! Как так — спутать?

— Хотите чаю? — предложила Серафима Петровна.

— Да, нет, разберемся: когда Шемшурина была с вами на катке?

— Часов в десять, одиннадцать.

Драматург всплеснул руками.

— Так поздравляю вас: в это самое время я читал ей дома пьесу.

Серафима Петровна подняла язвительно одну бровь.

— Да? Может быть, на свете существуют две Шемшуриных? Или я незнакомую даму приняла за Марью Александровну? Или, может, я была на катке вчера... Ха-ха!..

— Ничего не понимаю! — изумился Селиванский.

— То-то и оно, — засмеялась Серафима Петровна. — То-то и оно! Ах, Селиванский, Селиванский...

Селиванский пожал плечами и стал разворачивать рукопись.

Когда мы переходили в гостиную, я задержался на минуту в кабинете и, сделав рукой знак Серафиме Петровне, остался с ней наедине.

— Вы сегодня были на катке? — спросил я равнодушно.

— Да. С Шемшуриной.

— А я вас в театре сегодня видел. С Таней Черножуковой.

Она вспыхнула.

— Не может быть. Что же, я лгу, что ли?

— Конечно, лжете. Я вас прекрасно видел.

— Вы приняли за меня кого-нибудь другого...

— Нет. Вы лжете неумело, впутываете массу лиц, попадаетесь и опять нагромождаете одну ложь на другую... Для чего вы солгали мужу о катке?

Ее нога застучала по ковру.

— Он не любит, когда я встречаюсь с Таней.

— А я сейчас пойду и скажу всем, что видел вас с Таней в театре.

Она схватила меня за руку, испуганная, с трясущимися губами.

— Вы этого не сделаете?!

— Отчего же не сделать?.. Сделаю!

— Ну, милый, ну, хороший... Вы не скажете... да? Ведь не скажете?

— Скажу.

Она вскинула свои руки мне на плечи, крепко поцеловала меня и, прижимаясь, прерывисто прошептала:

— А теперь не скажете? Нет?

* * *

После чтения драмы — ужинали.

Серафима Петровна все время упорно избегала моего взгляда и держалась около мужа.

Среди разговора она спросила его.

— А где ты был сегодня вечером? Тебя ведь не было с трех часов.

Я с любопытством ждал ответа. Лязгов, когда мы были вдвоем в кабинете, откровенно рассказал мне, что этот день он провел довольно беспутно: из Одессы к нему приехала знакомая француженка, кафешантанная певица, с которой он обедал у Контана, в кабинете; после обеда катались на автомобиле, потом он был у нее в Гранд-Отеле, а вечером завез ее в «Буфф», где и оставил.

— Где ты был сегодня?

Лязгов обернулся к жене и, подумав несколько секунд, ответил:

— Я был у Контана. Обедали. Один клиент из Одессы с женой француженкой и я. Потом я заехал за моей доверительницей по Усачевскому делу, и мы разъезжали в ее автомобиле — она очень богатая — по делу об освобождении имения от описи. Затем я был в Гранд-Отеле у одного помещика, а вечером заехал на минутку в «Буфф» повидаться с знакомым. Вот и все.

Я улыбнулся про себя и подумал:

— Да. Вот это ложь!

Визитер

ОПЫТ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Всякий, кому приходилось видеть визитера в начале его хлопотливой деятельности, знает — какое это чистенькое, надушенное, сверкающее белизной белья и лаком ботинок существо!

Перед выходом из дому визитер долго стоит у зеркала и приглаживает несколько волосинок, отставших у уха; он долго возится над тем, чтобы кончик его белого галстука не заскакивал за край жилета, и заботливо удаляет крошечную невинную пылинку, развязно усевшуюся на носке ботинка. Пушинка на рукаве фрака приводит его в нервный трепет. Она сбрасывается с рукава так энергично, что даже производит при падении легкий стук. Двумя пальцами вытаскивается из жилетного кармана маленький кончик красного шелкового платочка — ровно настолько, чтобы на общем фоне черного и белого алело необходимое декоративное пятнышко.

Вот что проделывает визитер, собираясь уходить.

Нет нужды, что на пятом визите фрак его будет обсыпан пудрой, вымазан горчицей, и на носке ботинка уютно прикурнет прилипшая головка кильки; а на десятом визите галстук лихо передвинется набекрень, и пряжка его будет весело болтаться на мужественной груди визитера, а в красном шелковом платочке, засунутом за жилет, будет завернут плохо прожеванный кусок колбасы, не могший проползти в сузившееся визитерово горло.

Нет нужды! Визитер, одеваясь дома, о будущем не думает. Все его мысли и мироощущение — в настоящем.

* * *

Явившись в знакомый дом, визитер первым долгом бросается всех целовать, преисполненный нежной любви и ласки к прекрасному человечеству.

Мужчины по большей части переносят поцелуи визитера стоически. Лишь некоторые отрывают визитера после первого же поцелуя, так что следующие два — приходятся в воздух.

Визитер этим не смущается: воздух так воздух — он поцелует и воздух. И воздух хороший человек.

С дамами визитеру приходится повозиться.

— Ах, я, простите, не целуюсь.

— Да почему?

— Ах, нет, нет — как можно.

— Помилуйте, такой праздник... Нужно обязательно поцеловаться.

— У меня принцип — не целоваться. Ах, ах!

У многих дам единственный принцип в жизни — не целоваться на Пасху. Во все остальное время их легкомысленной жизни они целуются без всякого порядка и смысла, и тому же визитеру легче добиться прикосновения женских губ зимой, осенью и летом, чем на Пасху.

Если дама продолжает отказываться, визитер, обуреваемый высокими порывами, набрасывается на даму и, скрутив ей руки, целует ее в лопатку, в гребенку, торчащую из волос, и в тот же безропотный воздух.

Обыкновенно неприхотливый визитер удовлетворяется этим слабым выражением христианской любви, и его немедленно ведут к столу.

— Закусите-ка... Рюмку рябиновой?

В первые два визита визитер обыкновенно разбирается в напитках и закусках чрезвычайно тонко: он сначала выпьет померанцевой и закусит кусочком икры; потом зубровки и — ветчины; напоследок — рюмку коньяку и отведает кулича.

От коньяку поморщится, а кулич похвалит.

Следующие визиты усыпляют в визитере чувство излишней изысканности: сначала он пьет какой-нибудь ликер, закусывает омаром, а потом переходит на простую водку, заедая ее сахарным розаном с кулича.

И чем дальше — тем вкус его делается менее изысканным, но более прихотливым, идя рука об руку с рассеянностью.

Налитое по ошибке, вместо белого вина, прованское масло он хочет закусить ветчиной; но рука его попадает немного дальше, отщипывает кусок разноцветной бумажной бахромы с окорока и отправляет это красивое произведение хозяйского сынишки — в рот.

— Хорошая семга, — одобрительно кивает головой визитер, прожевывая бумагу. — По... чем продавали?

Потом он неистово хохочет сам над собой, объясняя всем, как он ошибся, сказав вместо «покупали» — «продавали»...

Он замечает свои ошибки и спешит сознаться в них. Это его бесспорное достоинство. И хохочет он, с открытым ртом, из которого торчит полусъеденная разноцветная бумага, а галстук уже успел передвинуться, и пряжка, как живая, пляшет на груди, в такт смеху веселого хозяина.

* * *

На первых визитах хозяева дома еще делают кое-какие попытки завязать с визитером беседу.

Прием один и тот же:

— В какой церкви были у заутрени?

— В соборе.

— А где разговлялись?

— Дома.

— А хорошие у вас куличи вышли?

— Хорошие.

— А летом вы на даче?

— На даче.

— Как, вообще, поживаете?

— Да ничего. Ну, мне пора.

— Да посидите еще.

— Нет, нет, что вы!

Последующие визиты делают визитера человеком очень оригинальным, полным свежих неожиданностей, но вести с ним обыкновенную светскую беседу делается чрезвычайно затруднительным.

На вопрос:

— Где были у заутрени?

Он, зрело обдумав свой ответ, говорит:

— Четырнадцать. Да еще восемь позавчера.

— Что — восемь?

— Высокий такой блондин. Живи, говорит, у меня — чего там!

— Что?

— Вот вам и что! Его из печки вытащили, а он пополам. Тесто жидко замесили, что ли. Вы позволите еще рюмочку ветчины?

На самом последнем визите визитер уже не говорит, а только иронически и подозрительно посматривает на всех исподлобья.

В этот период своей жизни он легко и безболезненно отвергает все завоевания тысячелетней культуры и цивилизации, с такой любовью созданной предками. Он может неожиданно расхохотаться; или начнет с аппетитом раскусывать хрустальный бокал; или будет пытаться влезть в рояль, с категорической, не допускающей возражений, просьбой:

— Разбудить его в половине шестнадцатого.

Закончив все визиты, визитер долго бродит по улицам, полный смутных, неопределенных мыслей. Редко кому приходилось видеть визитера в таком переходном состоянии, но авто-



ру этой статьи однажды удалось подсмотреть, как вел себя в вышеприведенном случае визитер.

Он брел неверными шагами вдоль улицы, изредка одобрительно похлопывая по стенам и заглядывая в отверстия водосточных труб.

Он был в таком состоянии, что на главное не обращал внимания... Вызывали к себе его интерес только пустяки.

Шагая по улице, он увидел лежащую на своем пути спичку. Он изумленно остановился над ней и застыл в напряженной позе.

Потом, осторожно подняв ее, подошел к дремавшему дворнику у ворот.

— Человек! Где у вас склад ненужных отбросов?

— Чего-с?

— Укажите такое место, где бы я мог положить этот предмет, мешающий правильному движению пассажиров.

— Да бросьте ее,— сказал, засмеявшись, дворник.— Чего там.

Он взял из рук визитера спичку и бросил ее на землю.

— Нет, милый дворник, ты этого не делай. Зачем ты это делаешь? Это делать нехорошо.

— Да кому же она мешает? — сказал дворник.

— Тут люди ходят. Зацепится кто-нибудь, упадет, сломает ногу. Ему больно будет... Умрет... без... миропомазания...

Он нагнулся, поднял снова спичку, вырыл под воротами пальцем ямку, облегченно вздохнул.

— Так-то оно и спокойнее... Прощайте, Никифор.

Визитер побрел дальше, остановился у какого-то подъезда и сел на ступеньку.

Рассеянный взгляд его упал на ботинок, на котором присохла оброненная им в предпоследнем доме килька.

Визитер снял ее с ботинка и положил на ладонь.

— Бедненькая! — сказал он, глотая слезы. — Неужели ты уже умерла? Нет! Ты еще будешь жить. Я тебя возьму к себе, и там в тепле и холе ты проживешь остаток дней твоих. О, жестокие, безнравственные люди!.. Господи, Боже ты мой! За что, спрашивается? За что?

И он, раскачиваясь, баюкал пыльную кильку на руках, гладил ее, целовал и отогревал своим дыханием.

Потом вынул шелковый платочек, разостлал его на коленях, положил в него кильку и, с трудом поднявшись, сунул все это в карман белого жилета.

Побрел, пошатываясь, и я потерял его из вида.

* * *

Один знакомый рассказывал мне прелюбопытную историю, касающуюся пасхальных визитов.

Она совершенно достоверна, так как знакомый этот служит чиновником в пробирной палатке и имеет в Петербурге двухэтажный дом.

Я не думаю, что такой человек мог бы выдумать свою историю, или раздуть ее, или изукрасить.

Да он был и слишком глуп для этого.

Кто знает хорошо институт пасхальных визитов, — тому эта история не покажется особенно странной и небывалой.

* * *

Вот что он рассказал:

Однажды перед Пасхой пришлось ему поехать по делам из Петербурга в Харьков.

Город этот был незнаком ему, и он всю страстную субботу проскучал. На другой день утром, когда проснулся, солнце светило в окно, и около его кровати лежал тщательно вычищенный фрак.

Чиновник пробирной палатки сладко и радостно потянулся на кровати и сказал сам себе:

— Нынче нужно делать визиты — первый день Пасхи, слава Богу! Пора бы одеваться.

Он встал, оделся, побрился и вышел на улицу. На улице сторговался с извозчиком, сел в пролетку, вынул записную книжку с разными адресами и заглянул в нее.

— Вези меня на Дворянскую, номер 7.

Приехал на Дворянскую, отыскал, как и значилось в книжке, квартиру номер 4 и позвонил.

— Дома? — спросил он горничную. — Принимают? Христос воскресе.

— Пожалуйте-с! Воистину.

Чиновник был радостно встречен хозяином дома, расцеловался с ним и подошел к хозяйке с протянутыми губами.

— Да я не христосуюсь с мужчинами, — кокетливо заявила хозяйка.

— Да почему?

— Ах, нет, нет — как можно!

Чиновник все-таки поцеловал сначала какой-то рюш у нее на шее, потом серьгу в ухе, потом воздух, а потом все трое, весело смеясь, направились к столу...

— Рюмочку зубровки! Попробуйте нашего кулича — нынче, кажется, удачные.

— Попробую! Да, кулич прекрасный.

— Где были у заутрени? — спросила хозяйка.

— В университетской церкви.

— А где разговлялись?

— Дома.

— Летом на даче думаете?

— На даче. Ну, мне пора.

— Да посидите еще! В кои-то веки соберетесь.

— Нет, нет, что вы.

Чиновник вышел, сел на извозчика и заглянул в книжку.

— Московская, 12; квартира 20.

Извозчик привез. Чиновник позвонил, похристосовался с плутоватой горничной, расцеловался с хозяином, был несказанно удивлен отказом хозяйки от христосования и потом пил доппель-кюммель.

— Где были у заутрени?

— В университетской церкви.

— Летом на даче?

— Да, ну, мне пора. До свиданья-с.

— Куда же вы?

Третье место, куда поехал извозчик, было:

— Ивановская, 9, квартира 6.

После обычного христосования и двух рюмок коньяку, хозяйка спросила:

— Где были у заутрени?

— В университетской. Хотел было в Исаакиевский собор, да далеко, знаете, от меня.

— Я думаю,— сказала хозяйка.

— Да,— подтвердил чиновник.— Минут сорок нужно ехать.

— Откуда?!!

— Да от меня!

— Помилуйте, что вы говорите!.. Как же от Харькова до Петербурга сорок минут езды?

Чиновник встал, потрясенный до самого дна.

— Это... какой город?

Хозяйка засмеялась.

— Вот тебе раз! Человек в Харькове сидит на Ивановской улице у Сверчковых,— да не знает, что это за город.

— Так вы Сверчковы? — вскричал чиновник.— А у меня в книжке записан такой адрес: Ивановская, 9, квартира 6 — Чаплыгина. Вы, значит, не Чаплыгины?

— Да нет же — мы Сверчковы.

— Тогда извините,— растерялся чиновник.— Всего лучшего. Я уж пойду.

— Куда же вы — посидите!

* * *

— Понимаете,— говорил мне, рассказывая об этом случае, чиновник,— экая чепуха получилась. И в Петербурге, и в Харькове есть и Московская, и Дворянская, и Ивановская. Я по петербургским адресам и ездил.

— Да как же они вас принимали, незнакомого? — спросил я удивленно.

— Да им-то что?.. Приехал визитер, во фраке, христосуется, был у заутрени, пьет водку — значит, все как нужно, все, как следует... А мое тоже положение — разве все знакомые лица упомнишь? Не разговорись я об Исаакии — так бы никто ничего и не заметил.

* * *

Жизнь посылает нам удивительные хитросплетения и устраивает самые замысловатые комбинации.

Если история, рассказанная выше, и кажется невероятной, то повторяю: не мог же чиновник пробирной палатки, владелец двухэтажного дома, выдумать ее?!

Гордиев узел

Однажды в вагоне второго класса пассажирского поезда толстый добродушный пассажир вынул сигару и закурил.

Глаза у него были маленькие, хитрые, улыбка мягкая, чрезвычайно добрая, а манеры грубоватые с оттенком фамильярного дружелюбия.

Против него сидели три пассажира, сбоку еще два — и все пятеро посмотрели на него с ненавистью, угрожающе, как только он выпустил изо рта первый залп тяжелого дыма.

— Это вагон для некурящих,— сдержанно заметил рыжий человек.

Толстяк затянулся второй раз и зажмурил глаза от удовольствия.

— Слушайте! Здесь нельзя курить: это вагон для некурящих!

— Ну-у?

— Да вот вам и — ну! Потрудитесь или бросить сигару, или выйти на площадку.

— Да нет... Я уж лучше тут докурю.

— Как — тут? Почему — тут? Ясно вам говорят, что здесь нельзя курить!

— Кто говорит?

— Я говорю. И мои соседи... И все...

— Да почему?

— Мы дыму не переносим!

Курильщик выразил на своем лице изумление, смешанное с иронией.

— Что... Не любите? Дыму испугались? Как же вы на войну пойдете, если дыму боитесь? Эх, публика! Вот оттого-то вас японцы...

Он сделал длительный перерыв, сладко затянувшись сигарой.

— ...И побили... что мы дыму боимся.

— При чем тут японцы? Ясно здесь написано на табличке: «просят не курить!»

Лицо толстяка выразило искреннюю печаль и огорчение.

— Боже мой! Как в этой фразе, в этих словах выразился весь русский человек — раб по призванию. Весь пресловутый русский дух сидит в этой фразе! Для него «написано», значит — свято. Печатное слово для него жупел, страшилище, и он перед ним распластывается, как дикарь перед строгим божеством.

— Сами вы дикарь!

— Нет, милостивые государи, не дикарь я. Не дикарь я, потому что...

Он затянулся.

— ...Потому что я рассуждаю и этим являю собою высший интеллект.

— Хороший интеллигент! Интеллигент, а поступает, как нахал.

— Извините меня, сударыня, но вы смешали два разных понятия: интеллигент и интеллект. Это именно и подтверждает мою мысль: дикарь—тот, кто слепо преклоняется перед печатными словами, не зная их подлинного смысла.

Рыжий пассажир, ошеломленный этими словами, потряс головой, подумал немного и сказал:

— Куренье вредно для здоровья.

— Вот оно, вот,—страдальчески поморщился курильщик.—Вот с помощью этих понятий вы и воспитываете будущее поколение, хилое, слабое, не обкуренное дымом и не закаленное суровой жизнью!..

— Категорически умоляю вас: бросьте курить! Как не стыдно, право.

— Да чего там просить его,—поднял от газеты голову чиновник.—Заставить надо.

— Что ж... пожалуйста... Заставьте! Конечно, сила на вашей стороне: вас много, а я один. Но не позор ли для нашего века, когда люди не пускают, как оружие, моральную силу убеждения, а пользуются для этого силой физической, кулаком... Чем же после этого будем мы отличаться от наших предков, бродивших с каменными топорами и стукавших ими по голове каждого встречного?

Человек, по виду артельщик, отозвался из угла:

— Склизкий.

Толстяк сделал вкусную, глубокую затяжку и, как Везувий, выбросил целый столб дыма.

— Чего-с?—спросил он равнодушно.

— Склизкий ты, говорю. Между пальцев проворишь.

— Я вас не понимаю,—недоуменно улыбнулся толстяк.

— Вот когда жандарма со станции позовем, тогда поймете.

— Тогда я пойму одно: русскому человеку свобода не нужна, конституция не для него! Посадите ему на шею жандарма, и он будет счастлив, как светская красавица, шея которой украшена драгоценным бриллиантовым...

Снова он затянулся.

— ...колье!. Да-с, колье. Настаиваю на этом уподоблении.

— Кондуктор! Кондуктор!!

Толстяк благожелательно усмехнулся и, вынув изо рта сигару, принялся вопить вместе с другими:

— Конду-у-уктор!

Когда явился кондуктор, курильщик снова взял сигару в рот и пожаловался:

— Кондуктор! Почему эти пассажиры запрещают мне курить?

— Здесь нельзя, господин. Видите вон, написано.

— Кто же это написал?

— Да кто ж мог... Дорога.

— А если мне все-таки хочется курить?

— Тогда пожалуйте на площадку.

— Люди! — засмеялся толстый пассажир. — Как вы смешны и беспомощны! Как вы заблудились между трех сосен!! Вы, представитель дороги, приглашаете меня на площадку, а на этой же стене красуется другая надпись: «Во время хода поезда — просят на площадке не стоять». Как же это совместить? Как можно совместить два совершенно противоположных постановления?!

Кондуктор вздохнул и с беспросветным отчаянием во взоре почесал затылок.

— Как же быть? — пролепетал он.

— Да ничего, милый. Вот докурю сигару и брошу ее.

— Нет-с, — крикнул злобно чиновник, комкая газету, — мы этого не позволим! Раз вагон для некурящих — он не имеет права курить! Пусть идет на площадку.

— Я не имею права курить, по-вашему... Хорошо-с. Но я же не имею права и выходить на площадку! Одно взаимно исключает другое. Поэтому я имею право выбирать любое.

Он стряхнул пепел с кончика сигары и взял ее в рот, ласково улыбаясь:

— Выбираю.

— Кондуктор!! — взревел чиновник. — Ведь это незаконно!! Неужели вы не можете прекратить это безобразие?!

Кондуктору очень хотелось прекратить это безобразие. Он стремился к этому всеми силами, что было заметно по напряженности выражения лица и решимости, сверкнувшей в глазах; он имел твердое намерение урегулировать сложный вопрос одним ударом, как развязан был в свое время гордиев узел.

Сделал он это так: коснулся кончиком сапога скамьи, приподнялся и одним движением руки перевернул табличку с надписью «просят не курить».

И табличка, перевернувшись, выказала другую свою сторону, с надписью:

«Вагон для курящих».

Пассажиры выругались, а толстяк покачал головой и окутал себя таким облаком дыма, что исчез совершенно.

И, невидимый, сказал из облака добродушным тоном:

— Всякий закон оборотную сторону имеет.

Призвание

I

Угадать призвание в человеке, направить его на настоящий путь — что может быть прекраснее этого?

Издатель газеты «Суета сует» критически оглядел мою фигуру и сказал:

— Гм... Что же вы можете у нас делать?.. Гм... Василий Васильевич очень просил за вас, а мне хотелось бы сделать ему приятное. Знаете, что? Поступайте к нам на вырезки.

— На вырезки, так на вырезки, — равнодушно согласился я. — На какие вырезки?

— Это очень несложное дело. Вы берете пачку только что полученных чужих газет и начинаете проглядывать их, вырезывая ножницами самое интересное и сенсационное. Потом наклеиваете эти вырезки на бумагу и, сопроводив их соответствующими примечаниями, отсылаете в типографию. Справитесь с этим?

— Всякий дурак справился бы с этим.

— Ну, а вы?

— Тем более, я справлюсь, — скромно подтвердил я.

— Ну, с Богом.

Я сел на указанное мне место и прилежно занялся своим новым делом. Я читал газеты, резал их ножницами, мазал клеем, наклеивал, приписывал и, хотя устал, как собака, но зато с честью выполнил свою задачу.

На другой день утром редактор подошел ко мне и решительно сказал:

— Не делайте больше вырезок!

— Почему?

— Потому что у вас получается черт знает что.

— Рассказывайте! — недоверчиво возразил я. — Приснилось это вам, что ли?

— Нет, не приснилось... Ну, посмотрите, что вы навырезывали! Ну, прочтите сами, своими глазами, что напечатано в нашей газете, благодаря вам! Можно это допустить?

Я пожал плечами и, развернув газету, просмотрел свою вчерашнюю работу.

— «Обзор печати». Газета «Тамбовский Голос» сообщает очень интересное сведение: вице-губернатор Мохначев выехал в Петербург. К сожалению, причина выезда этого администратора не указана...

«В «Калужских Вестях» читаем: «Вчера его пр-во г. губернатор присутствовал на панихиде по усопшем правителе канцелярии. Вечером его пр-во отбыл в имение».

«Небезынтересное для наших читателей сведение сообщает «Акмолинское Эхо»: «Акмолинский архиерей собирается в поездку по епархии. Степной генерал-губернатор вчера, по недосугу, обычного приема у себя не делал. Городской голова возвращается 15-го».

«Минскому Листку» удалось узнать, что вчера предводитель дворянства праздновал обручение своей дочери с полковником Дзедушецким. Его сиятельство собирается за границу».

Я внимательно прочел все до конца и спросил редактора:

— А разве плохо?

— Не плохо, а бессмысленно. Кому интересны ваши поездки вице-губернатора, семейные радости предводителей дворянства и экскурсии архиереев. Неужели кому-нибудь из нас интересно, что Акмолинский городской голова вернется 15-го. Начхать нам на него!

— Ну, вы поосторожнее... Ведь он все-таки начальство.

— Вы не годитесь для вырезок,— категорически заявил редактор.— Вы слишком раболепны.

— Ну попробуем что-нибудь другое,— равнодушно согласился я.— В самом деле, вырезки мне не по душе. Дайте мне что-нибудь повыше.

Редактор задумался.

— У нас как раз нет заведующего театром. Хотите попробовать? Вы понимаете что-нибудь в театре?

— Что ж тут понимать? Тут и понимать-то нечего.

— Ну, попробуем вас. Займитесь пока назначением рецензентов в театры на сегодня — кому куда идти. А потом составьте хронику. Ну, с Богом.

II

Оставшись один, я первым долгом ознакомился с отделом зрелищ и после краткого раздумья решил остановиться на самом интересном:

1. Опера.
2. Симфонический концерт.
3. Борьба.

Когда я разобрал редакционные билеты, ко мне постучались.

— Войдите.

В комнату вошел один из рецензентов.

Он опрокинул попавшееся на его пути кресло, вежливо поклонился портрету Толстого и, обратившись к печке, спросил ее:

— Вы, кажется, заведуете теперь театром? Куда я сегодня должен пойти?

Сразу же я выяснил, что в словах рецензента не было никакой иронии. Просто он был преотчаянно близорук, почти слеп. Когда я окликнул его, он обернулся, наткнулся на другое кресло и, добродушно извинившись, пожал ручку этого кресла.

— Куда мне этого калеку? — пробормотал я. — Хорошие сотрудники, нечего сказать. Ну, как я пошлю его куда-нибудь в ответственное место?..

Я выбрал билет похуже и сказал:

— ...Эй, вы! Вот вам, нате билет на сегодня. Дайте отчет. Да только, смотрите, хороший!

Он взял билет и побрел обратно, натыкаясь на все стулья и путаясь ногами в ковре.

Потом зашел другой рецензент и тоже осведомился насчет вечера.

— Надеюсь, у вас зрение в порядке? — спросил я.

— Что?

— Видите-то вы хорошо?

— Что?

Я открыл рот и заревел во все горло:

— Я говорю — глаза хорошие?

Он прислушался к моему голосу и нерешительно отвечал:

— Да уж, если этот дождик зарядит, так держись.

— Какой же вы рецензент, — спросил я, — если вы глухи, как бревно? Зачем вы лезете в это дело, черт вас побери?!

— Были у меня калоши, — печально отвечал рецензент, — да их украл кто-то.

— В оперу я тебя не пошлю,— сказал я вслух, разглядывая его.— Это слишком серьезное дело. Возьми-ка, братец, этот билетик. Это не так опасно...

Он ушел с самым бессмысленным выражением лица, а я позвал третьего рецензента и спросил его:

— Глаза хорошие?

— Прекрасные.

— А уши?

— Помилуйте! Я могу расслышать топот лошади за три версты.

— Вот это настоящий!— подумал я, удовлетворенный.— Вот что, голубчик... Берите этот билет и отправляйтесь в театр. Я вам приберег самый лучший.

Он взглянул на билет и нерешительно сказал:

— Должен вам заметить...

— Вы? Мне? Заметить? Этого только недоставало! Кто здесь заведующий? Вы или я? Это я могу вам заметить, а не вы мне. Ступайте!

III

После окончания театров, около двенадцати часов ночи, моя команда съехалась, и через час я имел уже в своих руках три добросовестных талантливых рецензии. Оригинальность замысла сквозила в каждой из них и придавала всем трем ту своеобразную прелесть, которой не найдешь и днем с огнем в других шаблонных измышлениях рецензентов.

Рецензии были таковы:

«ФРАНЦУЗСКАЯ БОРЬБА... Сегодняшняя борьба проходила под аккомпанемент духового оркестра, который, к сожалению, нас совсем не удовлетворил. Ремесленность исполнения, отсутствие властности и такта в дирижерской палочке, некоторая сбивчивость деревянных инструментов в групповых местах и упорное преобладание меди — все это показывало абсолютное неумение дирижера справиться со своей задачей... Отсутствие воздушности, неумелая нюансировка, ломаность общей линии, прерываемой нелогичными по смыслу пьесы барабанными ударами,— это не называется серьезным отношением к музыке! Убожество репертуара сквозило в каждой исполняемой вещи... Где прекрасные Шумановские откровения, где Григ, где хотя бы наш Чайковский? Разве это можно назвать репертуаром: «Китаянка» сменяется «Ой-рой»,

а «Ой-ра» — «Хиоватой» — и так три эти вещи — до бесконечности. И еще говорят, что серьезная музыка завоевывает себе прочное положение... Ха-ха!»

* * *

«СИМФОНИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ». Прекрасное помещение, в котором давался отчетный концерт, вполне удовлетворило нас. На эстраде сидела целая уйма музыкантов — я насчитал шестьдесят пять человек. Впрочем, по порядку. Ровно в девять часов вечера на эстраду вышел какой-то человек, раскланялся с публикой и, схватив палочку, стал ею размахивать. Сначала он делал это лениво, еле заметно, а потом разошелся, и палочка сверкала в его руке, как бешеная. Он изгибался, вертел во все стороны свободной рукой, вертел палочку, мотал головой и даже приплясывал. Потом, очевидно, утомился... Палочка снова лениво заколебалась, изогнутая спина выпрямилась, руки поднялись кверху — и он, усталый, положил палочку на пюпитр. Музыканты тогда занялись каждый по своему вкусу: кто натирал канифолью смычок, кто выливал из трубы слюну. Передохнув, снова принялись за прежнее. Начальник размахивал палочкой и плавно, и бешено, и еле заметно, а все не сводили с него глаз, следя внимательно за его движениями. Через некоторое время симфонический концерт был таким путем закончен, и поднялась невообразимая толкотня публики...»

* * *

«ОПЕРА». Хорошая погода собрала массу спортсменов. Большое число записавшихся певцов делало невозможным угадывание фаворита, и первый заезд или, как здесь говорят — акт,— поэтому прошел особенно оживленно. Состязались в первом заезде: князь Игорь (камзол красный, рукава синие), княгиня Ярославна (камзол серебристый, рукава белые) и Владимир Галицкий (голубое с черным). Первой весьма заметно стала выдвигаться в дуэтах с «Игорем» «Ярославна», но на прямой «Игорь» вырвался, стал ее догонять и, к концу дуэта, оба пришли голова в голову. Приятное впечатление произвело появление настоящей лошади (гнедая кобыла зав. Битягина, от «Васьки» и «Снежинки», как нам удалось узнать, за кулисами, на поддоке). Скакал на ней Игорь (камзол красный, рукава синие)...

IV

На другое утро, когда эти оригинальные, бойкие рецензии появились в свет, редактор подошел ко мне и сказал:

— Можете больше театром не заведовать.

— Неужели нехорошо?

— Нехорошо?! Вас убить мало за такое распределение рецензентов. Вы послали симфонического рецензента на борьбу! Полуслепой человек вместо музыки должен был писать черт знает о чем!! Вы могли на борьбу послать глухого, потому что в борьбе важен не слух, а зрение... Нет! Вам понадобилось погнать его на симфонию, которую он так же слышал, как тот видел борьбу. Спортивного обозревателя вы погнали в оперу, которую он понимает не лучше конюшенного мальчика!! Ну, чего же вы молчите?

— Да как же я мог знать, кто из них куда годен!!

— Вы не знали? А я вот знаю, куда и на что вы годны!! О, я это теперь хорошо знаю!!

— Куда? — с любопытством спросил я.

— Идите в редакционные сторожа!! Вы подобострастны, тупы и исполнительны!! Подавайте сотрудникам чай и подметайте по утрам комнаты!!

— Ну, хорошо, — согласился я.

* * *

Теперь иногда, внося редактору чай на подносе, я с уважением гляжу на этого проницательного человека, вспоминаю свои неудачные шаги в оценке театральных рецензентов и думаю:

— Угадать призвание в человеке, направить его на настоящий путь, — что может быть прекраснее этого?..

Золотые часы

История о том, как Мендель Кантарович покупал у Абрама Гендельмана золотые часы для подарка своему сыну Мосе — наделала в свое время очень много шуму. Все местечко Мардоховка волновалось целых две недели и волновалось бы еще месяц, если бы урядник не заявил, что это действует ему на нервы.

Тогда перестали волноваться.

Все местечко Мардоховка чувствовало, что и Гендельман и Кантарович — каждый по-своему прав, что у того и другого были веские основания относиться скептически к людской честности, и, тем не менее, эти два еврея завели остальных в такой тупик, из которого никак нельзя было выбраться.

— Они не правы?! — кричал, тряся седой бородой рыбник Блюмберг.— Так я вам скажу: да, они правы. В сущности. Их не обманывали? Их не надували за их жизнь? Сколько пожелаете! Ну, и они перестали верить.

— Что такое двадцатый век? — обиженно возражал Яша Мельник. — Они говорят — двадцатый век — жульничество! Какое там жульничество? Просто два еврея с ума сошли.

— Они разочаровались людьми — нужно вам сказать. Они... как это говорится?.. О! вот как: скептики. Вот они что.

— Скептики? А, по-моему, это гениальные люди!

— Шарлатаны!

Дело заключалось в следующем:

Между Кантаровичем и Гендельманом давно уже шли переговоры о покупке золотых часов. У Гендельмана были золотые часы стоимостью в двести рублей. Кантарович сначала предлагал за них полтораста рублей, потом сто семьдесят, сто девяносто пять, двести без рубля и, наконец, махнув рукой, сказал:

— Вы, Гендельман, упрямый, как осел. Ну, так получайте эти двести рублей.

— Где же они? — осведомился Гендельман, вертя в руках свои прекрасные золотые часы.

— Деньги? Вот смотрите. Я их вынимаю. Двести настоящих рублей.

— Так что же вы их держите в руках? Дайте я их пересчитаю.

— Хорошо, но вы же дайте мне часы.

— Что значит — часы? Что, вы их разве не видите в моих руках?

— Ну, да. Так я хочу лучше их видеть в моих руках.

— Не могу же я вам отдать часы, когда еще не имею денег?

— А, спрашивается, за что же я буду платить деньги, когда часов не имею?

— Кантарович! Вы мне не доверяете?!

— А что такое доверие? Если бы знали, сколько раз меня уже обманывали: и евреи, и русские, и французы разные. Я теперь уже разверился в человеческих поступках.

— Кантарович!!! Вы мне не доверяете?!

— Не кричите. Зачем делать скандал? Ну, впрочем, ведь и вы мне не доверяете?



— Я доверяю, но только — двестирублевые часы, а?! Вы подумайте!

— Что мне думать? Мало я думал! Ну, давайте так: вы покладите на стол часы, а я деньги. Потом вы хватайте деньги, а я часы.

— Гм... Вы предлагаете так? Кантарович! Вы думаете, меня и немцы не обманывали? И немцы, и... татары всякие. Малороссы. Ой, Кантарович, Кантарович... Я теперь уже ничему не верю.

— Что же вы думаете: что я схвачу и часы, и деньги и убежу?

— Боже меня сохрани! Я ничего не думаю. Но вы знаете, если я потеряю часы и не получу денег — это будет самый печальный факт.

— Ну, хорошо... смотрите в окно: водовоз Никита привез воду. Это очень честный человек. Дайте ему ваши часы, а я деньги. Пусть он нам раздаст потом наоборот.

— Гм!.. Это ваша рекомендация... А не хотите ли моей рекомендации: пойдем к лавочнику Агафонову и он нам сделает то же самое.

— Смотрите-ка! Вы не доверяете водовозу Никите? Так знайте: я торжественно не доверяю лавочнику Агафонову!!

— Так Бог с вами, если вы такой—разойдемся!

— Лучше разойдемся. Только мне очень жаль, что я не получаю этих часов.

— А вы думаете, мне было не нужно этих двухсот рублей? О, еще как!

— Так мы сделаем вот что,—сказал Кантарович, почесывая затылок.—Пойдем к господину уряднику и попросим его посредничества. Оно лицо официальное!

— Ну, это еще так-сяк.

Гендельман и Кантарович оделись и пошли к уряднику. Шли, задумчивые.

— Стойте!—крикнул вдруг Кантарович.—Мы идем к уряднику. Но ведь урядник—тоже человек!

— Еще какой! Мы дадим ему часы, деньги, а он спрячет их в карман и скажет: пошли вон, к чертям.

Оба приостановились и погрузились в раздумье.

По улице шли двое: Яша Мельник и старик Блюмберг. Они увидели Кантаровича и Гендельмана и спросили их:

— Что с вами?

— Я покупаю у него часы. Он не дает мне часов, пока я не дам ему денег, а я не даю ему денег, так как не вижу в своих руках часов. Мы хотели эту сделку доверить уряднику, но какой же урядник доверитель? Спрашивается?

— Доверьте становому приставу.

— Благодарю вас,—усмехнулся Кантарович,—сами доверяйте становому приставу.

— Это, положим, верно. Можно было бы доверить губернатору, но он как только увидит евреев,—сейчас же и вышлет. Знаете, что? Доверьте мне!

— Тебе? Яша Мельник! Тебе? Хорошо. Мы тебе доверим, так дай нам вексель на четыреста рублей.

— Это верно,—подтвердил старый Блюмберг,—без векселя никак нельзя!

— Ой! Неужели, я, по-вашему, жулик?

— Вы, Яша, не жулик,—возразил Гендельман.—Но почему я должен верить вам больше, чем Кантаровичу?

— Да,—подтвердил недоверчивый Кантарович.—Почему?

Через час все население местечка узнало о затруднительном положении Гендельмана и Кантаровича.

Знакомые приняли в них большое участие, суетились, советовали, но все советы были крайне однообразны.

— Доверьте мне! Я сейчас же передам вам с рук на руки.

— Мы вам доверяем, Григорий Соломонович... Но ведь тут же двести рублей деньгами и двести — часами. Подумайте сами.

— Положим, верно... Ну, тогда поезжайте в город к нотариусу.

— На-те, вам! К нотариусу. А нотариус — машина, что ли? Он тоже человек! Ведь это не солома, а двести рублей!

Комбинаций предлагалось много, но так как сумма — двести рублей — была действительно неслыханная — все комбинации рушились.

* * *

Прошло три месяца, потом шесть месяцев, потом год... Часы были, как будто заколдованные: их нельзя было ни купить, ни продать.

О сложном запутанном деле Кантаровича и Гендельмана все стали понемногу забывать... Сам факт постепенно изгладился из памяти, и только из всего этого осталась одна фраза, одна крошечная фраза, которую применяли мардоховцы, попав в затруднительное положение:

— Гм!.. Это так же трудно, как купить часы за наличные деньги.

Виктор Поликарпович

В один город приехала ревизия... Главный ревизор был суровый, прямолинейный, справедливый человек с громким, властным голосом и решительными поступками, приводившими в трепет всех окружающих.

Главный ревизор начал ревизию так: подошел к столу, заваленному документами и книгами, нагнулся каменным, бесстрастным, как сама судьба, лицом к какой-то бумажке, лежавшей сверху, и лязгнул отрывистым, как стук гильотинного ножа, голосом:

— Приступим-с.

Содержание первой бумажки заключалось в том, что обыватели города жаловались на городового Дымбу, взыскавшего с них незаконно и неправильно триста рублей «портового сбора на предмет морского улучшения».

— Во-первых, — заявляли обыватели, — никакого моря у нас нет... Ближайшее море за шестьсот верст через две губернии, и никакого нам улучшения не нужно; во-вторых, никакой бумаги на это взыскание упомянутый Дымба не предъявил, а ко-

гда у него потребовали документы — показал кулак, что, как известно по городовому положению, не может служить документом на право взыскания городских повинностей; и, в-третьих, вместо расписки в получении означенной суммы он, Дымба, оставил окурок папиросы, который при сем прилагается.

Главный ревизор потер руки и сладострастно засмеялся. Говорят, при каждом человеке состоит ангел, который его охраняет. Когда ревизор так засмеялся, ангел городового Дымбы заплакал.

— Позвать Дымбу! — распорядился ревизор.

Позвали Дымбу.

— Здравия желаю, ваше превосходительство!

— Ты не кричи, брат, так,— зловеще остановил его ревизор.— Кричать после будешь. Взятки брал?

— Никак нет.

— А морской сбор?

— Который морской, то взыскивал по приказанию начальства. Сполнял, ваше-ство, службу. Их высокородие приказывали.

Ревизор потер руки профессиональным жестом ревизующего сенатора и залился тихим смешком.

— Превосходно... Попросите-ка сюда его высокородие. Никаноров, напишите бумагу об аресте городового Дымбы как соучастника.

Городового увели.

Когда его уводили, явился и его высокородие... Теперь уже заливались слезами два ангела: городового и его высокородия.

— Из... зволили звать?

— Ох, изволил. Как фамилия? Пальцын? А скажите, господин Пальцын, что это такое за триста рублей морского сбора? Ась?

— По распоряжению Павла Захарыча,— приободрившись, отвечал Пальцын.— Они приказали.

— А-а.— И с головокружительной быстротой замелькали трущиеся одна об другую ревизоровы руки.— Прекрасно-с. Дельце-то начинает разгораться. Узелок увеличивается, вспухает... Хе-хе... Никифоров! Этому — бумагу об аресте, а Павла Захарыча сюда ко мне... Живо!

Пришел и Павел Захарыч.

Ангел его плакал так жалобно и потрясающе, что мог тронуть даже хладнокровного ревизорова ангела.

— Павел Захарович? Здравствуйте, здравствуйте... Не объясните ли вы нам, Павел Захарович, что это такое «портовый сбор на предмет морского улучшения»?

— Гм... Это взыскание-с.

— Знаю, что взыскание. Но — какое?

— Это-с... во исполнение распоряжения его превосходительства.

— А-а-а... Вот как? Никифоров! Бумагу! Взять! Попросить его превосходительство!

Ангел его превосходительства плакал солидно, с таким видом, что нельзя было со стороны разобрать: плачет он или снисходительно улыбается.

— Позвольте предложить вам стул... Садитесь, ваше превосходительство.

— Успею. Зачем это я вам понадобился?

— Справочка одна. Не знаете ли вы, как это понимать: взыскание морского сбора в здешнем городе?

— Как понимать? Очень просто.

— Да ведь моря-то тут нет!

— Неужели? Гм... А ведь в самом деле, кажется, нет. Действительно нет.

— Так как же так — «морской сбор»? Почему без расписок, документов?

— А?

— Я спрашиваю — почему «морской сбор»?!

— Не кричите. Я не глухой.

Помолчали. Ангел его превосходительства притих и смотрел на все происходящее широко открытыми глазами, выжидательно и спокойно.

— Ну?

— Что «ну»?

— Какое море вы улучшали на эти триста рублей?

— Никакого моря не улучшали. Это так говорится — «море».

— Ага. А деньги-то куда делись?

— На секретные расходы пошли.

— На какие именно?

— Вот чудак человек! Да как же я скажу, если они секретные!

— Так-с...

Ревизор часто-часто потер руки одна о другую.

— Так-с. В таком случае, ваше превосходительство, вы меня извините... обязанности службы... я принужден буду вас, как это говорится: арестовать. Никифоров!

Его превосходительство обидчиво усмехнулся.

— Очень странно: проект морского сбора разрабатывало нас двое, а арестовывают меня одного.

Руки ревизора замелькали, как две юрких белых мыши.

— Ага! Так, так... Вместе разрабатывали?! С кем?

Его превосходительство улыбнулся.

— С одним человеком. Не здешний. Питерский, чиновник.

— Да-а? Кто же этот человечек?

Его превосходительство помолчал и потом внятно сказал, прищурившись в потолок:

— Виктор Поликарпович.

Была тишина. Семь минут.

Нахмурив брови, ревизор разглядывал с пытливостью и интересом свои руки...

И нарушил молчание:

— Так, так... А какие были деньги получены: золотом или бумажками?

— Бумажками.

— Ну, раз бумажками — тогда ничего. Извиняюсь за беспокойство, ваше превосходительство. Гм... гм...

Ангел его превосходительства усмехнулся ласково-ласково.

— Могу идти?

Ревизор вздохнул:

— Что ж делать... Можете идти.

Потом свернул в трубку жалобу на Дымбу и, приставив ее к глазу, посмотрел на стол с документами.

Подошел Никифоров.

— Как с арестованными быть?

— Отпустите всех... Впрочем, нет! Городового Дымбу на семь суток ареста за курение при исполнении служебных обязанностей. Пусть не курит... Кан-налья!

И все ангелы засмеялись, кроме Дымбиного.

Мужчины

Кто жил в меблированных комнатах средней руки, тот хорошо знает, что прислуга никогда не имеет привычки предварительно докладывать о посетителях... Как бы ни был неприятен гость или гостья, простодушная прислуга никогда не спросит вас: расположены ли вы к приему этих людей.

Однажды вечером я был дома, в своей одинокой комнате, и занимался тем, что лежал на диване, стараясь делать как

можно меньше движений. Я человек очень прилежный, энергичный, и это занятие нисколько меня не утомило.

...По пустынному коридору раздались гулкие шаги, шелест женских юбок, и чья-то рука неожиданно громко постучалась в мою дверь.

Машинально я сказал:

— Войдите!

Это была скромно одетая немолодая женщина в траурной шляпе с крепом.

Я вскочил с дивана, сделал по направлению к посетительнице три шага и спросил удивленно:

— Чем могу быть вам полезен?

Она внимательно всмотрелась в мое лицо.

— Вот он какой...— пробормотала она.— Таким я его себе почему-то и представляла. Красив... Красив даже до сих пор... Хотя прошло уже около шести лет.

— Я вас не знаю, сударыня! — удивленно сказал я.

Она печально улыбнулась.

— И я вас, сударь, не знаю. А вот привелось встретиться. И придется еще вести с вами длинный разговор.

— Садитесь, пожалуйста. Я очень удивлен... Кто вы?

Дама в трауре поднялась со стула, на который только что опустилась, и, держась за его спинку, с грустной торжественностью сказала:

— Я мать той женщины, которая любила вас шесть лет тому назад, которая нарушила ради вас супружеский долг и которая... ну, об этом после. Теперь вы знаете, кто я?! Я — мать вашей любовницы!..

Посетительница замолчала, считая, вероятно, сообщенные ею данные достаточными для уяснения наших взаимоотношений. А я не считал эти данные достаточными. Я не считал их типичными.

Я помедлил немного, ожидая, что она назовет, по крайней мере, фамилию или имя своей дочери, но она молчала, печальная, траурная.

Потом повторила, вздыхая:

— Теперь вы знаете, кто я... И теперь я сообщу вам дальнейшее: моя дочь, а ваша любовница, недавно умерла на моих руках, с вашим именем на холодеющих устах.

Я рассудил, что вполне приличным случаю поступком будет: всплеснуть руками, вскочить с дивана и горестно схватиться за голову:

— Умерла?! Боже, какой ужас!

— Так вы еще не забыли мою славную дочурку? — растроганно прошептала дама, незаметно утирая уголком платка слезинку. — Подумать только, что вы расстались больше пяти лет тому назад... Из-за вашей измены, как призналась она мне в минуту откровенности.

Я молчал, но мне было безумно тяжело, скверно и горько. Я чувствовал себя самым беспросветным негодяем. Если бы у меня было больше мужества, я должен бы откровенно сказать этой доброй, наивной старушке:

«Милая моя! Для тебя роман замужней женщины с молодым человеком — огромное незабываемое событие в жизни, которое, по-твоему, должно сохраниться до самой гробовой доски. — А я... я решительно не помню, о какой замужней даме говоришь ты... была ли это Ася Званцева? Или Ирина Николаевна? Или Вера Михайловна Березаева?»

Я нерешительно поерзал на диване, потом бросил на посетительницу испытующий взгляд и потом, свесив голову, осторожно спросил:

— Расскажите мне что-нибудь о вашей дочери...

— Да что ж рассказывать?.. Как вы знаете, они с мужем не сошлись характерами. Он ее не понимал, не понимал души ее и запросов... А тут явились вы — молодой, интересный, порывистый. Она всю жизнь помнила те слова, которые были сказаны вами при первом сердечном объяснении... Помните?

— Помню, — нерешительно кивнул я головой, — как же не помнить!.. Впрочем, повторите их. Так ли она вам передала.

— В тот вечер мужа ее не было дома. Пришли вы, какой-то особенный, «светлый», как она говорила. Вы заметили, что у нее заплаканные глаза, и долго добивались узнать причину слез. Она отказывалась... Тогда вы обвили рукой ее талию, привлекли ее к себе и тихо сказали: «Счастье мое! Я вижу, тебя здесь никто не понимает, никто не ценит твоего чудесного жемчужного сердца, твоей кристальной души. Ты совершенно одинока. Есть только один человек, который оценил тебя, сердце которого всецело в твоей власти...»

— Да, это мой приемчик, — задумчиво улыбнулся я. — Теперь я его уже бросил...

— Что?! — переспросила старушка.

— Я говорю: да! Это были именно те слова, которые я ска зал ей.

— Ну вот. Потом вы, кажется, стали... целовать ее?

— Наверное, — согласился я. — Не иначе. Что же она вам рассказывала дальше?

— Через несколько дней вы гуляли с ней в городском саду. Вы стали просить ее зайти на минутку к вам, выпить чашку чаю... Она отказывалась, ссылаясь на то, что не принято замужней даме ходить в гости к молодому человеку, что этот поступок был бы моральной изменой мужу... Вы тогда обиделись на нее и целую аллею прошли молча. Она спросила: «Вы сердитесь?» — «Да,— сказали вы,— вас оскорбляет такое отношение и вообще вам очень тяжело и вы страдаете». Тогда она сказала: «Ну, хорошо, я пойду к вам, если вы дадите слово вести себя прилично...» Вы пожали плечами: «Вы меня обижаете!» Через полчаса она была уже у вас, а через час стала вашей.

И, опять приподнявшись со стула, спросила старуха торжественно:

— Помните ли вы это?

— Помню,— подтвердил я.— А что она говорила, уходя от меня?

— Она говорила: «Наверное, теперь вы перестанете уважать меня?», а вы прижали ее к сердцу и возразили: «Нет! Никого еще в жизни я не любил так, как тебя!» А теперь... она умерла, моя голубка!

Старая дама заплакала.

— О! — порывисто, в припадке великодушия вскричал я.— Если бы можно было вернуть ее вам, я пожертвовал бы для этого своей жизнью!

— Нет... ее уже ничто не вернет оттуда,— рассудительно возразила старуха.

— Не говорила ли она вам еще что-нибудь обо мне?

— Она рассказывала, что вы сначала виделись с ней каждый день, потом через день, а потом на вас свалилась неожиданно какая-то срочная работа, и вы виделись с ней раз в неделю. А однажды она, явившись к вам неожиданно, застала у вас другую женщину.

Я опустил голову и стал сконфуженно разглаживать рукой подушку.

— Помните вы это? — спросила дама.

— Помню.

— А когда она расплакалась, вы сказали ей: «Сердцу не прикажешь!» И предложили ей остаться хорошими друзьями.

— Неужели я предложил ей это? — недоверчиво спросил я.

Вообще это было на меня не похоже. Я хорошо знал, что ни одна женщина в мире не пошла бы на такую комбинацию, и потому никогда не предлагал вместо любви — дружбу. Просто я спрашивал: «Кажется, мы охладели друг к другу?» У вся-

кой женщины есть свое профессиональное женское самолюбие. Она почти никогда не говорит: «Кто это мы? Никогда я к тебе не охладевала!» А опустит голову, промедлит минуты три и скажет: «Да! Прощайте!»

Очевидно, старуха что-то напутала.

— Не передавала ли мне покойница что-нибудь перед смертью?

И в третий раз торжественно поднялась со стула старуха, и в третий раз сказала торжественно:

— Да! Она поручила вам свою маленькую дочь.

— Мне? — ахнул я. — Да почему?

— Как вы знаете, муж ее умер четыре года тому назад, а я стара и часто хвораю...

— Да почему же именно мне?

Старуха печально улыбнулась.

— Сейчас я скажу вам вещь, которая неизвестна никому, тайну, которую покойница свято хранила от всех и открыла ее мне только в предсмертный час: настоящий отец ребенка — вы!

— Боже ты мой! Неужели? Вы уверены в этом?

— Перед смертью не лгут, — строго сказала старуха. — Вы отец, и вы должны взять заботы о вашей дочери.

Я побледнел, сжал губы и, опустив голову, долго сидел так, волнуемый разнородными чувствами.

— А может быть, она ошиблась? — робко переспросил я. — Может быть, это не мой ребенок, а мужа.

— Милостивый государь! — величаво сказала старуха. — Женщины никогда не ошибаются в подобных случаях. Это инстинкт!

Нахмурившись, я размышлял.

С одной стороны, я считал себя порядочным человеком, уважал себя и поэтому полагал сделать то, что подсказывала мне совесть. Он должен быть мне дорог, этот ребенок от любимой женщины (конечно, я в то время любил ее!). С другой стороны, эта неожиданная тяжелая обуза при моем образе жизни совершенно выбивала меня из колеи и налагала самые сложные, запутанные обязанности в будущем.

Я — отец! У меня — дочь!..

— Как ее зовут? — спросил я разнеженный.

— Верой, как и мать.

— Хорошо! — решительно сказал я. — Согласен. Я усыновлю ее. Пусть носит она фамилию Двуутробникова.

— Почему Двуутробникова? — недоумевающе взглянула на меня старуха.

— Да мою фамилию. Ведь я же Двуутробников.

— Вы... Двуутробников?!

— А кто же?

— Боже мой! — в ужасе закричала странная гостья. — Значит, это не вы?!

— Что — не я?

— Вы, значит, не Класевич?! Дочь называла фамилию Класевич и сказала этот адрес.

Неожиданная бурная волна залила мое сердце.

— Класевич, — захохотал я. — Поздравляю вас: вы ошиблись дверью. Класевич в следующей комнате, номер одиннадцатый. А моя комната — номер десятый. Пойдемте, я провожу вас.

Оживленный, веселый, взял я расстроенную старуху за руку и потащил за собой.

— Как же! — тараторил я. — Моя фамилия Двуутробников, номер десятый, а Класевич дальше. Он — номер одиннадцатый. Он тут уж давно живет в этих комнатах, вот тут, рядом со мной. Как же! Класевич... Очень симпатичный человек. Вы сейчас с ним познакомитесь... А вы, значит, вместо одиннадцатого номера в десятый попали?! Хе-хе... Ошибочка вышла. Как же! Класевич, он тут. Эй, Класевич!! Вы дома? Тут одна дама вас по важному делу спрашивает... Идите, сударыня. Хе-хе... А я-то — слушаю, слушаю...

Чад

План у меня был такой: зайти в близлежащий ресторан, наскоро позавтракать, после завтрака прогуляться с полчаса по улице, потом поехать домой и до обеда засесть за работу. Кроме того, за час до обеда принять ванну, вздремнуть немного, а вечером поехать к другу, который в этот день праздновал какой-то свой юбилей. От друга — постараться вернуться пораньше, чтобы выспаться как следует и на другое утро со свежими силами засесть за работу.

Так я и начал: забежал в маленький ресторан и, не снимая пальто, подошел к буфетной стойке.

Сзади меня послышался голос:

— Освежиться? На скорую руку?

Оглянувшись, я увидел моего юбилейного друга, сидевшего в углу за столиком в компании с театральным рецензентом Буйносовым.

Все мы обрадовались чрезвычайно.

— Я тоже зашел на минутку,— сообщил юбилейный друг.— И вот столкнулся с этим буйносным человеком. Садись с нами. Сейчас хорошо по рюмке хватить.

— Можно не снимая пальто?..

— Пожалуйста!

Юбиляр налил три рюмки водки, но Буйносов схватил его за руку и решительно заявил:

— Мне не наливай. Мне еще рецензию на завтра писать нужно.

— Да выпей! Какая там еще рецензия...

— Нет, братцы, не могу. Мне вообще пить запретили. С почками неладно.

— Глупости,— сказал я, закусывая первую рюмку икрой.— Какие там еще почки?

— Молодец, Сережа! — похвалил меня юбилейный друг.— За что я тебя люблю: за то, что никогда ты от рюмки не откажешься.

Именно я и хотел отказаться от второй рюмки. Но друг с таким категорическим видом налил нам по второй, что я безропотно чокнулся и влил в себя вторую рюмку.

И сейчас же мне чрезвычайно захотелось, чтобы и Буйносов тоже выпил.

— Да выпей! — умоляюще протянул я.— Ну, что тебе стоит? Ведь это свинство: мы пьем, а ты не пьешь!

— Почему же свинство? У меня почки...

— А у нас нет почек? А у юбиляра нет почек? У всякого человека есть почки. Это уж, брат, свыше...

— Ну, я только одну...

— Не извиняйся! Можешь и две выпить.

Буйносов выпил первую, а мы по третьей.

Я обернулся направо и увидел свое лицо в зеркале. Внимательно всмотрелся и радостно подумал: «Какой я красивый!»

Волна большой радости залила мое сердце. Я почувствовал себя молодым, сильным, любимым друзьями и женщинами — и безудержная удаль и нежность к людям проснулась в душе моей.

Я ласково взглянул на юбиляра и сказал:

— Я хочу выпить за тебя. Чтобы ты дождался еще одного юбилея и чтобы мы были и тогда молоды так же, как теперь.

— Браво! Спасибо, милый. Выпьем. Спасибо. Буйнос! Пей — не хами.

— Я не хам... хамлю,— осторожно произнес странное слово Буйносов.— А только мне нельзя. Рецензию нужно писать со свежей головой.

— Вздор! После напишешь.

— Когда же после... Ведь ее в четверть часа не напишешь.

— Ты?! — с радостным изумлением воскликнул юбилейный друг. — Да ты в десять минут отхватаешь такую рецензию, что все охнут!

— Где там... — просиял сконфуженный Буйносов и, чтобы отплатить другу любезностью за любезность, выпил вторую рюмку.

— Ай да мы! Вот ты смотри: скромненький, скромненький, а ведь он потихонечку нас за пояс заткнет...

— А вы что же думали, — засмеялся Буйносов. — И заткну. Эх, пивали мы в прежнее время! Чертям тошно было! Э-э!.. Сережа, Сережа! А ты почему же свою не выпил?

— Я... сейчас, — смутился я, будто бы меня поймали на краже носового платка. — Дай ветчину прожевать.

— Не хами, Сережа, — сказал юбилейный друг. — Не задерживай чарки.

Я вспомнил о своей работе.

— Мне бы домой нужно... Дельце одно.

К моему удивлению, возмутился Буйносов.

— Какое там еще дельце? Вздор — дельце! А у меня дела нет?! А юбиляру на вечере хлопот мало? Посидим минутку. Черт с ним, с дельцем.

«А действительно, — подумал я, любуясь в зеркало на свои блестящие глаза. — Черт с ним, с дельцем!..»

Вслух сказал:

— Так я пальто сниму, что ли. А то жарко.

— Вот! Молодец! Хорошо, что не хамишь. Снимай пальто!

— ...И пива я бы кружку выпил...

— Вот! Так. Освежиться нужно.

Мы выпили по кружке пива и разнеженно посмотрели друг на друга.

— Сережа... милый... — сказал Буйносов. — Я так вас двух люблю, что черт с ней, с рецензией. Сережа! Стой! Я хочу выпить с тобой на «ты».

— Да ведь мы и так на «ты»! — засмеялся я.

— Э, черт. Действительно. Ну, давай на «вы» выпьем.

Затея показалась такой забавной, что мы решили привести ее в исполнение.

— Графинчик водки! — крикнул Буйносов.

— Водку? — удивился я. — После пива?

— Это освежает. Освежимся!

— Неужели водка освежить может? — удивился я.

— Еще как! Об этом даже где-то писали... Сгорание углерода и желтков... Не помню.

— Обедать будете? — спросил слуга.

— Как? Разве уже... обед?..

— Да-с. Семь часов.

Я вспомнил, что потерял уже свою работу, небольшой сон и ванну. Сердце мое сжалось, но сейчас же я успокоился, вспомнив, что и Буйносов пропустил срочную рецензию. Никогда я не чувствовал так остро справедливости пословицы: «На миру и смерть красна».

— Семь часов?! — всплеснул руками юбиляр. — Черт возьми! А мой юбилей?

Буйносов сказал:

— Ну куда тебе спешить? Времени еще вагон. Посидим! Черт с ней, с рецензией.

— Да, брат... — поддержал и я. — Ты посиди с нами. На юбилей еще успеешь.

— Мне распорядиться нужно...

— Распорядись! Скажи, чтобы дали нам сейчас обед и белого винца.

Юбиляр подмигнул.

— Вот! Идея... Освежает!

Лицо его неожиданно засияло ласковой улыбкой.

— Люблю молодцов. Люблю, когда не хамят.

Когда нам подали кофе и ликер, я бросил косой взгляд на Буйносова и сказал юбиляру:

— Слушай! Плюнь ты на сегодняшний юбилей. Ведь это пошлятина: соберутся идиоты, будут говорить тривиальности. Не надо! Посиди с нами. Жена твоя и одна управится.

— Да как же: юбилей, а юбиляра нет.

Буйносов задергался, заерзал на своем месте, засуетился:

— Это хорошо! Это-то и оригинально! Жизнь однообразна! Юбилеи однообразны! А это свежо, это молодо: юбилей идет своим чередом, а юбиляра нет. Где юбиляр? Да он променял общество тупиц на двух друзей... которые его искренне любят.

— Поцелуемся! — вскричал воодушевленно юбиляр. — Верно! Вот. Будем освежаться бенедиктином.

— Вот это яркий человек! Вот это порыв, — воодушевился Буйносов. — В тебе есть что-то такое... большое, оригинальное. Правда, Сережа?

— Да... У него так мило выходит, когда он говорит: «Не хами!»

— Не хамите! — с готовностью сказал юбиляр. — Сейчас бы кюрассо был к месту.

— Почему?

— Освежает.

Я уже понимал всю беспочвенность и иллюзорность этого слова, но в нем было столько уюта, столько оправдания каждой новой рюмке, каждой перемене напитка, что кюрассо был признан единственным могущим освежить нас напитком . .

. . . .

— Извините, господа, сейчас гасим свет... Ресторан закрывается.

— Вздор! — сказал бывший юбиляр. — Не хами!

— Извините-с. Я сейчас счет подам.

— Ну, дай нам бутылку вина.

— Не могу-с. Буфет закрыт.

Буйносов поднял голову и воскликнул:

— Ах, черт! А мне ведь сегодня вечером нужно было в театр на премьеру...

— Завтра пойдешь. Ну, господа... Куда же мы? Теперь бы нужно освежиться.

В мою затуманенную голову давно уже просачивалась мысль, что лучше всего — поехать домой и хоть отчасти выспаться.

Мы уже стояли на улице, осыпаемые липким снегом, и вопросительно поглядывали друг на друга.

Есть во всякой подвыпившей компании такой психологический момент, когда все смертельно надоедают друг другу и каждый жаждет уйти, убежать от пьяных друзей, приехать домой, принять ванну, очиститься от ресторанной пьяной грязи, от табачной копоти, переодеться и лечь в чистую, свежую постель, под толстое уютное одеяло... Но обыкновенно такой момент всеми упускается. Каждый думает, что его уход смертельно оскорбит, обездолит других, и поэтому все топчутся на месте, не зная, что еще устроить, какой еще предпринять шаг в глухую темную полночь.

Мы выжидательно обернули друг к другу усталые, истомленные попойкой лица.

— Пойдем ко мне, — неожиданно для себя предложил я. — У меня еще есть дома ликер и вино. Слугу можно заставить сварить кофе.

— Освежиться? — спросил юбиляр.

«Как попугай заладил, — с отвращением подумал я. — Хоть бы вы все сейчас провалились — ни капельки бы не огорчился.

Все вы виноваты... Не встреть я вас—все было бы хорошо, и я сейчас бы уже спал».

Единственное, что меня утешало, это—что Буйносов не написал рецензии, не попал на премьеру в театр, а юбиляр пропьянствовал свой юбилей.

— Ну, освежаться так освежаться,—со вздохом сказал юбиляр (ему, кажется, очень не хотелось идти ко мне),—к тебе так к тебе.

Мы повернули назад и побрели. Буйносов молча, безропотно шел за нами и тяжело сопел. Идти предстояло далеко, а извозчиков не было. Юбиляр шатался от усталости, но, тем не менее, в одном подходящем случае показал веселость своего нрава; именно: разбудил дремавшего ночного сторожа, погрозил ему пальцем, сказал знаменитое «Не хами!» —и с хохотом побежал за нами...

— Вот дурак,—шепнул я Буйносову.—Как так можно свой юбилей пропустить?

— Да уж... Не дал господь умишка человеку.

«А тебе,—подумал я,—влетит завтра от редактора... Покажет он, как рецензии не писать. Будет тебе здорово за то, что я пропустил сегодняшнюю работу и испортил завтрашнее утречко». . . . .

. . . .

Я долго возился в передней, пока зажег электричество и разбудил слугу. Буйносов опрокинул и разбил какую-то вазу, а юбиляр предупредил слугу, чтобы он вообще не хамил.

Было смертельно скучно и как-то особенно сонно... противно. Заварили кофе, но оно пахло мылом, а я, кроме того, залил пиджак ликером. Руки сделались липкими, но идти умыться было лень.

Юбиляр сейчас же заснул на новом плюшевом диване. Я надеялся, что Буйносов последует его примеру (это развязало бы, по крайней мере, мне руки), но Буйносов сидел запрокинув голову и молчаливо рассматривал потолок.

— Может, спать хочешь?—спросил я.

— Хочу, но удерживаюсь.

— Почему?

— Что же я за дурак: пил-пил, а теперь вдруг засну—хмель-то весь и выйдет. Лучше уж я посижу.

И он остался сидеть, неподвижный, как китайский идол, как сосуд, хранящий в себе драгоценную влагу, ни одна капля которой не должна быть потеряна.

— Ну, а я пойду спать,—сухо проворчал я.

Проснулись поздно.

Все смотрели друг на друга с еле скрываемым презрением, ненавистью, отвращением.

— Здорово вчера дрызнули,— сказал Буйносов, из которого уже, вероятно, улетучилась вся драгоценная влага.

— Сейчас бы хорошо освежиться!

Я сделал мину любезного хозяина, послал за закуской и вином. Уселись трое с помятыми лицами...

Ели лениво, неохотно, устало.

«Как они не понимают, что нужно сейчас же встать, уйти и не встречаться! Не встречаться, по крайней мере, дня три!!!»

По их лицам я видел, что они думают то же самое, но ничего нельзя было поделать: вино спаяло всех трех самым непостижимым, самым отвратительным образом...

Сазонов

I

Рукавов собирался пить чай.

Он налил стакан, посмотрел его на свет и неодобрительно поджал губы.

— Чаишко-то, кажется, мутноватый... Ох, уж эти меблированные комнаты! Ох, уж эта холостая жизнь!

Дверь скрипнула. Рукавов оглянулся и увидел прижавшегося к притолоке и молча на него смотревшего Заклятьина.

— А, здравствуйте! — равнодушно сказал Рукавов.— Вот приятный визит. Входите... Ну, как дома? Все благополучно? Чаю хотите?

Заклятьин отделился от притолоки и сделал шаг вперед.

— Я пришел только сказать вам, Рукавов,— держась рукой за сердце, сказал Заклятьин,— что людей, подобных вам, нужно убивать без милосердия, как бешеных собак. И, клянусь, я убью вас!

Рукавов отставил налитый стакан. Брови его были нахмурены.

— Слушайте, Заклятьин... Я не знаю, на чем вы там помешались и каким вздором сейчас наполнена ваша голова... Но об одном прошу вас: обдумывайте, что говорите! Даже в пылу гнева. Есть такие слова, о которых потом жалеешь всю жизнь. Садитесь. Что случилось?

— Рукавов! Вы меня поражаете!

— Чем? Наоборот, вы меня поражаете. Хотите чаю?

— Рукавов! Берегитесь!

Рукавов улыбнулся.

— Хорошо. Только скажите — от чего. Тогда, может быть, я и буду беречься.

Заклятьин скривил лицо и, взявшись руками за спинку стула, внятно отчеканил:

— Я узнал, что вы находитесь в связи с моей женой, Надеждой Петровной.

— Есть ложь смешная, есть ужасная, есть глупая. То, что вы, Заклятьин, говорите,— ложь третьей категории.

Рукавов снова взялся на свой стакан и, размешивая сахар, бросил холодный взгляд на бледное, искаженное злостью лицо Заклятьина.

— Это не ложь! Когда я уезжал в Москву, вас видели однажды выходящим от моей жены в восемь часов утра.

— И это все? — сурово спросил Рукавов.— Стыдитесь! Извольте, я скажу вам: да, в восемь часов утра выходил от вас, но вошел я к вам в восемь без четверти. Просто забыл накануне вечером свою палку и зашел за ней. Уверен, что Надежда Петровна спала в это время сном праведницы.

— Знаете ли вы,— злобно прошипел Заклятьин,— что я нашел у нее в столе записку от вас, правда, прямых указаний не дающую, но вы там называете мою жену на ты!

Рукавов пожал плечами:

— Какой же в этом ужас? Просто как-то в шаловливом настроении я назвал ее «ты» и теперь постоянно дразню ее этим. Мне было забавно, как она сердится.

— Рукавов! — потупившись, тихо сказал Заклятьин.— Сегодня жена сама сказала мне, что вы ее любовник.

Рукавов поднял одну бровь.

— Вы... можете поклясться в этом?

— Даю вам мое честное слово.

— Ох, эти женщины,— усмехнулся Рукавов, качая головой.— Никогда не знаешь, как с ними держаться... Впрочем, вы не подумайте, что я отрицал давеча все только потому, что боялся вас. А просто не в моих правилах разглагольствовать о своих победах.

— Еще бы,— угрюмо сказал Заклятьин.— Это так понятно! И тем не менее еще раз повторяю: берегитесь! Я убью вас.

Рукавов пожевал губами.

— Можно вам задать вопрос, но только совершенно серьезно? И вы отвечайте так же.

— Да.

— За что вы хотите меня убить?

— Вы разбили мою жизнь. Все мое счастье было в этой женщине — вы отняли ее!

Рукавов погрузился в задумчивость.

— Вот что, Заклятьин... Я вам сейчас возражу, но не потому, что желаю сохранить свою жизнь... Я понимаю — слишком глупо для меня было бы плакать и восклицать, прячась за стол: ах, не убивайте меня, ах, пощадите меня!.. В конце концов, жизнь — не такое уж важное кушанье. И на помощь я звать не буду... и из комнаты не выйду. Можете убить меня во всякую минуту. И тем не менее еще раз спрашиваю: чем я виноват?

— Вы обманули меня. Вы отняли у меня жену.

Голос Заклятьина звучал торжественно и громко.

— Я жену вашу не отнимал. Она сошлась со мной по своей воле.

— Если бы не вы — мы были бы с ней по-прежнему счастливы.

— А какая у вас гарантия — что не явился бы другой?

— Рукавов! Вы ее оскорбляете!

— Чем? Что вы, помилуйте... И в мыслях не имел. Только смотрите: мы оба рискуем стать в смешное положение. Говоря о другом любовнике, я хочу подчеркнуть, что я — человек, не блещущий никакими талантами и красотой, что я — самый заурядный человек. Не начнете же вы сейчас опровергать меня, доказывая, что я человек особенный, ошеломляющий, человек такого сорта, перед которым женщина устоять не может! Человеку, которого хотят убить, не говорят комплиментов!..

— Хорошо! — поморщась, перебил его муж.— Допустим, что вы самый ординарный человек. Что же из этого следует?

— А то, что ординарных людей тысячи. Не будете же вы всех их убивать.

— Не буду. Но они ведь и не любовники жены.

— Если один ординарный человек — любовник, то почему и другой не мог быть любовником? Лотерея!

— В которой муж всегда проигрывает,— громко усмехнулся Заклятьин.

— Утешьтесь! Если я женюсь — я тоже проиграю.

— А вдруг не проиграете? Ведь это цинизм — так думать! Неужели не может быть семьи без измены?

Рукавов встал, протянул вперед руку и взволнованно и быстро заговорил:

— Нет! Прочной любви нет. Верности нет. Опровергайте меня примерами! Скажите мне: «Жена Петрова всю жизнь была верна мужу! Жена Сидорова так и умерла, храня супружескую верность!» Сотни таких случаев есть... тысячи! Верно! Но они моих слов не опровергают. Добавьте даже, что за женами Петрова и Сидорова волочились безуспешно десятки поклонников, что красавец Иванов предлагал этим верным женам все свое состояние, умница Карпов доказывал нелепость верности, вельможа Григорьев тщетно ослеплял этих жен своим могуществом и великолепием... Заклятьин! Слушайте меня, я вам скажу: это все пустяки... А Сазонова-то ведь и не было!

— Какого... Сазонова? — машинально спросил Заклятьин.

— Сазонова! Это я сейчас его выдумал, но Сазонов существует, и живет он, негодяй, в каждом городе: в Харькове, Одессе, Киеве, Новочеркасске!..

— Какой Сазонов?

— Вот какой: в Москве живут муж и жена Васильевы. Сорок лет прожили они душа в душу, свято блюдя супружескую верность, любя друг друга. И вот, несмотря на это, Заклятьин, вы не имеете права сказать: «Ах, это была идеально верная жена — мадам Васильева! За ней ухаживали десятки красавцев, а она все-таки осталась верна своему мужу...» — «Почему она осталась верна? — спрошу я вас. — Не потому ли, что сердце ее абсолютно не было способно на измену? Нет! Нет, Заклятьин! Просто — потому что Сазонов сидел в это время в Новочеркасске. Стоило ему только приехать в Москву, стоило случайно встретиться с семьей Васильевых — и все счастье мужа полетело бы к черту, развеялось бы, как одуванчик от ветерка. Так можно ли серьезно толковать о верности лучшей из женщин, если она, верность эта, зависит только от приезда Сазонова из Новочеркасска?

— Но в таком случае, — нахмурился Заклятьин, — мы возвращаемся к тому, с чего я начал: Сазоновых этих нужно убивать, как бешеных собак!

— Берегись! Вас тоже должны будут убить.

— Меня? За что?

— Потому что вы тоже — Сазонов для какой-нибудь женщины, живущей в Курске или Обояни. Может быть, вы никогда и не встретитесь с ней — тем лучше для ее мужа! Но вы — Сазонов.

II

Заклятьин оперся локтями о стол, положил голову на руки и застонал:

— Где же выход? Где выход?!

— Успокойтесь,— участливо сказал Рукавов, гладя его по плечу.— Хотите чаю?

— Боже мой! Как вы можете говорить так хладнокровно?..

— Да ведь чай-то пить все равно нужно,— улыбнулся Рукавов.— Он был мутноватый, но теперь отстоялся. Я вам налью, а?

— Ах ты, Господи... Ну, давайте!!

— Вам два куска сахару? Три?

— Три.

— Крепкий любите?

— Рукавов! Где же выход?

— У вас же был выход,— тихо усмехнулся Рукавов.— Когда вы пришли давеча, помните. Хотели убить меня, как бешеную собаку.

— Нет,— серьезно сказал Заклятьин.— Я вас убивать не буду. Она больше виновата, чем вы.

— И она не виновата... Слабые, хрупкие, глупые, безвольные женщины! Мне их иногда до слез жалко... Привяжется сердцем такая к одному человеку, уж на подвиг готова, на самозаклание. И своего, задушевного — ничего нет. Все от него идет,— все ее мысли, стремления, все от Сазонова. Все с его барского плеча. Охо-хо!..

Заклятьин выпил свой чай, прошелся раза два по комнате и, круто повернувшись к дивану, упал ничком на него.

— Рукавов,— проскрежетал он.— Я страдаю. Научите, что мне делать!

Рукавов подсел к нему, одной рукой обнял его плечи, а другой — стал ласково, как ребенка, гладить по коротко остриженной голове.

— Бедный вы мой... Ну, успокойтесь. Делать вам ничего не нужно. Жену я у вас заберу, потому что, если бы даже она и осталась у вас, то какая же это будет жизнь? Одно мученье. Вы будете мучить ее ревностью, она вас — ненавидеть... Что хорошего? Постарайтесь развлечься, встречайтесь с другими женщинами, увлекайтесь ими. Вы человек неглупый, интересный... Гораздо интереснее меня — клянусь вам, что говорю это совершенно серьезно... Всего-то моего и преимущества перед вами, что я — Сазонов, которого угораздило приехать из Новочеркасска. Лежите смирненько, милый. Ну, вот. Встретите вы

еще хорошую, душевную женщину, которая приголубит вас по-настоящему...

Плечи Заклятьина судорожно передернулись.

— Я Надю никогда не забуду.

— Ничего-о, миленький... забудете,— мягко, простодушно протянул Рукавов.— Это сейчас, когда чувствуется вся острота обиды и разочарования, кажется, что горе такое уж большое, такое безысходное... А там обойдется, дальше-то. Ну, конечно, если уж вам под сердце тоска и злость подкатит до того, что будет нестерпимо, ну — убейте меня. Только что ж... Если хорошенько вдуматься — ведь это не поможет, не имеет никакого смысла... Злости против меня у вас нет, а раз нет злости — не нужно и преступление...

Сумерки обволакивали комнату.

В тихом воздухе долго звучали тихие слова:

— Не плачьте, миленький. Вы большой, взрослый мужчина — нехорошо. Это только женщина может убиваться до смерти, стенать, теряя любимого человека,— потому что у женщины ничего другого, кроме жизни сердца, не имеется. А мы, мужчины — творцы красоты жизни, творцы ее смысла — должны считать свои сердечные раны такими же царапинами, как и те, которыми награждает нас судьба в других случаях. Удержите ваше сердце от терзаний — мужчина должен уметь сделать это. Попробуйте пить даже первое время, попробуйте наскандалить как-нибудь поудивительнее, чтобы это перебросило вас в другую колею. И не смотрите на весь мир так, как будто он — неловкий слуга, не сумевший услужить вам и поэтому достойный презрения и проклятий. Используйте его получше и умирайте попозже. Через год вы забудете все ваше несчастье наполовину, через пять лет — совсем, а к старости и имени-то вашей бывшей жены не вспомните... Так стоит ли из-за этого терзаться? Вы хотели убить меня... Не беспокойтесь, умру и так, своею смертью, и она умрет, и вы... Все умрем... И даже могилки наши одинокие исчезнут с лица земли — новая жизнь пронесется над ними — и ни одна душа не будет знать о трех людях, о трех незначительных букашках, которые когда-то волновались, любили и страдали...

Рукавов говорил странные, сбивчивые, мало выражавшие его мысли слова, но тон их был мягок, ласков и любовен; печальные слова плыли по комнате и смешивались с печальными сумерками.

Заклятьин полежал еще немного с закрытыми глазами, потом вздохнул, встал с дивана, обнял Рукавова, поцеловал его и, нашарив к темноте шляпу, ушел.

Курильщики опиума

I

В комнате происходил разговор.

— У нас с тобой нет ни копейки денег, есть нечего и за квартиру не заплачено за два месяца.

Я сказал:

— Да.

— Мы вчера не ужинали, сегодня не пили утреннего чая и впереди нам не предстоит ничего хорошего.

Я подтвердил и это.

Андерс погладил себя по небритой щеке и сказал:

— А, между тем, есть способ жить припеваючи. Только противно..

— Убийство?

— Нет.

— Работа?

— Не совсем. Впрочем, это противно, как ежедневное занятие... А один день для курьеза попробуем... А?

— Попробуем. Что нужно делать?

— Пустяки. То же, что и я. Одевайся, пойдем на воздух.

— Хозяин остановит.

— Пусть!

Когда мы вышли из комнаты и зашагали по коридору, я старался прошмыгнуть незаметно, не делая шуму, а Андерс, наоборот, бесстрашно ступал ногами, как лошадь.

В конце длиннейшего коридора нас нагнала юркая горничная.

— Г. Андерс, хозяин Григорий Григорьич очень просят вас зайти сейчас к ним.

— Свершилось! — прошептал я, прислонясь к стене.

— А-а... Очень кстати. С удовольствием. Пойдем, дружище.

Отвратительный старикашка, владелец меблированных комнат, помешанный на чистоте и тишине, встретил нас холодно:

— Извините, господа. По делу. Вероятно, в душе думаете: «Зачем мы понадобились этой старой скотине?»

Андерс укоризненно покачал головой и хладнокровно сказал:

— Мы все равно собирались сегодня зайти к вам.

В глазах старика сверкнула радость.

— Ну? Правда? В самом деле?

— Да... хотели вас искренно и горячо поблагодарить. Вы знаете, мне приходилось живать во многих меблированных комнатах, иногда очень дорогих и роскошных — но такой тишины, такой чистоты и порядка, я буду говорить откровенно: нигде не видел! Я каждый день спрашиваю его (Андерс указал на меня) — откуда Григорий Григорьич берет время вести такое громадное сложное предприятие?..

— Он меня, действительно, спрашивал,— подтвердил я.— А я ему, помнится, отвечал: «Не постигаю. Тут какое-то колдовство!»

— Да,— сказал старик с самодовольным хохотом.— Трудно соблюдать чистоту, тишину и порядок.

— Но вы их соблюдаете идеально!! — горячо воскричал Андерс.— Откуда такой такт, такое чутье!.. Помню, у вас в прошлом году жил один пьяница и один самоубийца. Что ж они, спрашивается, посмели нарушить тишину и порядок? Нет! Пьяница, когда его привозили друзья, не издавал ни одного звука, потому что был смертельно пьян, и, брошенный на постель, сейчас же бесшумно засыпал... А самоубийца — помните? — взял себе, потихоньку повесился и висел терпеливо, без криков и воплей, пока о нем не вспомнили на другой день.

— А ревнивые супруги! — подхватил я.— Помнишь их, Андерс? Когда она застала мужа с горничной — что было? Где крики? Где ссора и скандал? Ни звука? Просто взяла она горничную и с мягкой улыбкой выбросила в открытое окно. Правда, та сломала себе ногу, но...

— ...Но ведь это было на улице,— ревниво подхватил старикашка.— То, что на улице, к моему меблированному дому не относится...

— Конечно!! При чем вы тут? Мало ли кому придет охота ломать на улице ноги — касается это вас? Нет!

— Да... много вам нужно силы воли и твердости, чтобы вести так дело! Эта складочка у вас между бровями, характеризующая твердость и непреклонную волю...

— Вы, вероятно, в молодости были очень красивы?

— Да и теперь еще...— подмигнул Андерс.— Ой-ой!.. Если был бы я женат, подальше прятал бы от вас свою же... Ой, заболтались с вами! Извиняюсь, что отнял время. Пойдем, товарищ. Еще раз, дорогой Григорий Григорьич, приносим от имени всех квартирантов самые искренние, горячие... Пойдем!..

Повеселевший старик проводил нас, приветственно размахивая дряхлыми руками. В коридоре нам опять встретилась горничная.

— Надя!— остановил ее Андерс.— Я хочу спросить у вас одну вещь. Скажите, что это за офицер был у вас вчера в гостях... Я видел — он выходил от вас...

Надя весело засмеялась.

— Это мой жених. Только он не офицер, а писарь... военный писарь... в штабе служит.

— Шутите! Совсем, как офицер! И какой красавец... умное такое лицо... Вот что, Надичка... Дайте-ка нам на рубль мелочи. Извозчики, знаете... То да другое.

— Есть ли? — озабоченно сказала Надя, шаря в кармане.— Есть. Вот! А вы заметили, какие у него щеки? Розовые-розовые...

— Чудесные щеки! Прямо нечто изумительное. Пойдем.

Когда мы выходили из дому, я остановился около сидевшего у дверей за газетой швейцара и сказал:

— А вы все политикой занимаетесь? Как приятно видеть умного, интеллиг...

— Пойдем,— сказал Андерс.— Тут не надо... Не стоит...

— Не стоит, так не стоит.

Я круто повернулся и покорно зашагал за Андерсом.

II

Прямо на нас шел худой, изношенный жизнью человек с согнутой спиной, впалой грудью и такой походкой, что каждая нога, поставленная на землю, долго колебалась в колене и ходила во все стороны, пока не успокаивалась и не давала место другой, неуверенной в себе, ноге. Тащился он наподобие кузнечика с переломанными ногами.

— А! — вскричал Андерс.— Коля Магнатов! Познакомьтесь... Где вчера были, Коля?

— На борьбе был,— отвечал полуразрушенный Коля.— Как обыкновенно. Ах, если бы вы видели, Андерс, как Хабибула боролся со шведом Аренстремом. Хабибула тяжеловес, гиревик, а тот, стройный, изящный...

— А вы сами, Коля, боретесь? — серьезно спросил Андерс.

— Я? Где мне? Я ведь не особенно сильный.

— Ну, да... не особенно! Такие-то, как вы, сухие, нервные, жилистые и обладают нечеловеческой силой... как ваш гриф? А ну, сожмите мою руку.

Изможденный Коля взял Андерсову руку, натужился, выпучил глаза и прохрипел:

Ну, что?

— Ой!! Пустите!..— с болезненным стоном вскричал Андерс.— Вот дьявол... как железо!.. Вот свяжись с таким чертом... Он-те покажет! Вся рука затекла.

Андерс стал приплясывать от боли, размахивая рукой, а я дотронулся до впалой груди Коли и спросил:

— Вы гимнастикой занимаетесь с детства?

— Знайте же!— торжествующе захихикал Коля.— Что я гимнастикой не занимался никогда...

— Но это не может быть!— изумился я.— Наверное, когда-нибудь занимались физическим трудом?..

— Никогда!

— Не может быть. Вспомните!

— Однажды, действительно, лет семь тому назад я для забавы копал грядки на огороде.

— Вот оно!— вскричал Андерс.— Ишь хитрец! То— грядки, а то— смотришь еще что-нибудь... Вот они скромники! Интересно бы посмотреть вашу мускулатуру поближе...

— А что, господа,— сказал Коля.— Вы еще не завтракали?

— Нет.

— В таком случае, я приглашаю вас, Андерс, и вашего симпатичного товарища позавтракать. Тут есть недурной ресторан близко... Возьмем кабинет, я разденусь... Гм... Кое-какие мускулишки у меня-то есть...

— Мы сейчас без денег,— заявил я прямолинейно.

— О, какие пустяки... Я вчера только получил из имения... Дурные деньги. Право, пойдем...

В кабинете Коля сразу распорядился относительно вин, закуски и завтрака, а потом закрыл дверь и обнажил свой торс до пояса.

— Так я и думал,— сказал Андерс.— Сложение сухое, но страшно мускулистое и гибкое. Мало тренирован, но при хорошей тренировке получится такой дядя...

Он указал мне на какой-то прыщик у сгиба Колиной руки и сказал:

— Бицепс. Здоровый, черт!

III

Из ресторана мы выбрались около восьми часов вечера.

— Голова кружится...— пожаловался Андерс.— Поедем в театр. Это идея! Извозчик!!

Мы сели и поехали. Оба были задумчивы. Извозчик плелся ленивым, скверным шагом.

— Смотри, какая прекрасная лошадь,— сказал Андерс.— Такая лошадь может мчаться, как вихрь. Это извозчик еще не разошелся, а сейчас он разойдется и покажет нам какая-такая быстрая езда бывает. Прямо — лихач!

Действительно, извозчик, прислушавшись, поднялся на козлах, завопил что-то бешеным голосом, перетянул кнутом лошаденку — и мы понеслись.

Через десять минут, сидя в уборной премьера Аксарова, Андерс горячо говорил ему:

— Я испытал два потрясения в жизни: когда умерла моя мать, и когда я видел вас в «Отелло». Ах, что это было!! Она даже и не пикнула.

— Ваша матушка? — спросил Аксаров.

— Нет, Дездемона. Когда вы ее душили... Это было потрясающее зрелище.

— А в «Ревизоре» Хлестаков...— вскричал я, захлебываясь.

— Виноват... Но я «Ревизора» ведь не играю. Не мое амплуа.

— Я и говорю: Хлестакова! Если бы вы сыграли Хлестакова... Пусть это не ваше амплуа, пусть — но в горниле настоящего таланта, когда роль засверкает, как бриллиант, когда вы сделаете из нее то, чего не делал...

— Замолчи,— сказал Андерс.— Я предвкушаю сегодняшнее наслаждение...

— Посмотрите, посмотрите,— ласково сказал актер.— Вы, надеюсь, билетов еще не покупали?

— Мы... сейчас купим...

— Не надо! С какой стати... Мы это вам устроим. Митрофан! Снеси эту записку в кассу. Два в третьем ряду... Живо!..

В антракте, прогуливаясь в фойе, мы увидели купеческого сына Натугина, с которым были знакомы оба.

— А... коммерсант! — вскричал Андерс.— О вашем последнем вечере говорит весь город. Мы страшно смеялись, когда узнали о вашем трюке с цыганом из хора; ведь это нужно придумать: завернул цыгана в портьеру, приложил сургучные печати и отправил к матери на квартиру. Воображаю ее удивление остроумно остроумно да пока в России есть еще такие живые люди такое искреннее широкое веселье Россия не погибла дайте нам пятьдесят рублей на днях отдадим!

Хотя во всей Андерсовской фразе не было ни одного знака препинания, но веселый купеческий сын сам был безграмотен, как вывеска, и поэтому, последние слова принял, как нечто должное.

Покорно вынул деньги, протянул их Андерсу и сказал, подмигивая:

— Так, ловко это вышло... с портьерой?

* * *

Усталые, после обильного ужина возвращались мы ночью домой. Автомобиль мягко, бережно нес нас на своих пружинных подушках, и запах его бензина смешивался с дымом сигар, которые лениво дымили в наших зубах.

— Ты умный человек, Андерс,—сказал я.—У тебя есть чутье, такт и сообразительность...

— Ну, полно там... Ты только скромничаешь, но в тебе, именно, в тебе есть та драгоценная ясность и чистота мысли, до которой мне далеко... Я уж не говорю о твоей внешности: никогда мне не случалось встречать более обаятельного, притягивающего лица, красивого какой-то странной красот...

Спохватившись, он махнул рукой, поморщился и едва не плюнул:

— Фи, какая это гадость!

Медицина

За утренним чаем Ната Корзухина посмотрела внимательно и беспокойно на мужа, провела рукой по его голове и спросила:

— Почему ты такой желтый?

Корзухин удивился.

— Желтый? Почему бы мне быть желтым?

— Я не знаю. Только очень желтый. Мне не нравится твой цвет.

— Хорошо,—пообещал Корзухин.—Постараюсь, чтобы этого больше не было!

Корзухин поднялся и ушел на службу.

Через два дня утром жена опять сказала с беспокойством:

— Знаешь—ты опять желтый... Даже какой-то синеватый. А виски коричневые.

Корзухин испугался.

— Что ты говоришь?! О, черт возьми... Вот история...

— Тебе, вероятно, нельзя пить. Обратись к доктору.

— Все доктора мошенники.

— Уж и все! Иногда попадаются и не мошенники. Хочешь, я приглашу своего доктора, у которого я зимой лечилась? Очень хороший. Я напишу ему записку, и он сегодня после обеда заедет.

— Неужели я такой... желтый и синий?

— Ужас! Ужас! Прямо какой-то зеленый.

— Я смотрел нынче в зеркало. Как будто ничего.

— Так...— печально сказала жена.— Значит, жена врет, а зеркало не врет? Зеркало, значит, лучше? Почему же ты, в таком случае, не устроишься так, чтобы оно варило тебе по утрам кофе, заказывало обед, целовало тебя и ездило с тобой в театры...

— Зови доктора!!

После обеда приехал доктор.

— Здравствуйте, Наталья Павловна. Я получил вашу записку и сейчас осмотрю вашего мужа.

Осмотр продолжался недолго. Доктор выстукал Корзухина, осмотрел его язык и убежденно сказал:

— Вам нельзя пить! Это для вас смерть.

— Что вы говорите?— побледнел мнительный Корзухин.— Что же я тогда буду делать?

— Что вы обыкновенно пьете?

— Немного водки, шампанское, ликеры...

— Вот водки вам и нельзя. И шампанского вам нельзя и ликеров.

— Стоит ли жить после этого?

— Стоит. Нужно только заниматься больше духовными запросами.

— Займусь,— с искаженным страхом лицом пообещал Корзухин.

* * *

— Ты кашлял во сне. Знаешь ли ты это?

— Нет, я спал.

— Ты кашлял. Я тебя уверяю — ты кашлял, а не спал.

— Почему же я сам этого не заметил?

— Очень просто: потому что ты спал. Тебе, вероятно, вредно куренье... Я уже давно косо посматривала на твои ужасные сигары. Сегодня позовем моего доктора — пусть он осмотрит тебя.

— Странно... Вчера только в департаменте мне говорили: как вы поздоровели!

— Да? Так если тебе говорят в департаменте такие приятные вещи — ты взял бы и поселился там, вместо того, чтобы приходить сюда. Конечно, человек ищет где глубже, а рыба... тоже ищет этого самого... как это говорится: как рыба об лед. Я бьюсь, как рыба об лед, измучилась, беспокоясь о тебе...

— Зови доктора. Зови доктора!

Приехал доктор и опять осмотрел Корзухина... Ната оказалась права. Доктор, даже не досмотрев голого Корзухина, всплеснул руками и сказал:

— Ой-ой! Вам нужно бросить курить... А то выйдет очень неприятная штука.

— Что же вы называете неприятной штукой?

Доктор поднял палец вверх.

— Туда пойдете.

— Вы, вероятно, хотите сказать,— со слабой надеждой в голосе прошептал Корзухин,— что куренье сигар расшатает мой бюджет, и мне придется перебраться этажом выше?

— Я говорю о смерти,— веско сказал доктор.

Корзухин сжал губы в мучительную гримасу, подошел к столу, схватил ящик с сигарами и решительно бросил его в огонь камина.

— Молодцом!— сказал доктор.— Зуб нужно вырывать сразу.

— И зуб?— пролепетал Корзухин.— И зуб... нужно?

— Нет, зуб пока не нужно. Это я так.

* * *

Через неделю доктор опять был у Корзухиных.

— Наталья Павловна телефонировала мне, что вы ночью бредили...

— Ей-Богу не бредил. Чего мне бредить?

— А вот мы посмотрим. Разденьтесь... Те-те-те... Батенька! Да у вас скверная вещь: я бы за ваши нервы ни копейки не дал.

Корзухин и не думал вступать с доктором в какую-нибудь коммерческую сделку, но все же встревожился.

— Что же мне делать? Ради Бога...

— Поздно ложитесь?

— Часа в три, в четыре. Бываю в клубе.

— Он, доктор, в карты играет,— пожаловалась Ната.

— Что вы говорите?! Это самоубийство! Вы хотите сохранить остатки вашего здоровья?

— Хочу!

— Клуб к черту. Карты к дьяволу. Сон — в двенадцать часов ночи. Перед сном обтиранье холодной водой.

— Хорошо...— скорбно сказал Корзухин.— Оботрусь.

* * *

...Доктор долго мял, тискал и выстукивал Корзухина.

Он бил Корзухина кулаком по спине и спрашивал:

— Больно?

— Конечно, больно.

— А тут?

— Ой!

— Нервы, нервы и нервы. Нужно их успокоить. Вы музыку любите?

— Не выше оперетки.

— Нет, это не подходит. Вам нужно ходить на что-нибудь серьезное, действительно художественное. Гм... Вот что! На днях начинается серия вагнеровских опер. Достаньте абонемент.

— Как кстати! — воскликнула, всплеснув руками, Ната. — Мои знакомые, как раз, хотят уступить кому-нибудь абонемент. И мы вдвоем будем ходить... Вагнер — такая прелесть!

— Осмотрите меня внимательно, — заискивающе попросил Корзухин. — Может быть, найдете что-нибудь полегче, чем можно было бы заменить Вагнера. Обыкновенную оперу, что ли... Или цирк...

Доктор ударил Корзухина кулаком под ложечку и спросил:

— Больно?

— Еще как!

— Ну, вот видите — лучше Вагнера не придумаешь... Чудак человек... Говорит — цирк. Это все равно, что больному ревматизмом давать пилюли от кашля. Медицина, батенька, такая вещь, что гм... гм!

Доктор сделался домашним врачом Корзухина.

Однажды он осмотрел его, ощупал и сказал со вздохом:

— На этот раз — дело серьезное.

— Говорите — не мучайте меня — что такое? — скривился Корзухин.

— Мотор!

— Неужели есть такая болезнь? Вероятно, психо-мотор?

— Нет, просто мотор. Вам нельзя пользоваться извозчиком — никаких сотрясений! Слышите? Грудо-брюшная преграда не в порядке. Нужен мотор!

— Послушайте! — сказал Корзухин. — Вы доктор? Так. Вы осматриваете пациента?.. Так, прекрасно. Он, предположим, болен. Хорошо. Вы садитесь и пишите ему рецепт. Существует правило, по которому с рецептом ходят в аптеку. Но я никогда не слышал, чтобы с рецептом бежали в автомобильный гараж!!.

— Вы забываете о физическом методе лечения,— сухо сказал доктор.

— Это что за музыка?

— Механотерапия.

— Странно...— обиженно улыбнулся Корзухин.— У меня, может быть, и всей-то грудо-брюшной преграды на дешевенький велосипед наберется, а вы — целый автомобиль прописываете.

Доктор нахмурился.

— Я не гомеопат. Не нравится — можете обратиться к гомеопату. Он вам может даже швейную машину прописать. Пожалуйста!

И ушел, гулко хлопнув дверью в передней.

— Можно подержанный,— робко сказала жена.

* * *

Это было однажды осенью...

Корзухин лег после обеда спать, но ему не спалось: грезились разные болезни, эпидемии и несчастья. Он встал, оделся и, печальный, расстроенный, побрел к жене.

В дверях ее комнаты, перед портьерой, приостановился, услышав голоса. Прищурился... Потом опустился на стул у окна и стал слушать. Разговаривали двое:

— Вы должны, доктор, это сделать!

— Ни за что! Вы сами не знаете, чего просите... Нужно же знать меру.

— Я и знаю меру. Но мне необходимо иметь зеленую гостиную! Слышите? Вы должны это устроить. Наша старая красная опротивела мне до тошноты.

— Вы говорите вздор. Как я это сделаю?!

— Ваше дело. На то вы доктор.

— Это скорей дело обойщика.

— Придумайте что-нибудь! Скажите, что красный цвет ему вреден, а что зеленый там что-нибудь такое... увеличивает кровообращение, что ли. Или расширяет сосуды.

— Вздор! Зачем ему расширение сосудов?

— Скажите просто, что ему вредна красная гостиная.

— Да он ведь там никогда и не бывает.

— А вы найдите такую болезнь, чтобы ему нужно было сидеть в гостиной, намекните на кубический объем воздуха, а потом скажите, что такой красный цвет в гостиной ему вреден.

— Наталья Павловна... Это черт знает что!.. Он уже на автомобиле чуть не поймал меня. Если он догадается — подумайте, что будет... Я понимаю мои первые опыты — они хоть что-нибудь имели под собою... Хоть какую-нибудь почву... Конечно, куренье вредно, напитки вредны, картежная игра вредна... Но Вагнер — это безобразие, автомобиль — это наглость. У вас нет ни такта, ни логики.

— Ну, хорошо. Устройте мне последнее — красную гостиную — и ладно. Больше ни о чем не попрошу.

— Даете слово?

— Да-ю! Честное слово!!

— Ну, в последний раз. Господи благослови . . . .

. . . .

Доктор и Ната отправились в спальню на поиски Корзухина, но Корзухина там не нашли.

Отыскали его в красной гостиной. Он сидел на красном диване, тянул из горлышка бутылки коньяк и курил чудовищную сигару.

— А, доктор! — сказал он, подмигнув.— Здравствуйте! Не находите ли вы, что красный цвет гостиной мебели дурно влияет на меня? Кубический объем, как говорится, не тот. Хе-хе... Продается хороший автомобиль, дети мои! Срочно нужны деньги за выездом в клуб, и если я, черт побери, не заложу сегодня хорошего банчишки — потащите меня опять на Вагнера. Ха-ха! Дорогой врач! Ломаются нынче все преграды, в том числе и ваша грудо-брюшная, если вы не покинете немедленно одр тяжело больного Корзухина. Неужели мы никогда с вами, доктор, не увидимся? Ну, что ж делать... Я с этим совершенно примирился. Пошел вон!

Я в свете

I

Я спросил:
— Куда ты собрался?

— К одним знакомым. У них званая вечеринка.

— Гм... Досадно. Я пришел провести вечер с тобой.

— Да, жаль. Но ничего не поделаешь. Я уже обещал.

— Что же я теперь буду делать эти несколько часов? — печально спросил я.— Хотел поболтать с тобой... Кто эти твои знакомые?

— Полосухины.

— Полосухины? — обрадовался я. — Скажи, пожалуйста, это не тот ли Полосухин, у которого в прошлом году дача сгорела?

— Да, тот.

— Ну, так как же! Я его знаю! Еще я тогда пожар смотрел и видел этого Полосухина — вот, как сейчас тебя вижу... А знаешь что? Не пойти ли нам к Полосухиным вместе?

— Да ведь ты не получал приглашения?

— Ну, так что ж такое? Не выгонят же они меня?

— Неудобно.

— Да почему?

— Ну, знаешь... В обществе ведь не принято являться в первый раз в незнакомый дом без приглашения.

— Но ведь я же не один, а с тобой.

— Да и со мной неловко.

— Ну почему?

— В обществе так не принято. Светские люди так не делают.

— Не беспокойся, голубчик, — угрюмо возразил я. — Я не хуже твоего знаю эти все светские штучки, что вот, мол, рыбу нельзя есть ножом и прочее. Но в данном случае все это пустяки — если я не вор, не пьяница, то почему же меня не принять? Что, я не такой же человек, как и ты, что ли?

Плешаков неохотно сказал:

— Как хочешь... Если ты настаиваешь — едем. Только ведь ты в пиджаке. Нужно тебе заехать переодеться.

— Да зачем же? Пиджак почти новенький... А что толку в смокинге?.. У другого, может быть, и смокинг есть, да зато портной его день и ночь плачет. Пусть меня судят не по платью, а по моему уму и воспитанию.

— Во всяком случае, — усмехнулся Плешаков, — ты получил довольно оригинальное воспитание...

— Смейся, смейся! Мне хотя не приходилось до сих пор вращаться в обществе, но, во всяком случае, я рыбу ножом есть не стану!

Мы сели на извозчика и поехали к Полосухиным. Я предвкушал хороший, веселый вечер и поэтому радовался как ребенок.

Насчет моего первого появления и первых приветствий у меня уже сложилось несколько планов.

Можно, во-первых, сыграть роль чудаковатого парня-рубахи и души нараспашку, игнорирующего светские условности, что придает всем его поступкам странную прелесть. Здесь допустима небольшая фамильярность, подшучивание над деви-

цами и любезничание с дамами, что должно вызывать общий смех и восклицания: «ох, уж, этот Николай Николаич... Для него нет ничего святого! Только попадись ему на язычок!»

Можно также быть печальным, томным, чтобы было видно, что мысли мои витают где-то далеко, и весь светский шум не долетает до моих ушей... Или еще можно держать себя очень сдержанно, холодно, но в высшей степени вежливо, как и подобает человеку, явившемуся впервые в дом.

Конечно, в том, другом и третьем случае — необходимо соблюдение светских приличий и одинаковым образом, как светскость, так и чудаковатость и меланхоличность — должны удерживать меня от употребления ножа при операциях с рыбой и от прочих поступков.

— Ну, вот, мы и приехали к Полосухиным,— сказал Плешаков, соскакивая с извозчика.— Может, ты раздумал?

— Чего там мне раздумывать,— весело возразил я.— Не звери же они, в самом деле. Не съедят меня. Ты меня только не забудь представить.

Плешаков промолчал, и мы, поднявшись по лестнице, позвонили...

II

После полутемной передней гостиная показалась ослепительной. Я на секунду приостановился, но сейчас же, ободрившись, двинулся вперед.

— Вот это хозяйка,— шепнул мне Плешаков.

— Позвольте представиться! — сказал я, улыбаясь.— Прошу любить да жаловать. Я страшно извиняюсь за немного бестактное, так сказать... Это вторжение очень напоминает человека, который рыбу ест ножом. Впрочем, к чему эти светские условности, не так ли? Ах, сударыня... Все на свете проходит, и через сто лет, вероятно, никого уже из нас не будет на свете...

Тут же я пожалел, что не остановился на какой-нибудь определенной манере держать себя. Начал я «рубахой-парнем», продолжил «светским сдержанным аристократом», а кончил «меланхоликом».

— Ничего, милости просим,— сказала хозяйка.— Неужели вы, однако, такой пессимист, что думаете о смерти?

— Да,— вздохнул я.— Что такое, в сущности, жизнь? Какой-то постоялый двор. Все приходят, уходят. Стоит ли после этого мучиться, страдать...

Лицо хозяйки омрачилось.

Однако,— подумал я.— Пригодна ли меланхоличность для светского вечера, где все должны веселиться?..

Я надел на себя личину чудака, всеобщего любимца, «рубахи-парня». Прищелкнул пальцами и спросил:

— А где же хозяин сего богоспасаемого домишки?

— Он в карточной комнате.

— А́-а,— подмигнул я.— Променял красивую женушку на картишки. Хе-хе. Ох, приударю я за вами — будет он тогда с выигрышем!

— С каким? — бледно улыбнулась хозяйка.

— Кому не везет в любви — везет в картах! А вы будто бы не понимаете? Ох, эти женщины!

Я лукаво засмеялся. Лицо хозяйки дома казалось равнодушным. Она отвернулась и посмотрела на какого-то старика, топтавшегося в углу.

«Рубаха-парень» брал свое.

Я кивнул головой на старика и сказал:

— Мы как будто в фруктовом саду.

— Почему?

— Да на одном из деревьев уже выросла синяя слива.

Я думал, что она расхохочется, так как нос старика, действительно, напоминал синюю сливу, но оказалось, что старик приходился ей отцом, и она обиделась.

Пришлось пустить в ход всю свою светскость, чтобы выпутаться из неловкого положения. Я пригласил на помощь «сдержанного аристократа» и сказал:

— Я извиняюсь за эту шутку. Старик мне, откровенно говоря, очень нравится. Кроме того, ведь не написано же у него на лбу, кто он такой.

— Ничего,— сказала хозяйка.— Бывает. Это легко случается, если человек приходит в дом, где он никого не знает.

— Разве он никого не знает? — удивился я.

— Кто?

— Ваш папаша.

— Я говорю не о папаше. Извините, я пойду распорядиться по хозяйству.

«Сдержанный аристократ» поклонился и... сейчас же уступил место «душе нараспашку».

— Господи! Такие прелестные ручки, созданные для ласк, должны хлопотать по хозяйству... Знаете что? Скажу вам откровенно: я познакомился с вами всего несколько минут, но чувствую себя, как будто знаком десять лет. Ей-Богу! Так что вы со мной не стесняйтесь. Хотите, я пойду помогу вам по хозяйству.

— Что вы! Мне ведь придется заглянуть на кухню...

— Заглянем вместе! Эх-ма! Ей-Богу, нужно быть проще. Вы мною располагайте... Я могу все: ветчину нарезать, бутылки откупорить...

— Да нет, зачем же. Тем более, что на кухню нужно проходить мимо детской, а дети спят...

— Как! У вас есть дети и вы, плутовка этакая, молчите? Да ведь я обожаю детей. Они сразу подружатся с большим дядей. Я им сделаю разные кораблики, бумажные треуголки... Хе-хе! Я сейчас пойду к ним повозиться.

— Извините, но это неудобно. Они уже заснули. Вообще, я думаю, что управлюсь сама...

Она быстро повернулась и ушла. «Рубаха-парень» сжался и, превратившись в «меланхолика», обратился к группе дам, сидевших в углу около пальмы.

Я подошел к ним, опустился на стул и, свеся голову, вздохнул.

— Я вам не помешаю?

Дамы умолкли и взглянули на меня.

Я подпер подбородок рукой и задумался.

Все молчали.

Я провел рукой по волосам, будто отгоняя мучительные мысли, и прошептал:

— Как тяжело!

— Что... тяжело? — спросила участливо одна из дам.

— Это, все... Этот блеск и шум... К чему он? В жизни человека на каждом шагу самообман!

Две дамы встали и сказали третьей:

— Пойдем, mesdames. Вы не видели новую картину в кабинете? Пойдем, посмотрим.

Я остался с четвертой дамой. Чутье мое подсказывало, что я наделал ряд ложных шагов и, поэтому, являлась настоятельная необходимость загладить все это...

Выручить должен был «рубаха-парень», но с примесью старческих покровительственных ноток, свойственных пожилому бонвивану, общему любимцу.

— Прыгаете все? — спросил я равнодушно.

— Как... прыгаю?

— Еще не замужем?

— Нет, я девушка.

— А-а... Сердечко-то, наверно, ток-ток делает...

Я засмеялся добрым старческим смешком.

— Женишка вам найти надо. Хе-хе. Буду приходить дети-

шек нянчить. Да вы не краснейте — мне ведь можно извинить...

— Я замуж не хочу.

— Ах, вы, моя козочка! Она не хочет замуж!.. Видели вы такое? Небось, когда этакий, какой-нибудь черноусый паренек прижмет к себе покрепче да поцелует...

— Послушайте! Я не привыкла, чтобы мне так говорили...

— Хе-хе! Глазеночки, как мышонки, бегают. Ну, да молчу, молчу. Я ведь, мой ангелок, приличия знаю и ничего такого не скажу и не сделаю. Пошутить могу, но уж, например, рыбу с ножа есть не буду!

Читатель, вероятно, заметил, что я уже несколько раз упоминал об этом неумолимом условии, предъявляемом хорошим тоном человеку из общества. Дело в том, что из всего сложного кодекса светских условностей я знал только одну эту условность и, признаться, берег ее до ужина про запас, — чтобы за ужином одним этим приемом исправить все предыдущие ложные и неправильные шаги.

Увидев меня, распоряжающимся рыбой т о л ь к о п р и п о м о щ и в и л к и, всякий сразу бы понял, что все предыдущие слова и действия были только чудачеством пресыщенного аристократа.

Поэтому я очень обрадовался, когда хозяин вышел из карточной комнаты и пригласил всех к столу.

III

Я сел очень удачно: напротив хозяйки и наискосок от девицы, которая знала меня за добродушного чудаковатого старика.

Я ловил на себе их презрительные, сердитые взгляды и думал:

Ничего, миленькие. Светское воспитание не в том, что я заговорил насчет женихов, или там хотел помочь хозяйке по хозяйству! А вот нож для рыбы, хе-хе... Посмотрим, многие ли из вас будут обходиться без помощи ножа...

Скажу прямо и откровенно: это был мой единственный ресурс, единственная надежда исправить первое неудачное впечатление, которое я иногда произвожу на людей.

От закуски я отказался и, напустив на себя манеру № 3 (сдержанный аристократизм), стал ожидать рыбы.

После закуски подали какую-то зелень и жареных птиц. Мой сосед, отставной полковник, спросил меня:

— А вы почему же не кушаете?

— Спасибо, не хочется. Вообще, знаете, эта бурная светская жизнь утомляет...

— Да-а,— сказал полковник.

— И потом, мы, светские люди, прямо-таки окружены условностями. Того нельзя, этого нельзя. Вы знаете, до чего дошла светская изощренность?..

— До чего?

— Немногие это знают, но это верно: вы можете представить, что рыбу теперь едят только одной вилкой...

— Да это уже всем известно! — возразил полковник.

Я тонко улыбнулся.

— Не всем-с. Вот посмотрим-с, когда подадут рыбу.

— Да ее сегодня, вероятно, не будет,— возразил полковник.— Смотрите, уже подают пломбир.

Я побледнел.

— Как? Значит, рыбы не будет?

— Не знаю,— пожал плечами полковник.— Разве что вам ее подадут после пломбира.

Сердце мое упало.

— Господи,— подумал я,— стоит ли знать все тонкости и ухищрения светской жизни, если их нельзя применить. К чему моя воспитанность, мой лоск? Все пошло прахом!

Расстроенный, я отказался от пломбира, извинился перед хозяевами («аристократ» и отчасти «меланхолик») и, не досидев до конца ужина, ушел.

* * *

Теперь шумиха светской жизни не привлекает меня.

Купальщик

— Эй... как вас... Мм... молодой чч...век! Нет ли тут поблизости морей каких-нибудь?

— Каких морей?

— Ну, там... Черного какого-нибудь... Средиземного. А то так — Мраморного, что ли.

— Нет, тут поблизости не будет. Переплюниха река есть, так и то верст за пятнадцать...

— М...молодой чч...век! Море бы мне. А?

— Говорят вам — нет. Да вам зачем?

— Купаться ж надо ж...

— Да если нет, так как же?

Человек, желавший выкупаться, покачнулся, схватил сам себя за грудь, удержал от падения и прохрипел страдальчески:

— Надо ж купаться же ж! Освежаться надо же ж!

— Да-с. Нет морей.

— А... Каспийское море... Далеко?

— Каспийское? Далеко.

— Вы думаете — я пьян?

— Почему ж-с?

— Да, пил. Надо же ж пить же ж!! Напиваться необходимо же ж!!

— Извините... Я домой.

— Домой? Лошадь! Кто ж нынче домой ходит? Впрочем, — прав! Надо ходить же ж домой же ж!! Посл...лушай! А дома морей никаких нет? Хоть бы Красное... Аральское... А? ушел? Ну, и черт с тобой. Ты же лошадь же ж! Я тут сейчас и искупаюсь! Вот еще! Куда бы мне пиджак повесить? Вот гвоздик! Надо ж пиджаки вешать же ж!

— Эй, господин! Разве тут можно раздеваться?

— Можно. Здравссс... прохожий... Не знаете — тут глубоко?

— Где-е? Это ведь улица! Тут и воды нет.

— Толкуй! Подержи жилетку.

— Отстаньте!

— О, Господи ж. Надо ж жилетки держать же ж! Купаться надо же ж!!.

— ...Это что еще?! Вы чего тут?! Как так — на улице раздеваться? Пшел!

— Мама-аша! Сколько лет!..

— От-то ж дурень! Какая я мамаша? Я городовой.

— Вот ччерт!.. А я смотрю — обращение самое... материнское. Городовой! Где моя мама?

— Стыдно, господин. Тут и купальни нет, а вы раздеваетесь!

— Нет купальни... А ты построй! Я тут сяду — пока брюки подожду снимать, а ты надо мной и воз...веди п...построечку! О, Господи! Строиться надо же ж!!

— Да зачем купальню, когда воды нет. Хи-хи.

— Милл...лай. Мне ж много не надо же ж! Построй купаленку, плесни ведерце — мне и ладно. Надо ж купаться же ж!!

— Же ж, же ж! Вот тебе покажут в участке «же ж»! Одягайся!

— Позвольте, городовой! Они выпимши и не в себе, а вы сейчас — участок. Знаем мы ваши участки. Позвольте, я сам его урезоню.

— Здравствуйте, господин!
— А-а... Мамаша! Глубочайшее...
— Купаться хотите?
— Купаться же ж надо ж! Работать надо ж!
— Дело хорошее. Водички вам немного потребуется.
— Пустяки же ж! Как пожива...аете?
— Слава Богу, хорошо. Вам ведь купаться не обязательно? Только освежиться?
— Освежиться ж надо же ж!
— Ну, вот. У меня в пузыречке вода и есть. Ведь вам не обязательно обливаться? Ежели ее немного—можно и понюхать. А?
— Господи! Надо нюхать же ж!
— Ну, вот и хорошо. Умница. Нюхайте.
— Фф... ррр... пффф... Од....днако!
— Это вы что ему за водичку дали?
— Ничего-с. Нашатырный спирт.
— Здорово! Слеза-то как бьет. Хи-хи!
— Еще, может, нырнете, а? Вот бутылочка. Держи ему голову.
— Фф... рр... пфф... Однако!..
— Ну, как?
— Где мой... пиджак? Дом купца Отмахалова направо?
— Направо.
— Городовой! Дай мой пиджак. Ффу!

По влечению сердца

(ОБРАЗЦЫ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ).

1. *Французский рассказ*

Войдя в вагон, Поль Дюпон увидел прехорошенькую блондинку, сидевшую в одиночестве у окна и смотревшую на него странным взглядом.

— Ого!—подумал Дюпон, а вслух спросил:
— Вам из окна не дует?
— Окно, ведь, закрыто!—засмеялась блондинка и лукаво взглянула на него.
— Разрешите закурить?
— Пожалуйста. Я люблю сигарный дым.

— Увы! К сожалению, я не курю,— вздохнул Поль.— Разрешите узнать, как ваше имя?

— Луиза.

— Луиза?! Ты должна быть моей! С первой встречи, когда я тебя увидел...

— Ах, плутишка! — сказала Луиза, открывая свои объятия.

. . . .

Оправляя прическу, Луиза спросила любовника:

— Ты куда?

— В Авиньон.

— И я тоже.

Поезд подходил к вокзалу.

Из вагонов хлынула публика, и они расстались.

Поль взял извозчика и поехал в замок своего друга д'Арбиньяка.

Д'Арбиньяк очень ему обрадовался.

— Сейчас познакомлю тебя с женой. Лу-иза!

Поль Дюпон вздрогнул.

— Ка-ак! Это вы?!

— Вы... знакомы?!

Молодая женщина улыбнулась и, глядя на мужа ясным взглядом, сказала:

— Да! Мы ехали в одном и том же вагоне и премило убили время... Надеюсь, что и тут вам будет так же хорошо...

— Браво! — вскричал виконт д'Арбиньяк.

II. *Английский рассказ*

Томми О'Пеммикан добывал себе скромные средства к жизни тем, что по вечерам показывал в уайт-чапельском кабачке Сиднея Гроша свое поразительное искусство: он всовывал голову в мышеловку, в которой сидела громадная голодная крыса, и после недолгой борьбы ловил ее на свои крепкие, белые зубы... Несмотря на то, что животное яростно защищалось, через минуту слышался треск, писк — и крыса, перегрызанная пополам, безжизненно падала на покрытый кровью пол гигантской мышеловки.

Мисс Сьюки Джибсон упросила своего отца однажды сделать честь Сиднею Грошу и навестить этого старого мошенника в его берлоге.

Отец сначала ужаснулся. («Ты — девушка из общества — в этом вертепе?»), но потом согласился, и таким образом, однажды в туманный лондонский вечер среди пропитанных джи-

ном и пороком джентльменов — обычных посетителей дяди Сиднея — очутилась молодая, изящная девушка с пожилым господином.

Представление началось. Томми вышел, пряча свои жилистые кулаки в карманы и равнодушно поглядывая на метавшегося по клетке обреченного врага.

Все придвинулись ближе... И вдруг раздался звонкий девичий голос:

— Держу пари на тысячу долларов, что этому джентльмену не удастся ее раскусить!

— Годдэм! — крикнул хрипло подвыпивший американский капитан с китобоя «Гай Стокс». — Принимаю! Для Томми это все равно, что раскусить орешек. Ставлю свою тысячу!

— Томми, не выдай! — заревела толпа.

Томми О'Пеммикан, не обращая внимания на рев, смотрел на красивую девушку во все глаза. Потом вздохнул, всунул голову в клетку и... крыса бешено впилась ему в щеку.

— Что же ты? — взревели поклонники. — Что с ним? Это первый раз. Болен ты, Томми, что ли?

— Годдэм! — вскричал хриплый китобой. — Он ее не раскусил, но я его раскусил! — Он в стачке с девушкой!

Загремели выстрелы... Томми прыгнул, как тигр, и отбросив ударом кулака китобоя, ринулся к выходу! . . . .
. . . .

Когда Джибсоны выбрались из адской свалки и побежали по туманной улице, Сьюки наткнулась на что-то и вскрикнула:

— Это он! Это мистер Пеммикан... Он ранен! Нужно взять его к нам домой.

— Удобно ли, — нахмурился отец, — постороннего человека.

— All right! — вскричала Сьюки решительно. — Постороннего неудобно, но будущего моего мужа — против этого никто ничего не скажет! . . . .
. . . .

III. *Немецкий рассказ*

— Лотта! — вскричал Генрих, хватая свою женушку за руку. — Это что такое? Что ты от меня спрятала?

Лотта закрыла лицо руками и прошептала:

— О, не спрашивай меня, не спрашивай.

— Покажи! Это, вероятно, записка! У тебя есть любовник?!

Лотта молча заплакала:

— Бог тебя простит!

— Покажи!!

— Нет! — сказала Лотта, смело смотря ему в глаза. — Ни за что!

— В таком случае — вон из моего дома!

— Я уйду, — прошептала Лотта, глядя на него глазами, полными слез, — но позволь мне вернуться 28 июля.

— Вздор! К чему эти комедии. Вон! . . . .

. . . .

Был день 28 июля.

У Генриха собрались гости и родственники, так как был день его рождения — одной только Лотты, любимой Лотты, не было.

Где она бродила, изгнанная мужем?

— С днем рождения тебя! — вскричал отец, поднимая бокал.

Вдруг дверь распахнулась и вошла исхудавшая Лотта... С гордо поднятой головой она подошла к столу, в котором месяц тому назад спрятала что-то тайком от мужа.

Она открыла ящик стола, сунула туда руку и... вынула пару теплых туфель, вышитых гарусом.

— Вот, Генрих, почему я не могла показать... это сюрприз.

— Прости меня, Лотта, — вскричал Генрих, обливаясь слезами. — Я не имел права тебя подозревать...

Лотта вся вспыхнула и бросилась мужу в объятия.

— Вот видите, — сказал отец, — как вы были легкомысленны. Пословица говорит, что нужно сначала хорошенько расспросить, что за вещь заключалась в столе, и если эта вещь была невинного характера, то не нужно обращаться так сурово со своей маленькой женкой. Теперь вы достаточно наказаны, и в будущий раз это не повторится!

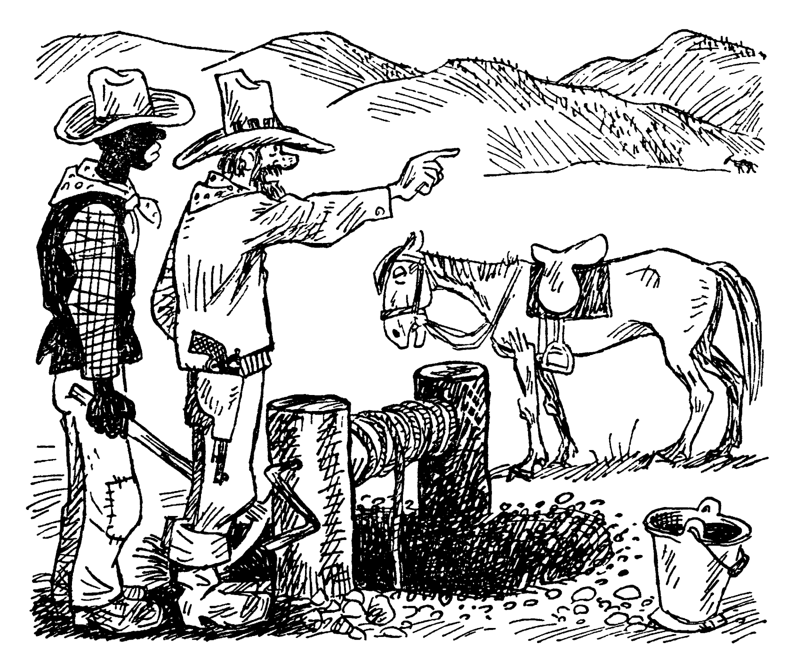
IV. *Австралийский рассказ*

На краю золотоносной ямы сидело двое: беглый каторжник Джим Троттер и негр Бирбом — неразлучные приятели.

— Проклятая страна! — проворчал Джим, отбрасывая в сторону кусок попавшегося под руку золота. — Ни одной женщины... А мне бы так хотелось жениться.

— Ты любил когда-нибудь? — спросил черный Бирбом, лениво пожевывая кусок каменного дерева.

— Давно. Это была индианка, которую я однажды застал в обществе долговязого Нея Мастерса. Это меня так смутило, что я тут же убил их обоих, украл лошадь и бежал.



Он посмотрел вдаль и вдруг, вскочив, крикнул:

— О, что это? Боже мой! Ведь это женщина! Ну, конечно... Старина Бирбом! Беги к ней со всех ног, чтобы она не ушла. Скажи, что я люблю ее, ну и прочее... и предлагаю сделаться моей женой. Если обломаешь дело, подарю тебе мои щегольские красные штаны!

Прыткий Бирбом не заставил себя ждать. Он понесся во всю прыть, а Джим собрал около себя кучу самородков, вытер грязной рукой с лица пот и вытащил из волос запутавшуюся ветку — все это для того, чтобы ослепить невесту своим видом и богатством...

Бирбом вернулся, еле дыша, с глубоким разочарованием в лице.

— Что она сказала?

— Она сказала, что я не получу твоих красных штанов. Тем более, что это была не она, а он.

— Кто он?

— Старый мул диггера Паулинса, отбившийся от прииска. А ты, слепая курица, принял его за женщину!

И мечты бедного Джима о семейной жизни в один миг оказались разбитыми.

Он разбросал рукой опостылевшие самородки, упал на раскаленную землю и завыл.

А австралийское солнце — злой, желтый, пылающий таз — заливало равнодушные камни и пыльные листья молочаев своим мутным, как потухающие уголья, светом...

Мой сосед по кровати

Гостей на этой даче было так много, что я не всех знал даже по фамилиям. В 2 часа ночи вся эта усталая нашумевшая за день компания стала поговаривать об отдыхе. Выяснилось, что ночевать остаются восемь человек — в четырех свободных комнатах.

Хозяйка дома подвела ко мне маленького приземистого человечка из числа остающихся и сказала:

— А вот с вами в одной комнате ляжет Максим Семеныч.

Конечно, я предпочел бы иметь отдельную комнату, но по осмотре маленького незнакомца решил, что, если уж выбирать из нескольких зол, то выбирать меньшее.

— Пожалуйста!

— Вы ничего не будете иметь против? — робко осведомился Максим Семеныч.

— Помилуйте... Почему же?

— Да видите ли... Потому что компаньон-то я тяжелый...

— А что такое?

— Человек я пожилой, неразговорчивый, мрачный, все больше в молчанку играю, а вы, паренек молодой, небось душу перед сном не прочь отвести, поболтать об этом да об том?

— Наоборот. Я с удовольствием помолчу. Я сам не из особенно болтливых.

— А коли так, так и так,— облегченно воскликнул Максим Семеныч.— Одно к одному, значит. Хе-хе-хе...

Когда мы пришли в свою комнату и стали раздеваться, он сказал:

— А ведь знаете, есть люди, которые органически не переносят молчания. Я потому вас и спросил давеча. Меня многие недолюбливают за это. «Что это», говорят, «молчит человек, ровно колода»...

— Ну, со мной вы можете не стесняться,— засмеялся я.

— Ну, вот, спасибо. Приятное исключение...

Он снял один ботинок, положил его подмышку, погрузился в задумчивость и потом, улыбнувшись, сказал:

— Помню, еще в моей молодости был случай... Поселился я со знакомым студентом Силантьевым в одной комнате... Ну, молчу я... день, два — молчу... Сначала он подсмеивался надо мной, говорил, что у меня на душе нечисто, потом стал нервничать, а под конец ругаться стал... «Ты, что», говорит, «обет молчания дал? Чего молчишь, как убитый?» «Да ничего», отвечаю. «Нет», говорит, «ты что-нибудь скажи!» — «Да что же?» Опять молчу. День, два. Как-то схватил он бутылку да и говорит: «эх», говорит, «с каким бы удовольствием трахнул тебя этой бутылкой, чтобы только от тебя человеческий голос услышать». А я ему говорю: «Драться нельзя». Помолчали денька три опять. Однажды вечером раздеваемся мы перед сном, вот как сейчас, а он как пустит в меня сапогом! «Будь ты», говорит, «проклят отныне и до века. Нет у меня жизни человеческой!.. Не знаю», говорит, «в гробу я лежу, в одиночной тюрьме или где. Завтра же утром съезжаю!» И что же вы думаете?

Мой сосед тихо засмеялся.

— Ведь сбежал. Ей-Богу, сбежал.

— Ну, это просто нервный субъект, — пробормотал я, с удовольствием ныряя в холодную постель.

— Нервный? Тогда, значит, все нервные! Ежели девушка двадцати лет, веселая, здоровая, она тоже нервная? У меня такая невеста была. Сначала говорила мне: «мне», говорит, «нравится, что вы такой серьезный, положительный, не болтун». А потом, как только приду — уже спрашивать начала: «чего вы все молчите?» — «Да о чем же говорить?» — «Как? Неужели, не о чем? Что вы сегодня, например, делали?» — «Был на службе, обедал, а теперь вот к вам приехал». — «Мне», говорит, «страшно с вами. Вы все молчите...» — «Такой уж», говорю, «я есть — таким меня и любите». Да где там! Приезжаю к ней как-то, а у нее юнкер сидит. Сиди-ит, разливается! «Я, — говорит, — видел и то и се, бывал и там и тут, и бываете ли вы в театре, и любите ли вы танцы, и что это значит, что подарили мне сейчас желтый цветок, и со значением или без значения?» И сколько этот юнкер мог слов сказать, это даже удивительно... А она все к нему так и тянется, так и тянется... Мне-то что... сижу — молчу. Юнкер на меня косо посматривает, стал с ней перешептываться, пересмеиваться... Ну, помолчал я, ушел. И что ж вы думаете? Дня через два заезжаю к ней, выходит ко мне этот юнкер. «Вам, говорит, чего тут надо?» — «Как чего? Марью Петровну хочу видеть». — «Пошел вон!», говорит мне этот проклятый юнкеришка. «А то я», говорит, «тебя, так тресну, если будешь еще ша-

таться». Хотел я возразить ему, оборвать мальчишку, а за дверью смех. Засмеялась она и кричит из-за двери: «Вы мне, говорит, не нужны. Вы молчите, но ведь и мой комод молчит, и мое кресло молчит. Уж лучше я комод в женихи возьму, какая разница...» Дура! Взял я да ушел.

Я сонно засмеялся и сказал:

— Да-а... История! Ну, спокойной ночи.

— Приятных снов! Вообще, у мужчины, хотя логика есть, по крайней мере. А женщина иногда так себя поведет... Дело прошлое — можно признаться — был у меня роман с одной замужней женщиной... И за что она меня, спрашивается, выбрала? Смеху подобно! За то, видите ли, «что я очень молчалив и поэтому никому о наших отношениях не проболтаюся...» Три дня она меня только и вытерпела... Взмолилась: «Господи, Создатель! говорит, пусть лучше будет вертопрах, хвастунишка, болтун, но не этот мрачный надгробный мавзолей. Вот, говорит, со многими приходилось целоваться и обниматься, но труп безгласный никогда еще любовником не был. Иди ты, говорит, и чтобы мои глаза тебя не видели отныне и до века!» И что ж вы думаете? Сама пошла и мужу рассказала о наших отношениях... Вот тебе и разговорчивость! После скандал вышел.

— Действительно,— поддакнул я, с трудом приоткрывая отяжелевшие веки.— Ну, спите! Вы знаете, уже половина четвертого.

— Ну? Пора на боковую...

Он неторопливо снял второй сапог и сказал:

— А один раз даже незнакомый человек на меня освирепел... Дело было в поезде, едем мы в купе, я, конечно, по своей привычке сижу, молчу...

Я закрыл глаза и притворно захрапел, чтобы прекратить эту глупую болтовню.

— ...Он сначала спрашивает меня: «Далеко изволите ехать?» — «Да».— «То есть, как да?»...

— Хррр-пффф!..

— Гм! Что он заснул, что ли? Спит... Ох, молодость, молодость. Этот студент бывало тоже, что со мной жил... Как только ляжет — сейчас храпеть начинает. А иногда среди ночи проснется и начинает сам с собой разговаривать... Со мной-то не наговоришься — хе-хе!

Я прервал свой искусственный храп, поднялся на одном локте и ядовито сказал:

— Вы говорите, что вы такой неразговорчивый. Однако теперь этого сказать нельзя.

Он недоумевающе повернулся ко мне.

— Почему?

— Да вы без умолку рассказываете.

— Я к примеру рассказываю. Вот тоже случай у меня был с батюшкой на исповеди... Пришел я к нему, он и спрашивает, как полагается: «Грешен?» — «Грешен».— «А чем?» — «Мало ли!» — «А все-таки?» — «Всем грешен». Молчим. Он молчит, я молчу. Наконец...

— Слушайте! — сердито крикнул я, энергично повернувшись на постели.— Сколько бы вы ни говорили мне о вашей неразговорчивости, я не поверю! И чем вы больше мне будете рассказывать — тем хуже.

— Почему? — спросил мой компаньон обиженно, расстегивая жилет.— Я, кажется, не давал вам повода сомневаться в моих словах. Мне однажды даже на службе была неприятность из-за моей неразговорчивости. Приезжает как-то директор... Зовет меня к себе... Настроение у него, очевидно, было самое хорошее... «Ну, что, спрашивает, новенького?» — «Ничего».— «Как ничего?» — «Да так — ничего!» — «То есть, позвольте... Как это вы так мне...»

— Я сплю! — злобно закричал я.— Спокойной ночи, спокойной ночи, спокойной ночи.

Он развязал галстук.

— Спокойной ночи. «...Как это вы так мне отвечаете,— говорит,— ничего! Это невежливо!» — «Да как же иначе вам ответить, если нового ничего. Из ничего и не будет ничего. О чем же еще пустой разговор мне начинать, если все старое!» — «Нет, говорит, все имеет свои границы... можно, говорит, быть неразговорчивым, но . . . .

. . . .

Тихо, бесшумно провалился я куда-то, и сон, как тяжелая, мягкая шуба, покрыл собою все.

* * *

...Луч солнца прорезал мои сомкнутые веки и заставил открыть глаза.

Услышав какой-то разговор, я повернулся на другой бок и увидел фигуру Максима Семеныча, свернувшуюся под одеялом. Он неторопливо говорил, смотря в потолок:

«Я, говорит, буду требовать у вас развода, потому что выходила замуж за человека, а не за бесчувственного безгласного идола. Ну, чего, чего вы молчите?» — «Да о чем же мне, Липочка, говорить?»

На «Французской выставке за сто лет»

— Посмотрим, посмотрим... Признаться, не верю я этим французам.

— Почему?

— Так как-то... Кричат: «Искусство, искусство!» А что такое искусство, почему искусство? — никто не знает.

— Я вас немного не понимаю,— что вы хотите сказать словами: «Почему искусство»?

— Да так: я вот вас спрашиваю — почему искусство?

— То есть как — почему?

— Да так! Вот небось и вы даже не ответите, а то французские какие-то живописцы. Наверное, все больше из декадентов.

— Почему же уж так сразу и декаденты? Ведь декаденты недавно появились, а эта выставка за сто лет.

— Ну, половина, значит, декадентов. Вы думаете, что! Им же все равно.

— Давайте лучше рассматривать картины.

— Ну, давайте. Вы рассматривайте ту, желтую, а я эту.

— Что ж тут особенного рассматривать — вот я уже и рассмотрел.

— Нельзя же так скоро. Вы еще посмотрите на нее.

— Да куда ж еще смотреть?! Все видно как на ладони: стол, на столе яблоки, апельсины, какая-то овощь. Интересно, как она называется?

— А какой номер?

— Сто двадцать седьмой.

— Сейчас... Гм! Что за черт! В каталоге эта картина называется «Лесная тишина». Как это вам понравится?! У этих людей все с вывертом... Он не может прямо и ясно написать: «Стол с яблоками» или «Плоды». Нет, ему, видите ли, нужно что-нибудь этакое почуднее придумать! Лесная тишина! Где она тут? А потом возьмет он, нарисует лесную тишину и подпишет: «Стол с апельсином». А я вам скажу прямо: такому молодцу не на выставке место, а в сумасшедшем доме!

— Ну, может быть, это ошибка. Мало ли что бывает: типографщик напился пьяный и допустил ошибку.

— Допустим. Пойдем дальше. А это что за картина? Ну... голая женщина — это еще ничего. Искусство там, натура, как вообще... Какая-нибудь этакая Далила или Семирамида. Какой номер? Двести восемнадцать? Посмотрим. Вот тебе! Я ж говорю, что у этих людей вместо головы коробка от шляпы! И это называется «новым искусством»! Новыми путями! Может, скажете — опять типографская ошибка? Нарисована голая женщина, а в каталоге ее называют: «Вид с обрыва»! Нет-с, это не



типографская ошибка, а тенденция! Как бы почудней, как бы позабористее на голову стать. Эх вы! Просвещенные мореплаватели!

— Это не англичане, а французы.

— Я и говорю. И я уверен, что вся выставка в стиле «О, закрой свои голубые ноги». Это что? Четыреста одиннадцатый? Лошадки на лугу пасутся. Как оно там? Ну конечно! Они это называют «Заседание педагогического совета»!

— А знаете – это мне нравится. Тут есть какая-то сатира... Гм! Ненормальная постановка дела высшего образования в России. Проект Кассо...

— Нет! Нет! Вы посмотрите! Тут нормальному человеку можно с ума сойти! Я бы за это новое искусство в Сибирь ссылал! Вы видите? Нарисован здоровенный мужчинище с бородой, а под этим номером творец сего увража в каталоге пишет: «Моя мать»... Его мать! Да я б его... Нет, не могу больше! Я им сейчас покажу, как публику обманывать. Ты, милый мой, хоть и декадент, а тюрьма и для декадентов и для недекадентов одинаковая! Эй, кто тут! Вы капельдинер? Билеты отбираете? За что? Может, и у вас новое течение? Посмотрите вашими бесстыдными глазами – кто это может допустить?! Это какой номер? Девяносто пятый? Мужчина с бородой? А в каталоге что? Девяносто пятый – «Моя мать»? Мать с бородой? Юлия Пастрана? Или зарвавшаяся наглость изломанных идиотов, которым все прощается? Я вас спрашиваю! Что вы мне на это скажете?

— Что я скажу? Позвольте ваш каталог... Вы сейчас откуда?

— Мы, миленький мой, сейчас из такого места, которое не вам чета! Там художники хранят святые старые традиции! Одним словом — с академической выставки, которая...

— Вы бы, господин, если так экономите, то уж не кричали бы, — ведь у вас каталог-то не нашей, а чужой выставки.

Сердце под скальпелем

ГЛАВА I

Замечательный попутчик

Стройная красивая дама вошла на остановке в наше купе, положила на диван небольшой ручной сак и сейчас же вышла, — вероятно, с целью проститься с провожавшими ее друзьями.

Мой сосед кивнул в мою сторону с плутовской улыбкой и сказал:

— Занятная штучка. Я думаю, на номер четвертый ее можно было бы поймать.

Я не знал этого человека — мы с ним только что познакомились. Наружность его была самая ординарная и незначительная. Никто не мог бы предположить в нем удивительной, оригинальной натуры: среднего роста, худощавый, с черными, опущенными книзу усиками и лицом, темным, будто от загара; глаза быстрые, искательные.

Я, признаться, не понял сразу, — что это за номер четвертый, на который, по словам моего соседа, «можно поймать» даму.

Такой термин мог быть у коммивояжера — торговца дамскими вещами, у сыщика охранного отделения или, еще проще, — у вора, милого добродушного экземпляра, почему-либо принявшего меня за одного из своих.

— Вы говорите, четвертый номер? — неопределенно спросил я.

— Да. А вы не согласны? Не думаете же вы, что с ней можно обойтись первым или вторым номером — это слишком для нее примитивно!

Надеясь что-нибудь выведать у него, я спросил заинтересованный:

— Второй номер — работа без инструментов?

— О, Господи! Все номера — работа без инструментов. Какие там, к черту, инструменты!

— Так вы больше склоняетесь к четвертому номеру?

— К четвертому. Э, чертова работа! Да вы, вероятно, не знаете четвертого номера?

Я не знал ни одного номера — от первого до последнего, и мог признаться в этом с чистой совестью.

Но, не желая показать себя неопытным простаком, заявил:

— Четвертого, действительно, я как будто не знаю.

Незнакомец заговорил монотонным деловым тоном:

— Исключительная заботливость и предупредительность. Подчеркивается, что вы знаете обычаи света, и если берете ее за руку после десяти фраз и целуете, то это якобы простая фамильярность, в дороге допустимая. Номер четвертый основан на том, что все ваши подходы и любезности как будто кем-то где-то уже установлены, и против них нельзя возражать, боясь прослыть смешной и синим чулком. Тем более, что предыдущая заботливость и предупредительность обязывает к снисходительности. К номеру четвертому существует небесполезное примечание: «Полезно при первой встрече принять вид человека, остолбеневшего от удивления и восторга перед красотой обрабатываемого объекта. Можно быть даже неловким от смущения в первый момент — это всегда прощается».

— Это что же...— спросил я, ошеломленный.— Нечто вроде «Кодекса волокитства»?

— Ну, конечно. Я же Волокита и есть.

Он это сказал таким тоном, каким говорят: «Я инженер путей сообщения» или «я служащий кредитного общества».

— Кто же выработал этот... гм... любопытный кодекс?

— Кто выработал! Жизнь выработала! Я его только анализировал, систематизировал научным путем и стал применять в обработанном, очищенном от ненужного виде. Согласны вы, что номер первый, как примитив, восхитителен?

Как всякий ученый, он думал, что весь мир знаком с его трудами и знает их наизусть.

— Первый номер? Не можете ли вы, во избежание путаницы, освежить эти номера в моей памяти по порядку.

Он пожал плечами и с готовностью начал тем же деловым, немного однообразным тоном:

— Номер первый. Это не тонкая столярная работа, а если можно так выразиться — грубая, плотничья. Говорится просто: «Сударыня! Жизнь так прекрасна, надо торопиться. Второй раз молодости уже не будет. Надо ловить момент! Мы оба молоды и прекрасны — пойдемте ко мне на квартиру». Если она скажет, что это «грех», можно возразить самым небрежным тоном: «какой там, к черту, грех, все пустяки и трын-трава, а рая никакого и нет!» После чего других возражений уже не предвидится. Но повторяю — номер первый, это базарный грубый номер для первых встречных дурочек.

Номер второй. Ошеломляющая грубость. Вы говорите: «Послушайте, ну что там ломаться, ведь я знаю, что я вам

нравлюсь. Вы сейчас же должны меня поцеловать, слышите?» Тут даже уместен переход на «ты». «Мы, миленькая, я вижу, одного поля ягоды, а если ты будешь кочевряжиться, то мне недолго тебя и придушить. Иди же сюда, пока я не оттрепал тебя хорошенько!» Это так называемая работа «под апаша», и ее может недурно провести самый благомыслящий почтенный человек, который в другое время мухи не обидит. Увы! Женщина чаще, чем думают, любит свирепые страсти.

Номер третий. Равнодушие, смешанное с пренебрежением. Вы стараетесь говорить женщине все время колкости и, вообще, подчеркиваете, что она самая ординарная натура, которых вы видывали сотнями. Ничто так не разжигает женщину, как это. Она в слепой злобе сейчас же захочет показать, что она не такая, захочет покорить под нози своя такого строптивого мужчину, такая победа кажется ей сладкой — и вот уже она бьется, бедненькая, в расставленных вами сетях.

Номер четвертый вы уже знаете, а номер пятый, действие на ревность — так уже избит, что его не нужно и комментировать. Приемы старые, как мир. Вы или делаете вид, что разговариваете с кем-нибудь по телефону, или, якобы случайно, роняете на пол какое-нибудь письмо от женщины, схватываете и рвете на мелкие кусочки. Нужно только остерегаться проделывать этот прием со счетами от портных и обойщиков, потому что на одном из подобранных впоследствии клочков может оказаться кусок гербовой марки...

С шестого номера начинается уже более тонкая деликатная работа. Прием с «чем-то роковым, что предопределено», требует известной интеллигентности и чутья. Подходить нужно издалека. Вы спрашиваете: «Послушайте, вам не кажется странным, что нас судьба свела вместе?» — «Почему же странно? Мало ли кто с кем знакомится?» — «О, нет, вы знаете, что такое Ананке?» — «Не знаю».— Вы молчите долго, долго, а потом начинаете говорить каким-то глухим, надтреснутым голосом, будто издалека: «Все на свете предопределено роком, и ни один человек не избежит его. Если человеку что и дано в этом случае — так только знать иногда заранее об этом роковом предопределении... дано чувствовать неизбывную силу руки Ананке»... Тут вы наклоняетесь к самому ее лицу и шепчете с горящими таинственным светом глазами: «И вот, я чувствую всеми своими фибрами, что эта встреча для нас не окончится простым знакомством, что мы предназначены друг другу. Может быть, вы будете бороться, будете стараться убежать — но ха!-ха!-ха! — это бесполезно. От Ананке еще никто не убегал. Понимаете — это уже решено там где-то! Сопротивляться? О, неужели вы не слышите таинственно гу-

дящего сверху рокового колокола: Поздно! Поздно! Поздно! К чему же тогда борьба? Ха-ха-ха! С Ананке не борются!!» Ну, конечно, бедняжка, видя, что раз уж так где-то решено, и что борьба бесполезна, сама заражается духом мистического начала и подходит к вожделенному концу. Ловко?

— Скажите! — спросил я потрясенный. — Откуда же вы все это так хорошо знаете?

Мой спутник скромно вздохнул и покачал головой.

— Откуда? О, Господи! Посмотрите на какого-нибудь ученого, отыскивающего чудодейственное средство для пользы человечества... Он делает сотни лабораторных и практических опытов, натыкается на неудачи, разочарования, и опять ищет и ищет. Сегодня у этого фанатика ничего не вышло, завтра не вышло, послезавтра у него взорвало колбу и опалило руки, — там, гляди, невежественная толпа, заподозрив в нем колдуна, избила ученого, там от него отказалась семья и сбежала жена — и все-таки, в конце концов, этот фанатик, этот апостол науки добивается света во тьме своих изысканий и выносит ослепленной восторгом толпе чудодейственное перо Жар-Птицы! Забыты разочарования, забыта взорвавшаяся и опалившая руки колба.

— А скажите, — деликатно спросил я. — До того, как вы обрели настоящее перо Жар-Птицы, у вас часто... гм... взрывались колбы?

Под гнетом воспоминаний он опустил голову.

— Бывало! Ой, бывало. Самая ужасная колба разорвалась в моих руках в Ростове: муж нанес мне ножом две раны в шею, облил кипятком и сбросил в пролет лестницы. Сколько ошибок, сколько разочарований! В Москве какой-то дрянью обливали, к счастью, неудачно, в Армавире полтора часа под балконом на зацепившемся пиджаке провисел, пока проходивший водонос не снял... Моя жизнь, это сплошной дневник происшествий: чем-то обливали, чем-то колотили, откуда-то сбрасывали и из чего-то стреляли. Впрочем — я не ожесточился. Дубленая кожа всегда мягче. И, кроме того, я всегда вхожу в положение обманутого мужа, конечно, ему обидно. Ведь он, чудак, не знает, что за женой все равно не усмотреть. Так-то, молодой человек...

Меня удивлял и восхищал этот скромный господин, с таким незначительным лицом и вялыми движениями. И, однако, несмотря на скромность, в его словах, когда он говорил о своей жизни, горела неподдельная энергия и неукротимый дух подлинного апостола.

— Ко всякому незнакомому городу я подъезжаю со странным чувством: «что-то здесь мне предстоит? Что будет?» И ес-

ли рассчитываю прожить побольше, то, первым долгом, разбиваю мысленно город на участки и начинаю работу планомерно, от участка к участку, не спеша, не суетясь, но и без лишней потери драгоценного времени.

Помолчав, я осведомился:

— У вас только шесть номеров и есть?

— Главных? Нет, семь. Седьмого я вам еще не досказал... Это самый гениальный, самый поразительный номер! Бывало там, где уже нужно бы прийти в отчаяние, где руки совершенно опускались, я хватался за этот драгоценный номер, за эту жемчужину моей коллекции — и через полчаса неприступная недотрога уже склоняла голову на мое плечо. Неудивительно, что прием номера седьмого действует почти на всех. Схема номера седьмого чрезвычайно проста и портативна, как все гениальное...

— Надеюсь, вы мне сообщите ее,— перебил я, дернув головой от неожиданной остановки поезда.

— Конечно! С удовольствием. «Седьмой номер»!.. Вы... Э, черт! Поезд, кажется, остановился? Какая это станция?

— Разбишаки, поезд стоит 3 минуты.

— О, дьявол! Да ведь мне здесь сходить нужно. Чуть не прозевал. Прощайте! До приятного свидания, спасибо за компанию.

Он схватил свой чемодан и, наскоро пожав мне руку, выскочил. Звонок зазвенел. Поезд засвистал и двинулся.

Я принялся ругать сам себя за то, что, отвлекши внимание Волокиты разными расспросами, так и не узнал номера седьмого — но в этот момент в вагон вошла та самая дама, с которой, по предложению Волокиты, «надо было работать номером четвертым».

Я вскочил с места и, основываясь на примечании к номеру четвертому, застыл перед ней с бессмысленно изумленным видом, опершись, как будто в полуобморочном состоянии, на спинку дивана.

ГЛАВА II

На практике

Я полагаю, что в выражении моего лица было больше бессмысленности, чем изумления; не думаю, чтобы даже самая красивая женщина в мире произвела именно такое впечатление. Своим видом я скорее напоминал деревенского мальчишку, увидавшего впервые в Зоологическом саду жирафа.

Отделавшись кое-как от «примечания к номеру четвертому», я занялся разработкой этого номера: сбросил с полки ручной сак незнакомки и, подхватив его на лету, протянул ей.

— Что это такое?—удивилась она.— Зачем это?

Я смущенно отскочил от нее, ударился плечом о косяк двери (насколько помнится, маленькая неловкость и мешковатость даже поощрялась четвертым номером) и, краснея, пролепетал:

— Может, вам отсюда что-нибудь нужно вынуть... книжку или какую-нибудь там пудру, помаду. Дело, знаете, дорожное.

И с самым общительным видом я снисходительно махнул рукой.

— Ничего мне не нужно. Положите сак обратно.

— Слушаю-с. Может, окошечко открыть?

— Оно открыто.

— Тогда не закрыть ли?

— Не надо.

— Может, лимонаду хотите?

— Спасибо, не хочу.

— Я бы достал. Скушать, может, что-нибудь желаете—рябчик, ветчина, отбивные котлеты—на первой же станции сбегаю.

— Не надо.

— А то бы сходил.

— Говорят вам—не хочу!

Я счел, что лед в отношениях до некоторой степени пробит. Теперь только оставалось, по теории Волокиты, подчеркнуть свое знакомство с обычаями света, а затем—поцелуй руки и остальное.

— Знаете,—заметил я.—Есть люди, которые закуривают папиросу, не спросив даже разрешения у дамы. Вот уж никогда бы себе этого не позволил!

— Вы это ставите себе в заслугу?—спросила она с любопытством.

— Нет, чего там! А я одного такого субъекта знал; полнейшее отсутствие умения вращаться в обществе; недавно заезжаю к нему и, не застав дома, оставляю карточку с загнутым углом. На другой день встречаю его, а он и говорит: «ты это что же мне поломанные, мятые карточки оставляешь? Не было целой?» Я чуть не помер со смеху.

Подготовив таким образом почву, я с некоторой фамильярностью, обыкновенно в дороге допускаемой, взял руку своей соседки и поднес ее к губам.

— Это еще что такое?—вскричала она, вырывая руку.

— Красивая ручка,—заметил я, принимая тупо-самодовольное выражение, хотя втайне был совершенно обескуражен: «Сейчас видно, подумал я, что она не знает номера четвертого».

— Красивая? — нахмурилась незнакомка.— А вы знаете, как называется тот человек, который, не познакомившись даже как следует, лезет целовать руки?

— Душой общества? — высказал я догадку.

— Нахалом он называется — вот как.

— Пожалуй, Волокита ошибся,— подумал я.— Четвертым номером с ней ничего не сделаешь. Очевидно, это тонкий, культурный интеллект, который поддастся разве только на номер шестой.

— Послушайте,— спросил я, глядя вдаль загадочным взором.— Вам не кажется странным, что судьба свела нас вместе?

Она пожала плечами.

— О, Господи! Мало ли с кем приходится ехать в пути.

— Нет, нет! — возразил я глухим голосом.— Вы знаете, что такое Ананке?

— Станция?

— Нет-с, не станция. Это — судьба, рок. По-гречески. Ни один человек не избежит Ананке. И вот, знаете ли вы (наклонившись к ней, я пронзительно заглянул ей в лицо), знаете ли вы, что у меня есть способность прозревать будущее: Ананке свела нас, и эта встреча будет для вас очень важной... Да-с. Решающей на всю жизнь. Сопротивляться? Бежать? Ха-ха-ха! Не поможет! Не-ет-с, голубушка, не отвертитесь...

— Послушайте!..

— Нет, вы послушайте. Слышите, как наверху гудит таинственный колокол: «Поздно! Поздно!»

— Что вы такое там болтаете, навязчивый человек? — вскричала она с заметным нетерпением.— Предупреждаю, что, если вы позволите что-нибудь лишнее, я вас так отделаю, что долго не забудете.

«Какой трудный случай»,— подумал я. И досада охватила мое сердце. «Если ты способна на драку, то и первый номер для тебя хорош»,— решил я, мужественно бросаясь в атаку.

— Сударыня! — сказал я.— Жизнь прекрасна, пока мы молоды. Нужно торопиться ловить моменты счастья и, вообще... гм!.. Мы оба молоды, прекрасны — почему бы нам и не быть счастливыми? Вы скажете — «это грех!» Какой там грех, ведь, рая-то нет, а жизнь-то, она не ждет!

— Вы просто глупый, развязный нахал и больше ничего,— неожиданно сказала дама и злобно отвернулась к окну.

Тут и меня разобрала злость. «Видно, матушка, подумал я, тебе захотелось попробовать номера второго?!»

Я сбросил с себя маску галантного человека, засунул руки в карманы, откинулся на спинку дивана, положил ногу на ногу и, прищурившись, процедил:

— Ну, довольно, миленькая моя! Терпеть не могу, когда ломаются. Покуражилась, и довольно! Ведь вы на нашего брата, мужчину, летите — ха-ха! — как мухи на мед. Кажется, я тебя раскусил — мы с тобой одного поля ягоды! Поцелуй-ка меня, пока я тебя не поколотил, как следует! А если что, так ведь я придушить тебя могу. Го-го! Не впервой.

— Не думаю, чтобы вы были сумасшедший или пьяный,— сказала она, с поразительным хладнокровием осматривая мою цинично изогнувшуюся на диване фигуру.— Просто вы мелкий наглец, пользующийся тем, что женщина одна, и никто из присутствующих не может за нее заступиться. Но все-таки даю слово — я вас ни капельки не боюсь... Вы мне просто жалки.

Я постепенно согнал со своего лица залихватское апашское выражение, расправил морщины цинично прищуренного глаза и, покраснев, как вишня, потупил голову.

В это время мне подвернулся под руку «третий номер» своеобразного кодекса, преподанного Волокитой.

— Извините,— сказал я.— Я просто хотел вас испытать. Вы, однако, оказались самой ординарной натурой, которые мне приходилось встречать сотнями.

— А что же вы думали: я сейчас же и повисну у вас на шее?

Я пренебрежительно пожал одним плечом.

— На шее? О, некоторые женщины думают, что это для мужчины верх удовольствия. Боже мой! Как трудно встретить оригинальную, своеобразную натуру...

— Если вы ее ищете таким способом, то...

— Да? Вы так уверены, что я именно искал такую оригинальную натуру в вас? Правда, личико у вас довольно миловидное, свежий цвет лица,— но ведь у тысяч женщин можно найти это. Неужели вы серьезно думаете...

— Оставьте меня в покое. Ничего я не думаю! Если вы не перестанете болтать, я перейду в другое купе.

Мы замолчали.

Пожалуй, подумал я, мне не следовало обрушивать на нее сразу все номера. Я, как неопытный слесарь, которому поручили открыть замок, сразу растерялся и стал хвататься за все инструменты, ни один не попробовав толком. Я ее запугал этим водопадом противоположностей... Может быть, если бы я обратил большее внимание на номер четвертый, все было бы благополучно... Ба! Впрочем, у меня есть еще в запасе номер пятый. Говорят, некоторые женщины ревнивы до сумасшествия.

— Сейчас,— вслух сказал я,— на станции мне удалось видеть прехорошенькую барышню. Она на меня посмотрела довольно жгуче, а когда я, проходя, нечаянно толкнул ее плечом, она засмеялась.

Моя спутница промолчала.

«Молчишь! Подожди же!»

Я сделал вид, что вынимаю из жилетного кармана часы, и вместе с часами вынул сложенное вчетверо письмо, которое сейчас же упало на пол.

— Ах,— сконфуженно сказал я.— Письмо! Ради Бога, не дотрагивайтесь до него. Его нельзя читать... Гм! Уверяю вас, что я этой женщины не знаю. Мало ли кто и что захочет мне писать. Если бы это писал я, а за других я не отвечаю. Нет, ни за что я не дам вам его прочесть!

Я схватил письмо и изорвал, хотя дама не выражала никакого поползновения «ревниво схватить и прочесть оброненное письмо».

Наоборот, она медленно встала и потянулась за своим саком, приговаривая:

— О, Господи, какой кретин! Какое невероятное дерево!

— Позвольте, я вам помогу!

— Не надо!

— Еще раз спрашиваю вас: знаете, что такое Ананке? Уходите? Сударыня, жизнь коротка, и нужно ловить... Нет, ты меня поцелуешь, или удар ножом образумит тебя, негод...

В отчаянии я пустил в ход все номера сразу; но она взяла свой сак и, оттолкнув меня, выскочила из купе.

— Счастье твое, моя милая,— подумал я,— что я не успел узнать номера седьмого. Повертелась бы ты тогда... Проклятый Волокита! Сообщил мне разную мелкую чепуху, а главного-то и не сказал!..

ГЛАВА III

Номер седьмой

Если судьба столкнула двух людей один раз, то она обязательно столкнет их и второй. То, что называется Ананке.

Вторая моя встреча с Волокитой была еще молниеноснее первой...

Именно, мой поезд должен был через пять минут отойти на север, а Волокитин через полминуты — на юг. Оба поезда стояли рядышком, и когда я выглянул в окно, первое, что мне

бросилось в глаза — это Волокита, высунувшийся из окна вагона своего поезда.

— А, здравствуйте,— сказал он.

— Слушайте! — отчаянно крикнул я.— Ради всего святого! Вы мне тогда обещали сообщить самый главный номер, седьмой,— да так и сбежали, не сказав.

— Сделайте одолжение! Дело в том...

Но в это время Волокитин поезд свистнул, вздрогнул и двинулся.

— Ради Бога! Умоляю! — взревел я, высовываясь чуть не по пояс из окна.— В двух словах!

Однако он не успел сказать мне и одного слова. Наоборот, откинулся в глубь вагона, и только рука его, высунувшись из окна, завертелась во все стороны.

Я всмотрелся: между большим и указательным пальцем Волокитиной руки была зажата какая-то вещица, очень похожая на золотую монету.

Клусачев и Туркин

(ВЕРХ АВТОМОБИЛЯ)

Вглядитесь повнимательнее в мой портрет... В уголках губ и в уголках глаз вы заметите выражение мягкости и доброты, которая, очевидно, свила себе чрезвычайно прочное гнездо. Доброты здесь столько, что ее с избытком хватило бы на десяток других углов губ и глаз.

Очевидно, это качество, эти черточки доброты, не случайные, а прирожденные, потому что от воды и мыла они не сходят, и сколько ни тер я эти места полотенцем — доброта сияла из уголков губ и уголков глаз еще ярче. Так,— вода может замесить придорожную пыль в грязь, но та же вода заставляет блестеть и сверкать свежие изумрудные листочки на придорожных кустах.

Мне хочется, чтобы всем вокруг было хорошо, и если бы наше правительство пригласило меня на должность бесплатного советчика — может быть, из наших общих стараний что-нибудь бы и вышло.

В частной жизни я стремлюсь к тому же: чтобы всем было хорошо. Откуда у меня эта Маниловская черта — я и сам хорошенько не разберусь.

* * *

Однажды весной мой приятель Туркин сказал мне вскользь во время нашего катанья на Туркинском автомобиле:

— Вот скоро лето. Нужно подумать о том, чтобы снять этот тяжелый автомобильный верх и сделать летний откидной, парусиновый.

— Парусиновый? — переспросил я, думая о чем-то другом.

— Парусиновый.

— Автомобильный, парусиновый?

— Ну, конечно.

— Вот прекрасный случай! — обрадовался я. — Как раз вчера я встретился с приятелем, которого не видел года два. Теперь он управляющий автомобильным заводом, здесь же, в Петербурге. Закажите ему!

Мысль у меня была простая и самая христианская: Туркин хороший человек, и Клусачев хороший человек. У Туркина есть нужда в верхе, у Клусачева — возможность это сделать. Пусть Клусачев сделает это Туркину, они познакомятся, и, вообще, все будет приятно. И всякий из них втайне будет думать:

— Вишь ты, какой хороший человек этот Аверченко. Как хорошо все устроил: один из нас имеет верх, другой заработал на этом, и, кроме того, каждый из нас приобрел по очень симпатичному знакомому.

Все эти соображения чрезвычайно меня утешили.

— Право, закажите Клусачеву, — посоветовал я.

Туркин задумчиво вытянул губы трубочкой, будто для поцелуя.

— Клусачеву? Право, не знаю. Может быть, он сдерет за это?.. Впрочем, если это ваша рекомендация — хорошо! Так я и сделаю, как вы настаиваете.

Дело сразу потеряло вкус и приняло странный оборот: вовсе я ни на чем не настаивал; лично мне это не приносило никакой пользы и являлось затеей чисто филантропической. А выходило так, будто Туркин сделал мне какое-то одолжение, а я за это, с своей стороны, должен взвалить на свои плечи ответственность за Клусачева.

Я промолчал, а про себя подумал:

— Бог с ними. Зачем мне возиться... Туркин пусть забудет об этом разговоре и закажет этот верх кому-нибудь другому.

Но Туркин относился ко мне поразительно хорошо: через неделю, встретившись со мной, он озабоченно взял меня за плечо и сказал:

— Ну, что же вы? Я никому не заказывал автомобильного верха и жду вашего приятеля Трепачева. Где же ваш Трепачев?

— Клусачев, а не Трепачев.

— Пусть Клусачев, но мерку-то он должен снять? Я из-за него никому не заказал, а уже на днях лето.

— Хорошо,— сказал я.— Я увижусь с ним и скажу.

— Да, но вы должны увидеться как можно раньше. Не могу же я, согласитесь, париться под этой тяжелой душной крышкой.

* * *

В тот день я был чем-то занят, а на другой день мне позвонили по телефону:

— Алло! Это я, Аверченко.

— Слушайте, голубчик... Ну, что, были вы уже у вашего Муртачева?

— Клусачева, вы хотите сказать.

— Ну, да. Не могу же я ждать, согласитесь сами. Вы уже были у него?

— Только вот собираюсь. Ведь этот завод на краю города. Уж у меня и извозчик заказан. Сейчас еду.

Действительно, нужно было ехать.

Клусачев был хороший человек и встретил меня тепло.

— А, здравствуйте! Вот приятный гость!

— Ну, скажите мне спасибо: я вам заказик принес.

— А что такое?

— Верх для автомобиля одному моему приятелю.

— У него ландолэ?

— Н...не знаю. Может, оно, действительно, так и называется. Беретесь?

— Взяться-то можно, только ведь эта штука не дешевая. Обыкновенно думают, что она дешевая, а она не дешевая.

— Ну, вы бы по знакомству скидку сделали.

— Скидку? Ну, для вас можно сделать по своей цене. Ладно! Обыкновенно эти заказы не особенно интересны, но раз вы просите — какие же могут быть разговоры...

Все краски в моих глазах сразу потускнели и сделались серыми... Эти люди не видели в моих хлопотах простого желания сделать им приятное, а упорно придавали всему делу вид личного мне одолжения.

Едучи обратно, я думал: что стоило бы мне просто промолчать в то время, когда Туркин начал разговор об этом верхе... Он бы заказал его в другом месте, а Клусачев, конечно, прожил бы сам по себе и без этого заказа.

Некоторые писатели глубокомысленно сравнивают жизнь с быстро мелькающим кинематографом. Но кинематограф, если картина не нравится, можно пустить в обратную сторону, а проклятая жизнь, как бешеный бык, прет и ломит вперед, не возвращаясь обратно. Хорошо бы (думал я) повернуть несколько дней моей жизни обратно до того места, когда Туркин сказал:

«Нужно сделать откидной верх»... Взять бы после этого и промолчать о Клусачеве.

Не течет река обратно...

* * *

— Алло, вы?

— Да, это я.

— Слушайте, голубчик! Уже прошло три дня, а от вашего Кумачева ни слуху ни духу.

— Клусачева, а не Кумачева.

— Ну, да! Дело не в этом, а в том, что уже пошли жаркие дни, и мы с женой буквально варимся в автомобиле.

— Да я был у него. Он обещал позвонить по телефону.

— Обещал, обещал! Обещанного три года ждут.

Я насильственно засмеялся и сказал успокоительно:

— Зато он ради меня дешево взял. По своей цене. Всего 200 руб.

— Да? Гм!.. Странная у них своя цена... А мне в Невском гараже брались сделать за 180, и с подъемным стеклом... Ну, да ладно... Раз вы уже заварили эту кашу — приходится ее расхлебывать.

Сердце мое похолодело: подъемное стекло! А вдруг этот Клусачев делал свои расчеты без подъемного стекла?

— Хорошо,— ласково сказал я.— Я с ним... гм... поговорю... ускорю... Всего хорошего.

* * *

— Алло! Это вы, Клусачев?

— Я?

— Слушайте! Что же с Туркиным?

— А что такое?

— Вы, оказывается, до сих пор не сняли мерки?

— Да, все некогда. У нас теперь масса работы по ремонту. Собственно говоря, мы бы за этот верх и совсем не взялись, но раз вы просили, я сделал это для вас. Завтра сниму мерку...

* * *

— Алло! Вы?

— Да, я. Аверченко.

— Слушайте, что же это ваш Крысачев — снял мерку, да и провалился. Уже неделя прошла. Я не понимаю такого поведения: не можешь, так и не берись... Наверное, он какой-нибудь аферист...

— Да нет же, нет,— сказал я умиротворяюще.— Это прекрасный человек! Редкий отец семейства. Это и хорошо, что он так долго не появляется. Значит, уже делает.

— О, Господи! Он, вероятно, к осени сделает этот злосчастный верх? Имейте в виду, если через три дня верха не будет — не приму его потом. И то, эту отсрочку делаю только для вас.

* * *

— Алло! Вы, Клусачев?

— Я.

— Слушайте, милый! Ведь меня Туркин ест за этот верх. Когда же...

— А, пусть ваш Туркин провалится! Он думает, что только один его верх и существует на свете. Вот навязали вы мне на шею горе-злосчастное. Прибыли никакой, а минутки свободной дохнуть не дадут.

— А он говорил,— несмело возразил я,— что у него брались сделать этот верх за 180 рублей...

— Так и отдавал бы! Странные люди, ей-Богу. В другом месте им золотые горы сулят, а они сюда лезут!

* * *

На моем письменном столе прозвенел телефонный звонок.

Я снял трубку, приложил ее к уху и предусмотрительно пропищал тоненьким женским голосом:

— Алло? Кто говорит?

Сердце мое чуяло: говорил Туркин.

— Барин дома?

— Нетути,— пропищал я.— Уехамши.

— Куда-а-а?

— В Финляндию.

— А чтоб его черти забрали, твоего глупого барина. Надолго?

— На пять дён.

— Послушай, передай ему, что так порядочные люди не поступают! Чуть не тридцать градусов жары, а я по его милости должен жариться в проклятой душной коробке.

— Слушаюсь-с,— пропищал я.— Хорошо-с.

* * *

Я дал отбой и, переждав минуту, позвонил Клусачеву.

— Алло! — сказал я.— Квартира Клусачева?

— Да,— сказал женский голос.— Вам кого?

— Клусачев дома?

— Дома. А кто говорит?

— Аверченко.

— Аверченко говорит,— сказал женский голос кому-то в сторону.

— А, ну его к черту! — послышался отдаленный мужской голос.— Скажи, что только что я ушел.

— Вы слушаете? Только что вышел барин. Сию минутку. Я-то думала, что он дома, а он, гляди, вышел.

— Когда же он вернется? — терпеливо спросил я.

— Когда вернетесь? — справился женский голос.

— Скажи ему, что я... ну, уехал в Финляндию; вернусь через три дня, что ли.

— Уехали в Финляндию,— повторил рабски женский голос...— через три дня.

Я швырнул трубку, бросился на диван и закрыл лицо руками: мне представлялся Туркин, несящийся в своем глухом закрытом автомобиле по жарким душным городским улицам, и редкие прохожие, заглянув в автомобильное окно, в ужасе шарахаются при виде чьего-то красного, мокрого, обваренного жгучей духотой лица, черты которого искажены бешенством и злобой.

С этого часа я безмерно полюбил столь редкую летом холодную сырую погоду. Дождь, ветер облегчали и освежали меня. Наоборот, жара действовала на меня ужасно: красное исковерканное бешенством призрачное лицо, выглядывающее из черного мрачного гробообразного автомобиля, чудилось мне.

* * *

В этот жаркий день я был именинником, хотя в календаре Аркадий и не значился: гуляя по улице, я увидел о т к р ы т ы й а в т о м о б и л ь с п р е к р а с н ы м п а р у с и н о в ы м в е р х о м. В нем сидел Туркин.

— А,— приветливо сказал я.— Поздравляю! Довольны?

— Ну, знаете, не могу сказать. Тянул, тянул этот Чертачев ваш.

— Клусачев,— печально улыбнулся я.

— Клусачев он или кто, но содрал за парусиновый верх без подъемного стекла 200 рублей — это грабеж! Удружили вы мне, нечего сказать.

Я вздохнул, похлопал рукой по кузову автомобиля и бесцельно спросил:

— Ландолэ?

— Ландолэ. Порекомендовали вы мне, нечего сказать.

* * *

— Алло! Клусачев?

— Да, я. Кто говорит?

— Аверченко. Хорошо съездили?

— Куда?

— В Финляндию.

— В какую там Финляндию?! Ах, да... Как вам сказать... Уж больно я истрепался за последнее время. Один ваш этот Туркин все жилы вымотал. Работа хлопотливая, прибыли ни копейки, да еще из-за этого выгодный заказ один утеряли. Порекомендовали, нечего сказать!..

Алло!

> ...личный разговор лицом к лицу — это письмо, которое можно растягивать на десятки страниц; а разговор по телефону — телеграмма, которую посылают в случае крайней необходимости, экономя каждое слово.
>
> *Цитата из этого рассказа.*

Мышьяк при некоторых болезнях очень полезное средство; но если человека заставить проглотить столовую ложку мышьяку — оба бесцельно погибнут. И человек и мышьяк.

Трость очень полезная вещь, когда на нее опираются; но в ту минуту, когда тростью начинают молотить человека по спине — трость сразу теряет свои полезные свойства.

Что может быть прекраснее и умилительнее ребенка; природа, кажется, пустила в ход все свое напряжение, чтобы создать чудесного, цветущего голубоглазого ребенка. Кто из нас не любовался ребенком, не восхищался ребенком; но если кто-нибудь начнет швыряться из окна четвертого этажа ребятами в прохожих — прохожие отнесутся к этому с чувством омерзения и гадливости.

Я не могу себе представить ничего более полезного, чем иголка. А попробуйте ее проглотить?

Этим я хочу только сказать, что хотя шилом не бреются и ручкой зонтика не извлекают попавших в глаз соринок, но разговаривать по телефону безо всякой нужды больше получаса — на это находятся охотники.

И они не видят в этом ничего дурного.

* * *

Иногда ко мне по телефону звонит барышня.

Я умышленно не называю ее имени, потому что у всякого человека есть своя барышня, которая ему звонит.

Характер такой барышни трудно описать. Она не обуреваема сильными страстями, не заражена большими пороками; она не глупа, кое-что читала. Если несколько сот таких барышень, подмешав к ним кавалеров, пустить в театр,— они образуют собою довольно сносную театральную толпу.

На улице они же образуют уличную толпу; в случае какой-нибудь эпидемии участвуют в смертности законным процентом, ропща на судьбу в каждом отдельном случае, но составляя в то же время в общем итоге «общественное мнение по поводу постигшего нашу дорогую родину бедствия».

Никто из них никогда не напишет «Евгения Онегина», не построит Исаакиевского собора, но удалять их за это из жизни нельзя — жизнь тогда бы совсем оскудела. В книге истории они вместе со своими кавалерами занимают очень видное место; они — та белая бумага, на которой так хорошо выделяются черные буквы исторических строк.

Если бы не они со своими кавалерами — театры бы пустовали, издатели модных книг разорялись бы, а телефонистки на центральной станции ожирели бы от бездействия и тишины.

Барышни не дают спать телефонисткам. В количестве не-

скольких десятков тысяч они ежечасно настоятельно требуют соединить их с номером таким-то.

К сожалению, никто не может втолковать барышням, что личный разговор лицом к лицу — это письмо, которое можно растягивать на десятки страниц; а разговор по телефону — телеграмма, которую посылают в случае крайней необходимости, экономя каждое слово.

Пусть кто-нибудь из читателей попробует втолковать это барышне,— она в тот же день позвонит ко мне по телефону и спросит: правда ли, что я написал это? Как я, вообще, поживаю? И правда ли, что на прошлой неделе меня видели с одной блондинкой?

* * *

— Вас просят к телефону!

— Кто просит?

— Они не говорят.

— Я, кажется, тысячу раз говорил, чтобы обязательно узнавали, кто звонит?

— Я и спрашивал. Они не говорят. Смеются. Ты, говорят, ничего не понимаешь.

— Ах ты, Господи! Алло! Кто у телефона?!

Говорит барышня. Отвечает:

— О, Боже, какой сердитый голос. Мы сегодня не в духе?

— Да нет, ничего. Это просто телефон хрипит,— говорю я с наружной вежливостью.— Что скажете хорошенького?

— Что? Кто хорошенькая? С ка́ких это пор вы стали говорить комплименты?

— Это не комплимент.

— Да, да — знаем мы. Всякий мужчина, преподнося комплимент, говорит, что это не комплимент.

Чрезвычайно, чрезвычайно жаль, что она не видит моего лица.

Я молчу, а она спрашивает:

— Что вы говорите?

Что ей сказать? Бросаю единственную кость со своего скудного неприхотливого стола:

— Вы из дому говорите?

— Какой вы смешной! А то откуда же?

Что бы такое ей еще сказать?

— А я думал, от Киндякиных.

— От Киндякиных? Гм! Вы только, кажется, и думаете, что

о Киндякиных. Вам, вероятно, нравится m-me Киндякина? Я что-то о вас слышала!.. Ага...

Это она называет «интриговать».

Потом будет говорить какому-нибудь из своих кавалеров:

— Я его вчера ужасно заинтриговала.

Понурившись, я стою с телефонной трубкой у уха, гляжу на ворону, примостившуюся у края водосточной трубы, и впервые жалею, оскорбляя тем память своего покойного отца: «Зачем я не создан вороной?»

Над ухом голос:

— Что вы там — заснули?

— Нет, не заснул.

Какой ужас, когда что-нибудь нужно сказать, а сказать нечего. И чем больше убеждаешься в этом, тем более тупеешь...

— Алло! Ну, что ж вы молчите? С вами ужасно трудно разговаривать по телефону. Расскажите, что вы поделываете?

Помедлив немного, я разражаюсь таким каламбуром, услышав который всякий другой человек повесил бы трубку и убежал без оглядки:

— Что я подделываю? Преимущественно кредитные бумажки.

— Алло? Я вас не слышу!

— Кредитные бумажки!!!!!

— Что — кредитные бумажки?

— Я. Подделываю.

— К чему вы это говорите?

— А, вы спрашиваете, что я поделываю? Я не разобрал — два «д» у вас или одно. Вот и ответил.

Этот каламбур приводит ее в восхищение.

— Ах, вечно живой, вечно остроумный! И откуда у вас только это берется? Серьезно, что у вас новенького?

Зубами прикусываю нижнюю губу; лишний раз убеждаюсь, что кровь у меня солоноватая, с металлическим вкусом.

— Как вампиры могут пить такую гадость?

— Что-о?

— Я говорю, что не понимаю: какой вкус находят вампиры в человеческой крови.

Она нисколько не удивляется обороту разговора:

— А вы верите в вампиров?

Надо бы, конечно, сказать, что не верю, но так как мне все это совершенно безразлично, я вяло отвечаю:

— Верю.

— Ну, как вам не стыдно! Вы культурный человек а верите

в вампиров. Ну, скажите: какие основания для этого вы имеете? Алло!

— Что?

— Я спрашиваю: какие у вас основания?

— На кого? — бессмысленно спрашиваю я, читая плакат сбоку телефона: «Сто рублей тому, кто докажет, что у Нарановича готовое платье не дешевле, чем у других».

— «На кого» не говорят. Говорят: для чего.

— Что «для чего»?

— Основания.

— Жизнь не ждет,— возражаю я, как мне кажется, довольно основательно.

— Нет, вы мне скажите, почему вы верите в вампиров? Что за косность?

— Интуиция.

Вероятно, она не знает этого слова, потому что говорит «а-а-а» и, как вспугнутая птица, перепархивает на другой сук:

— Что у вас вообще слышно?

— Сто рублей тому, кто докажет, что у Нарановича готовое платье не дешевле, чем у других.

— У какого Нарановича?

— Портной. Вероятно, дамский.

— Не говорите пошлостей. Вы забываете, что разговариваете с барышней. Вообще, вы за последнее время ужасно испортились.

И вот мы стоим на расстоянии двух или трех верст друг от друга, приложив к уху по куску черного, выдолбленного внутри каучука. От меня к ней тянется тонкая-претонкая проволока — единственное связующее нас звено.

Почему проволока так редко рвется? Хорошо, если бы какая-нибудь большая птица уселась на самое слабое место проволоки и... А ведь в самом деле — может же это случиться? Если положить потихоньку трубку на подоконник и уйти? А потом свалить все на «этот проклятый телефон». («Вечная история с этими проводами! Поговорить даже не дадут как следует!»)

Но нужно прервать беседу на моих словах. Пусть барышня думает, что я вне себя от досады, не успев рассказать начатое.

Я кричу:

— Алло! Вы слушаете? Я вам сейчас что-то расскажу — только между нами. Ладно? Даете слово?

— О, конечно, даю! Я умираю от любопытства!!

— Ну, смотрите. Вчера только что подхожу я к квартире Бакалеевых, вдруг выходит оттуда Шмагин — бледный, как смерть! Я...

Я кладу трубку на подоконник (если повесить ее, барышня может через минуту опять позвонить),—кладу трубку, облегченно вздыхаю и удаляюсь на цыпочках (громкие шаги слышны в трубку).

Воображаю, как она там беснуется у своего конца проволоки:

— Алло! Я вас слушаю. Почему вы молчите?! Ах ты, Господи! Барышня! Это центральная? Почему вы нас разъединили?! Дайте номер 54—27.

А телефонистка, наверное, отвечает деревянным тоном:

— Или трубка снята или повреждение на линии.

Милая телефонистка.

* * *

Однажды барышня позвонила ко мне рано утром; было холодно, но я согрелся под одеялом и думал, что никакие силы не сбросят меня с кровати.

Однако, когда зазвенел телефонный звонок, я, пролежав минуты три под оглушительный звон, наконец, дрожа от холода, вскочил и побежал к телефону, перепрыгивая с одной ноги на другую—пол холоден, как лед.

— Алло! Кто?

— Здравствуйте. Вы уже не спите? Однако рано вы поднимаетесь; я тоже уже проснулась. Ну, что у вас слышно?

Перепрыгивая с ноги на ногу, я давал вялые реплики и после десятиминутного разговора услышал успокаивающие душу слова:

— А я очень хорошо устроилась: лежу на оттоманке, около горящего камина—тепленько-претепленько. Педикюрша делает мне педикюр, а я пью кофе, рассматриваю журналы и говорю по телефону; телефон-то у меня тут же на столе. Я кстати и позвонила вам... Алло! Почему не отвечаете? Центральная!! Что это такое? Опять порча? Господи!

* * *

Вот я написал рассказ.

Десятки тысяч барышень, наверное, прочтут его. И если хотя бы десять барышень призадумаются над написанным и поймут, что я хотел сказать,—на свете станет жить немного легче.

* * *

Прошу другие газеты перепечатать.

Одиннадцать слонов

I

Схватив меня за руку, Стряпухин быстро спросил:

— В котором ухе звенит? Ну! Ну! Скорее!!

— У кого звенит в ухе? — удивился я.

— Да у меня! Ах ты, Господи! У меня же!! Скорее! Говори!

Я прислушался.

— В котором? Что-то я не слышу... А ты сам сразу не можешь разобрать?

— Да ты угадай, понимаешь? Угадай! Какой ты бестолковый!..

— Да угадать-то не трудно, — согласился я. — Если бы ушей было много — ну, тогда другое дело... А то два уха — это пустяки. Левое, что ли?

— Верно, молодец!

Я самодовольно улыбнулся.

— Еще бы! Я могу это — и вообще... многое другое... А зачем тебе нужно было, чтобы я угадал?..

— А как же! Такая примета есть... Я что-то задумал. Если ты угадал, значит, исполнится.

— А что ты задумал?

— Нельзя сказать. Если скажу — оно не исполнится.

— Откуда ты знаешь?

— Такая примета есть.

— Ну, тогда прощай, — проворчал я, немного обиженный. — Пойду домой.

— Уже уходишь? Да который теперь час?

— Не могу сказать, — упрямо ухмыльнулся я.

— Почему?

— Такая примета есть.

Его лицо выразило беспокойство.

— Неужели есть такая примета?

— Еще бы... Самая верная. Несчастье приносит.

— А ты знаешь, я ведь часто отвечал на вопрос: «Который час?»

— Ну вот, — улыбнулся я зловеще. — И пеняй сам на себя. Обязательно это к худу.

Он призадумался:

— Постой, постой... И верно ведь! Вчера у меня шапку украли в театре.

— Каракулевую? — спросил я.
— Нет, котиковую.
— Ну, тогда это ничего.
— А что?
— Примета такая есть. Пропажа котиковой шапки — в доме радость.

Он даже не спросил: в чьем доме радость — в его или воровском. Просиял.

— Я тоже с тобой выйду. Прислуга побежала за ворота — дай я тебе пальто подержу.

Я натянул с его помощью пальто, а когда он снял с вешалки свое, я сказал:

— Ты прости, но я тебе тем же услужить не могу.
— Почему?
— Такая примета есть: если гость хозяину пальто подает — в доме умереть должны.

Стряпухин отскочил от меня и наскоро натянул в углу сам на себя пальто.

Когда мы шагали по улице, он задумчиво сказал:

— Да, приметы есть удивительные. Есть счастливые, есть несчастливые. Но на днях я узнал удивительную штуку, которая приносит счастье и застраховывает от всяких неудач.
— Это еще что?
— Слоны. Одиннадцать слонов. Нужно купить одиннадцать штук от самого большого до самого маленького и держать их в доме. Поразительная примета.
— Что ж ты, уже купил их?
— Девять штук. Двух еще нет. Самых больших. Да они дорогие, большие-то. Рублей по тридцати... Кстати, ты не можешь одолжить мне пятьдесят рублей? Я бы завтра комплект уже имел.
— Что ты! Разве можно одалживать деньги в пятницу?! Есть такая приме...
— Да сегодня разве пятница? Нынче ведь четверг, — возразил он.

Сначала я растерялся, а потом улыбнулся с видом превосходства.

— Я знаю, что четверг. Но ведь четверг — это у нас?
— Ну да.
— А в Индии-то что теперь? Пятница!
— Пятница, — машинально подтвердил он, приоткры от недоумения рот.

— Ну вот. А слоны-то ведь индийские?

— Какие слоны?

— Да которых ты собираешься покупать!

— Предположим.

— То-то и оно. Как же можно в пятницу деньги давать взаймы? Несчастье... Страшная примета есть.

Он замолчал.

II

Стряпухин исчез на долгое время. Но однажды пришел ко мне расстроенный, с явными признаками на лице и в костюме целого ряда жизненных неудач.

— Эге,—сочувственно встретил я его.—Твои дела, вижу, неважные. Как поживаешь?

— Да, брат, плохо... У жены чахотка.

— Гнусная вещь,—согласился я.—Впрочем, вези ее на юг. Теперь это легко поправить можно.

— Да откуда же я денег-то возьму?

— А у жены-то были ведь деньги... я знаю... Несколько тысчонок.

— Были да сплыли. На бирже проиграл.

— Эх, ты, Фалалей! Ну, на службе возьми аванс.

— Хватился! Со службы уволили. За биржевую игру. Вы, говорят, еще наши деньги проиграете, казенные.

— Однако! А что же твой дядя какой-то? Помнишь, ты говорил: собирался умереть и тебе дом оставить.

— Да и умер. Только не тот дядя, а другой. Вдовец с двумя детьми. Детей мне оставил... Прямо беда!

— Так ты бы продал что-нибудь из обстановки... У тебя ведь обстановка хорошая, я помню, была...

Он тоскливым взглядом посмотрел на меня.

— Продано, брат. Почти все. Кроме слонов.

— Каких слонов?—удивился я.

— Да тех, что я, помнишь, говорил.

— А они дорогие?

— Рублей полтораста...

— Так ты бы их и пустил в оборот. Это ведь жене месяц жизни в Крыму.

Стряпухин откинулся назад и всплеснул руками:

— Что ты! Как же я могу их продать, когда они приносят счастье!

III

Я долго прохаживался по кабинету, бормоча себе под нос всякие рассуждения.

Остановился перед Стряпухиным и сказал:

— Дурак ты, дурак, братец!

— Почему?

— Такая примета есть.

Он бледно, насильственно улыбнулся.

— Вот ты теперь уже и ругаешься. Ругаться-то легко.

— И ругаюсь! Обрати внимание: не было у тебя этих слонов — жена была здорова, деньги в банке лежали и служба была. Появились слоны, которые, ты говорил, счастье приносят, — и что же!

— А ведь верно! — охнул он, побледнев. — Я совсем не обратил на это внимания... Действительно... Знаешь, тут есть какой-то секрет. Может быть, не одиннадцать слонов нужно, а какое-нибудь другое количество?

Я кивнул головой.

— Весьма возможно... И может быть, нужно было не слонов покупать, а каких-нибудь верблюдов или зайцев.

— А в самом деле! — ахнул он, приоткрыв по своей привычке от изумления рот.

— И может быть, не покупать их, а украсть нужно было...

— Да, да!..

— ...и держать не в доме, а в погребе.

Оба мы замолчали. Он поднял опущенную голову и несмело спросил:

— Ну, как ты думаешь — верблюда или зайца?

Я пожал плечами.

— Конечно, верблюда.

— Почему?

— Примета такая есть.

— А сколько их надо?..

— Тридцать восемь штук.

— Ого! — с оттенком уважения в голосе пробормотал Стряпухин. — Вот это число! Что же их... покупать нужно?

— Украсть! Только украсть! И держать в погребе на бочке с огурцами. Такая примета есть.

Он внимательно разглядывал выражение лица моего, и в глазах его я прочел легкое колебание.

— Что это ты?.. — робко заметил он. — Не то говоришь серьезно... не то насмехаешься надо мной.

Я горячо воскликнул:

— Что ты, что ты! Я говорю совершенно серьезно. Слоны ведь тебе не помогли, а? Одиннадцать слонов мал мала меньше. Ведь не помогли? Так?

— Не помогли,— вздохнул он.

— Ну вот! Попробуем верблюдов. Тридцать восемь верблюдов! Не купим их, а стащим в магазине: это и дешевле и практичнее. Поставим в погреб и посмотрим — не повернется ли фортуна к тебе лицом? Если все будет по-прежнему плохо — верблюдов к черту, купим лисиц или лягушек, индийских болванчиков, крокодилов, черта, дьявола лысого купим! Попробуем покупать по семнадцать, по тридцать три, по шестьдесят штук, будем держать их под полом, на крыше, в печной трубе — все испробуем, все испытаем!! Как только тебе повезет — стоп! Вот, значит, скажем мы, это и есть настоящая примета!

— Да ты это... серьезно?

— А то как же, братец? Слоны твои провалились — нужно искать других путей. Какой-то немец-профессор сделал свыше девятисот комбинаций лекарства, пока не наткнулся на настоящую. У нас будет девять тысяч комбинаций — но ничего! Ведь он открывал только новое лекарство, а мы ищем секрет счастья... Разрешить проблему счастья — какая это великая миссия!!

— Да ведь этак всю жизнь провозишься...

— А ты что же думал? И провозишься.

Он устало опустил голову.

— Боже, как все это неопределенно... А может быть, вся штука в том, что слонов нужно не одиннадцать, а двенадцать. Прикупим еще одного...

— Может быть! Жаль, что это не ослы. Если бы ты имел одиннадцать ослов, то двенадцатого и прикупать бы не стоило.

С видом человека, окончательно запутавшегося в сложной тине жизни, он поднял на меня глаза:

— Почему?

IV

Уходя, он небрежно спросил, боясь выказать интерес к ответу и вызвать тем новые мои насмешки:

— Сколько, ты сказал, верблюдов?

— Тридцать восемь,— ехидно улыбнулся я.— Думаешь купить?

— Нет, не то. А вот нужно бы запомнить цифру тридцать восемь. Буду нынче в клубе, возьму карту лото с этой цифрой.

— Ага! Ты и этим занимаешься? Что же, везет?

— Пока нет.

И в глазах его светилось отчаяние.

— Почему? — допрашивал я безжалостно. — На какую, например, цифру ты вчера брал карту?

— Восемьдесят шесть. Счастливое число. Мой кузен Гриша на эту цифру в лотерею корову выиграл.

— Значит, и ты выиграл?!!

— Нет, — робко прошептал он, запуганный моим криком, моими оскорблениями, моей иронией.

Я схватил его за шиворот.

— Так как же ты, каналья, находишь это число счастливым?!

— Постой... Пусти! Я бы, может быть, и выиграл, а только, уходя из дому, забыл ключ и с дороги вернулся. А это считается очень нехорошо. Примета...

* * *

Рассказанную мною правдивую историю я считаю очень нравоучительной.

Тем не менее я уверен, что среди моих читателей найдется пара-другая людей, которые запомнят цифры 38 и 86.

И подумают они: «Что ты там себе ни говори, а мы на эти цифры возьмем карточку и сыграем в лото».

Так и быть, сообщу я для них еще одну, самую верную счастливую цифру: пятьдесят девять.

Играйте на нее... Замечательная цифра.

А проиграете, — значит, покойника встретили или кошка дорогу перебежала.

Так вам и надо! Мне все равно вас не жаль.

Бельмесов

I

— Иван Демьяныч Бельмесов, — представила хозяйка.

Я назвал себя и пожал руку человека неопределенной наружности — сероватого блондина, с усами, прокопченными у верхней губы табачным дымом, и густыми бровями, из-под которых вяло глядели на божий мир сухие, без блеска, глаза,

тоже табачного цвета, будто дым от вечной папиросы прокоптил и их. Голова — шишом, покрытая очень редкими толстыми волосами, похожими на пеньки срубленного, но не выкорчеванного леса. Все — и волосы, и лицо, и борода — было выжжено, обесцвечено — солнцем не солнцем, а просто сам по себе человек уж уродился таким тусклым, невыразительным.

Первые слова его, обращенные ко мне, были такие:

— Фу, жара! Вы думаете, я как пишусь?

— Что такое?

— Вы думаете, как писать мою фамилию?

— Да как же: Бельмесов.

— Сколько «с»?

— Я полагаю — одно.

— Нет-с, два. Моя фамилия полуфранцузская. Бельмессов. В переводе — прекрасная обедня.

— Почему же русское окончание?

— Потому что я все-таки русский, как же! Ах, Марья Игнатьевна,— обратился он, всплеснув руками, к хозяйке.— Я сейчас только с дачи, и у нас там, представьте, выпал град величиной с орех. Прямо ужас! Я захватил даже с собой несколько градин, чтобы показать вам. Где, бишь, они?.. Вот тут в кармане у меня в спичечной коробке. Гм!.. Что бы это значило? Мокрая...

Он вынул из кармана совершенно размокшую спичечную коробку, брезгливо открыл ее и с любопытством заглянул внутрь.

— Кой черт! Куда же они подевались? Я сам положил шесть штук. Гм!.. И в кармане мокро.

— Очень просто,— засмеялась хозяйка.— Ваши градины растаяли. Нельзя же в такую жару безнаказанно протаскать в кармане два часа кусочки льду.

— Ах, как это жалко,— сказал Бельмесов, опечаленный.— А я-то думал вам показать.

Я взглянул на него внимательнее и сказал про себя: «Однако же, и хороший ты гусь, братец мой. Очень интересно, чем такой дурак может заниматься?»

Я спросил по возможности деликатно:

— У вас свое имение? Вы помещик?

— Где там,— махнул он костистой, с ревматическими узлами на пальцах рукой.— Служу, государь мой. Состою на службе.

Очень у меня чесался язык спросить: «На какой?»,— но не хотелось быть назойливым.

Я взглянул на часы, попрощался и ушел.

II

О Бельмесове я совершенно забыл, но на днях, придя к Марье Игнатьевне, застал его за чаем, окруженного тремя стариками, которым он что-то оживленно рассказывал:

— Франция, Франция! Что мне ваша Франция! Да у нас в России есть такие капиталы, обретаются такие богачи, которые Франции и не снились. Только потому, что мы скромнее, никуда не лезем, ничего не кричим — о нас и не знают. А во Франции этот Ротшильд, что ли, все время на том и стоит, чтоб какую-нибудь штуку позаковыристее выкинуть. Купит тысячу каких-нибудь там белых собак, напишет краской на брюхе у каждой «Вив ля Франс!» да и выпустит на улицу. А парижане и рады. Или яхту купит, приделает к ней колеса да по Нотр-Даму и катается с неграми. Этак, конечно, всякий обратит внимание... А у нас народ тихий, без выдумки, без скандалу. Хе! Богачи, богачи... слышал ли, например, кто-нибудь из вас о таком волжском помещике — Щербакине?

— Нет, не слышали,— отозвался один из стариков.— А что?

— Да как же... Расскажу я вам такой случай: еду я пароходом по Волге. Проезжаем мы однажды, приблизительно, этак по Мамадышскому уезду. Выхожу я утром, умывшись и напившись чаю, на палубу, смотрю на берег, спрашиваю: «Чья земля?» — «Помещика Щербакина». Хорошо-с. Проходит этак часа два. Я уже успел позавтракать. Брожу по палубе, взглянул на берег: «Чья земля?» Отвечают тамошние волжские пассажиры: «Помещика Щербакина». Ого, думаю. Эк тебя разбросало. Сел я обедать, съел, что полагалось, выпил две рюмки водки, пошел для моциону бродить по пароходу. Спрашиваю: «Чья земля?» — «Помещика Щербакина». Что за черт, думаю. Очевидно, миллионер, а я о нем ничего не слышал. Спрашиваю: «Богатый?» «Нет, говорят, так... средней руки». Что ж вы думаете? И ночью я спрашивал: «Чья земля?» — и на другой день утром — все говорят: «Помещика Щербакина». И это у них называется «помещик средней руки»... Вот это — края! Какие же у них должны быть «помещики большой руки».

— Что ж, долго еще тянулись «земли помещика Щербакина»? — недоверчиво спросил я.

— Да до самого обеда следующего дня. Тут как раз другой пароход подошел, нас с мели снял, поехали мы — тут скоро щербакинские земли и кончились.

— А вы долго на мели просидели? — спросил рыжий старик.

— Да сутки с лишним. Чуть не два дня. Волга-то летом в некоторых местах так мелеет, что хоть плачь. Чуть пароход мелко сидит в воде — сразу же и сядет. Которые глубоко сидят в воде, тем легче...

— То есть, наоборот,— поправил рыжий.

— Ну да, то есть наоборот, которые мельче пароходы, тем труднее, а глубокие ничего... Да-с. Вот вам и Ротшильд!

Я встал, отозвал хозяйку в сторону и сказал:

— Ради Бога! Откуда у нас появился этот осел?

Марья Игнатьевна немного обиделась:

— Почему же осел? Человек как человек.

— Но ведь у него мозги чугунные.

— Не всем же быть писателями и сочинять рассказы,— сухо заметила она.— Во всяком случае, он приличный человек, хотя звезд с неба и не хватает.

Я пожал плечами, отошел от нее и подошел сейчас же к отбившемуся от компании старичку в вицмундире с какой-то белой звездой, выглядывавшей из-под лацкана вицмундира.

— Кто такой этот Бельмесов? — нетерпеливо спросил я.

— А как же! У нас же служит.

— Да кем? Что он делает?

— А как же. Инспектором у нас в уездном училище. Где я директором состою. Дока.

— Это он-то дока?

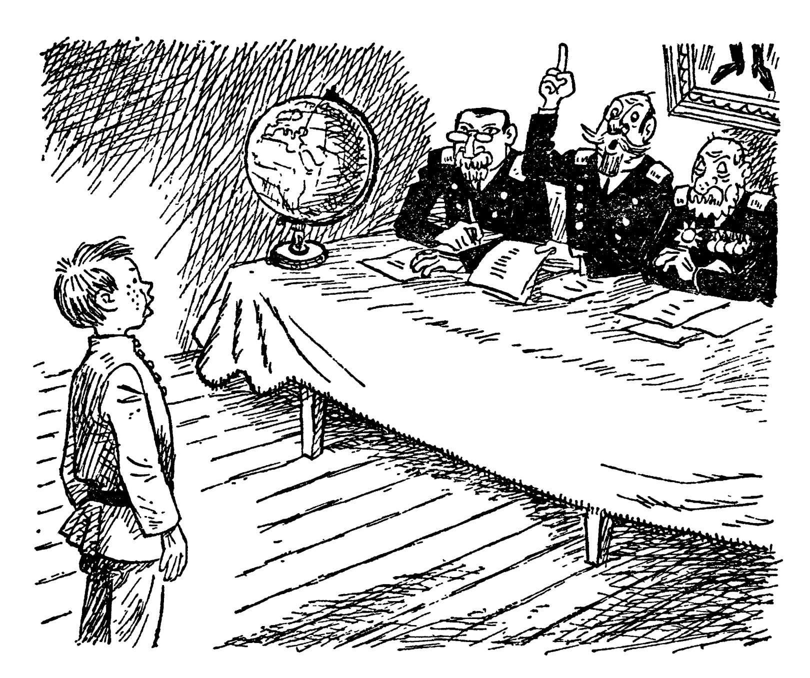
— Он. Вы бы посмотрели, как он на экзаменах учеников спрашивает. Любо-дорого посмотреть. Уж его не надуешь, не проведешь за нос. Ен, как говорится, достанет. Посмотрели бы вы, каким он орлом на экзамене...

— Много бы я дал, чтобы посмотреть! — вырвалось у меня.

— В самом деле хотите? Это можно устроить. Завтра у нас как раз экзамены — приходите. Посторонним, правда, нельзя, но мы вас за какого-нибудь почетного попечителя выдадим. Вы же, кстати, и пишете — вам любопытно будет... Среди учеников такие типы встречаются... Умора! Смотрите, только нас не опишите! Хе-хе! Вот вам и адресок. Право, приезжайте завтра. Мы гласности не боимся.

III

За длинным столом, покрытым синим сукном, сидело пятеро. Посредине любезный старик с белой звездой, а справа от него торжественный, свеженакрахмаленный Бельмесов, Иван Де-



мьяныч. Я вскользь осмотрел остальных и скромно уселся сбоку на стул.

Солнце бегало золотыми зайчиками по столу, по потолку и по круглым, стриженым головенкам учеников. В открытое окно заглядывали темно-зеленые ветки старых деревьев и приветливо, ободрительно кивали детям: «Ничего, мол. Все на свете перемелется — мука будет. Бодритесь, детки...»

— Кувшинников, Иван,— сказал Бельмесов.— А подойди к нам сюда, Иван Кувшинников... Вот так. Сколько будет пятью шесть, Кувшинников, а?

— Тридцать.

— Правильно, молодец. Ну, а сколько будет, если помножить пять деревьев на шесть лошадей?

Мучительная складка перерезала загорелый лоб Кувшинникова Ивана.

— Пять деревьев на шесть лошадей? Тоже тридцать.

— Правильно. Но тридцать — чего?

Молчал Кувшинников.

— Ну, чего же — тридцать? Тридцать деревьев или тридцать лошадей?

У Кувшинникова зашевелились губы, волосы на голове и даже уши тихо затрепетали.

— Тридцать... лошадей.

— А куда же девались деревья? — иронически прищурился Бельмесов. — Нехорошо, тёзка, нехорошо... Было всего шесть лошадей, было пять деревьев и вдруг — на тебе! — тридцать лошадей и ни одного дерева... Куда же ты их дел?! С кашей съел или лодку себе из них сделал?

Кто-то на задней парте печально хихикнул. В смехе слышалось тоскливое предчувствие собственной гибели.

Ободренный успехом своей остроты, Иван Демьяныч продолжал:

— Или ты думаешь, что из пяти деревьев выйдут двадцать четыре лошади? Ну, хорошо: я тебе дам одно дерево — сделай ты мне из него четыре лошади. Тебе это, очевидно, легко, Кувшинников, Иван, а? Что ж ты молчишь, Иван, а? Печально, печально. Плохо твое дело, Иван. Ступай, брат!

— Я знаю, — тоскливо промямлил Кувшинников. — Я учил.

— Верю, милый. Учил, но как? Плохо учил. Бессмысленно. Без рассуждения. Садись, брат Иван. Кулебякин, Илья! Ну... ты нам скажешь, что такое дробь?

— Дробью называется часть какого-нибудь числа.

— Да? Ты так думаешь? Ну, а если я набью ружье дробью, это будет часть какого числа?

— То дробь не такая, — улыбнулся бледными губами Кулебякин. — То другая.

— Откуда же ты знаешь, о какой дроби я тебя спросил? Может быть, я тебя спросил о ружейной дроби? Вот если бы ты был, Кулебякин, умнее, ты бы спросил, о какой дроби я хочу знать: о простой или арифметической?.. И на мой утвердительный ответ, что о последней, — ты должен был ответить: «Арифметической дробью называется — и так далее»... Ну, теперь скажи ты нам, какие бывают дроби?

— Простые бывают дроби, — вздохнул обескураженный Кулебякин, — а также десятичные.

— А еще? Какая еще бывает дробь, а? Ну, скажи-ка?

— Больше нет, — развел руками Кулебякин, будто искренне сожалея, что не может удовлетворить еще какой-нибудь дробью ненасытного экзаменатора.

— Да? Больше нет? А вот если человек танцует и ногами дробь выделывает — это как же? По-твоему, не дробь? Видишь ли что, мой милый... Ты, может быть, и знаешь арифметику, но русского языка — нашего великого, разнообразного и могучего русского языка — ты не знаешь. И это нам всем печально. Ступай, брат Кулебякин, и на свободе кое о чем подумай, брат Кулебякин.. Лысенко! Вот ты, Лысенко, Кондратий, скажешь

нам, что тебе известно о цепном правиле? Ты знаешь цепное правило?

— Знаю.

— Очень хорошо-с. Ну, а цепное исключение тебе известно?

Лысенко метнул в сторону товарищей испуганным глазом и, повесив голову, умолк.

— Ну, что же ты, Лысенко? Ведь говорят же: нет правила без исключений. Ну, вот ты мне и ответь, есть в цепном правиле цепное исключение?

* * *

Стараясь не шуметь, я отодвинул стул, тихонько встал и, сделав общий поклон, направился к выходу.

Любезный директор с белой звездой тоже встал, догнал меня в передней и сказал, подмигивая на экзаменационную комнату:

— Ну как?.. Не говорил ли я, что дока? Так и хапает, так и режет. Орел! Да только жалко, не жилец он у нас... Переводят с повышением в Харьков. А жалко... Я уж не знаю, что мы без него и делать будем?.. Без орла-то!

Стихийная натура

I

Я приезжаю в Москву очень редко, но всегда, когда приезжаю,— мне попадается на глаза москвич Тугоуздов.

Знакомы мы с ним недавно — всего лишь несколько месяцев, но, выпивши однажды больше, чем нужно, перешли на «ты».

Недавно, узнав, что я в Москве, он отыскал меня, влетел в номер гостиницы и с порога закричал:

— Брось, брось! К черту твой письменный стол! Нынче у меня хорошее настроение, и я хочу глотнуть порцию свежего воздуха! Э, черт! Живешь-то ведь один раз!

Меня очень трудно уговорить присесть за письменный стол; но увести от письменного стола — самое легкое, беспроигрышное дело...

— Глотнем воздуху,— радушно согласился я.— Это можно.

— Эх-ма! — кричал оживленный Тугоуздов, в то время, как

мы, усевшись на лихача, мчались в оперетку.— Ходи изба, ходи печь! Гоп, гоп! Хорошо жить на свете, а?

— Совершенно безвредно,— улыбнулся я, впадая в его тон.— Так мы в оперетку?

— В оперетку. Там, знаешь, есть такие разные женщиночки. Хорр...шо!

— «Вот оно,— подумал я,— настоящая широкая московская душа».

Как будто догадавшись, Тугоуздов подтвердил вслух:

— Настоящая, я, брат, московская душа! Тут нас таких много. Валяй, Петя — пятерку на чай дам! Гоп-гоп!

В оперетке, во время антракта, мы встретили двух неизвестных мне людей: Васю и Мишунчика.

По крайней мере, Тугоуздов, столкнувшись с ними, так и крикнул:

— Вася! Мишунчик!

Тут же он с ними расцеловался.

— Как подпрыгиваешь, Мишунчик?

Оказалось, что Мишунчик «подпрыгивал» хорошо, потому что, не задумываясь, отвечал:

— Ничего. Подъелдониваем.

У русского человека считается высшим шиком пускать в ход такие слова, которых до него никто не слыхивал; да и он сам завтра на тот же вопрос ответит иначе... Что-нибудь вроде: «ничего, тилибонимся» или «ничего, тарарыкаем».

А в переводе на русский язык этот краткий диалог очень прост:

— Как поживаешь, Миша?

— Ничего, помаленьку.

Тугоуздов познакомил меня с Васей, познакомил с Мишунчиком, и не успокоился до тех пор, пока не взял с них слово ехать вместе с нами ужинать к Яру.

— Нет, нет, уж вы не отвертитесь. Поедем, чепурыхнем (или чебурахнем — не помню).

Когда мы вернулись и сели на место, я спросил Тугоуздова:

— Кто это такие, твои друзья?

— А черт их знает,— беззаботно отвечал он, не отрывая бинокля от глаз.

— Чем они занимаются?

— Так просто... Москвичи. Кажется, хорошие ребята. Впрочем, я фамилию-то ихнюю забыл. Не то Кертинг и Полосухин, не то Димитрюков и Звездич. Тот, что Звездич, очень хорошо анекдоты рассказывает.

И закончил несколько неожиданно:

- Деляга.

II

Когда приехали к Яру — нас уже ждал накрытый стол.

— Все, как следует? — жизнерадостно спросил Тугоуздов склонившегося к нему метрдотеля.

— Извольте видеть!

— Чего там изволить! Коньячишку дрянь поставили. Ты, братец, дай чего-нибудь этакого... старенького.

— Извольте-с. Есть очень хорошие коньяки 1820 года — только должен предупредить, Николай Савич, — тово-с! Семьдесят пять монет бутылочка.

— Ты, братец, глуп, — поморщился Тугоуздов. — Скажи, Тугоуздов когда-нибудь торговался?!

— Никак нет.

— То-то и оно. Живешь-то ведь один раз! Верно, ребятки?

— Верно, — подтвердил Мишунчик.

Шумно уселись за стол.

— Эх-ма! Ходи изба, ходи печь! — кричал Тугоуздов. — Шире дорогу, коньяк в горло идет! Пейте разумное, доброе, вечное!

...Мальчишка подошел к нам, держа в руке три розы, и заявил Тугоуздову:

— Вот вам прислали... С того столика. Господа Шинкунёвы.

— Ге! Спасибо! Вспомнили старого Тугоуздова. Стой, паренек! Сколько у тебя этого товару есть?

— Да хоть десяток, хоть два.

— Ну, вот и волоки два! Отнеси им с записочкой, поблагодари! Стой, напишу.

Цветы были отосланы с игривой запиской Тугоуздова: «Ку-ку! А вот и я, здравствуйте, как пошевеливаетесь? Пьем за ваше, с криками ура!»

Под запиской он заставил подписаться нас всех, несмотря на мои мольбы и указания, что это неудобно.

— Ничего, ничего! Живем-то один раз... Эх-ма!

Мне стал нравиться этот стихийный, широкий безудержный человек.

— Вот он, московский-то размах, — подумал я. — Москва кутит, дым столбом!

— Что там у вас еще? — спросил Тугоуздов метрдотеля.

— Еще горячая закуска заказана, потом уха, потом котлетки валлеруа...

— К черту твои закуски. Давай нам, ухи... Эх-ма! Настоящей русской стерляжьей ушицы с растегайчиками. Гоп-гоп! Настоящие исконные растегайчики!

— Виноват, закуска заказана. Может, подать?

— Подай-ка, я тебе на голову ее выложу. Да ты вот что: и закуску к черту, и валлеруа твое к черту. Ты нам дай кабинетик и тащи туда уху. Верно, господа? Ведь все уже почти сыты.

— Конечно,— сказал я.— Напрасно ты эти котлеты и горячую закуску заказывал.

— Да, милый мой, черт с ним! Обеднеем от этого, что ли? Живешь-то ведь один раз. Ну, дай, я тебя поцелую!

Поцеловались.

III

В кабинете Тугоуздов предложил:

— Снимай, ребятки, сюртуки. Опростимся! Садись на пол, на ковре будем уху есть. Как рыбаки! Верно?

Ели уху на дорогом кабинетном ковре. Совсем как рыбаки.

— Постой,— забеспокоился Тугоуздов.— Ты какое вино-то открыл?

— Как же-с! Клико энглянд.

— И дурак. Кто же с ухой клико пьет? Дай посуше. Постой! А это оставь — сами не выпьем, фараоны выпьют.

— Какие фараоны? — полюбопытствовал я.

— Какие? А вот какие. Эй, Никифор! Зови сюда кочующее племя. Пусть споют! Эх-ма! — вдохновенно крикнул он.— Живешь-то...

— ...Ведь один раз,— докончил я.

— Верно! Откуда ты догадался?

Пришли цыгане. Сразу стало шумно, дымно и неуютно; всюду взор наталкивался на незнакомые, алчные лица, на открытые рты и ревущие глотки.

— Гоп, гоп! — кричал Тугоуздов, дирижируя хором и приплясывая.— Сыпь, накаливай (или — «наяривай» — точно я не расслышал)! Барыни, налегайте на фрукту, пейте желтенькое! Эх-эх, тра-ла-ла!

Лицо его сияло весельем.

— Вот оно,— подумал я,— московский тысячник кутит! Что за забубенная головушка! Сколько в этом своеобразной, дикой красоты. Знают ли еще где-нибудь в России секрет такого разудалого, беззаветного веселья?!

— Довольно! — кричал Тугоуздов.— Вот, на-те вам! Очищайте арену! Едем, ребята!

— Домой? — спросил я.

— Что-о-о? С ума ты сошел! Кто ж теперь домой едет? В «Стрельну»! Под тропики! Кофе с абрикотинской мазью выпьем. Егор! Скажи, чтобы Семен подавал. Да позови Евгра-

фа — пусть он звякнет Ивану Парфенычу, чтоб Алексей нам кофию сварганил. Эх-ма! Высыпай, ребятки.

В «Стрельне» пили кофе. Опять пели цыгане, потому что Тугоуздов хотел сравнить: «чья кишка толще»?

Оказалось, что «ярцам не выстоять».

В пятом часу утра стали собираться уходить.

— Ну, я домой,— робко сказал я.

— Ни-ни! Мы еще дернем в «Золотой Якорь» — гуляй, душа! Ни за что не пущу. Мы еще должны по бокалу разгонного выпить.

— Да почему должны? Где такой закон, что должны?

— Нет, нет, ты уж и не говори. Поедем! Григорий! Скажи Савелию, чтоб он Семена кликнул. Да позови Ивана Маркелыча. Тебе чего? Цветы?! А ну тебя... Впрочем — ладно! Братцы, бери этот злак! Всадим в петлицы с двух сторон — то-то в «Якоре» смеяться будут! Хе-хе, почудим! Получайте, барышня! Адьюс. Егорррр!

В «Якорь» нас не пустили. Мы долго стояли на морозе, переминаясь с ноги на ногу и униженно просили, приводя разные резоны,— «Якорь» был непреклонен.

— Нельзя, господа,— солидно говорил швейцар.— Поздно. Теперь разве к нам? Теперь к Жану время ехать.

— А, действительно,— спохватился Тугоуздов.— Что ж это мы, братцы, бобы разводим, когда уже шесть часов.

— А что?

— Да уже ведь к Жану можно ехать. Блинков поедим, водочки. Все равно, спать-то уж где же.

— Какой уж сон,— резонно подтвердил Вася,— седьмой час.

— Люди вот уже на рынок идут, а мы — спать? — подхватил и Мишунчик. (Кстати, он оказался не Кертингом и не Димитрюковым, а Жбанниковым, а Вася — Сычугом. Его национальность выяснить не удалось.)

IV

У Жана лениво ели блины с икрой и пили водку. День смотрел в окно, и мне было как-то стыдно за наше беспутство. Тугоуздов заявил, что он может бутылку шампанского открыть ладонью, хлопнув ею по донышку бутылки. Разбил две бутылки и стал плясать с Васей неприличный танец.

Я, еле ворочая языком, прожевывал толстый блин и все время силился открыть тяжелые, будто чужие, веки.

И сам себя упрекал я:

— Нет, не годишься ты, брат. Нет в тебе этакого непосредственного веселья... Ко всему относишься ты с критикой, с придиркой. Нет в тебе этакого... русского. Вот они настоящие русские люди!

Настоящие русские люди выбрались на свежий воздух только в десять часов утра; притом Вася и Мишунчик куда-то исчезли, а мы остались с Тугоуздовым посреди залитой солнцем улицы; солнечный свет слепил воспаленные глаза.

— Хорошо погуляли,—хрипло засмеялся Тугоуздов.— Я к тебе в гостиницу—спать. Можно?

Дома, в гостинице, он захотел черного кофе с коньяком и улегся только в двенадцатом часу.

Заснул и я.

V

Проснулся я около шести часов вечера. Тугоуздов сидел за столом и что-то подсчитывал карандашом.

— Что ты?—спросил я.

Он обернул ко мне недовольное лицо.

— Вот, черт меня побери! Шестьсот рублей, как корова языком слизала.

— Ну, что ты говоришь? Положим, я тоже больше двухсот истратил. Ну, да ничего,—успокоил я осунувшегося Тугоуздова.—Живешь-то ведь один раз.

— Черт меня дернул этих двух прощалыг потащить... Пили, ели, хоть бы целковый кому на смех бросили...

— Да ведь ты же их сам тащил?

— Да, уж... До старости доживу—все дураком останусь. Эти идиотские цветы еще. У Яра тридцать целковых отдал, да в «Стрельне» двадцать четыре. Кому это надо? Те тоже идиоты, Шинкунёвы—нужно им было свои паршивые цветы присылать... Они-то мне три розочки, а я—накося! На эти тридцать рублей три дня жить можно... И вот я теперь убедился: никогда сразу не нужно заказывать закуску и ужин. Закуской-то налопаешься, а ужина никто и не ест. А в счет-то его ставят... Не подарят!

— Ну, что ж,—вздохнул я.—Что с возу упало, то и пропало. Постарайся забыть и начни новую жизнь.

— Да, тебе легко говорить... Ты цыган-то не приглашал—я приглашал!.. Ведь я им, подлецам, почти триста рублей роздал. За что, спрашивается? Поорали, накричали в уши разных бессмысленностей и пошлостей—а ты за это же и денежки плати...

Он опустил голову и долго смотрел на какую-то бумажку, лежавшую на столе.

— За ковер пятьдесят рублей поставили. Вот безумие-то! Это мы ухой ковер залили. И дернула это меня нелегкая — на ковер лезть уху лопать... Тоже — рыбак выискался! Такого рыбака высечь нужно, как следует, чтобы он знал.

— Ходи изба, ходи печь,— напомнил я.

— Что? Да!..— криво улыбнулся он.— Этой бы печью да по мордасам меня. Тоже — широкая душа! Первобытная натура. Кому нужны были эти блины у Жана? Шестьдесят рублей заплатили — за что? Лучше бы домой поехали.

— Да, ведь, я говорил, чтобы домой!

— Я тебя и не упрекаю. А от цветов в «Стрельне» мог бы меня и удержать... На кой черт эти цветы нам были. Тоже, подумаешь, натыкали в петлицы и думают, что остроумно.

— Ты же сам предвкушал, как, дескать, в «Золотом Якоре» смеяться будут.

— Кто? Кто бы там смеялся?! Дурак швейцар, да пара размалеванных баб? Удивишь ты их этими розами!

Он потер ладонью голову.

— Я одного только не понимаю: за что я в «Стрельне» заплатил сто рублей, не считая цыган. За что с меня они сто рублей взяли?.. Даже, помню, сто десять рублей с копейками. Не иначе, как эти два жулика попросили метрдотеля приписать их старые счета! Обрадовались!

— Какие жулики?

— Да эти: Симакович и Перепентьев.

— Они вовсе не Симакович и Перепентьев. Они Жбанников и Сычуг.

— А черт с ними! Сычуг — не Сычуг. Шофер тоже свинья — сорок два рубля содрал — за что, спрашивается? Какой-то Григорий тоже или Пантелей... Дал я ему целковый на чай, просил пять рублей разменять, а он возьми, да и исчезни с золотым! Как бы теперь эти пять рублей пригодились... Швейцару тоже у Жана... Три рубля дал. Тысячу раз говорил себе: нужно иметь всегда мелкие. Предовольно с него было бы и полтинника.

Вспомнив еще что-то, он злобно схватил себя за голову.

— Валлеруа! Знают, черти, что подсунуть! По три с полтиной порция! Так четырнадцать рублей и ухнули. С какой радости, спрашивается?

— Ну, чего там хныкать,— сказал я, решительно поднимаясь с дивана.— Поедем в «Прагу», пообедаем, придем в себя.

— В «Прагу»? — охнул Тугоуздов.— Не-ет, братец... я теперь неделю буду сосисками с пивом поддерживаться. Мы хотя не нищие, дорогой мой, а нам тоже соображаться надо... Хочешь, пойдем, тут такой ресторанчик есть «Неаполь», за углом. Графинчик водки с закуской 30 копеек, обед из трех блюд шесть гривен...

— Котлет валлеруа не будет?

— Зачем? — не понял он.

— Да как же. Может, цыган позовешь, а? Ходи изба, ходи печь...

— Молчи, чтоб ты пропал!

Он бросился на диван и простонал:

— А у Жана почти полкоробки икры осталось... не доели! А ведь он за нее двенадцать рублей поставил... Водки графин оставили... Семги три куска...

И эта широкая московская натура, этот размашистый гуляка заплакал от беспросветного отчаяния и скорби. . . . . .
. . . .

Хозяйственные советы

(КАК СОСТАВЛЯТЬ СМЕСЬ)

Всякому из вас, друзья мои, приходилось встречать в журналах и газетах такой отдел, который носит название:

«Смесь».

В этом глубоко интересном отделе вы встречали, вероятно, помимо научных сведений,— много разных полезных советов: «как вскипятить в игральной карте воду», «как лечиться от укуса гремучей змеи», «лучшее средство против тайфуна» — одним словом, на все случаи жизни человеческой в отделе «Смесь» предусмотрительно даются советы.

Всякий читатель наизусть знает: «как склеивать разбитый фарфор», «способ изготовить самому себе карманные часы», «приготовление молока из вишневых косточек» и прочее...

И, тем не менее, в «Смеси», в отделе полезных советов — я наблюдаю колоссальный пробел...

Нигде не сказано:

— Как изготовить самому себе «Смесь»!

Иногда семья ваша, или ваши знакомые, хотят почитать отдел «Смеси», а под рукой нет журналов или газет, а если есть, то без отдела «Смесь», или с отделом, но неинтересным, или затасканным.

Вот в этом случае мои советы «Как самому себе изготовить «Смесь» — могут быть прямо-таки драгоценны.

Все, что я приведу ниже — основано на собственном опыте (первые шаги моей литературной деятельности были, — именно, составление «Смеси» для еженедельных журналов и газет), а также на многочисленных наблюдениях...

Вот оно, значит, как.

* * *

«Смесь» можно разделить на следующие отделы: 1) Вообще, научные сведения; 2) Этнографические штришки; 3) Удивительные курьезы природы; 4) Статистика; 5) Успехи техники; 6) Об американских миллиардерах; 7) Еще об уме животных; 8) Странности великих людей, и, наконец, 9) Полезные советы.

Вообще, научные сведения

Если вы хотите надолго приковать внимание читателя к вашей скромной заметке, вы просто пишете:

«Один ученый в штате Миссури (Арканзас), по имени Пайкрафт, открыл удивительное свойство серебра: терять вес, если его покрыть особым составом из двухлористого гелия ($h_4Г - 7Д_0$) и цинковой обманки (% обманки в цинке — пока секрет ученого).

Обмазанная этим составом, серебряная монета настолько теряет свой вес, что может быть помещена в воздухе на любой высоте.

Этим любопытным открытием заинтересовались многие ученые авторитеты штата Иллинойс.

Нечего и говорить, что новооткрытое свойство этого металла, произведет целый переворот в текстильной промышленности».

Перед вами — заметка, составленная вполне скромно, научно (химическая формула, ссылка на авторитеты и указание на переворот в текстильной промышленности).

Конечно, всякий, кто прочтет заметку, призадумается... Открытие, действительно, интересное, полное заманчивых перспектив.

Вы мне возразите, что читатель, прочтя заметку, может попробовать проверить на опыте это открытие? Это невозможно!

Во-первых, в заметке предусмотрительно скрыт % цинковой обманки, а, во-вторых, его сразу испугает такая сухая научная формула — (h_4Г — 7$Д_0$).

Вообще, эта заметка, если в нее вчитаться, составлена очень предусмотрительно: ученый живет в штате Миссури, и, если бы кто-нибудь даже заинтересовался открытием, то ехать для этого в Америку, отыскивать ученого Пайкрафта, лишь на основании пустякового сообщения в отделе «Смесь» — было бы безумием.

Если такой сорт заметки все-таки вам почему-либо не нравится — можете изготовить другую... Например: «свойство некоторых пород ясеня растворяться в воде, насыщенной азотнокислыми соединениями аммиака, открыто профессором Бруком — лауреатом Кентуккийской высшей школы (штат Кентукки)».

Этнографические штришки

Тут вам дается полный простор.

Вы можете описать свадебные обычаи на островах Спасения, или на острове Тристан д'Акунья. Можете привести даже самые нелепые обычаи: в день свадьбы, например, жениха обваривают кипятком, после чего он, по туземному поверью, будто бы горячее любит жену, а невесте вырывают передние зубы и вставляют их на место глаз (символ верности. Отметить полный контраст дикарской психологии с культурным русским поверьем: «возьми глаза в зубы»). Можете добавить, что празднование свадьбы продолжается пять месяцев и на свадьбе все приглашенные с аппетитом едят белую глину, смешанную с листьями араукарии (туземное лакомство).

Эта заметка тоже совершенно безопасна в смысле достоверности. Ни один из ваших читателей не устроит себе такой свадьбы, а дикари островов Спасения, или Тристан д'Акунья, не будут писать писем в редакцию с опровержением, потому что ваше издание едва ли попадет к ним в руки.

Дело кончится тем, что читатель, прочтя заметку, вздохнет и скажет жене:

— Смотри, Маруся, какие есть ужасные обычаи! И чего только на свете не делается. Как все премудро устроено Создателем.

Вы его заставили призадуматься. Он уже философствует! В этом ваша заслуга.

Боже вас сохрани, сообщать сведения о каких-нибудь мюнхенских или кавказских свадебных обычаях. Легко может случиться, что читатель там был и, поэтому, обругает вас лгуном и мошенником.

Этого — избегать.

Удивительные курьезы природы

Здесь вы можете не заезжать в Американские штаты. Опытные составители «Смеси» ограничиваются обыкновенно Венгрией.

Почему Венгрией — мне доподлинно неизвестно. Но это любопытный штрих в психологии составителей «Смеси».

Именно в деревушках Венгрии рождаются все младенцы с тремя головами, все одноглазые телята и зебровидные жеребята, а на венгерских огородах произрастают картофелины, формой напоминающие группу детей, идущих в воскресную школу, или памятник Виктору-Эммануилу в Риме, или просто машинку для стрижки волос.

Если же вы, из-за совершенно неуместной добросовестности, не захотите выдумывать — то и тут можете сообщить факты, хотя и достоверные, но для поверхностного взгляда, кажущиеся ошеломляющими.

Например:

«В одной из деревень Восточной Венгрии, у крестьянки родился удивительный ребенок: он имеет две головы, четыре ноги, четыре руки, два туловища и два сердца. Любопытно, что туловища эти несросшиеся, равно, как и другие части тела».

Кажется, любопытно? А ведь тут говорится о самых обыкновенных двойнях.

Или:

«Игра природы. Один венгерский крестьянин (Западная Венгрия) нашел на огороде картофелину, очень напоминающую по форме лошадь с всадником, только без ног, без рук и без головы. Заметна только шпора на ноге всадника».

Согласитесь — курьезно! А ведь самая обыкновенная картофелина может подойти под это определение.

Вообще, с Венгрией стесняться нечего... Я своими глазами читал заметку (кажется, в приложении к «Ниве») об одном венгерском мальчике, у которого на лбу из прыщика вырастало каждые шесть месяцев перо — не сказано, птичье или стальное,— которое потом отпадало на радость родителям. В заметке, конечно, было сказано, что многие ученые заинтересовались этим феноменом (еще бы!).

В заключение, замечу, что в Венгрии иногда рождаются дети, форма головы которых напоминает кирпич, в графстве Сюррей (Англия) изредка появляется девочка, которая может говорить ухом (редкий случай перемещения голосовых связок), а в штате Небраска (Америка) любопытствующие могли бы найти доктора, под названием «человек-термометр», или человек-зебра, или просто «обжора Дик».

Все это приковывает внимание читателя.

Статистика

Статистика — наука точная и, поэтому, здесь нужно с фактами обращаться особенно осторожно. Остерегайтесь придумывать статистику вооружений европейских стран, или сравнительную таблицу ввоза и вывоза.

Это все уже известно и без вас.

Если вы все-таки соблазнились отделом статистики,— сообщайте следующие безобидные сведения:

1) «По статистике, потребление Норвегией соли, равняется 3/5 потребления этого же продукта Персией».

Или:

2) «Количество раздавленных автомобилями на парижских бульварах в текущем году, превысило на 20% таковых же — за прошлый год. Вот он современный Вавилон, Молох, пожирающий жертвы!».

3) В Австралийских колониях в 1891 году насчитывалось слепых 1327 человек.

Это, правда, читателя не увлекает, не будоражит, но статистика ведь вообще, скучная, сухая вещь.

Успехи техники

«Один ливерпульский механик изобрел машину, которая сама сеет лен, поливает его, выращивает, снимает с поля, очищает, сучит нитки, ткет льняную материю, и сама же сшивает ее; льняное же масло, добываемое машиной из семян, идет на смазку частей машины».

Ясно, что этот ливерпульский механик — просто дурак. Кому нужна такая машина? Но читатель не будет задаваться таким вопросом. Его внимание привлекает просто сложность такой удивительной машины.

Если хотите быть вполне научным, напишите что-нибудь об Х-тории или радии (броненосец в 18.000 тонн, можно, по словам ученых, приводить в движение одним миллиметром радия; или: радий, как средство от бессонницы).

Остерегайтесь писать что-нибудь о рентгеновских Х-лучах. Они вышли из моды. Потому что «Смесь» имеет свою моду, свою этику, свои законы.

Об американских миллиардерах

Этот отдел распадается на такие ясно очерченные подотделы:

а) Карьера миллиардера (Миллиардер Джон Гуд был сапожным подмастерьем; или продавцом сигар в разнос; или угольщиком... Но скопив немного денег, он открыл небольшое дело; его ум и предприимчивость сделали то, что и т. д.).

б) Пожертвование миллиардера Карнеджи на... (можно писать на что угодно — в зависимости от вкусов и наклонностей пишущего).

в) Причуды миллиардеров.— Главным образом — устройство специальных обедов...

Например — «тигровый обед».

Пишется так: «На днях Пятое Авеню было позабавлено оригинальным «тигровым обедом», устроенным королевой пуговиц, мистрис Адью Скобс. Обед происходил в громадной тигровой клетке, устроенной из железных прутьев... Все обедающие лежали на тигровых шкурах, а лакеями были настоящие индусы-шикарри (охотники за тиграми); ели сырое мясо, терзая его зубами. Одеты все обедающие были в полосатые костюмы; из драгоценных камней допускался только тигровый глаз. На стене висела карта реки Тигр».

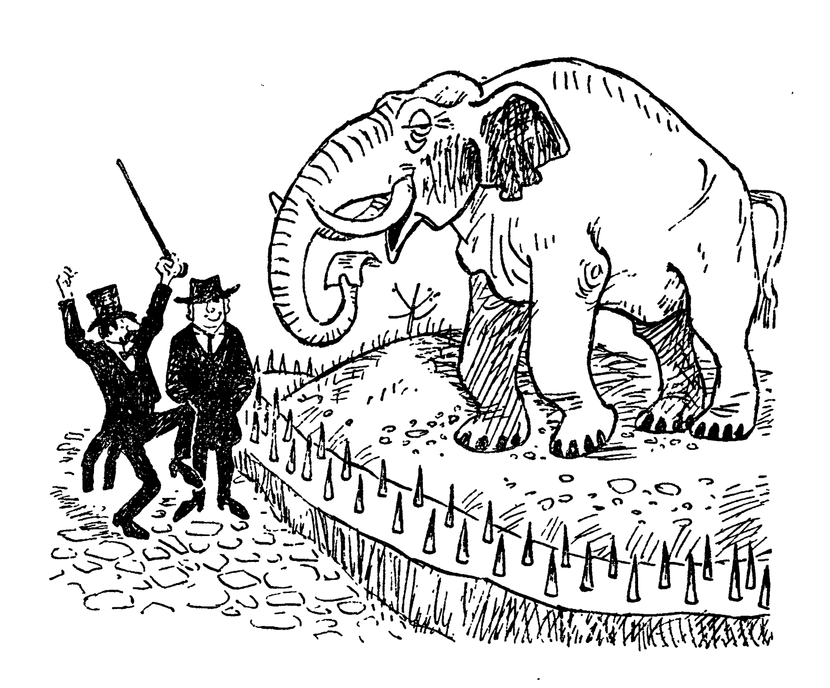
Конечно, то, что вы выдумали — очень глупо, но ведь и выдумки американских миллиардеров особым остроумием, вероятно, не отличаются.

В крайнем случае, обругают, и то не вас, а американцев. И поделом.

Можете писать, если хотите: «Людоедский обед», «Жемчужный обед», «Обед убийц» и «Собачий ужин».

Еще об уме животных

«Еще» — значит, уже многое об уме животных писалось; таким образом, нужно что-нибудь экстравагантное.



Никто вам не мешает рассказать о диковинной собаке, живущей в бассейне реки Ориноко (пойди-ка, поищи!). Собака эта очень недурно пишет масляными красками и недавно написала такой схожий портрет хозяина, что многие ученые заинтересовались ею (ученые обязательно должны интересоваться такими вещами); эта же собака поворачивает зубами электрические осветительные кнопки, когда ее сажают в темную комнату, и недавно исправила даже испортившийся электрический звонок.

Скажете — невероятно! Самый простодушный читатель не поверит... Пове-е-ерит!

Вот что написал я однажды, в отделе «Смесь» (в одной харьковской газете): «Еще об уме слонов. В гамбургском зоологическом саду содержался слон Джипои — общий любимец... Недавно он заметил, что несколько дней подряд к нему подходил грустный бедно одетый симпатичного вида незнакомец и, лаская его, кормил вкусными булками. Но однажды он пришел еще более грустный и похудевший; пошарив по карманам, он вздохнул и отвернулся. Сердце слона разрывалось от жалости. Но в это время к друзьям приблизился какой-то незнакомец жестокого вида и стал кричать на печального господина, показывая ему какую-то бумагу; нужно ли говорить,

что это был вексель симпатичного господина, которому (векселю) наступил срок. Бедняк печально смотрел на вексель, предвидя разорение, но — слон мигом сообразил, в чем дело... Протянул хобот, выхватил из рук заимодавца вексель, и в один миг... съел его! Нужно ли говорить, что все окончилось ко всеобщему благополучию, и обезумевший от радости должник долго ласкал своего спасителя».

Кажется — невероятно? А я даю честное слово, что восемь провинциальных газет напечатали этот вздор с самым серьезным видом; одна даже поместила «Случай со слоном» в отделе телеграмм от собственного корреспондента.

В заключение, позволю себе рассказать следующий характерный случай: «У одного акцизного чиновника (штат Калифорния) была собака — пудель Тобби. Собака все время слышала, как хозяин плакался на бедность и говорил:

— О, если бы у меня были деньги в банке!

И что же! Однажды, когда ее послали в мелочную лавочку за сигарами (она часто это проделывала), собака прибежала в лавочку, прыгнула на прилавок, схватила какой-то предмет и помчалась к хозяину.

Каково же было всеобщее удивление, когда она принесла к ногам хозяина стеклянную банку из-под леденцов, в которой лежали данные ей хозяином на сигары деньги!

Умная собака, слыша разговоры людей, устроила так, чтобы у хозяина были деньги в банке!»

Странности великих людей

Пишите:
У всех великих людей были свои странности: Россини мог творить только, держа ноги в холодной воде, Вольтер писал, нюхая испорченные яблоки, Веласкез надевал тесные ботинки, а Наполеон все письма писал на барабане, держа правую руку за бортом сюртука, а левой размахивая в такт.

Ничего, если вы Россини заставите нюхать испорченные яблоки, а Вольтеру наденете тесные ботинки — мертвые не говорят.

Полезные советы

Давайте только радикальные советы, и вы заслужите внимание читателей. Умный человек может дать совет на всякий случай жизни. Например — пятно на скатерти.

«Нужно взять скатерть и слегка помочить запятнанное место рисовой водкой; потом, присыпав тальком, вынести скатерть на улицу, и положить около дома на тротуарной тумбе. Не пройдет и получаса, как пятно исчезнет».

Составленные по этому образцу хозяйственные советы обратят внимание читателя и вызовут в нем интерес к печатному слову.

* * *

Вот и все.

Читатель видит, что с помощью этих деловых практических советов всякий может у себя на дому приготовлять какую угодно «Смесь» для своих домашних и знакомых,—не прибегая к дорогостоящей выписке журналов и газет, где все это может быть подано точно так же, если не хуже.

А я за это не хочу себе никакой награды, никакого памятника.

Несколько десятков тысяч рублей, собранных почитателями по подписке, или скромная бронзовая статуя на Невском проспекте, изображающая меня,—будут мне лучшими памятниками.

С почтением—бывший заведующий отделом «Смеси» в разных газетах и журналах.

Сельскохозяйственный рассказ

I

Мы—любимая мною женщина и я—вышли из лесу, подошли к обрыву и замерли в немом благоговейном восхищении.

Я нашел ее руку и тихо сжал в своей.

Потом прошептал:

— Как хорошо вышло, что мы заблудились в лесу... Не заблудись мы—никогда бы нам не пришлось наткнуться на эту красоту. Погляди-ка, каким чудесным пятном на сочном темно-зеленом фоне выделяется эта белая рубаха мальчишки-рыболова. А река—какая чудесная голубая лента!..

— О, молчи, молчи,—шепнула она, прижимаясь щекой к моему плечу.

И мы погрузились в молчаливое созерцание. . . . . . .
. . . .

— Это еще что такое? Кто такие? Вы чего тут делаете? — раздался пискливый голос за нашими спинами.

— Ах!

Около нас стоял маленький человек в чесучовом пиджаке и в черных длиннейших, покрытых до колен пылью брюках, которые чудовищно-широкими складками ложились на маленькие сапоги.

Глаза неприязненно шныряли по сторонам из-под дымчатых очков, а бурые волосы бахромой прилипли к громадному вспотевшему лбу. Жокейская фуражечка сбилась на затылок, а в маленьких руках прыгал и извивался, как живой, желтый хлыст.

— Вы зачем здесь? Что вы тут делаете? А? Почему такое?

— Да вам-то какое дело? — грубо оборвал я.

— Это мне нравится! — злобно-торжествующе всплеснул он руками.— «Мне какое дело?!» Да земля-то эта чья? Лес-то это чей? Речушка эта — чья? Обрыв это — китайского короля, что ли? Мой!! Все мое.

— Очень возможно,— сухо возразил я,— но мы ведь не съедим всего этого?

— Еще бы вы съели, еще бы съели! А разве по чужой-то земле можно ходить?

— А вы бы на ней написали, что она ваша.

— Да как же на ней написать?

— Да вот так по земле бы и расписали, как на географических картах пишется: «Земля Черт-Иваныча».

— Ага! Черт-Иваныча? Так зачем же вы прилезли к Черту-Иванычу?!

— Мы заблудились.

— «Заблудились!..» Если люди заблудятся, они сейчас же ищут способ найти настоящую дорогу, а вы вместо этого целых полчаса видом любовались.

— Да скажите, пожалуйста,— с сердцем огрызнулся я,— что вам какой-нибудь убыток от того, что мы полюбовались вашим пейзажем?..

— Не убыток, но ведь и прибыли никакой я пока не вижу...

— Господи! Да какую же вам нужно прибыль?!

— Позвольте, молодой человек, позвольте,— пропищал он, усаживаясь на не замеченную нами до тех пор скамейку, скрытую в сиреневых кустах.— Как это вы так рассуждаете?.. Эта земля, эта река, эта вот рощица мне при покупке — стоила денег?

— Ну, стоила.

— Так. Вы теперь от созерцания ее получаете совершенно определенное удовольствие или не получаете?

— Да что ж... Вид, нужно сознаться, очаровательный.

— Ага! Так почему же вы можете прийти, когда вам заблагорассудится, стать столбом и начать восхищаться всем этим?! Почему вы, когда приходите в театр смотреть красивую пьесу или балет,— вы платите антрепренеру деньги? Какая разница? Почему то зрелище стоит денег, а это не стоит?

— Сравнили! Там очень солидные суммы затрачены на постановку, декорации, плату актерам...

— Да тут-то, тут — это вот все — мне даром досталось, что ли? Я денег не платил? «Актеры!» Я тоже понимаю, что красиво, что некрасиво: вон тот мальчишка на противоположном берегу, «белым пятном выделяется на фоне сочной темной зелени» — это красиво! Верно... Пятно! Да ведь я этому пятну жалованье-то шесть рублей в месяц плачу или не плачу?

Я возразил, нетерпеливо дернув плечом:

— Не за то же вы ему платите жалованье, чтобы он выделялся на темно-зеленом фоне?

— Верно. Он у меня кучеренок. Да ведь рубашка-то эта от меня дадена, или как? Да если бы он, паршивец, в розовой или оранжевой рубашке рыбу удил — ведь он бы вам весь пейзаж испортил. Было бы разве такое пятно?

— Послушайте, вы,— сказал я, выйдя из себя.— Что вам надо? Чего вы хотите? Я стою здесь с этой дамой и любуюсь видом, расстилающимся перед нами. Это ваш вид? Вы за него хотите получить деньги? Пожалуйста, подайте нам счет!!

— И подам! — выпятил он грудь, с видом общипанного, но бодрящегося петуха.— И подам!

— Ну, вот. Самое лучшее. А сейчас оставьте нас в покое. Дайте нам быть одним. Когда нужно будет, мы позовем.

Ворча что-то себе под нос, он криво поклонился моей спутнице, развел руками и исчез в кустах.

II

Хотя настроение уже было сбито, скомкано, растоптано, но я попытался овладеть собой:

— Ушел? Ну, и слава Богу. Вот навязчивое животное. А хорошо тут... Действительно замечательно! Посмотри, милая, на этот перелесок. Он в теневых местах кажется совсем голубым, а по голубому разбросаны какие пышные, какие горячие желтые пятна освещенных солнцем ветвей. А полюбуйся, как чу-

десно вьется эта белая полоска дороги среди буйной разноцветной вакханалии полевых цветов. И как уютна, как хороша вон та красная крыша домика, белая стена которого так ослепительно сверкает на солнце. Домик — он как-то успокаивает, он как-то подчеркивает, что это не безотрадная пустыня... И эта, как будто вырезанная на горизонте, потемневшая серая мельница... Ее крылья так лениво шевелятся в ленивом воздухе, что самому хочется лечь в траву и глядеть так долго-долго, ни о чем не думая... И вдыхать этот головокружительный медовый запах цветов.

Мы долго стояли, притихшие, завороженные.

III

— Пойдем... Пора,— тихо шепнула мне моя спутница.

— Сейчас. Эй, человек,— насмешливо крикнул я.— Счет! Тотчас же послышался сзади нас треск кустов, и мы снова увидели нелепого землевладельца, который подходил к нам, размахивая какой-то бумажкой.

— Готов счет? — дерзко крикнул я.

— Готов,— сухо отвечал он.— Вот, извольте.

На бумажке стояло:

СЧЕТ

от помещика Кокуркова на виды местности, расположенной на его земле, купленной у купца Семипалова по купчей крепости, явленной у нотариуса Безбородько.

За стояние у обрыва, покрытого цветами, испускающими головокружительный медовый запах	2 руб.---к.
Река, так называемая голубая лента	1—"— —"—
Яркое белое пятно мальчика на темно-зеленом фоне кустов	—"— 50 —"—
Голубой перелесок, покрытый желтыми пятнами, ввиду дальности расстояния на сумму . .	—"— 30 —"—
Белая полоска дороги, среди буйной вакханалии цветов; в общем за все	—"— 60 —"—
Успокаивающий ослепительный домик с уютной красной крышей, подчеркивающий, что это не безотрадная пустыня	1 —"— 50 —"—
Потемневшая серая мельница крестьянина Кривых, будто вырезанная на горизонте (настоящая! Это так только кажется)	—"— 70 —"—
Итого всего вида на	6 руб. 60 к.



Скривив губы, я педантически проверил счет и заявил, придавая своим словам оттенок презрения:

— К счету приписано.

— Где? Где?! Не может быть.

— Да вот вы под шумок ввернули тут семь гривен за мельницу какого-то крестьянина Кривых. Ведь это не ваша мельница, а Кривых... Как же вы так это, а?

— Позвольте-с! Да она только с этого обрыва и хороша. А подойдите ближе — чепуха, дрянь, корявая мельничонка.

— Да ведь не ваша же?!

— Да я ведь вам и не ее самое продаю, а только вид на нее. Вид отсюда. Понимэ? Это разница. Ей от этого не убудет, а вы получили удовольствие...

— Э, э! Это что такое? За этот паршивый домишко вы поставили полтора рубля?! Это грабеж, знаете ли.

— Помилуйте! Чудесный домик. Вы сами же говорили: «домик он как-то успокаивает, как-то подчеркивает...»

— Черт его знает, что он там подчеркивает, только за него вы три шкуры дерете. Предовольно с вас и целковый.

— Не могу. Верьте совести, не могу. Обратите внимание, как белая стена ослепительно сверкает на солнце. И не только сверкает, но и подчеркивает, что это не безотрадная пустыня. Мало вам этого?

Я решил вытянуть из него жилы.

— И за дорогу содрали. Разве это цена — шесть гривен? Мы на нее почти и не смотрели. Скверная дорожка, кривая какая-то.

— Да ведь тут за все вместе: и за дорогу, и за буйную вакханалию цветов. Извольте обратить ваше внимание: ежели оценить по-настоящему вакханалию, то на дорогу не больше двугривенного придется. Пусть вам в другом месте покажут такую дорогу за двугривенный с обрыва...

Я повернул счет в руках и придирчиво заявил:

— Нет, я этого счета не могу оплатить.

— Почему же-с? Как смотреть, так можно, а платить — так в кусты?!

— Счет не по форме. Должен быть оплачен гербовым сбором.

— Да-с? Вы так думаете? Это по какому такому закону?

— По обыкновенному. Счета на сумму свыше пяти рублей должны быть оплачены гербовым сбором.

— Ах, вы вот как заговорили?! Пожалуйста! Вычеркиваю вам мельницу крестьянина Кривых и речку. Черт с ней, все равно, зря течет. А уж четыре девяносто — это вы мне подайте. Вот вам и Черт-Иваныч!

Я вынул кошелек, сунул ему в руку пятирублевую бумажку и, сделав величественный жест: «сдачи не надо», взял свою спутницу под руку.

По дороге от обрыва мы наткнулись на очень красивую пышную липу, но я уж воздержался от выражения громогласного восторга. . . . .
. . . .

Человек, которому повезло

ПОВЕСТЬ

I

В этом не было ничего чудесного.

Это все равно, как если бы человек, переходя каждый день, в течение десяти лет, через шумную улицу, твердил бы ежедневно:

— Вот сегодня меня непременно раздавит автомобиль! Сегодня уж наверное.

И если бы автомобиль когда-нибудь, действительно, задавил его — в этом не было бы ничего удивительного. Не было бы чудесного пророчества, предчувствия.

То же самое можно было сказать и об Акиме Васильевиче Цыркунове — конторщике большого дровяного склада братьев Перетягиных (доски, дрова, уголь, каменный и деревянный; оптовый отпуск).

Если когда-нибудь Аким Цыркунов, переписывая корешки накладных, поднимал от книги сморщившийся нос, открывал рот и, глядя в потолок искаженным от сладкого ожидания взглядом, наконец, аппетитно и оглушительно чихал — его товарищ и сподвижник по службе Ванечка Сырых неизменно подсказывал ему:

— Двести тысяч на мелкие расходы!

— Спасибо,— неизменно отвечал Аким Цыркунов и сейчас же неизменно впадал в мечтательное настроение.

— О, действительно,— говорил он, подперев кулаком щеку.— Если бы мне двести тысяч... Уж я бы знал, как распорядиться ими.

— А что бы вы сделали?

— Да уж будьте покойны — знал бы что сделать. Я бы показал настоящую жизнь-то.

— Ну, если бы и мне такую цифру,— говорил и худосочный Сырых,— я бы тоже...

— Ну, а вы бы что сделали?

— Я купил бы пароход и отправился бы по разным странам. Пил бы ром, сражался с индейцами и подал бы на Высочайшее имя прошение о перемене фамилии. Ходатайствовал бы о назначении мне фамилии Джек Смит.

Цыркунов пожимал плечами.

— И это все?

— Конечно, не все. Купил бы себе еще зверинец — я очень зверей люблю диких. И стал бы упражняться гирями. По маскарадам ходил бы...

— Зачем?

— Чтобы всех интриговать. Ну, а что бы вы сделали, все-таки, если бы вдруг на ваш билет пал выигрыш двести тысяч?

— Да, уж знал бы что — будьте покойны! Слава Богу, тоже понимаем, как жить по-настоящему... хе-хе! Без денег не знаешь, как быть, а с деньгами... ап... ап... чхи!!!

— Вот! Значит — ваша правда.

— Ап... чхи!

— Двести тысяч на мелкие расходы!

— Спасибо вам!

Эти разговоры повторялись почти каждый день — в зависимости от силы хронического насморка Акима Цыркунова.

— Апчхи!!!

— Двести тысяч на мелкие расходы!

В один из первых весенних дней Аким Цыркунов выиграл на свой билет *двести тысяч*.

Выиграл так, как это обыкновенно делается — не прилагая к этому никаких усилий и даже ни разу не чихнув в этот знаменательный день, что, конечно, вызвало бы традиционную беседу о «двухстах тысячах на мелкие расходы» и придало бы факту выигрыша особый привкус чудесного.

II

Может ли человек за свою долгую жизнь забыть тот день, когда он, не имея накануне ничего,— сегодня вышел из банкирской конторы, ощущая в кармане около ста девяноста тысяч новенькими плотными пятисотрублевками.

Нет! Трудно забыть такой день.

По выходе из банкирской конторы план ближайших мероприятий был уже составлен богачом Цыркуновым.

Именно, он зашел в гастрономический магазин и, робея с непривычки, попросил:

— Фунт зернистой икры, самой лучшей. И потом ананас.

— Слушаю-с. Из напитков ничего не прикажете?

— Да, конечно... Гм!.. Дайте шампанского. Шампанское есть у вас?

— Помилуйте! Какой марки прикажете?

— Что-о?

— Какой сорт позволите?

— А какие сорта вы имеете? — осторожно осведомился Цыркунов.

— Кордон-с руж, кордон-с вер, вайт-стар, монополь-сек, мум-экстра-дри-с.

— Ага... У вас монополь-сек хороший?

— Будьте покойны — французская фирма.

— Я думаю! Стану я пить русскую дрянь. Вообще, ты, братец, тово... Скажи мальчику вашему, чтобы он вызвал мне автомобиль.

Выйдя из магазина, Цыркунов заметил нищего, который, прислонившись к выступу стены, смотрел в другую сторону, не обращая никакого внимания на Цыркунова.

У бывшего конторщика был уже составлен обширный, хорошо разработанный план «оглушения», и он начал немедленно его осуществление с нищего.

— Эй, нищий,— сказал он, дергая его за рукав.— Ты милостыню просишь, да?

— Подайте, барин,— очнулся задумавшийся оборванец.— Хучь пятачок... ночевать негде... хлеба... три дня... больница... хучь две копейки...

— Ладно, ладно,— сановито остановил его Цыркунов.— Вот тебе десять рублей. Помни — хе-хе! — Акима Цыркунова!

И он умчался на автомобиле.

Приехав домой на свою холостую квартиру, он сразу же окунулся в роскошную привольную жизнь: выложил свежую икру на большую тарелку, достал столовую ложку, хлеб и, вытерев чайный стакан, стал открывать шампанское.

Это дело было потруднее: штопор не ввинчивался в пробку, потому что на верхушке ее торчала какая-то металлическая нашлепка; кроме того, горлышко было опутано целой сетью проволоки, совершенно не нужной, по мнению хозяина. Пришлось горлышко отбить кочергой и пить вино осторожно, чтобы не подавиться осколком стекла.

Все было чрезвычайно вкусно: и икра, и ананас. Завтрак — хоть куда.

— Надо,— решил настроившийся гастрономически Цыркунов,— попробовать еще омар и выпить рому. А на сладкое куплю уж торт. Эх, хорошо жить на свете!

После завтрака Цыркунов решил ехать в магазины. Он осмотрел в зеркало свой потертый засаленный галстук и прошептал, подмигивая самому себе:

— Я знаю, что мне надо делать.

III

В галстучном магазине перед ним выставили целую гору коробок.

— Да вы, собственно, какие хотели?

— Самые лучшие.

— Вот извольте — эти самые настоящие английские. Один адвокат у нас по полдюжины сразу их берет.

Цыркунов ухмыльнулся в усы с хитрым видом.

— Полдюжины? Ну, а мне, знаете, заверните-ка... полсотенки!

Ожидаемый эффект разразился. Хозяин магазина был оглушен.

Он истерически заметался, запрыгал, как обезьяна, по полкам и выставил перед Цыркуновым другую гору.

— Белых не прикажете ли, фрачных? Черных атласных для смокинга...

— Да, да... мне, конечно, нужно,— благосклонно кивнул головой Цыркунов.— Все нужно. Заверните вот этих и этих... и этих.

Выйдя из магазина, Цыркунов сел в тот же автомобиль (с шофером у него уже установились хорошие отношения) и стал размышлять так:

— Смокинг... оказывается, что галстуки не под каждый костюм оденешь. Смокинг... гм! Шофер! Везите меня к портному, какой получше.

У портного Цыркунову открылся новый мир.

— Вот-с это покосматей будет — для жакетов... Бирмингамские сорта. Это трико-с — для смокингов.

— Черное?

— Да.

— А... других цветов нет?

— Помилуйте... смокинги только черные шьются.

— Ну, что вы мне говорите! Я думаю, коричневый будет гораздо наряднее.

— Извольте,— сказал портной.— Сделаем коричневый. На отвороты поставим коричневый атлас. Брюки внизу сделаем не особо широкие, потому слегка на туфлю падает, не на ботинок.

— Вы полагаете, на туфлю? — задумчиво переспросил Цыркунов.— Значит, придется к смокингу туфли покупать.

— Да уж... Мода — ничего не поделаешь.

И оба склонили головы перед суровыми требованиями капризной богини — моды.

И так оно и пошло:

Галстучник силой вещей толкнул его к портному, портной перекинул его в объятия обувного торговца, а тот ловким ударом перенес сразу бывшего конторщика в цепкие лапы француза, который снискивал себе солидное пропитание продажей мужского белья «все лучший сорт, сюпериор»...

Тароватому Цыркунову удалось «оглушить» даже видавшего виды француза; количество носков, купленное им, хватило бы даже самой капризной сороконожке на целый год.

Но главное «оглушение» было впереди.

IV

Приехав в свою дровяную контору, Цыркунов скромно вошел в первую комнату, поздоровался и сказал:

— Извините, что так опоздал. У меня дома случай там один вышел.

Бухгалтер обернулся, кивнул ему головой и стал продолжать разговор по телефону.

— Алло! Что? господин Миркин! Как не можете прислать? Да ведь мы на эти восемь тысяч нынче рассчитывали! У нас срочные платежи!! Вы не имеете права нас подводить... Что? Конечно! Да позвольте!..

Цыркунов приблизился к бухгалтеру и деликатно вынул у него из рук телефонную трубку.

— Оставьте, Николай Иваныч... Стоит ли волноваться вам, портить кровь из-за таких пустяков... Если сейчас так нужны деньги — вот! На-те. Отдадите, когда Миркин пришлет.

«Оглушение» было страшное, чудовищное, ни с чем не сравнимое. Только тогда нашел Цыркунов, что бывают минуты, когда сердце может разорваться от восторга.

Бухгалтер остолбенел, конторщик Сырых опрокинул чернильницу, а сторож Мокренко бросился чистить Цыркунову метелочкой пиджак.

Расслабленный Цыркунов опустился на стул и заговорил томно и ласково:

— О, господа, какие пустяки. Тут нет ничего такого... Господин Сырых! я знаю, вы нуждаетесь в некоторых суммах для того, чтобы ваша жизнь могла быть урегулирована с достаточной полнотой. Будьте добры принять от меня на память эту тысячу рублей. Мокренко! А ты, братец, тоже тово... Как говорится, а? Вот тебе пятьдесят рублей — будь себе здоров.

Оглушение было невероятное, потрясающее, не убившее никого только потому, что от удивления не умирают.

V

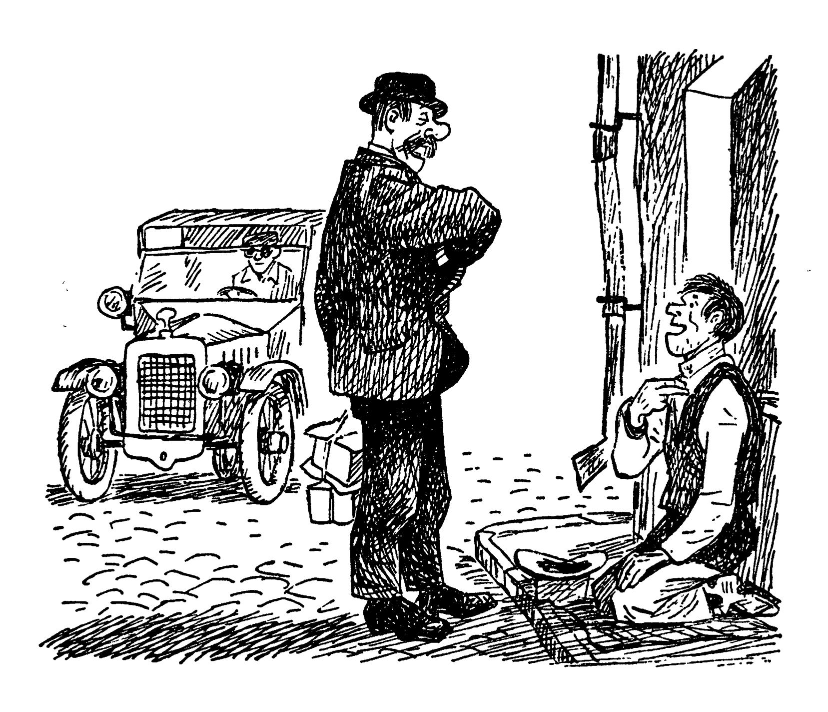
— А что, братец, — обратился, едучи обратно, Цыркунов к своему приятелю шоферу. — Мог бы ты пойти ко мне служить?

— А у вас есть мотор? — спросил шофер.

— Нет, но я думаю, что можно купить. Ты купишь?

— Отчего же-с! Купим лимузин обыкновенный, или мерседесов, можно что-нибудь подобрать, или, может, нравится электрический без запаху, только что он подороже.

— Ну, и прекрасно! Заезжай ко мне завтра утром и поедем.



По пути Цыркунов заехал в магазин и купил припасов на обед: целого омара, балык, страсбургский паштет, рому и шампанского. Взял, кстати, и два десятка устриц, но, приехав домой, не ел их.

А так как поручить их прислуге выбросить было как-то стыдно и странно, Цыркунов завернул устрицы в старую газету и поздно вечером, выйдя из дому, забросил на двор в дрова.

Утром купили с шофером автомобиль. Шофер так понравился Цыркунову своим чутьем, вкусом и здравым смыслом, что в компании с ним была отыскана большая в девять комнат квартира, куплена меблировка, ковры, картины и скульптура.

Целый день, проведенный вместе, очень сблизил скромного богача Цыркунова с умным, веселым шофером. Поэтому не было ничего удивительного в том, что вечером все покупки были спрыснуты в отдельном кабинете второразрядного ресторана, метрдотеля которого Цыркунов не преминул «ошеломить» заказом громадной стерляди и полдюжины шампанского. Из дичи же было заказано: руанская утка — Цыркунову (12 руб.) и седло барашка — шоферу (6 руб.). Деликатный шофер этим очень тонко подчеркнул иерархическую разницу между собой и своим патроном.

VI

Жизнь протекала так: просыпался Цыркунов в своей монументальной спальне довольно поздно — часов в двенадцать; проснувшись, читал около часу какой-нибудь роман из французской или английской жизни; потом вставал, надевал смокинг, атласный галстук, лаковые туфли и долго бродил по комнатам, рассматривая картины и статуи, выбранные им в компании со знатоком великосветского быта шофером; полюбовавшись на картины, на букеты свежих цветов, в изобилии расставленных по всем комнатам, Цыркунов усаживался в кабинете за письменный стол и, развернув несколько листов чистой бумаги, с карандашом в руках, звонил камердинера, обрусевшего испанца Игнацио, который получал жалованье ровно в три раза больше, чем Цыркунов в свое время в дровяной конторе Перетягиных.

— Игнациус! — солидно говорил Цыркунов, делая на листах бумаги отметки с самым деловым видом.— Позовите шофера — мне надо с ним переговорить... Да велите подать мне закусить чего-нибудь и бутылку шампанского. Пожалуйста, сделайте все это!..

Приносили разные закуски, вино, являлся шофер.

— Здравствуй, Аким,— говорил он, ласково хлопая по плечу хозяина.— Как, вообще, ползаешь?

— Ничего, спасибо. Садись, закусим.

— Опять это пойло? Ты бы водочки лучше, а?..

— Ну, чего там водочки... Пей шампанское. Самое, брат, лучшее вино.

Чокались, пили. Закусывали икрой, балыком и холодной руанской уткой, которая чрезвычайно понравилась Цыркунову со времени ужина в ресторане.

После завтрака оба приятеля садились на мотор и уезжали, катаясь по городу и забавляясь тем, что изредка «оглушали» прохожих или лавочников.

Цыркунов очень любил разные сюрпризы: то он покупал в три слова бакалейную лавку со всем товаром и дарил ее нищему, который назойливо его преследовал; то нанимал несколько десятков порожних извозчиков и велел им ехать за собой цугом, что приводило городового в крайнее изумление; однажды оба приятеля сговорились купить все билеты в оперетке и вечером сосредоточенно прослушали всю пьесу, в пустом зале, в присутствии только заинтригованного околоточного, которому Цыркунов подарил на память об этой затее золотой портсигар.

В этот же курьезный вечер Цыркунов познакомился с опереточной певицей Незабудковой.

Незабудкова сразу оценила и коричневый смокинг, и шофера, и шикарные замашки бывшего конторщика. Сначала дело ограничилось цветами, потом ужином и цветами; потом ужином, цветами и бриллиантовой штучкой, которую Цыркунов называл очень нерешительно, боясь ошибиться: «колье», потом ужины, цветы и «колье» свили прочное гнездышко в очень уютной квартирке, которую Незабудкова обставила даже без советов опытного шофера, а потом...

VII

— Сколько вы даете процентов, если положить на год восемь тысяч? — спросил Цыркунов (это были те самые восемь тысяч, которые были даны, «чтобы бухгалтер не портил себе кровь»).

Заведующий вкладами в банке отвечал:

— Шесть. Будете получать 480 рублей в год.

— Это значит... 40 рублей в месяц? «Ого, — подумал Цыркунов, на 15 рублей больше, чем получал у Перетягиных. Значит, проживу. Хватит!»

Цыркунов разыскал свою старую квартиру, поселился в ней и зажил тихой спокойной жизнью, без коричневых смокингов, руанской утки, шампанского и «оглушений» — забирая очень аккуратно свои сорок рублей в месяц...

Шофер, однако, не покинул своего друга в его скромной жизни. Они частенько сидят за бутылкой пива в комнате Цыркунова, и, если хозяин, изредка подняв голову к потолку, откроет рот и звучно чихнет: «Апчхи!» — шофер не преминет благожелательно посулить:

— Двести тысяч на мелкие расходы!

— Спасибо, — скажет хозяин, — но уже не прибавит, как бывало: «если бы мне, действительно, двести тысяч, уж я знал бы, что мне делать!..»

А склонит свою бедную фантазией голову и подумает:

— Эх, Сырых, Сырых! А, может быть, и действительно, прав ты был, и действительно, лучше бы купить пароход да отправиться в чужие страны, исходатайствуя себе фамилию Джек Смит, попивая в пути ром и сражаясь с индейцами...

Фат

Подслушивать — стыдно.

Отделение первого класса в вагоне Финляндской железной дороги было совершенно пусто.

Я развернул газету, улегся на крайний у стены диван и, придвинувшись ближе к окну, погрузился в чтение.

С другой стороны хлопнула дверь, и сейчас же я услышал голоса двух вошедших в отделение дам:

— Ну, вот видите... Тут совершенно пусто. Я вам говорила, что крайний вагон совсем пустой... По крайней мере, можем держать себя совершенно свободно. Садитесь вот сюда. Вы заметили, как на меня посмотрел этот черный офицер на перроне?

Бархатное контральто ответило:

— Да... В нем что-то есть.

— Могли бы вы с таким человеком изменить мужу?

— Что вы, что вы! — возмутилось контральто.— Разве можно задавать такие вопросы?! А в-третьих, я бы никогда ни с кем не изменила своему мужу!!

— А я бы, знаете... изменила. Ей-Богу. Чего там,— с подкупающей искренностью сознался другой голос, повыше.— Неужели вы в таком восторге от мужа? Он, мне кажется, не из особенных. Вы меня простите, Елена Григорьевна!..

— О, пожалуйста, пожалуйста. Но дело тут не в восторге. А в том, что я твердо помню, что такое долг!

— Да ну-у?..

— Честное слово. Я умерла бы от стыда, если бы что-нибудь подобное могло случиться. И потом, мне кажется таким ужасным одно это понятие: «измена мужу!»

— Ну, понятие как понятие. Не хуже других.

И, помолчав, этот же голос сказал с невыразимым лукавством:

— А я знаю кого-то, кто от вас просто без ума!

— А я даже знать не хочу. Кто это? Синицын!

— Нет, не Синицын!

— А кто же? Ну, голубушка... Кто?

— Мукосеев.

— Ах, этот...

— Вы меня простите, милая Елена Григорьевна, но я не понимаю вашего равнодушного тона... Ну, можно ли сказать про Мукосеева: «Ах, этот»... Красавец, зарабатывает, размашистая натура, успех у женщин поразительный.

— Нет, нет... ни за что!

— Что «ни за что»?

— Не изменю мужу. Тем более с ним.

— Почему же «тем более»?

— Да так. Во-вторых, он за всеми юбками бегает. Его любить, я думаю, одно мученье.

— Да ежели вы к нему отнесетесь благосклонно — он ни за какой юбкой не побежит.

— Нет, не надо. И потом он уж чересчур избалован успехом. Такие люди капризничают, ломаются...

— Да что вы говорите такое! Это дурак только способен ломаться, а Николай Алексеевич умный человек. Я бы на вашем месте...

— Не надо!! И не говорите мне ничего. Человек, который ночи проводит в ресторанах, пьет, играет в карты...

— Милая моя! Да что же он, должен дома сидеть да чулки вязать? Молодой человек...

— И не молодой он вовсе! У него уже темя просвечивает...

— Где оно там просвечивает... А если и просвечивает, так это не от старости. Просто молодой человек любил, жил, видел свет...

Контральто помедлило немного и потом, после раздумья, бросило категорически:

— Нет! Уж вы о нем мне не говорите. Никогда бы я не могла полюбить такого человека... И в-третьих, он фат!

— Он... фат? Миленькая Елена Григорьевна, что вы говорите? Да вы знаете, что такое фат?

— Фат, фат и фат! Вы бы посмотрели, какое у него белье, — прямо как у шансонетной певицы!.. Черное, шелковое — чуть не с кружевами... А вы говорите — не фат! Да я...

* * *

И сразу оба голоса замолчали: и контральто, и тот, что повыше. Как будто кто ножницами нитку обрезал. И молчали оба голоса так минут шесть-семь, до самой станции, когда поезд остановился.

И вышли контральто и сопрано молча, не глядя друг на друга и не заметив меня, прижавшегося к углу дивана. . . .
. . . .

Юмор для дураков

Это был солидный господин с легкой наклонностью к полноте, с лицом, на котором отражались уверенность в себе и спокойствие, с глазами немного сонными, с манерами, полными

достоинства, и с голосом, в котором изредка прорывались ласково-покровительственные нотки.

— Вот вы писатель,— сказал он мне, познакомившись.— Писатель-юморист. Так. Наверное, знаете много смешного. Да?..

— О, помилуйте...— скромно возразил я.

— Нечего там скромничать. Расскажите мне какую-нибудь смешную штуку... Я это ужасно люблю.

— Позвольте... Что вы называете «смешной штукой»?

— Ну, что-нибудь такое... юмористическое. Я думаю, вы не ударите лицом в грязь. Слава Богу — специалист, кажется! Ну, ну... не скромничайте!

— Видите ли... Я бы мог просто порекомендовать вам прочесть книгу моих рассказов. Но, конечно, не ручаюсь, что вы непременно наткнетесь в них на «смешные штуки».

— Да нет, нет! Вы мне расскажите! Мне хочется послушать, как вы рассказываете... Ну, что-нибудь коротенькое. Вот, наверное, за бока схватишься!..

Я незаметно пожал плечами и неохотно сказал:

— Ну, слушайте... Мать послала маленького сына за гулякой-отцом, который удрал в трактир. Сын вернулся один, без отца — и на вопрос матери: «Где же отец и что он там делает?» — ответил: «Я его видел в трактире... Он сидит там с пеной у рта».— «Сердится, что ли?» — «Нет, ему подали новую кружку пива».

Не скажу, чтобы эта «смешная штука» была особенно блестящей. Но на какой-нибудь знак внимания со стороны моего нового знакомого я все-таки мог надеяться. Он мог бы засмеяться, или просто безмолвно усмехнуться, или даже, в крайнем случае, покачать одобрительно головой.

Нет. Он поднял на меня ясные, немного сонные глаза и поощрительно спросил:

— Ну?

— Что «ну»?

— Что же дальше?

— Да это все.

— Что же отец... вернулся домой?

— Да это не важно. Вернулся — не вернулся... Все дело в ответе мальчика.

— А что, вы говорите, он ответил?

— Он ответил: отец сидит там с пеной у рта.

— Ну?

— Видите ли... Соль этого анекдота, сочиненного мною, заключается в том, что мальчик ответил то, что называется,— буквально. Он видел кружку пива с пеной, кружку, кото-

рую отец держал у рта, и поэтому ответил в простоте душевной: «отец сидит с пеной у рта». А мать думала, что это — фигуральное выражение, сказанное по поводу человека, которого что-нибудь взбесило.

— Фигуральное?

— Да.

— Взбесило?

— Да!

— Ну?

— Что еще такое — «ну»?

— Значит, мать думала, что отец за что-нибудь сердится, а он вовсе не сердится, а просто пьет себе преспокойно пиво.

— Ну да.

— Вот-то ловко! Ха-ха! Ну, и здорово же: она думает, что он сердится, а он вовсе и не сердится... Хо-хо! Вообще, знаете, эти трактиры.

— Что-о?..

— Я говорю — трактиры. Если еще холостой человек ходит, так ничего, а уж женатому, да если еще нет средств — так трудновато... Не до трактиров тут. Тут говорится: не до жиру, быть бы живу.

Я молчал, глядя на него сурово, с замкнутым видом.

Человек он был, очевидно, вежливый, понимавший, что в благодарность за рассказанное — автор имеет право на некоторое поощрение.

Поэтому он принялся смеяться:

— Ха-ха-ха! Уморил! Ей-Богу, уморил. Папа, говорит, в трактире пену пьет, сердится... А мать-то, мать-то! В каких дурах... О-ох-хо-хо! Ну, еще что-нибудь расскажите.

«Э, милый, — подумал я. — Тебя такой вещью не проберешь. Тебе нужно что-нибудь потолще».

— Ну, я вас прошу, расскажите еще что-нибудь...

— Ладно, в один ресторан пришел посетитель. Оставив в передней свой зонтик и боясь, чтобы его кто-нибудь не украл, он прикрепил к ручке зонтика такую записку: «владелец этого зонтика поднимает одной рукой семь пудов... Попробуйте-ка украсть зонтик!» Пообедав, владелец зонтика вышел в переднюю и — что же он видит! Зонтик исчез, а на том месте, где он стоял, приколота записка: «я пробегаю в час пятнадцать верст — попробуйте-ка догнать».

Любитель «смешных штучек» поощрительно взглянул на меня и сказал:

— Ну, и что же? Догнал он похитителя или нет?

Я вздохнул и начал терпеливо:

— Нет, он его не догнал. Да тут и не важно дальнейшее. Вся соль анекдота заключается именно в курьезном совпадении этих двух записок. Автор первой, видите ли, думал, что он непобедим, рассчитывая на свои здоровые руки, и никак он не рассчитывал, что здоровые ноги гораздо важнее.

— Важнее?

— Да.

— Сколько он там написал, что пробежит в час?

— Пятнадцать верст.

— Это много считается?

— Порядочно.

— А ведь поймай этот первый-то владелец зонтика — похитителя в то время, как тот писал записку, он бы ему задал перцу, а? Тут и ноги не помогут, а?

— Не знаю.

— Это, наверное, было давно, я думаю? В прежнее время? Теперь-то ведь в передних ресторанов всюду швейцары, которые и отвечают за пропажу вещей.

— Да.

— Теперь все как-то сделалось культурнее. Положим, раньше-то и воровства было меньше. А?

— Да.

Мы помолчали.

— Вопрос еще, догнал ли бы он похитителя, если бы даже и умел бегать быстрее его. Потому что раньше нужно узнать, в какую сторону он побежал, да не свернул ли с дороги, а то мог просто припрятать зонтик, да и отпереться от всего: «знать не знаю, ведать не ведаю — никакого зонтика не воровал и никакой записки не писал».

— Да.

По моим сухим, сердитым репликам любитель анекдотов почуял, что я им не совсем доволен, и, решив, по своему обыкновению, щедро вознаградить меня смехом,— неожиданно захохотал.

— Ха-ха! Ох-хо-хо! Ну, и уморил. Выходит он — где зонтик? Хвать-похвать, ан зонтика-то и нет. Ну, и ловкие ребята бывают. Прямо-таки, пальца в рот не клади. И откуда вы столько смешных штучек знаете?! Ну, расскажите еще что-нибудь. Ну, пожалуйста, ну, миленький...

— Рассказать? — прищурился я.— Извольте! Один господин, явившись на обед к родителям своей невесты и страдая от тесной обуви, снял потихоньку под столом с ноги башмак, но в это время собачонка схватила башмак да бежать, а жених испугался, вскочил, опрокинул стол, причем миска с горячим

супом опрокинулась на тещу,— и помчался за собачонкой. По дороге он разбил дорогую вазу, а потом, желая достать для разутой ноги какой-нибудь башмак, ударил тестя ногой в живот, повалил его и стал стаскивать с ноги ботинок. Но оказалось, что у тестя одна нога была искусственная, и вдруг она отрывается вместе с ботинком, и наш жених грохается на пол, обрывая портьеру; но в это время собачонка, с башмаком во рту...

Дальше я не мог продолжать: нечеловеческий страшный хохот душил моего нового знакомого. Он буквально катался по дивану, отмахиваясь руками, ногами, задыхаясь и кашляя. Лицо побагровело, и на глазах выступили слезы.

— О-ох,— визжал он тонким голосом.— Довольно. Ради Бога, довольно! Вы меня убьете вашим рассказом!..

* * *

Раньше я не понимал: для чего и кому нужны десятки тысяч метров кинематографических лент, на которых изображены: солдат, попавший в барабан и заснувший там; рассеянный прохожий, опрокидывающий на своем пути детские колясочки, и влюбленные парочки; свадебный обед, участникам которого шутник насыпает за ворот «порошок для чесания», молодой человек, которого кусает блоха во время объяснения с невестой и который начинает бегать по комнате, ловя эту блоху; пьяный, залезший в матрац и катающийся в таком положении по людной улице — для чего и кому все это нужно? — я не понимал.

Теперь — понимаю.

Слабая струна

Я сидел у Красавиных. Горничная пришла и сказала:

— Вас к телефону просят.

Я удивился.

— Меня? Это ошибка. Кто меня может просить, если я никому не говорил, что буду здесь!

— Не знаю-с.

Я вышел в переднюю, снял телефонную трубку и с любопытством приложил ее к уху.

— Алло! Кто говорит?

— Это я, Чебаков. Послушай, мы сейчас в «Альгамбре» и ждем тебя. Приезжай.

Я отвечал:

— Во-первых, приехать я не могу, так как должен возвратиться домой; дома никого нет, и даже прислуга отпущена в больницу; а, во-вторых — кто тебе мог сказать, что я сейчас у Красавиных?

— Врешь, врешь! Как же так у тебя дома никого нет, когда из дому мне и ответили по телефону, что ты здесь.

— Не знаю! Может быть, я сошел с ума, или ты меня мистифицируешь... Квартира заперта на ключ, и ключ у меня в кармане. Кто с тобой говорил?

— Понятия не имею. Какой-то незнакомый мужской голос. Прямо сказал: «он сейчас у Красавиных»... И сейчас же повесил трубку. Я думал — твой родственник...

— Непостижимо!! Сейчас же лечу домой. Через двадцать минут все узнаю.

— Пока ты еще доберешься домой, — возразил заинтересованный Чебаков. — Ты лучше сейчас позвони к себе. Тогда сейчас же узнаешь.

С лихорадочной поспешностью я дал отбой, вызвал центральную и попросил номер своей квартиры.

Через полминуты после звонка кто-то снял в моем кабинете трубку, и мужской голос нетерпеливо сказал:

— Ну?!.. Кто там еще?

— Это номер 233—20?

— Да, да, да!! Что нужно?

— Кто вы такой? — спросил я.

Около полминуты там царило молчанье. Потом тот же голос неуверенно заявил:

— Хозяина нет дома.

— Еще бы! — сердито вскричал я. — Конечно, нет дома, когда я и есть хозяин!! Кто вы такой и что вы там делаете?

— Нас двое. Постойте, я сейчас позову товарища. Гриша, пойди-ка к телефону.

Другой голос донесся до меня:

— Ну, что там еще? Все время звонят, то один, то другой. Работать не дают!! Что нужно?

— Что вы делаете в моей квартире?!! — взревел я.

— Ах, это вы... Хозяин? Послушайте, хозяин... Где у вас ключи от письменного стола?!! Искали, искали — голову сломать можно.

— Какие ключи?! Зачем?

— Да ведь не ломать же нам всех одиннадцати ящиков! — ответил рассудительный голос. — Конечно, если не найдем ключей, придется взломать замки, но это много возни. Да

и вы должны бы пожалеть стол. Столик-то, небось, недешевый. Рублей, поди, двести? Коверкать его — что толку?..

— Ах, вы мерзавцы, мерзавцы,— вскричал я с горечью.— Это вы, значит, забрались обокрасть меня!.. Хорошо же!.. Не успеете убежать, как я подниму на ноги весь дом.

— Ну, улита едет, когда-то будет,— произнес рассудительный голос.— Мы десять раз, как уйти успеем. Так, как же, барин, а? Ключи-то от стола — дома или где?

— Жулики вы проклятые, собачье отродье! — бросал я в трубку жестокие слова, стараясь вложить в них как можно больше яду и обидного смысла.— Сгниете вы в тюрьме, как черви. Чтоб у вас руки поотсыхали, разбойники вы анафемские! Давно, вероятно, по вас веревка плачет.

— Дурак ты, дурак, барин,— произнес тот же голос, убивавший меня своей рассудительностью.— Мы к тебе по-человечески... Просто, жалко зря добро портить — мы и спросили... Что ж, тебе трудно сказать, где ключи? Должен бы понимать...

— Не желаю я с такими жуликами в разговоры пускаться,— с сердцем крикнул я.

— Эх, барин... Что ж ты думаешь, за такие твои слова так тебе ничего и не будет? Да вот сейчас возьму, вынy перочинный ножик и всю мягкую мебель в один момент изрежу. И стол изрежу, и шкаф. К черту будет годиться твой кабинет... Ну, хочешь?

— Страшный вы человек, ей-Богу,— сказал я примирительно.— Должны бы, кажется, войти в мое положение. Забираетесь ко мне в дом, разоряете меня, да еще хотите, чтобы я с вами, как с маркизами, разговаривал.

— Милый человек! Кто тебя разоряет? Подумаешь, большая важность, если чего-нибудь не досчитаешься. Нам-то ведь тоже жить нужно.

— Я это прекрасно понимаю. Очень даже прекрасно,— согласился я, перекладывая трубку в левую руку и прижимая правую, для большей убедительности, к сердцу.— Очень хорошо я все это понимаю. Но одного не могу понять: для чего вам бесцельно портить мои вещи? Какая вам от этого прибыль?

— А ты не ругайся!

— Я и не ругаюсь. Я вижу — вы умные, рассудительные люди. Согласен также с тем, что вы должны что-нибудь получить за свои хлопоты. Ведь, небось, несколько дней следили за мной, а?

— А еще бы!.. Ты думаешь, что все так сразу делается?

-- Понимаю! Милые! Прекрасно понимаю! Только одного не могу постичь: для чего вам ключи от письменного стола?

— Да деньги-то... Разве не в столе?

— Ничего подобного! Напрасный труд! Заверяю вас честным словом.

— А где же?

— Да, признаться, деньги у меня припрятаны довольно прочно, только денег немного. Вы, собственно, на что рассчитываете, скажите мне, пожалуйста?

— То есть, как?

— Ну... что вы хотите взять?

— Да что ж!.. Много ведь не унесешь,— сказал голос с искренним сожалением.— Сами знаете, дворник всегда с узлом зацепить может. Взяли мы, значит, кое-что из столового серебра, пальто, шапку, часы-будильник, пресс-папье серебряное...

— Оно не серебряное,— дружески предостерег я.

— Ну, тогда шкатулочку возьмем. Она, поди, не дешевая. А?

— Послушайте... братцы! — воскликнул я, вкладывая в эти слова всю силу убеждения.— Я вхожу в ваше положение и становлюсь на вашу точку зрения... Ну, повезло вам, выследили, забрались... Ваше счастье! Предположим, заберете вы эти вещи и даже пронесете их мимо дворника. Что же дальше?! Понесете вы их, конечно, к скупщику краденого и, конечно, получите за это гроши. Ведь я же знаю этих вампиров. На вашу долю приходится риск, опасность, побои, даже тюрьма, а они сидят, сложа руки, и забирают себе львиную долю.

— Это верно,— сочувственно поддакнул голос.

— А еще бы же не верно! — вскричал я в экстазе.— Конечно, верно. Это проклятый капиталистический принцип — жить на счет труда... Поймите: разве вы грабите? Вас грабят! Вы разве наносите вред? Нет, эти вампиры в тысячу раз вреднее!! Товарищ! Дорогой друг! Я вам сейчас говорю от чистого сердца: мне эти вещи дороги, по разным причинам, а без будильника я даже завтра просплю. А что вы выручите за них? Гроши!! Вздор. Ведь вам и полсотни не дадут за них.

— Где там! — послышался сокрушенный вздох.— Дай Бог четвертную выцарапать.

— Дорогие друзья!! Я вижу, что мы уже понимаем друг друга. У меня дома лежат деньги — это верно — сто пятнадцать рублей. Без меня вы их все равно не найдете. А я вам скажу, где они. Забирайте себе сто рублей (пятнадцать мне завтра на расходы нужно) и уходите. Ни заявлений в полицию, ни розы-

сков не будет. Это просто наше частное товарищеское дело, которое никого не касается. Хотите?

— Странно это как-то,— нерешительно сказал вор (если бы я его видел, то добавил бы: «почесывая затылок», потому что у него был тон человека, почесывающего затылок).— Ведь мы уже все серебро увязали.

— Ну, что ж делать... Оставьте его так, как есть... Я потом разберу.

— Эх, барин,— странно колеблясь, промолвил вор.— А ежели мы и деньги ваши заберем, и вещи унесем, а?

— Милые мои! Да что вы, звери, что ли? Тигры? Я уверен, что вы оба в глубине души очень порядочные люди... Ведь так, а?

— Да ведь знаете... Жизнь наша такая собачья.

— А разве ж я не понимаю?! Господи! Истинно сказали: собачья. Но я вам верю, понимаете — верю. Вот, если вы мне дадите честное слово, что вещей не тронете — я вам прямо и скажу: деньги там-то. Только вы же мне оставьте пятнадцать рублей. Мне завтра нужно. Оставите, а?

Вор сконфуженно засмеялся и сказал:

— Да ладно. Оставим.

— И вещей не возьмете?

— Да уж ладно. Пусть себе лежат. Это верно, что с ними наплачешься.

— Ну, вот и спасибо. На письменном столе стоит коробка для конвертов, голубая. Сверху там конверты и бумага, а внизу деньги. Четыре двадцатипятирублевки и три по пяти. Согласитесь, что вам бы и в голову не пришло заглянуть в эту коробку. Ну, вот. Не забудьте погасить электричество, когда уйдете. Вы через черный ход прошли?

— Так точно.

— Ну, вот. Так вы, уходя, заприте, все-таки, дверь на ключ, чтобы кто-нибудь не забрался. Ежели дворник наткнется на лестнице — скажите: «корректуру приносили». Ко мне часто носят. Ну, теперь, кажется, все. Прощайте, всего вам хорошего.

— А ключ куда положить от дверей?

— В левый угол, под вторую ступеньку. Будильник не испортили?

— Нет, в исправности.

— Ну, и слава Богу. Спокойной ночи вам.

* * *

Когда я вернулся домой, в столовой на столе лежал узел с вещами, возле него — три пятирублевых бумажки и записка:

«Будильник поставили в спальню. На пальто воротник моль съела. Взбутеньте прислугу. Смотрите же — обещали не заявлять! Гриша и Сергей».

* * *

Все друзья мои в один голос говорят, что я умею прекрасно устраиваться в своей обычной жизни.

Не знаю. Может быть. Может быть.

Американец

В этом месте река делала излучину, так что получалось нечто вроде полуострова.

Выйдя из лесной чащи и увидев вдали блестевшие на солнце куски реки, разорванной силуэтами древесных стволов, Стрекачев перебросил ружье на другое плечо и отер платком пот со лба.

Тут-то он и наткнулся на корявого мужичонку, который, сидя на пне сваленного дерева, весь ушел в чтение какого-то обрывка газеты.

Мужичонка, заслышав шаги, отложил в сторону газету, вздел на лоб громадные очки и, стащив с головы неопределенной формы и вида шляпчонку, поклонился Стрекачеву.

— Драсти.

— Здравствуй, братец. Заблудился я, кажется.

— А вы откуда будете?

— На даче я. В Овсянкине. Оттуда.

— Верстов восемь будет отселева...

Он пытливо взглянул на усталого охотника и спросил:

— Ничего вам не потребуется?

— А что?

— Да, может, что угодно вашей милости, так есть.

— Да ты кто такой?

— Арендатель, — солидно отвечал мужичонка, переступив с ноги на ногу.

— Эту землю арендуешь?

— Так точно.

— Что ж, хлеб тут сеешь, что ли?

— Где уж тут хлеб, ваша милость! И в заводе хлебов не было. Всякой дрянью поросло,— ни тебе дерева настоящие, ни тебе луга настоящие. Бурелом все, валежник, сухостой.

— Да что ж ты тут... грибы собираешь, ягоды?

— Нету тут настоящего гриба. И ягоды тоже, к слову сказать, черт-ма.

— Вот чудак,— удивился Стрекачев.— Зачем же ты тогда эту землю арендуешь?

— А это, как сказать, ваше благородие, всяка земля человеку на потребу дана и ежели произрастание не происходит, то, как говорится, человек не мытьем, так катаньем должон хлеб свой соблюдать.

Эту невразумительную фразу мужичонка произнес очень внушительно и даже разгладил корявой рукой крайне скудную бороду, напоминавшую своим видом унылое «арендованное» место: ни тебе волосу, ни тебе гладкого места,— один бурелом да сухостой.

— Так с чего ж ты живешь?

— Дачниками кормлюсь.

— Работаешь на них, что ли?

Хитрый смеющийся взгляд мужичонки обшарил лицо охотника, и ухмыльнулся мужичонка лукаво, но добродушно.

— Зачем мне на них работать! Они на меня работают.

— Врешь ты все, дядя,— недовольно пробормотал охотник Стрекачев, вскидывая на плечо ружье и собираясь уходить.

— Нам врать нельзя,— возразил мужичонка.— Зачем врать! За это тоже не похвалят. Баб обожаете?

— Что?

— Некоторые из нашего полу до удивления баб любят.

— Ну?

— Так вот я, можно сказать, по этой бабьей части.

— Кого?!!

— А это мы вам сейчас скажем — кого...

Мужичонка вынул из-за пазухи серебряные часы, открыл их и, приблизив к глазам, погрузился в задумчивость... Долго что-то соображал.

— Шестаковская барыня, должно, больны нынче, потому пять ден, как не показываются, значит, что же сейчас выходит? Так что, я думаю, время сейчас Маслобоевым — дачницам и Огрызкиным; у Маслобоевых-то вам кроме губернанки профиту никакого, потому сама худа, как палка, а дочки опять же такая мелкота, что и внимания не стоющие. А вот Огрызкиной госпожой довольны останетесь. Дама в самой красоте, и костюмчик я им через горничную Агашу подсунул такой, что отдай все да и мало. Раньше-то у нее что-то такое надевыва-

лось, что и не разберешь: не то армячок со сборочкой, не то как в пальте оно выходило. А ежели без обтяжки — мои господа очень даже как обижаются. Не антиресно, вишь. А мне что?.. Да моя бы воля, так я безо всего, как говорится. Убудет их, что ли? Верно я говорю?

— Черт тебя разберет, что ты говоришь,— рассердился охотник.

— Действительно,— согласился мужичонка.— Вам не понятно, как вы с дальних дач, а наши Окромчеделовские меня ни в жисть не забывают. «Еремей, нет ли чего новенького? Еремей, не освежился ли лепретуарчик. Да я на эту, может, хочу глянуть, а на ту не хочу, да куда делась та, да что делает эта?» Одним словом, первый у них я человек.

— У кого?

— А у дачников.

— Вот у тех, что за рекой?

— Зачем у тех? Те ежели бы узнали — такую бы мятку мне задали, что до зеленых веников не забудешь. А я опять же говорю об Окромчеделовских. Тут за этим бугром их штук сто, дач-то. Вот и кормлюсь от них.

— Да чем же ты кормишься, шут гороховый?!

Мужичонка почесал затылок.

— Экой ты непонятный! Как да что... Посадишь барина в яму — ну, значит, и живи в свое удовольствие. Смотря, конешно, за что и платят. За Огрызкинскую барыню я, брат, меньше целкового никак не возьму; Шестеренкины девицы тоже — на всякий скус потрафют,— рупь с четвертаком грех взять за этакую видимость али нет? Дрягина госпожа, Семененко, Косогорова, Лякина... Мало ли.

— Ты что же, значит,— сообразил Стрекачев,— купальщиц на своей земле показываешь?

— Во-во. Их, значит, тот берег, а мой, значит, этот. Им убытку никакого, а мне хлеб.

— Вот, каналья,— рассмеялся Стрекачев.— Как же ты дошел до этого?

— Да ведь это, господин, кому какие мозги от Богаladены... Иду я о прошлом годе к реке рыбку поудить — гляжу, что за оказия! Под одним кустом дачник белеется, под другим кустом дачник белеется. И у всякого бинокль из глаз торчит. Сдурели они, думаю, что ли. Тогда-то я еще о биноклях и не слыхивал. Ну, подхожу, значит, к реке поближе... Эге-ге, вижу. Тут тебе и блюнетки, и блондинки, и толстые, и тонкие, и старые, и малые. Вот оно что! Ну, как значит, я во всю фигуру на берегу объявился — они и подняли визг: «Убирайся, такой-ся-

кой, вон, как смеешь!..» И-и расстрекотались! С той поры я, значит, умом и вошел в соображение.

— Значит, ты специально для этого и землю заарендовал?

— Специяльно. Шестьдесят рублей в лето отвалил. Ловко? Да биноклей четыре штуки выправил, да кустов насажал, да ям нарыл — прямо удобство во какое. Сидишь эт-то в прохладе, в яме на скамеечке, слева пива бутылка (от себя держу: не желаете ли? Четвертак всего разговору), слева, значит, пива бутылка, справа папиросы...— живи не хочу!

Охотник Стрекачев постучал ружьем о свесившуюся ветку дерева и, как будто вскользь, спросил:

— А хорошо видно?

— Да уж ежели с биноклем, прямо вот — рукой достанешь! И кто только это бинокли выдумал,— памятник бы ему!.. Может, полюбопытствуете?

— Ну, ты скажешь тоже,— ухмыльнулся конфузливо охотник.— А вдруг увидят оттуда?

— Никак это невозможно! Потому так уж у меня пристроено. Будто куст; а за кустом яма, а в яме скамеечка. Чего ж, господин... попробуйте. Всего разговору (он приложил руку щитком и воззрился острым взглядом на противоположный берег, где желтела купальня)... всего и разговору на рупь шестьдесят!

— Это еще что за расчет?!

— Расчеты простые, ваше благородие: Огрызкинская госпожа теперь купается — дамы замечательные, сами извольте взглянуть — рупь, потом Дрягина с дочкой на пятиалтынный разговору, ну и за губернанку Лавровскую дешевле двух двугривенных положить никак невозможно. Хучь они и губернанки, а благородным ни в чем не уступят. Костюмишко такой, что, все равно, его бы и не было...

— А ну-ка... ты... тово...

— Вот сюда, ваше благородие, пожалуйте, здесь две ступенечки вниз... Головку тут наклоните, чтоб оттелева не приметили. Вот-с так. А теперь можете располагаться... Пивка не прикажете ли молодненького? Сей минутой бинокль протру, запотел что-то... Извольте взглянуть.

. . . .

Смеркалось...

Усталый, проголодавшийся, выполз Стрекачев из своего убежища и, отыскав ружье, спросил корявого мужичонку, сладко дремавшего на поваленном дереве:

— Сколько с меня?

— Шесть рублей двадцать, ваше благородие, да за пиво полтинничек.

— Шесть рублей двадцать?! Это за что же такое столько? Наверно, жульничаешь.

— Помилуйте-с... Огрызкинскую госпожу положим рупь, да губернанка в полтинник у нас завсегда идет, да Дрягина — я уж мелюзги и не считаю, — да Синяковы трое с бабушкой, да...

— Ну, ладно, ладно... Пошел высчитывать всякую чепуху!.. Получай!

— Счастливо оставаться! Благодарим покорниче!..

И подмигнув очень интимно, корявый мужичонка шепнул:

— А в третьем и пятом номере у меня с обеда наши Окромчеделовские сидят. Уж и темно совсем, а их никак не выкуришь. Веселые люди, дай им Бог здоровья. Счастливо оставаться!

Телеграфист Надькин

I

Солнце еще не припекало. Только грело.

Его лучи еще не ласкали жгучими ласками, подобно жадным рукам любовницы; скорее, нежная материнская ласка чувствовалась в теплых касаниях нагретого воздуха.

На опушке чахлого леса, раскинувшись под кустом на пригорке, благодушествовали двое: бывший телеграфист Надькин и Неизвестный человек, профессия которого заключалась в продаже горожанам колоссальных миллионных лесных участков в Ленкорани на границе Персии. Так как для реализации этого дела требовались сразу сотни тысяч, а у горожан были в карманах, банках и чулках лишь десятки и сотни рублей, то ни одна сделка до сих пор еще не была заключена, кроме взятых Неизвестным человеком двугривенных и полтинников заимообразно от лиц, ослепленных ленкоранскими миллионами.

Поэтому Неизвестный человек всегда ходил в сапогах, подметки которых отваливались у носка, как челюсти старых развратников, а конец пояса, которым он перетягивал свой стан, облеченный в фантастический бешмет, — этот конец делался все длиннее и длиннее, хлопая даже по коленям подвижного Неизвестного человека.

В противовес своему энергичному приятелю — бывший телеграфист Надькин выказывал себя человеком ленивым, ма-

лоподвижным, с определенной склонностью к философским размышлениям.

Может быть, если бы он учился, из него вышел бы приличный приват-доцент.

А теперь, хотя он и любил поговорить, но слов у него, вообще, не хватало, и он этот недостаток восполнял такой страшной жестикуляцией, что его жилистые, грязные кулаки, кое-как прикрепленные к двум вялым рукам-плетям, во время движения издавали даже свист, как камни, выпущенные из пращи.

Грязная форменная тужурка, обтрепанная, с громадными вздутиями на тощих коленях, брюки и фуражка с полуоторванным козырьком — все это, как пожар — Москве, служило украшением Надькину.

II

Сегодня, в ясный пасхальный день, друзья наслаждались в полном объеме: солнце грело, бока нежила светлая весенняя, немного примятая травка, а на разостланной газете были разложены и расставлены, не без уклона в сторону буржуазности, полдюжины крашеных яиц, жареная курица, с пол-аршина свернутой бубликом «малороссийской» колбасы, покрившийся от рахита кулич, увенчанный сахарным розаном, и бутылка водки.

Ели и пили истово, как мастера этого дела. Спешить было некуда; отдаленный перезвон колоколов навевал на душу тихую задумчивость, и, кроме того, оба чувствовали себя по-праздничному, так как голову Неизвестного человека украшала новая барашковая шапка, выменянная у ошалевшего горожанина чуть ли не на сто десятин ленкоранского леса, а телеграфист Надькин украсил грудь букетом подснежников и, кроме того, еще с утра вымыл руки и лицо.

Поэтому оба и были так умилительно-спокойны и неторопливы.

Прекрасное должно быть величаво...

Поели...

Телеграфист Надькин перевернулся на спину, подставил солнечным лучам сразу сбежавшуюся в мелкие складки прищуренную физиономию и с негой в голосе простонал:

— Хо-ро-шо!

— Это что,— мотнул головой Неизвестный человек, шлепая ради забавы отклеившейся подметкой.— Разве так бывает хорошо? Вот когда я свои ленкоранские леса сплавлю,— вот

жизнь пойдет. Оба, брат, из фрака не вылезем... На шампанское чихать будем. Впрочем, продавать не все нужно: я тебе оставлю весь участок, который на море, а себе возьму на большой дороге, которая на Тавриз. Ба-альшие дела накрутим.

— Спасибо, брат,— разнеженно поблагодарил Надькин.— Я тебе тоже... Гм!.. Хочешь папироску?

— Дело. Але! Гоп!

Неизвестный поймал брошенную ему папироску, лег около Надькина, и синий дымок поплыл, сливаясь с синим небом...

III

— Хо-рррo-шо! Верно?

— Да.

— А я, брат, так вот лежу и думаю: что будет, если я помру?

— Что будет? — хладнокровно усмехнулся Неизвестный человек.— Землетрясение будет!.. Потоп! Скандал!.. Ничего не будет!!

— Я тоже думаю, что ничего,— подтвердил Надькин.— Все тоже сейчас же должно исчезнуть — солнце, земной шар, пароходы разные — ничего не останется!

Неизвестный человек поднялся на одном локте и тревожно спросил:

— То есть... Как же это?

— Да так. Пока я жив, все это для меня и нужно, а раз помру,— на кой оно тогда черт!

— Постой, брат, постой... Что это ты за такая важная птица, что раз помрешь, так ничего и не нужно?

Со всем простодушием настоящего эгоиста Надькин повернул голову к другу и спросил:

— А на что же оно тогда?

— Да ведь другие-то останутся?!

— Кто другие?

— Ну, люди разные... Там, скажем, чиновники, женщины, министры, лошади... Ведь им жить надо?

— А на что?

— «На что, на что»! Плевать им на тебя, что ты умер. Будут себе жить, да и все.

— Чудак! — усмехнулся телеграфист Надькин, нисколько не обидясь.— Да на что же им жить, раз меня уже нет?

— Да что ж они для тебя только и живут, что ли? — с горечью и обидой в голосе вскричал продавец ленкоранских лесов.

— А то как же? Вот чудак — больше им жить для чего же?

— Ты это... Серьезно?

Злоба, досада на наглость и развязность Надькина закипели в душе Неизвестного. Он даже не мог подобрать слов, чтобы выразить свое возмущение, кроме короткой мрачной фразы:

— Вот сволочь!

Надькин молчал.

Сознание своей правоты ясно виднелось на лице его.

IV

— Вот нахал! Да что ж ты, значит, скажешь: что вот сейчас там в Петербурге или в Москве, — генералы разные, сенаторы, писатели, театры — все это для тебя?

— Для меня. Только их там сейчас никого нет. Ни генералов, ни театров. Не требуется.

— А где же они?! Где?!!

— Где? Нигде.

— ?!! ?!!

— А вот если я, скажем, собрался, в Петербург проехал, — все бы они сразу и появились на своих местах. — Приехал, значит, Надькин, и все сразу оживилось: дома выскочили из земли, извозчики забегали, дамочки, генералы, театры заиграли... А как уеду — опять ничего не будет. Все исчезнет.

— Ах, подлец!.. Ну, и подлец же... Бить тебя за такие слова — мало. Станут ради тебя генералов, министров затруднять. Что ты за цаца такая?

Тень задумчивости легла на лицо Надькина.

— Я уже с детства об этом думаю: что ни до меня ничего не было, ни после меня ничего не будет... Зачем? Жил Надькин — все было для Надькина. Нет Надькина — ничего не надо.

— Так почему же ты, если ты такая важная персона, — не король какой-нибудь или князь?!

— А зачем? Должен быть порядок. И король нужен для меня, и князь. Это, брат, все предусмотрено.

Тысяча мыслей терзала немного охмелевшую голову Неизвестного человека.

— Что ж, по-твоему, — сказал он срывающимся от гнева голосом, — сейчас и города нашего нет, если ты из него вышел?

— Конечно, нет.

— А посмотри, вон колокольня... Откуда она взялась?

— Ну, раз я на нее смотрю, — она, конечно, и появляется. А раз отвернусь — зачем ей быть? Для чего?



— Вот свинья! А вот ты отвернись, а я буду смотреть — посмотрим, исчезнет она или нет?

— Незачем это,— холодно отвечал Надькин.— Разве мне не все равно — будет тебе казаться эта колокольня или нет?

Оба замолчали.

V

— Постой, постой,— вдруг горячо замахал руками Неизвестный человек.— А я, что ж, по-твоему, если умру... Если раньше тебя — тоже все тогда исчезнет?

— Зачем же ему исчезать,— удивился Надькин,— раз я останусь жить?! Если ты помрешь — значит, помер просто, чтобы я это чувствовал и чтоб я поплакал над тобой.

И, встав с земли и стоя на коленях, спросил ленкоранский лесоторговец сурово:

— Значит, выходит, что и я только для тебя существую, значит, и меня нет, ежели ты на меня не смотришь?

— Ты? — нерешительно промямлил Надькин.

В душе его боролись два чувства: нежелание обидеть друга и стремление продолжить до конца, сохранить всю стройность своей философской системы.

Философская сторона победила:

— Да! — твердо сказал Надькин. — Ты тоже. Может, ты и появился на свет для того, чтобы для меня достать кулич, курицу и водку и составить мне компанию.

Вскочил на ноги ленкоранский продавец... Глаза его метали молнии. Хрипло вскричал:

— Подлец ты, подлец, Надькин! — Знать я тебя больше не хочу! Извольте видеть — мать меня на что рожала, мучилась, грудью кормила, а потом беспокоилась и страдала за меня?! Зачем? Для чего? С какой радости?.. Да для того, видите ли, чтобы я компанию составил безработному телеграфистишке Надькину? А? Для него я рос, учился, с ленкоранскими лесами дело придумал, у Гигикина курицу и водку на счет лесов скомбинировал. Для тебя? Провались ты! Не товарищ я тебе больше, чтобы тебе лопнуть!

Нахлобучив шапку на самые брови и цепляясь полуоторванной подметкой о кочки, стал спускаться Неизвестный человек с пригорка, направляясь к городу.

А Надькин печально глядел ему вслед и, сдвинув упрямо брови, думал по-прежнему, как всегда он думал:

— Спустится с пригорка, зайдет за перелесок и исчезнет... Потому, раз он от меня ушел — зачем ему существовать? Какая цель? Хо!

И сатанинская гордость расширила болезненное, хилое сердце Надькина и освещала лицо его адским светом.

Новогодний тост

(монолог)

— Господа!

Предыдущий застольный оратор высказал такое пожелание: «Поздравляю, мол, вас с Новым годом и желаю, чтобы в Новом году было все новое!»

Так сказал предыдущий оратор.

Мысль, конечно, не новая... (Саня, налей мне, я хочу говорить.) Не новая. Скажу более: мысль, высказанная предыдущим оратором, стара, истаскана, как стоптанный башмак, — да простит мне предыдущий оратор это тривиальное выражение. Что? (Саня, налей мне еще — я буду говорить. Я хочу говорить.) И, вместе с тем, скажу я: почему нам не приветствовать старой, даже, может быть, пошлой — да простит мне предыдущий оратор — мысли, если эта мысль верна?!! Что? Очень про-

сто. (Саня, чего заснул? Налить бы надо, а ты спишь.) То-то и оно.

Я и говорю: пусть же в Новом году будет все новое, все молодое, все свежее. (Саня! Ну?) Конечно, всего не омолодишь... Вон у Сергея Христофорыча лысина во всю голову — что с ней сделаешь? Не сеять же на ней, извините, горох или какое-нибудь пшено. Что? Извините, я не настаиваю. Я только хочу сказать, что в природе чудес не бывает.

Но я настаиваю, что все больное, хилое должно отмереть. Верно? (Спасибо, Саня. Осторожнее... На скатерть!) Вон у Петра Васильевича вата в ушах, у Мелетии Семеновны за пазухой, а у предыдущего оратора вата, может быть, в голове — борись-ка с этим! (Не толкайся, Саня! Я должен нынче высказать все.)

Господа!

Да здравствует новое! Вот, например, у меня на салфетке дыра... К чему она? Куда она? Я прошу у хозяйки извинения, но так же нельзя! Я хочу утереть губы салфеткой, беру ее в руки — и что же? Рука попадает в эту дыру, и я вытираю губы незащищенной рукой. К чему же тогда салфетка? Фикция! Оптический обм... (Саня, Саня! Ты совсем не занимаешься физическим трудом — налей!) Мне вспомнился, господа, презабавный случай с одним английским пуделем... Нет, впрочем, это не то... Гм!..

Предыдущий оратор — глуп, но какой-то нерв уловил. Ты мне начинаешь нравиться, предыдущий оратор! «Все, говорит, в Новом году должно быть новое...» И верно!

У вас, например, — как вас там, Агния Львовна, что ли?.. — есть дети. Так? Что же это за дети? Это старые дети... Верно я говорю? К черту же их! В воду надо, в мешок, как котят. Надо новых. (Саня, не надо смеяться; надо плакать. Слезы очищают. Эх, господа!)

Я вам расскажу такую историю. У одного англичанина был пудель; и вот этот пудель... Впрочем, пардон — тут дамы... Я лучше продолжу свою мысль о новом. Все, все, все, все должно быть новое. Предыдущий оратор, может быть, не вылезал из приюта для безнадежных идиотов, но, господа! Ведь и устами паралитиков иногда глаголет истина. (Саша, Саша!..) Все новое!

Марья Кондратьевна! Я уже давно замечаю, что у вас, не при муже будет сказано, — один и тот же возлюбленный. Второй год... Боже, Боже! Переменить! Пардон, пардон... Я ведь себя не предлагаю! Я говорю лишь ака.. академически. Представьте себе: у одного англичанина была собака, пудель...



Впрочем, к черту собаку... Чего она тут путается? (Саша, прогони!) Господа, не надо собак... Я ведь и против предыдущего оратора ничего не имею. Он жалкий, несчастненький человек — его пожалеть надо. Саша, передай ему от меня копеечку.

Но сказано этим мозгляком хорошо! Верно! Все новое! Все. Простите, сударыня. Я, кажется, облил вам платье? Ничего. Новое купите. По этому поводу один англичанин, у которого был пудель, собака такая... Опять этот пудель? Да прогоните же, господа, ради бога, собаку! Ну чего она тут под ногами путается? Даже обидно!

Прекратим же все это по случаю Нового года. Пусть все будет по-новому. (Спасибо, спасибо, Саня... Там уже край стакана — больше не войдет.) Все новое! Между нами, господа, есть взяточники, шулера — бросим это! Как сказал тот англичанин, у которого был пудель. У этого пуделя... Какой пудель?! Опять эта проклятая собака тут?! Да прогоните же, черт побери!! Предыдущий оратор свинья — сделайся же ты, наконец, оратор, человеком! Начнем, наконец! Вот, глядите на меня: у меня в руках бутылка старого вина, напротив меня висит старинная картина... Что же я делаю! Р-р-раз! Вот теперь после этого и должно быть: новое вино, новая картина!.. Что-о? Саня, Саня! Не допускай! Не допускай, Саня!

Я еще про пуделя хочу. У одного англича...

Эх! Вывели... Вывели, как какое-нибудь ничтожное пятно на скатерти!

Грустно... чрезвычайно грустно! Ну, что ж... Пророков всегда гнали...

Роковой Воздуходуев

Наклонившись ко мне, сверкая черными глазами и страдальчески искривив рот, Воздуходуев прошептал:

— С ума ты сошел, что ли? Зачем ты познакомил свою жену со мной?!

— А почему же вас не познакомить? — спросил я удивленно.

Воздуходуев опустился в кресло и долго сидел так, с убитым видом.

— Эх! — простонал он. — Жалко женщину.

— Почему?

— Ведь ты ее любишь?

— Ну... конечно.

— И она тебя?

— Я думаю.

— Что ж ты теперь наделал?

— А что?!

— Прахом все пойдет. К чему? Кому это было нужно? И так в мире много слез и страданий... Неужели еще добавлять надо?

— Бог знает что ты говоришь, — нервно сказал я. — Какие страдания?

— Главное, ее жалко. Молодая, красивая, любит тебя (это очевидно) и... что ж теперь? Дернула тебя нелегкая познакомить нас...

— Да что с ней случится?!!

— Влюбится.

— В кого?

Он высокомерно, с оттенком легкого удивления поглядел на меня:

— Неужели ты не понимаешь? Ребенок маленький, да? В меня.

— Вот тебе раз! Да почему же она в тебя должна влюбиться?

Удивился он:

— Да как же не влюбиться? Все влюбляются. Ну, рассуждай ты логично: если до сих пор не было ни одной встреченной мною женщины, которая в меня бы не влюбилась, то почему твоя жена должна быть исключением?

— Ну, может быть, она и будет исключением.

Он саркастически усмехнулся. Печально поглядел вдаль.

— Дитя ты, я вижу. О, как бы я хотел, чтобы твоя жена была исключением... Но — увы! Исключения попадаются только в романах. Влюбится, брат, она. Влюбится. Тут уж ничего не поделаешь.

— Пожалел бы ты ее,— попросил я.

Он пожал плечами.

— Зачем? От того, что я ее пожалею, чувства ее ко мне не изменятся. Ах! Зачем ты нас познакомил, зачем познакомил?! Какое безумие!

— Но, может быть... Если вы не будете встречаться...

— Да ведь она меня уже видела?

— Видела.

— Ну, так при чем тут «не встречаться»?

Лицо мое вытянулось.

— Действительно... Втяпались мы в историю.

— Я ж говорю тебе!

Тяжелое молчание. Я тихо пролепетал:

— Воздуходуев!

— Ну?

— Если не ее, то меня пожалей.

В глазах Воздуходуева сверкнул жестокий огонек.

— Не пожалею. Пойми же ты, что я не господин, а раб своего обаяния, своего успеха. Это — тяжелая цепь каторжника, и я должен влачить ее до самой смерти.

— Воздуходуев! Пожалей!

В голосе его сверкнул металл:

— Н-нет!

В комнату вошла молодая барышня, хрупкого вида блондинка с раз навсегда удивленными серыми глазами.

— Анна Лаврентьевна! — встал ей навстречу Воздуходуев.— Отчего вы не пришли ко мне?

— Я? К вам? Зачем?

— Женщина не должна спрашивать: «Зачем?» Она должна идти к мужчине без силы и воли, будто спящая с открытыми глазами, будто сомнамбула.

— Что вы такое говорите, право? Как так я пойду к вам ни с того, ни с чего.

— Слабеет,— шепнул мне Воздуходуев.— Последние усилия перед сдачей.

И отчеканил ей жестким металлическим тоном:

— Я живу: Старомосковская, семь. Завтра в три четверти девятого. Слышите?

Анна Лаврентьевна бросила взгляд на меня, на Воздуходуева, на вино, которое мы пили, пожала плечами и вышла из комнаты.

— Видал? — нервно дернув уголком рта, спросил Воздуходуев.— Еще одна. И мне жалко ее. Барышня, дочь хороших родителей... А вот, поди ж ты!

— Неужели придет?!

— Она-то? Побежит. Сначала, конечно, борьба с собой, колебания, слезы, но по мере приближения назначенного часа — роковые для нее слова: «Воздуходуев, Старомосковская, семь» — эти роковые слова все громче и громче будут звучать в душе ее. Я вбил их, вколотил в ее душу — и ничто, никакая сила не спасет эту девушку.

— Воздуходуев! Ты безжалостен.

— Что ж делать. Мне ее жаль, но... Я думаю, господь Бог сделал из меня какое-то орудие наказания и направляет это орудие против всех женщин.— Он горько, надтреснуто засмеялся.— Аттила, бич Божий.

— Ты меня поражаешь! В чем же разгадка твоего такого страшного обаяния, такого жуткого успеха у женщин?

— Отчасти наружность,— задумчиво прошептал он, поглаживая себя по впалой груди и похлопывая по острым коленям.— Ну, лицо, конечно, взгляд.

— У тебя синее лицо,— заметил я с оттенком почтительного удивления.

— Да. Брюнет. Частое бритье. Иногда это даже надоедает.

— Бритье?

— Женщины.

— Воздуходуев!.. Ну, не надо губить мою жену, ну, пожалуйста.

— Тссс! Не будем говорить об этом. Мне самому тяжело. Постой, я принесу из столовой другую бутылку. Эта суха, как блеск моих глаз.

* * *

Следующую бутылку пили молча. Я думал о своем неприветливом суровом будущем, о своей любимой жене, которую должен потерять,— и тоска щемила мое сердце.

Воздуходуев, не произнося ни слова, только поглядывал на меня да потирал свой синий жесткий подбородок.

— Ах! — вздохнул я наконец. — Если бы я пользовался таким успехом...

Он странно поглядел на меня. Лицо его все мрачнело и мрачнело — с каждым выпитым стаканом.

— Ты бы хотел пользоваться таким же успехом?

— Ну конечно!

— У женщин?

— Да.

— Не пожелал бы я тебе этого.

— Беспокойно?

Он выпил залпом стакан вина, со стуком поставил его на стол, придвинулся, положил голову ко мне на грудь и после тяжелой паузы сказал совершенно неожиданно:

— Мой успех у женщин? Хоть бы одна собака посмотрела на меня! Хоть бы кухарка какая-нибудь подарила меня любовью... Сколько я получил отказов! Сколько выдержал насмешек, издевательств... Били меня. Одной я этак-то сообщил свой адрес, по обыкновению гипнотизируя ее моим властным тоном, а она послушала меня, послушала, да — хлоп! А сам я этак вот назначу час, дам адрес и сижу дома, как дурак: а вдруг, мол, явится.

— Никто не является? — сочувственно спросил я.

— Никто. Ни одна собака. Ведь я давеча при тебе бодрился, всякие ужасы о себе рассказывал, а ведь мне плакать хотелось. Я ведь и жене твоей успел шепнуть роковым тоном «Старомосковская, семь, жду в десять». А она поглядела на меня да и говорит: «Дурак вы, дурак, и уши холодные». Почему уши холодные? Не понимаю. Во всем этом есть какая-то загадка... И душа у меня хорошая, и наружностью я не урод — а вот поди ж ты! Не везет, умом меня тоже Бог не обидел. Наоборот, некоторые женщины находили меня даже изысканно-умным, остроумным. Одна баронесса говорила, что сложен я замечательно — прямо хоть сейчас лепи статую. Да что баронесса! Тут из-за меня две графини перецарапались. Так одна все время говорила, что «вы, мол, едва только прикоснетесь к руке — я прямо умираю от какого-то жуткого, жгучего чувства страсти». А другая называла меня «барсом». Барс, говорит, ты этакий. Ей-Богу. И как странно: только что я с ней познакомился, адреса даже своего не дал, а она сама вдруг: «Я, говорит, к вам приеду. Не гоните меня! Я буду вашей рабой, слугой, на коленях за вами поползу...» Смешные они все. Даве-

ча и твоя жена. «От вас, говорит, исходит какой-то ток. У вас глаза холодные, и это меня волнует...»

После долгих усилий я уловил-таки взгляд Воздуходуева. И снова читалось в этом взгляде, что Воздуходуев уже устал от этого головокружительного успеха и что ему немного жаль взбалмошных, безвольных, как мухи к меду льнущих к нему женщин...

С некоторыми людьми вино делает чудеса.

Семь часов вечера

Иногда мы, большие, взрослые люди, бородатые, усатые, суровые, с печатью важности на лице, вдруг ни с того ни с сего становимся жалкими, беспомощными, готовыми расплакаться от того, что мама уехала в гости, а нянька ушла со двора, оставив нас в одиночестве в большой полутемной комнате.

Жалко нам себя, тоскливо до слез, и кажется нам, что мы одиноки и заброшены в этом странно молчащем мире, ограниченном четырьмя сумрачными стенами.

Почему-то это бывает в сумерки праздничного дня, когда все домашние разбредаются в гости или на прогулку, а вы остались один и долго сидите так, без всякого дела. Забившись в темный угол комнаты и остановив пристальный взгляд на двух светло-серых четырехугольниках окон, сидите вы с застывшими, как холодная лава, мыслями — тихий, покорный и бесконечно одинокий.

Заметьте: в это время непременно где-то этажом выше робкие женские руки трогают клавиши рояля, и вы вливаете свою застывшую грусть в эти неуверенные звуки, и эти неуверенные звуки крепко сплетаются с вашей грустью. Мелодия почти не слышна. До вас доносится только отчетливый аккомпанемент, и от этого одиночество еще больше. Оно, впрочем, от всего больше — и от того, что улица за серыми окнами дремлет, молчаливая, и от того, что улица вдруг оглашается недоступной вашему сердцу речью двух неведомых вам пешеходов, отчетливо стучащих четырьмя ногами и двумя палками по заснувшим тротуарным плитам:

«— ...А что же Спирька на это сказал?

— Вот еще, стану я считаться с мнением Спирьки, этого дурака, который...»

И снова вы застываете, одинокий, так и не узнав, что сказал Спирька и почему с мнением Спирьки не следует считаться. И никогда вы ничего больше не узнаете о Спирьке... Кто он?

чиновник, клубный шулер или просто веснушчатый, краснорукий гимназист выпускного класса?

Никому до вас нет дела. Интересы пешеходов поглощены Спирькой, все домашние ушли, а любимая женщина, наверное, забыла и думать о вас.

Сидите вы, согнувшись калачиком в углу дивана, сбоку или сверху у квартирантов робкие руки отбивают мерный, хватающий за сердце своей определенностью такт, а где-то внизу проходит еще одна пара, и оставляет в ваших мыслях она расплывающийся след, как от брошенного в мертвую воду камня:

«— Нет, этого никогда не будет, Анисим Иваныч...

— Почему же не будет, Катенька? Очень даже обидно это от вас слышать...

— Если бы я еще не знала, что вас...»

И прошли.

Роман, драма, фарс проплыл мимо вас, а вы в стороне, вы никому не нужны, о вас все забыли... Жизнь идет стороной; вы почти как в могиле.

Конечно, можно встать, встряхнуться, надеть пальто, пойти к приятелю, вытащить его и побродить по улицам, оставляя, в свою очередь, в чужих открытых окнах обрывки волнующих вас слов:

«— Ты слишком мрачно глядишь на вещи.

— Это я-то?! Ну, знаешь ли... Ведь она его не любит, ее просто забавляет то, что...»

Конечно, можно самому превратиться в такого пешехода, вырваться из оцепенелых лап тихой печали и одиночества, но не хочется пошевелить рукой, не то что сдвинуться с места.

И сидишь, сидишь, а сердце обливается жалостью к самому себе:

— Забыли!.. Оставили!.. Никому нет до меня дела.

* * *

Я ли один переживаю это или бывает такое же настроение у банкиров, железнодорожных бухгалтеров, цирковых артистов и магазинных продавщиц, оставшихся по случаю праздничных сумерек дома?

О чем же вам-то грустить, далекие неизвестные товарищи по временному одиночеству? Или никакой тут причины и не нужно, а все дело в сумерках, звуках рояля и голосах пешеходов под окнами?

Вот и сегодня: сижу я в сладком оцепенении печали и жалости к самому себе, и рояль рокочет басовыми нотами у верхних квартирантов, и неизвестные мне люди за окном переговариваются о далеких мне делах и интересах...

Все бросили меня, бедного, никому я не нужен, всеми забыт... Плакать хочется.

Даже горничная ушла куда-то. Наверное, подумала: брошу-ка я своего барина, на что он мне — у меня есть свои интересы, а мне до барина нет никакого дела. Пусть себе сидит на диване, как сыч.

Боже ж ты мой, как обидно!

В передней звонок.

О счастье! Неужели обо мне кто-нибудь вспомнил? Неужели я еще не старая кляча, всеми позабытая и оставленная?

Незнакомая барыня в лиловой шляпке входит в мой кабинет, садится на стул, долго осматривает меня при свете зажженных мною ламп.

— Вот вы какой! — говорит она, внимательно меня оглядывая. — Как странно: читаю вас несколько лет, а вижу в первый раз.

Бодрое настроение возвращается ко мне (я не забыт!).

— Читаете несколько лет, а видите в первый раз? Печально, если бы было наоборот, — усмехаюсь я.

— Вы и в жизни такой же веселый, как в ваших рассказах?

— А разве мои рассказы веселые?

— Помилуйте! Иногда, читая их, просто как сумасшедшая смеешься.

— Вот не думал. Когда я пишу свои рассказы, я не подозреваю, что они могут рассмешить.

— Еще как! Вы знаете, почему я пришла к вам? Я пришла поблагодарить вас за хорошие минуты, которые вы доставили мне своими рассказами. Ах, вы так чудно, так чудно пишете...

Почему-то делается жаль уплывших сумерек, гулких шагов и голосов неведомых пешеходов, и рояля, который тоже притих, будто сообразив, что он уже не в тоне сумерек и голосов за окном.

— Некоторые ваши рассказы я прямо наизусть знаю...

— Вы, право, избалуете меня... Ну, какой же рассказ запомнился вам?

— Я как-то не запоминаю заглавий. Одним словом, о чиновнике, который хотел учиться кататься на лошади, а потом упал с нее, и его родственники смеялись над ним, и невеста тоже... отказалась выйти за него замуж.

— Позвольте, сударыня... Да у меня нет такого рассказа.

— Быть не может!

— Уверяю вас.

— Значит, я что-нибудь спутала. Ах, я, знаете, такая рассеянная! Совсем как та старушка в вашем рассказе, которая забыла надеть юбку да так и пошла по улице без юбки. Я страшно смеялась, когда читала этот рассказ.

— Сударыня! У меня и такого рассказа нет!

— Вы меня просто удивляете! Какие же у вас рассказы есть, если того нет, этого нет!.. Ну, есть у вас такой рассказ, как еврейка выколола в шутку сыну глаз, а потом повезла его к зубному доктору?

— Вроде этого: она не выколола сыну глаз, а просто у него заболел глаз; бедная мать в суматохе схватила не того ребенка, завернула его в платок и повезла на последние деньги в другой город к доктору, у которого эта роковая для матери ошибка и обнаружилась.

— Ну да, что-то вроде этого. Мы с сестрой так смеялись...

— Простите, но этот рассказ не смешной; это очень печальная история.

— Да? А мы с сестрой смеялись...

— Напрасно.

Мы молчим.

— Я вам сейчас не помешала?

— Нет.

— Вам, наверное, надоели всякие поклонницы!..

— Нет, что вы! Ничего.

— И вы на меня не смотрите, как на сумасшедшую?..

— Почему же?..

— Вам нравится моя наружность?

— Хорошая наружность.

— Нет, серьезно! Или вы просто из вежливости говорите?

— Зачем же из вежливости?

— Ну вот, вы писатель... Скажите: можно было бы мною серьезно увлечься?

— Отчего же.

— А вдруг вы всем женщинам говорите одно и то же?

— Зачем же всем.

— Я вас видела недавно в театре, и вы мне безумно понравились. Я тогда же решила с вами познакомиться.

— Спасибо.

— В вас есть что-то притягательное. Садитесь сюда.

— Сейчас. В каком театре вы меня видели?

— Это не важно. Вы, наверное, очень избалованы женщинами?

— Нет.

— Вы меня не прогоните, если я еще раз приду? С вами так хорошо... вы какой-то... особенный.

— Да, на это меня взять,— уныло соглашаюсь я.

— Я знакома еще и с другими писателями... С Белясовым.

— Не знаю Белясова.

— Серьезно? Странно. А он вас знает. Он вам страшно завидует. Говорил даже, что вы все ваши рассказы берете из какого-то английского журнала, но я не верю. Врет, я думаю.

— Белясов-то? Конечно, врет.

— Ну, вот видите. Просто завидует. А я вас люблю. Вас можно любить?

— Можно.

— Спасибо. Вы такой чуткий. Я пойду... Ах, как не хочется от вас уходить. Век бы сидела...

* * *

Ушла.

И сказал я сам себе: будь же счастлив, не тоскуй. Ты не одинок. Сейчас ты вкусил славу, любовь женщин и зависть коллег. Тобой зачитываются, в тебя влюбляются, тебе завидуют. Будь же счастлив!! Ну? Чего же ты стонешь?

Я погасил огни, упал ничком на диван, закусил зубами угол подушки, и одиночество,— уже грозное и суровое, как рыхлая могильная земля, осыпаясь, покрывает гроб,— осыпалось и покрыло меня.

Сумерки сгустились в ночь, рояль глухо забарабанил сухими аккордами, а с улицы донеслись два голоса:

— Эх, напьюсь же я нынче!

— С чего это такое?

— Манька опять к своему слесарю побежала.

Прошли. Тишина. Вечер. Рояль.

Опасно, если в такой вечер близко бритва лежит.

Зарезаться можно.

Пылесос

Все мы страдаем от дураков. Если бы вам когда-нибудь предложили на выбор: с кем вы желаете иметь дело — с дураком или мошенником? — смело выбирайте мошенника.

Против мошенника у вас есть собственная сообразительность, ум и такт, есть законы, которые вас защитят, есть ваша

хитрость, которую вы можете обратить против его хитрости. В конце концов, это честная, достойная борьба.

Но что может вас защитить против дурака? Никогда в предыдущую минуту вы не знаете, что он выкинет в последующую. Упадет ли он вам с крыши на голову, бросится ли под ноги, укусит ли вас или заключит в объятия...— кто проникнет в тайны темной дурацкой психики?

Мошенник — математика, повинующаяся известным законам, дурак — лотерея, которая никаким законам и системам не повинуется.

Самый типичный дурак — это тот человек из детской хрестоматии, который зарезал курицу, несущую ему золотые яйца.

Все проиграли от этой комбинации: и курица, и ее владелец, и государство, на котором, конечно, отражается благосостояние ничтожнейшего из его подданных.

А вдумайтесь — так ли бы поступил с курицей мошенник? Да он бы ее на руках носил, и пылинке бы не дал на нее сесть, кормил бы отборным зерном. Мошенник прекрасно знает, что зерно не отборное, пополам с разной дрянью — втрое дешевле... Осмелился ли бы он подсунуть своей курице такое зерно? Нет!

Он бы, может быть, подсунул торговцу зерном фальшивый двугривенный или обсчитал бы его, но обидеть свою курицу — на это не способен самый отъявленный мошенник.

Почти всякий из нас, читатели,— курица, несущая кому-нибудь золотые яйца, и потому всякий из нас рискует быть зарезанным рукой дурака.

Поэтому — долой дураков!

Видели вы когда-нибудь, как магнит, сунутый в кучу самых разнородных мелочей, вытягивает из всего этого только железные опилки,— как он чисто, ловко и аккуратно это делает! Всунули вы чистенький, гладкий, полированный стержень... момент — и вытаскивается из кучи густо облипший опилками и железной пылью, потерявший форму комок.

И еще: видели ли вы, как работает так называемый «пылесос»?

Прекрасное, волшебное зрелище.

Как будто одаренный человеческим умом и энергией, нащупывает хобот аппарата залежи пыли. Глядишь: только прикоснулся к ним — и уже сверкает белизной грязное, загаженное место... Ни одной пылинки не оставит жадный хобот, все втянет аппарат своими могучими легкими.

И ни чахотки не знает он, ни даже простого кашля.

Однажды, когда я, сидя на диване, наблюдал из другой комнаты работу чудесного аппарата, ко мне пришел знакомый и сказал:

— А я вчера очень заинтриговал Елену Сергеевну...

— Каким образом?

— Да сказал, что видели вас в «Аквариуме» с одной блондинкой. Она долго допытывалась, да я — не дурак ведь — помучил, помучил ее, однако не сказал. Очень было весело.

— Кто же вас просил говорить об этом?

— Никто. Я просто заинтриговать хотел. Она чуть не плакала, да я-то не дурак, слава Богу, хе-хе... Не выдал вас.

Пылесос свистел и шумел, ощупывая хоботом своим пыльный карниз.

Я глядел на его работу и думал:

«Отчего никто не выдумает такой пылесос для дураков? Хорошо бы сразу высосать всех дураков из нашего города, втянуть их куда-нибудь всех до последней крошечки. Жизнь сразу бы посветлела, воздух очистился и дышать сделалось бы легче».

Эта мысль — придумать пылесос для дураков — гвоздем засела во мне, и я часто к ней возвращался...

* * *

— Что я с ними буду делать, ты подумай! — плакался как-то, сидя у меня, один из моих друзей, получивший недавно наследство. — На что они мне, эти проклятые пятьсот десятин?! Место сырое, топкое, лесу нет, только песок и камень, вода за двадцать верст, дорог нет. Ближайший город — за двести верст.

Я потер рукой голову.

— Вот что... Садись за стол и пиши объявление в газеты...

Он сел.

— Ну?

— Пиши: «В сырой холодной местности, лишенной питьевой воды, продаются участки для постройки на них домов и усадеб. Полное отсутствие леса; почва — песок и глина. Ближайший город за двести верст. Полное бездорожье, отсутствие медицинской помощи, лихорадочная, малярийная местность. Квадратная сажень земли стоит 50 коп. При больших покупках — дороже. Лиц, желающих приобрести землю и поселиться в этом месте, просят обращаться туда-то. Контора по продаже земли в поселке Каруд».

— Господи Иисусе, — ахнул мой друг. — Кто же может от-

кликнуться на это предложение?.. Разве только круглый дурак.

— Ну да же! Подумай, какая прелесть: это будет единственное место, где дураки соберутся в этакую плотную компактную массу. Твоя земля — это пылесос, который сразу вытянет всех дураков из нашей округи... То-то хорошо дышать будет.

— Да ведь они там помирать шибко будут. Жалко...

— Дураков-то? Да пусть мрут на здоровье. Боже ты мой!

— Ну так я хоть припишу, что летом там очень прохладно.

— Ни за что! Пиши так: «Холодная бесснежная зима, жаркое, душное лето, полное отсутствие растительности...» Есть?

— Есть. Да только уж и не знаю — выйдет ли что-нибудь из этого?

* * *

Вышло.

В «Контору по продаже земель в поселке Каруд» посыпались письменные запросы.

Спрашивали:

«Действительно ли нет лесу поблизости, а если нет, то я прошу записать на мое имя четыре десятины, посырее, потому что у меня часто пересыхает горло, и вообще в лесу мало ли что может быть!»

Один господин писал:

«Если публикация говорит правду в параграфе о песчаной каменистой почве, то я покупаю 10 десятин: мне песок и камень нужны для постройки дома. Сообщите также, как понимать выражение «лихорадочная местность»? Не в смысле ли это «лихорадочной деятельности в этой местности»?

Дама писала:

«Меня очень соблазняет отсутствие медицинской помощи. Действительно, эти доктора так дерут за визиты, а пользы ни на грош. Хорошо также, что нет воды: от нее страшно толстеешь; я пью лимонный сок и остаюсь с почтением Василиса Чиркина».

* * *

Через два месяца половина участков в поселке Каруд была распродана.

Пылесос работал вовсю.

Бритва в киселе

ГЛАВА I

Два раза в день из города Калиткина в Святогорский монастырь и обратно отправлялась линейка, управляемая грязноватым, мрачноватым, глуповатым парнем.

В этот день линейка приняла только двух, незнакомых между собой, пассажиров: драматическую артистку Бронзову и литератора Ошмянского.

Полдороги оба, по русско-английской привычке, молчали, как убитые, ибо не были представлены друг другу.

Но с полдороги случилось маленькое происшествие: мрачный, сонный парень молниеносно сошел с ума... Ни с того, ни с сего он вдруг почувствовал прилив нечеловеческой энергии: привстал на козлах, свистнул, гикнул и принялся хлестать кнутом лошадей с таким бешенством и яростью, будто собирался убить их. Обезумевшие от ужаса лошади сделали отчаянный прыжок, понесли, свернули к краю дороги, налетели передним колесом на большой камень, линейка подскочила кверху, накренилась набок и, охваченная от такой тряски морской болезнью, выплюнула обоих пассажиров на пыльную дорогу.

В это время молниеносное помешательство парня пришло к концу: он сдержал лошадей, спрыгнул с козел и, остановившись над поверженными в прах пассажирами, погрузился в не оправдываемую обстоятельствами сонную задумчивость.

— Выпали? — осведомился он.

Литератор Ошмянский сидел на дороге, растирая ушибленную ногу и с любопытством осматривая продранные на колене брюки. Бронзова вскочила на ноги и, энергично дернув Ошмянского за плечо, нетерпеливо сказала:

— Ну?!

— Что такое? — спросил Ошмянский, поднимая на нее медлительные ленивые глаза.

Тут же Бронзова заметила, что эти глаза очень красивы...

— Чего вы сидите?

— А что?

— Да делайте же что-нибудь!

— А что бы вы считали в данном случае уместным?

— О, Боже мой! Да я бы на вашем месте уже десять раз поколотила этого негодяя.

— За что?

— Боже ты мой! Вывалил нас, испортил вам костюм, я ушибла себе руку.

Облокотившись на придорожный камень, Ошмянский принял более удобную позу и, поглядывая на Бронзову снизу вверх, заметил с ленивой рассудительностью:

— Но ведь от того, что я поколочу этого безнадежного дурака, ваша рука сразу не заживет и дырка на моих брюках не затянется?

— Боже, какая вы мямля! Вы что, сильно расшиблись?

— О, нет, что вы!..

— Так чего же вы разлеглись на дороге?

— А я сейчас встану.

— От чего это, собственно, зависит?

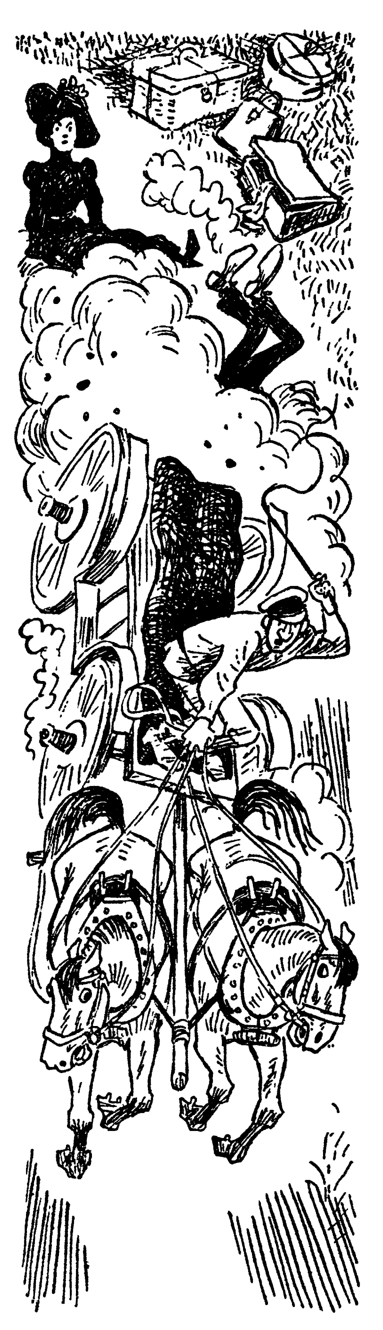
— Я жду прилива такой же сумасшедшей энергии, как та, которая обуяла пять минут назад нашего возницу.

— Знаете, что вы мне напоминаете? Кисель!

Ошмянский заложил руки за голову, запрокинулся и, будто обрадовавшись, что можно еще минутку не выходить из состояния покоя, спросил:

— Клюквенный?

— Это не важно. Выплеснули вас на дорогу, как тарелку киселя,— вы и разлились, растеклись по пыли. Давайте руку... Ну—гоп!



Он встал, отряхнулся, улыбнулся светлой улыбкой и спросил:

— А теперь что?

— О Боже мой! Неужели вы так и смолчите этому негодяю?! Ну, если у вас не хватает темперамента, чтобы поколотить его,— хоть выругайте!

— Сейчас,— вежливо согласился Ошмянский.

Подошел к вознице и, свирепо нахмурив брови, сказал:

— Мерзавец. Понимаешь?

— Понимаю.

— Вот возьму, выдавлю тебе так вот, двумя пальцами, глаза и засуну их тебе в рот, чтобы ты впредь мог брать глаза в зубы. Свинья ты.

И оставив оторопевшего возницу, Ошмянский отошел к Бронзовой.

— Уже.

— Видела. Вы это сделали так, будто не сердце срывали, а неприятный долг исполнили. Кисель!

— А вы — бритва.

— Ну — едем? Или вы еще тут, на дороге, с полчасика полежите?

Поехали.

ГЛАВА II

В Святогорском монастыре гуляли. Потом пили чай. Потом сидели, освещенные луной, на веранде, с которой открывался вид верст на двадцать. Говорили...

Какая внутренняя душевная работа происходит в актрисе и литераторе, когда они остаются вдвоем в лунный теплый вечер,— это мало исследовано... Может быть, общность служения почти одному и тому же великому искусству сближает и сокращает все сроки. Дело в том, что когда литератор взял руку актрисы и три раза поцеловал ее, рука была отнята только минут через пять.

ГЛАВА III

На другой день Ошмянский пришел к Бронзовой в гостиницу «Бристоль», № 46, где она остановилась. Пили чай. Разговаривали долго и с толком о театре, литературе.

А когда Бронзова пожаловалась, что у нее болит около уха и что она, кажется, оцарапалась тогда благодаря тому дураку

о камень, Ошмянский заявил, что он освидетельствует это лично.

Приподнял прядь волос, обнаружил маленькую царапину, которую немедленно же и поцеловал.

Действенность этого, неизвестного еще в медицине средства могла быть доказана хотя бы тем, что в течение вечера разговоры были обо всем, кроме царапины.

Когда Ошмянский ушел, Бронзова, закинув руки за голову, прошептала:

— Милый, милый, глупый, глупый!

И засмеялась.

— И однако он, кажется, порядочная размазня... Женщина из него может веревки вить.

Закончила несколько неожиданно:

— А оно, пожалуй, и лучше.

ГЛАВА IV

Прошло две недели.

Гостиница «Бристоль».

На доске с перечислением постояльцев против № 46 мелом написаны две фамилии:

«Ошмянский.

Бронзова».

ГЛАВА V

В августе оба уезжали в Петроград.

В купе, под убаюкивающее покачивание вагона, произошел разговор:

— Володя,— спросила Бронзова.— Ты меня любишь?

— Очень. А что?

— Ты обратил внимание на то, что некоторые фамилии, когда их произносишь, носят в себе что-то недосказанное... Будто маленькая комнатка в три аршина, в которой нельзя и шагнуть как следует... Только разгонишься и уже — стоп! Стена.

— Например, какая фамилия?

— Например, моя — Бронзова.

— Что же с этим поделать?..

— Есть выход: Бронзова-Ошмянская. Это будет не фамилия, а законченное художественное произведение. Не эскиз, не подмалевка, а ценная картина...

— Я тебя не понимаю.

— Володя... Я хочу, чтобы ты на мне женился.

— Что за фантазия?.. Разве нам и так плохо?

Его ленивые, сонные веки медленно поднялись, и он ласково и изумленно поглядел на нее.

— Если ты меня любишь, ты должен для меня сделать это...

— А ты не боишься, что это убьет нашу любовь?

— Настоящую любовь ничто не убьет.

— А ты знаешь, что я из мещанского звания? Приятно это будет?

— Если ты так говоришь, то ты не из мещанского звания, а из дурацкого. Ну, Кисель, милый Кися, говори: женишься на мне?

— Видишь ли, я лично против этого, я считаю это ненужным, но если ты так хочешь — женюсь.

— Вот сейчас ты не Кисель! Сейчас ты энергичный, умный мальчик.

Она поцеловала его, а вечером, причесывая на ночь волосы, счастливая, подумала: «Уж если я чего захочу — так то и будет. Милый, мой милый Кися...»

ГЛАВА VI

Бронзова впервые приехала к Ошмянскому в его петроградскую квартиру и пришла от нее в восторг:

— Всего три комнаты, а как мило, уютно...

Она подсела к нему ближе, подкрепила силы поцелуем и, гладя его волосы, спросила:

— Володя... А когда же наша свадьба?

— Милая! Да когда угодно. Вот только получу из Калиткинской управы документы — и сейчас же.

— А без них нельзя?

— Глупенькая, кто же станет венчать без документов? Там паспорт, метрическое...

— А зачем они лежат там?

— Документы-то? Паспорт для перемены отослал, а метрическое у тетки.

— Значит, ты это сделаешь?

— Она еще спрашивает! Чье это ушко?

— Нашего домохозяина.

— Ах, ты, мышонок! . . . .

. . . .

ГЛАВА VII

Снова сидела Бронзова у Ошмянского... Он целовал ее волосы, и у него на горячих губах таяли снежинки, запутавшиеся в волосах и не успевшие еще растаять.

Потому что был уже декабрь.

— Володя...

— Да?

— Ну, что же с документами?

— С какими? Ах, да! Все собирался. Надо действительно будет поскорее написать. Завтра утром обязательно напишу.

— Спасибо, милый!.. Володя...

— Да?

— Ты хотел бы, чтобы мы вместе жили?

— Вместе? Это было бы хорошо.

— Хочешь ко мне переехать?

— Нет, что ты... Ведь я тебя стесню. Ты дома работаешь, разучиваешь роли, а я только буду тебе мешать...

— Володя... Ну, я к тебе перееду... Хочешь?

— Дурочка! Да ведь у меня еще теснее. Я пишу, ты разучиваешь роли; оба мы будем друг другу мешать... Понимаешь, иногда хочется быть совершенно одному со своими мыслями.

Она притихла. Отвернулась и молчала — только плечи ее тихо вздрагивали.

— Катя! Ты плачешь? Глупая... Из-за чего, право?.. Это такой пустяк!

— М... не т-ак хо-те-лось...

— Ну хорошо, ну, будет по-твоему... Переезжай.

— Милый! Ты такой хороший, добрый...

И сквозь слезы, как солнце сквозь капли дождя, проглянула счастливая улыбка...

ГЛАВА VIII

Сидели в ресторане: Бронзова, Ошмянский и его приятель, Тутыкин.

— Володя! Ну что, получил уже документы?

— Понимаешь, написал я все честь-честью — и до сих пор никакого ответа. Работы у них много, что ли?.. У нас теперь что? 14-е февраля? Ну, думаю, к концу месяца вышлют.

— Напиши им еще.

— Конечно, напишу.

Она посмотрела на него ласковым, любящим взором и сказала:

— А знаешь, что тебе очень пошло бы? Бархатная черная куртка. У тебя бледное матовое лицо, и куртка будет очень эффектна. Закажи. Хорошо?

— Да когда же я ее буду носить?

— Когда угодно! Ты ведь писатель — и имеешь право. В гости, в театр, в ресторан...

— Не слишком ли это будет бить на дешевый эффект?..

— Нет, нет! Володя... Я хочу!

— Ну, если ты хочешь, не может быть никакого разговора. Закажу.

В ту же ночь приятель Тутыкин, сидя в дружеской компании, говорил, усмехаясь:

— Совсем погибла эта размазня Ошмянский! Попал в лапы такой бабы, что она его в бараний рог скрутила.

— Красивая?

— Красивая. И острая, как бритва.

ГЛАВА IX

Когда Бронзова и Ошмянский вышли из ресторана, он сказал ей очень нежно:

— Катя... Я тебя завезу к нам домой, а сам поеду...

— Куда же? Ведь клуб уже закрыт.

— А... видишь.. Мне пописать хочется. Настроение нашло.

— Ну-у-у?

— Ах, да! Я тебе не говорил! Понимаешь, я снял две маленьких комнатки и иногда утром, иногда днем удаляюсь туда поработать. Тихо, хорошо.

— Володя! — всплеснула руками Бронзова. — Да ведь это выходит, что я выгнала тебя из твоей квартиры?

— Ну, что ты... Какой вздор! Просто я иногда должен оставаться один. Знаешь, мы ведь, писатели, преоригинальный народ! Я заеду сейчас с тобой к нам и заберу кое-что: письменный прибор, лампу и одеяло. Подушки там есть.

ГЛАВА X

— Володя! Заказал куртку?

— Да, был я у портного... Так мы ни до чего и не договорились. Он, видишь ли, не знает, какой фасон... и вообще.

— Ну, едем вместе! Сейчас мы это все и устроим! Эх ты, кисель мой ненаглядный... Документы уже получил?

— Написал снова. Боюсь, не затерялись ли они где-нибудь. На почте, что ли?!

— Дома сегодня будешь?

— То есть где? У тебя? Да. Заеду чайку напиться. А потом к себе покачу: повесть нужно закончить... У себя же и заночую...

ГЛАВА XI

— Смотри, Володя, как кстати: мы собираемся к Тутыкиным, и тебе принесли бархатную куртку. Воображаю, как она тебе к лицу. Надень-ка ее. И я пойду переодеться.

Бронзова ушла, а Ошмянский взял куртку, положил ее на диван и потом, взяв перочинный нож, распорол под мышкой прореху вершка в два.

Сделав печальное лицо, пошел к Бронзовой.

— Чтоб его черти съели, этого портного! Сделал такой узкий рукав, что он под мышкой лопнул.

— Ну, давай я зашью.

— Стоит ли? Опять лопнет. Тем более что воротнички без отворотов у меня дома, а на этот воротничок — надеть трудно...

ГЛАВА XII

Ошмянский только что приготовил бумагу для рассказа и вывел заглавие, как в комнату постучались.

— Кто там?

Дверь скрипнула — вошла Бронзова. Она была очень бледна, только запавшие глаза горели мрачным, нехорошим огнем.

— Прости, что я врываюсь к *тебе*. Ведь эти комнаты, я знаю, ты снял специально для того, чтобы быть одному... Но — не бойся. Я пришла сюда в первый и последний раз...

— Катя! Что случилось?

— Что? — Она упала головой на спинку кресла и горько заплакала. — Что? — Улыбнулась печально сквозь слезы и пошутила: — Ты победил меня, Галилеянин...

— Катя! Чем?!. Что ты говоришь?

— Ну, полно... Все равно я ухожу уже навсегда, и поэтому довольно всяких разговоров и вопросов... Помнишь, при первом знакомстве я назвала тебя киселем, а ты меня бритвой. Пожалуй, так оно и есть. Я — бритва, я хотела, чтобы все было по-моему, я мечтала о счастье, я знала, что ты безвольный кисель, и поэтому мое было право — руководить тобой, быть энергичным началом в совместной жизни... Но что же получилось? Бритва входила в кисель, легко разрезывала его, как и всякий кисель, и кисель снова сливался за ее спиной в одну тягучую, аморфную массу. Бритва может резать бумагу, дерево, тело, все твердое, все определенное — но киселя разрезать бритва не может! Я чувствую, что я тону в тебе, и поэтому ухожу!

— Катя, голубка! Что ты! Опомнись. Ну, побрани меня. Но зачем же уходить? Разве я не любил тебя? Не поступал, как ты хотела?

— Молчи!! Знаешь, как ты поступал? Я хотела, чтобы мы поженились — прошло одиннадцать месяцев — где это? Я хотела, чтобы мы жили вместе — ты согласился... Где это? Пустяк: мне хотелось видеть тебя в бархатной куртке — носишь ты ее? Что вышло?! О, ты со всем соглашался, все с готовностью обещал. Но что вышло... Я, женщина с сильным характером, энергичная, самостоятельная, была жалкой игрушкой в твоих руках! Прочь! Не подходи ко мне!!! Ну?

Он протянул к ней руки, но она взглянула на него испепеляющим взглядом, повернулась и — ушла. Навсегда.

Одну минуту он стоял ошеломленный. Потом потер голову, подошел к письменному столу и склонился над чистой бумагой.

Долго сидел так. Потом пробормотал что-то. Неясное, нечленораздельное бормотание скоро стало принимать форму определенных слов. И даже рифмованных...

«В один чудесный день,
Когда ложилась тень,
Ко мне пробрался кирасир...»

А потом это бормотание перешло в мелодичный свист, и Ошмянский с головой погрузился в работу...

Специалист по военному делу

(ИЗ ЖИЗНИ МАЛОЙ ПРЕССЫ)

Прежний «военный обозреватель» поссорился с редактором и ушел.

Он обиделся на редактора за то, что последний сказал ему:

— Какую вы написали странность: «Австрийцы беспрерывно стреляли в русских из блиндажей, направляя их в них». Что значит «их в них»?

— Что же тут непонятного? Направляя их в них, — значит, направляя блиндажи в русских!

— Да разве блиндаж можно направлять?

— Отчего же, — пожал плечами военный обозреватель, — ведь он же подвижен. Если из него нужно прицелиться, то он поворачивается в необходимую сторону.

— Вы, значит, думаете, что из блиндажа можно выстрельнуть?

— Отчего же... конечно, кто хочет — может выстрелить, а кто не хочет — может не стрелять.

— Спасибо. Значит, по-вашему, блиндаж — нечто вроде пушки?

— Не по-моему, это, а по-военному! — вспылил обозреватель.— Что вы, издеваетесь надо мной, что ли? Во всякой газете встретите фразы: «Русские стреляли из блиндажей», «немцы стреляли из блиндажей»... Осел только не поймет, что такое блиндаж!

Редактор догадался, на кого намекает обозреватель, и обиделся.

— Не знаю, кто из нас осел. Почему же в «Военном Скакуне» обозреватель пишет такую фразу: «немцы прятались в блиндажах». Что ж они, значит, по-вашему, в пушках прятались, что ли?

— Почему же нет? Если орудие, скажем, восемнадцатидюймовое, а средний солдат, имея объем груди, согласно правил воинского распорядка частей внутреннего согласования армий, которое... которое... Э, черт! Взял просто человек и залез в пушку.

— Сел в лужу наш военный обозреватель,— вступил в разговор корреспондент из Копенгагена.— Блиндаж — это нечто вроде солдатской галеты. Иностранное слово. Происходит с русинского. Блин даже. Так сказать, даже блин, и тот идет в ход. Я сам читал корреспонденцию, что немцы без блиндажа ни на шаг. Ясно — галеты. Любят, черти, покушать. Хотите, я сегодня из Копенгагена напишу об этом?

— Пожалуйста,— скривился военный обозреватель.— Если вы в военных вопросах понимаете больше меня, ведите сами военный отдел. А я вам больше не писарь.

Взял он свое пальто, шляпу, два рубля долгу из конторы и ушел.

* * *

Редактор привез нового военного обозревателя.

Все сотрудники высыпали смотреть на него.

Поглядывали с тайным страхом — вдруг человек возьмет да и начнет стрелять в них. Все-таки военный обозреватель, имеющий дело с разными шрапнелями, мортирами и блиндажами.

Но новоприбывший военный обозреватель оказался на редкость милым, скромным человеком.

Улыбнулся всем, а молодому секретарю сказал даже комплимент:

— Какие у вас хорошие ботиночки!

— Да,—самодовольно согласился секретарь.—Почти новые. Второй год всего ношу.

— О чем будете писать нынче?—спросил редактор.

— Об Италии.

— Почему именно об Италии?

— Да давно хотелось написать. Тем более, что она имеет на карте такую забавную форму.

* * *

Появилась статья военного обозревателя об Италии.

Она начиналась так:

«Италия имеет форму сапога. Капо-спартивенто—это его носок, Капо-С. Мария—его каблук. Средняя часть подметки образуется из залива Таренто. К сожалению, мы не можем точно обрисовать верхнюю часть сапога, так как верхушка голенища сливается с материком, а ушки должны быть где-нибудь между Сицилией и Венецией. Что же касается подъема этого сапога, то...» и т. д. и т. п.

Статья была очень оригинальная и в редакции произвела известное впечатление.

* * *

— А о чем вы нынче думаете?—спросил редактор.

— Написать о чем? Думаю написать статью о состоянии обуви во французской армии.

— Разве это такой важный вопрос?

— Обувь-то? Это—все. Обуйте солдата как следует, и он сделает чудеса.

На следующий день появилась новая статья нашего военного обозревателя.

Она начиналась словами:

«Многим, вероятно, интересно, как обута французская армия. Обувь французов состоит из...» и т. д. и т. п.

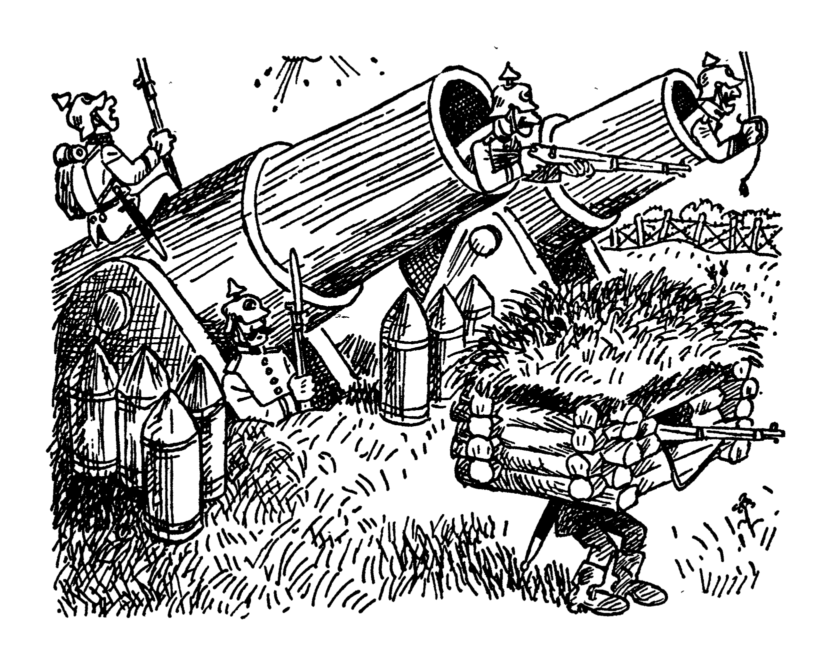
Эта статья оставила у всех какое-то странное впечатление узости освещения затронутого вопроса и поразила обилием специальных непонятных терминов. Впрочем, редактор утешил себя:

— Ничего не поделаешь,—специалист.

А вечером спросил:

— А завтра о чем будет?

— Думаю коснуться состояния обуви в австрийской армии.



— Что вы все обувь да обувь? — нервно возразил редактор. — Напишите что-нибудь другое.

— Именно? — пугливо спросил новый обозреватель, огорченный редакторской нервностью.

— Ну... например, напишите о расположении австрийской армии...

— Слушаю-с.

* * *

На следующий день появилась статья:

«Расположение австрийской армии».

Начиналась так:

«Австрийская армия расположена сейчас в виде дамского ботинка, причем левый фланг образует собой как бы носок, а правый как бы верх ботинка. 3-ий корпус стоит в виде высокого каблука, причем рантом его является»... и т. д. и т. п.

* * *

Прочтя эту статью, редактор рассвирепел.

Долго кричал на военного обозревателя:

— Что вы всюду тычете ваши сапоги, туфли и башмаки? Что это за военные статьи, ни одна из которых не обходится

без каблука, ранта, подъема и носка? На плане расположение австрийской армии похоже на кочергу, а вы всюду хватаетесь за свой излюбленный сапог. Понимаете? Кочерга, а не сапог!

— Извините! — обиженно возразил новый обозреватель.— Я не кухарка какая-нибудь, чтобы сравнивать положение армии с кочергой.

— Но и не сапожник же,— завизжал редактор,— чтобы сравнивать армии с сапогом!

— Извините,— угрюмо прошептал новый обозреватель,— как не сапожник? Мне своей профессии стыдиться нечего. Сейчас я, конечно, приглашен вами на пост военного обозревателя, но раньше я, действительно, работал подмастерьем у сапожного мастера Василия Хромоногого.

* * *

И когда он, получив расчет и собрав свои вещи (пучок дратвы, две колодки и коробку вару), уходил,— в глазах его читался кроткий упрек:

— За что? Чем я хуже других?

Уточкин

Лучи солнца имеют свойство, которое, вероятно, не всем известно... Если человек долго находится под действием солнечных лучей, он ими пропитывается, его мозг, его организм удерживают в себе надолго эти лучи, и весь его характер приобретает особую яркость, выразительность, выпуклость и солнечность.

Эта насыщенность лучами солнца сохраняется на долгое время, пожалуй, навсегда.

Ярким примером тому может служить Сергей Уточкин — кого мы еще так недавно искренно оплакали.

Он умер и унес с собой частицу еще неизрасходованного запаса солнца.

А излучался он постоянно, и все его друзья и даже посторонние грелись в этих ярких по-южному, пышных струях тепла и радости.

Кто таков был Уточкин, каков был его характер, какова была его жизнь — знают многие, а Одесса, пожалуй,— и вся. Эта милая, веселая любопытная Одесса, этот огромный «журнал Пате, который все видит» сквозь огромные зеркальные окна своих кафе и ресторанов — вся Одесса напоминает мне огромное окно в кафе; сидишь уютно у самого стекла, и перед тобой проходит вся жизнь огромного города...

Поэтому Одесса прекрасно знает «своего» Уточкина, и сотни хороших беззлобных анекдотов об Уточкине на устах у всех одесситов.

Теперь бедняга Уточкин уже — область истории, и поэтому я считаю себя вправе внести и свою лепту в сокровищницу рассказов об Уточкине, и изложить здесь один случай, который с особенной выпуклостью характеризует этого удивительного человека.

Южное солнце пропекает человека до самого нутра, до самой сути. Вот почему от всего, что делал Уточкин, веет жарким летним загаром пышного богатого июля месяца.

Веселье и юмор искрятся в каждом его шаге, в каждом его трюке. Веселье, юмор, легкая безобидная плутоватость, головокружительная, но спокойная смелость и неожиданная выдумка.

Таков Уточкин, и таков случай с автомобилистом-инженером.

Об этом случае я и пишу.

* * *

Кому-то из неугомонных одесситов пришла в голову мысль — устроить состязание автомобилей между Одессой и Николаевом.

Устроили.

Участвовал, конечно, и Уточкин.

До Николаева добрались благополучно, и это неожиданное благополучие так обрадовало гонщиков, что в Николаеве за обедом напились.

У всякого человека опьянение выражается по-разному. Есть милые добродушные люди, которые размякши, как пуховая перина, плачут восторженными слезами и пытаются зацеловать и обслюнить все окружающее — будь то приятель, лошадь, собака или даже бездушная спокойная дверь, которая не всегда даже взвизгнет при таком вольном обращении.

Но есть пьяные — страшные. Их маленькие свирепые глазки наливаются кровью, и они подозрительно и свирепо, по-носорожьему, шныряют этими пытливыми глазками по всем лицам — нельзя ли к чему-нибудь придраться и учинить скандал... Тут все годится: простое человеческое слово, движение, даже взгляд.

В характере такого пьяного, действительно, много носорожьего: так же его раздражает все постороннее, все свежее, на все он тупо и злобно набрасывается,— только других пьяных он щадит, и их присутствие его не раздражает. Впрочем, и но-

сорог довольно спокойно переносит присутствие другого носорога.

Инженер Зет выехал из Одессы в самом хорошем настроении, в таком же настроении приехал в Николаев, в таком же настроении сел за стол и выпил несколько бокалов вина. Никто его не замечал, никто не обращал на него особенного внимания, а между тем глаза его все краснели да краснели, рот все кривился да кривился. А за сладким рыжие волосы его неожиданно поднялись дыбом, он вскочил, обрушил рыжий веснушчатый кулак на стол и загремел, как гром среди ясного неба:

— Ш-што-сс?! Ма-а-алчать! Пр-рошу не шуметь!! Кто тут шумит? Б-бутылкой по голове за это!

— Набрался,— скорбно сказал кто-то.— И как тихо — никто и не заметил.

— М-а-алчать! Что за шум?

— Да ведь это вы сами и шумите,— засмеялся его сосед.

— Што-о-о? Смеешься? Надо мной смеешься? Как собак перестреляю!!!

Хотя он был и пьян, но слово у него строго и гармонично вязалось с делом: в ту же секунду в руках инженера сверкнул новенький семизарядный браунинг.

— Ну, кто хочет? Подходи!!

Вопрос был праздный, потому что не хотел решительно никто. Наоборот, все отхлынули от предприимчивого инженера и, как теплый квас из откупоренной бутылки, брызнули во все стороны.

* * *

Возвращались обратно в Одессу.

— Господи,— заметил кто-то,— не только наш инженер, но и его шофер не вяжет лыка. Как быть?

— Оставим их здесь. Послушайте, инженер! Вы устали, оставайтесь до завтра, хотите?

— А ты вот этого хочешь?

«Это» — был тот же новенький браунинг, направленный рыжей, чуть-чуть трясущейся рукой в толпу спортсменов.

— Слушайте! надо отнять у него револьвер... Ведь он нас всех может перестрелять, как куропаток.

— Поп...робуйте, отним...мите,— усмехнулся пьяный, сверкая красными глазками.— Первому, кто подойдет — пуля в глаз.

— Черт с ним, пусть едет.

— И поэ...эду! Ты мне не указ! Зах...хочу и поэ...эду. А? Шофер! Готовь мою машину!

— Хор...шо,— сказал шофер, покачиваясь и совершенно игнорируя хозяйский револьвер.— Готово! Пожалте!

Выехали из Николаева.

Через несколько минут были уже у знаменитого спуска, который так крут, что приходится пустить в ход все тормоза и даже тормозить цепью, что делается только в самых исключительных, опасных случаях...

И вдруг пыхтение и шум моторов покрыл пронзительный пьяный голос:

— Господа! Хотите видеть рекорд? Глядите! Уже! Ставлю всемирный рекорд!!

Инженер вылез из автомобиля (у него был прекрасный 100-сильный Бенц), сел верхом на радиатор и скомандовал шоферу:

— Володя! Шпарь во весь дух.

Общий крик ужаса подавленно прозвенел в воздухе.

— Он с ума сошел!

— Он погибнет!

— Верная смерть!!

— Остановите его! Стащите его с радиатора!

— Кого? — взревел пьяный инженер, весело и грозно оглядывая спутников.— Меня? А это видали? Хотите попробовать?



— Хоть бы он револьвер выронил,— чуть не плакал кто-то.

— Я? Выроню? Нет, брат, я не выроню...

И действительно: хотя инженер сидел на своем радиаторе, как цирковой жокей на крупе лошади — рука его прочно и непоколебимо сжимала рукоятку браунинга.

В это время на сцену впервые выступил Сережа Уточкин, сам влюбленный в разные «рекорды» и сам не щадивший своей головы во многих спортсменских авантюрах.

— В...вот, почему вы,— по обыкновению, заикаясь, начал он.— Почему вы боитесь за него? Он съедет, ей-Богу.

— Как съедет? Да вы видите, какая крутизна? Тут костей не соберешь!

— В...вот, это для трезвого. А пьяный, ей-Богу, съедет, как по маслу.

— Да почему?!

— Пья-а-аным везет.

Инженер в это время хлопнул в ладоши, пьяный шофер дал почти сразу полный ход, и Бенц, под общий рев ужаса, просвистев, как пуля, слетел вниз по головоломной крутизне.

Все открыли зажмуренные глаза и со страхом взглянули вниз. Бенц замер в полуверсте совершенно невредимый, а инженер по-прежнему сидел верхом на радиаторе, раскланивался, пошатываясь, и посылал всем воздушные поцелуи...

* * *

Инженер не только не успокоился после своего «рекорда», а наоборот — успех раззадорил его еще пуще: он решил, что так — просто и спокойно — ехать скучно и, поэтому, завладев рулем, принялся «срезывать носы» другим автомобилям.

А когда раздался общий крик протеста, потому что катастрофа висела на волоске, инженер совсем разошелся: обогнал всю компанию, поставил свою машину поперек дороги и заявил, что считает, вообще, всякие гонки пошлостью и своей властью прекращает эту скуку и безобразие.

— Связать его! — крикнул кто-то из наиболее нетерпеливых.

— Любопытно мне это,— засмеялся инженер, направляя дуло револьвера на инициатора этой затеи.— Подойдите-ка, молодой человек, подойдите... Чего же вы прячетесь за автомобиль?

Теперь вся дорога, озаренная заходящим солнцем, имела такой вид: у поворота сгрудились все автомобили, около которых в нерешимости стояли гонщики, приседая всякий раз, когда на них направлялось зловещее дуло. Шагах в пятидесяти от общей массы стоял одинокий Бенц, к которому присло-

нился предприимчивый инженер с наведенным на группу озлобленных гонщиков револьвером.

Так простояли минут десять.

— До ночи мы будем так стоять? — спросил кто-то с горькой иронией.

Вдруг заговорил Уточкин:

— П...постойте, господа... О...о...он хороший человек, только пьяный. Я с...с ним поговорю, и все уладится. У него револьвер-то заряжен?

— Заряжен. Я сам видел.

— Сколько зарядов?

— Все. Семь.

— В... вот и чудесно. О, он славный человек, веселый, и я с ним поговорю... Все уладится!

Уточкин вынул из своего мотора две пивных бутылки (очевидно, запас, взятый на дорогу), положил их под мышку и спокойно, с развальцем, зашагал к зловещему Бенцу.

Все притаили дыхание, с ужасом наблюдая за происходящим, потому что в глазах инженера не было ничего, кроме твердой решимости.

— Не подходи!! — заорал он, прицеливаясь. — Убью!!

Так же спокойно и неторопливо остановился Уточкин в пятнадцати шагах от инженера, расставил рядышком свои бутылки и, вынув носовой платок, стал утирать пот со лба.

— В...вот, солнце зашло почти, а жарко!..

— Я стреляю! — заревел инженер.

— И в...все ты хвастаешь, — вдруг засмеялся Уточкин, искоса одним зорким глазом наблюдая за инженером. — «Стреляю, стреляю!» А т...ты раньше мне скажи, умеешь ли ты стрелять...

— Хочешь, между глаз попаду? Хоч...чешь?

— В...вот, ты дурак! А вдруг промахнешься? Зачем зря воздух дырявить? Докажи, что умеешь стрелять, попади в бутылку, в...вот я и скажу: д-да, умеешь стрелять.

— И попаду! — угрюмо проворчал инженер, подозрительно глядя на Уточкина.

— Что? — засмеялся добродушно и весело Уточкин. — Т...ты попадешь? А хочешь на пять рублей пари, что не попадешь? Идет?

И столько было спортсменского задора в словах Уточкина, что спортсменский дух инженера вспыхнул, как порох.

— На пять рублей? Идет! Ставь бутылки.

— В...вот они уже стоят. Двадцать шагов. Только смотри, стрелять по команде, а то я вас, шарлатанов, знаю — будешь целиться полчаса.

Уточкин сделал торжественное лицо, вынул из кармана носовой платок и сказал:

— В...вот, когда махну платком. Ну, раз, два, три!

Бац! Бац, бац!..

— Ну, что? В... вот стрелок, нечего сказать, в корову не попадешь! Од...ну бутылку только пробил. А ну! Раз, два, три! Пли!

Бац, бац, бац, бац!..

— Эх, ты! Из семи выстрелов одну бутылку разбил... Сап...пожник! А теперь довольно, едем в Одессу, нечего там. Садись!

— Ш-што?

Снова поднял свой револьвер инженер, поглядел с минуту на револьвер, на Уточкина и вдруг осел, как-то обмяк, опустился и, сунув пустой револьвер в карман, покорно и робко полез на своего Бенца.

Несколько гонщиков приблизились к машине, с презрением оглядели инженера, а один сплюнул и сказал:

— Туда же, с револьвером! Пьяница паршивая.

Инженер отвернулся, согнулся еще больше, и жалкий, маленький застыл так.

Уточкин вернулся к своей машине спокойный, невозмутимый, только глаза его усмехались:

— В...вот, он добрый, хороший, только дурак.

И общий смех вырос и разбежался в похолодевшем воздухе; и никто не хотел сознаться, что в этом смехе топили неловкость перед тем человеком, который только сейчас так мило и с таким юмором рискнул жизнью, чтобы вывести несколько десятков человек из глупого положения...

Южное солнце родит светлые мысли и красивые жесты...

Полевые работы

— Это, наконец, черт знает, что такое!! Этому нет границ!!! И редактор вцепился собственной рукой в собственные волосы.

— Что такое? — поинтересовался я. — Опять что-нибудь по министерству народного просвещения?

— Да нет...

— Значит, министерство финансов?

— Да нет же, нет!

— Понимаю. Конечно, министерство внутренних дел?

— Позвольте... Междугородный телефон, это к чему относится?

— Ведомство почт и телеграфов.

— Ну, вот... Чтоб им ни дна ни покрышки!! Представьте себе: опять из Москвы ни звука. Потому что у них там что-то такое случилось — газета должна выходить без московского телефона. О, пррр!.. Вот, послушайте: если бы вы были настоящим журналистом — вы бы расследовали причины такого безобразия и довели бы об этом до сведения общества!!

— А что ж вы думаете... Не расследую? И расследую.

— Вот это мило. У них там, говорят, телефонную проволоку воруют.

— Кто ворует?

— Тамошние мужики.

— Нынче же и поеду. Я вам покажу, какой я настоящий журналист!

Было раннее холодное утро, когда я, выйдя на маленькой промежуточной между двумя столицами станции, тихо побрел по направлению к ближайшей деревушке.

Догнал какого-то одинокого мужичка.

— Здорово, дядя!

— Здорово, племянничек. Откудова будешь?

— С самого Питербурху,— отвечал я на прекраснейшем русском языке.— Ну, как у вас тут народ... Ничего живет?

— Да будем говорить так, что ничего. Кормимся. — Урожай, будем сказать, ничего. Первеющий урожай.

— Цены как на хлеб?

— Да цены средственные. Французские булки, как и допрежь, по пятаку, а сайки по три.

— Я не о том, дядя. Я спрашиваю, как урожай-то продали?

— Урожай-то? Да полтора рубля пуд.

— Это вы насчет ржи говорите?

— Со ржой дешевле. Да только ржи ведь на ней не бывает. Слава Богу, оцинкованная.

— Что оцинкованная?

— Да проволока-то. На ней ржи не бывает.

— Фу, ты Господи! А хлеб-то вы сеете?

— Никак нет. Не балуемся.

Я вгляделся вдаль. Несколько мужиков с косами за плечами брели по направлению к нам.

— Что это они?

— Косить идут.

Все представления о сельском хозяйстве зашатались в моем мозгу и перевернулись вверх ногами.

— Косить?! В январе-то?

— А им што ж. Как навесили, так значит и готово.



Поселяне, между тем, с песнями приблизились к нам... Пели, очевидно, старинную местную песню:

Эх, ты проволока —
Д-металлицкая,
Эх, кормилица
Ты мужицкая!..
Срежу я тебя
Со столба долой,
В городу продам —
Парень удалой!..

Увидев меня, все сняли шапки.

— Бог в помощь! — приветливо пожелал я.

— Спасибо на добром слове.

— Работать идете?

— Это уж так, барин. Нешто православному человеку возможно без работы. Не лодыри какие, слава тебе Господи.

— Косить идете?

— А как же. На Еремином участке еще вчерась проволока взошла.

— Как же вы это делаете?

— Эх, барин, нешто сельских работ не знаешь? Спервоначалу, значит, ямы копают, потом столбы ставят. Мы, конечно,

ждем, присматриваемся. А когда, значит, проволока взойдет на столбах, созреет — тут мы ее и косим. Девки в бунты скручивают, парни на подводы грузят, мы в город везем. Дело простое. Сельскохозяйственное.

— Вы бы лучше хлеб сеяли, чем такими «делами» заниматься, — несмело посоветовал я.

— Эва! Нешто можно сравнить. Тут тебе благодать: ни потравы, ни засухи; семян — ни Боже мой.

— Замолол, — перебил строгий истовый старик. — Тоже ведь, господин, ежели сравнить с хлебным промыслом, то и наше дело тоже не мед. Перво-наперво у них целую зиму на печи лежи, пироги с морковью жуй. А мы круглый год работай, как окаянные. Да и то нынче такие дела пошли, что цены на проволоку падать стали. Потому весь крещеный народ этим займаться стал.

— А то и еще худшее, — подхватил корявый мужичонко. — Этак иногда по три, по пяти ден проволоку не навешивают. Нешто возможно?

— Это верно: одно безобразие, — поддержал третий мужик. — Нам ведь тоже есть-пить нужно. Выйдешь иногда за околицу на линию, посмотришь — какой тут к черту урожай: одни столбы торчат. Пока еще там они соберутся проволоку подвесить...

— А что же ваша администрация смотрит? — спросил я. — Сельские власти за чем смотрят?!

— Аны смотрят.

— Ого! Еще как... Рази от них укроишься. Теперь такое пошло утеснение, что хучь ложись, да помирай. Строгости пошли большие.

— От кого?

— Да от начальства.

— Какие же?

— Да промысловое свидетельство требует, чтоб выбирали в управе. На предмет срезки, как говорится, телефонной проволоки.

— Да еще и такие слухи ходят, что будто начальство в аренду будет участки сдавать на срезку. Не слышали, барин? Как в Питербурхе на этот счет?

— Не знаю.

Седой старикашка нагнулся к моему уху и прохрипел:

— А что, не слышно там — супсидии нам не дадут? Больно уж круто приходится.

— А что? Недород?

— Недорез. Народ-то размножается, а линия все одна.

— В Думе там тоже сидят,— ядовито скривившись, заметил чернобородый,— а чего делают — и неизвестно. Хучь бы еще одну линию провели. Все ж таки послободняе было бы.

— Им что! Свое брюхо только набивают, а о крестьянском горбе нешто вспомнят?

— Ну, айда, ребята. Что там зря языки чесать. Еще засветло нужно убраться. А то и в бунты не сложим.

И поселяне бодро зашагали к столбам, на которых тонкой, едва заметной паутиной вырисовывались проволочные нити.

Хор грянул, отбивая такт:

Э-эх, ты проволока
Д-металлицкая.
Э-эх, кормилица
Ты мужицкая!..

Солнышко выглянуло из-за сизого облака и осветило трудовую, черноземную, сермяжную Русь.

Обыкновенная женщина

Звали эту женщину — Зоя, имя легкое, не имеющее веса, золотистое, все насквозь пронизанное желтыми лучами солнца, вызывающее мысль о светлых, коротко подстриженных кудрях и тонкой атласной коже с голубыми жилками; губки розовые, ножки маленькие, голосок, как серебряная ниточка.

Вот какое представление вызывает у меня имя — Зоя. А может быть, все это потому, что носительница имени «Зоя» — была действительно такова по внешности.

Мы с ней жили вместе и, не могу сказать, чтобы жили плохо...

Но я никак не мог отделаться от мысли, что она не настоящий человек, втайне смотрел на нее, как на забавную игрушку, и однажды, когда она, наморщив лоб, спросила меня в упор:

— Скажи, ты уважаешь меня? — Я упал с оттоманки на диван и стал корчиться от невыносимого смеха, отчасти утрированного, отчасти — настоящего.

— Чудак ты, человечина,— отвечал я ей, успокаивая.— На что тебе мое уважение? Ты бы ревела от муки и тоски, если бы я тебя уважал. Ну, за что тебя уважать, скажи на милость?

— За что?

Она немного растерялась.

— Как за что? Ну за то, что я... гм! Порядочный человек. За

то, что я к тебе хорошо отношусь... Ну, за то, что я... тебе нравлюсь.

— Замечательный ты человечина! Разве за это уважают? За это любят.

— Так ты меня любишь?

— Ну конечно.

— Значит, я лучше всех?.

— Помилуй, как так ты лучше всех? Не дай Бог, если бы ты была лучше всех... Тогда все мужчины повлюблялись бы в тебя, и я уж никак не мог бы протолпиться к твоему сердцу... Нет, конечно, есть на свете женщины лучше тебя.

Она опечалилась... Опустила голову и сказала, растерянно разглаживая пальчиком шов диванной подушки:

— Вот тебе и раз... я этого от тебя не ожидала...

А я рассматривал ее близко-близко, как естествоиспытатель—редкого зверька, и мне было смешно-смешно.

— Ну, посуди сама! Голубь мой золотой: не может же быть, чтобы ты была лучше всех... Есть женщины лучше тебя? Есть. Красивее? Есть. Обаятельнее? Есть.

Она криво усмехнулась:

— Ну, в таком случае я счастливее тебя: ты, по-моему, самый умный, самый красивый, самый обаятельный...

— Ты так думаешь? А по-моему, я вот что: я человек 35 лет, шатен, лицо приятное, особых примет нет, ум не государственный, а так, для домашнего обихода, а что касается обаяния, то почему же, черт возьми, меня окружают десятки женщин, которым даже в голову не придет обратить на меня благосклонное внимание?

— Господи ты мой. Господи, какой вздор несет этот человек! Знаешь, какой ты? Я тебя опишу: у тебя глаза горят, как две звездочки, улыбка твоя туманит голову, а голос твой проникает в самое сердце и прямо переворачивает его. Знаешь, на кого ты похож? На серебряного тигра, вот на кого.

— Не видал таких. Они что ж, эти серебряные тигры, также носят визитку, темный галстук и по будним дням ходят на службу?

— Ты—глупый.

— Не скажу. Недалекий—пожалуй, но глупый—это уже крайность.

— Слушай,—прошелестела она мне на ухо, прижимаясь ко мне.—Я сказала тебе, какой ты...

— Ну?

— Теперь же скажи мне, какая я?

— Ты? Зовут тебя Зоя, ты ниже среднего женского роста, волосы у тебя очень хорошие, грудь немного полнее, чем бы

следовало, а ноги немного короче, чем это требуется правилами женского сложения. Но и то и другое — следствие твоего роста. Таковы уж все маленькие женщины. Глаза красивые, но поставлены друг к другу ближе, чем следует. Ручка малюсенькая, но ногти, хотелось бы, чтобы были поуже.

Она встала и отшатнулась от меня, бледная, с широко раскрытыми, остановившимися глазами.

— Постой! И ты осмеливаешься говорить, что любишь меня?! Меня, с большой грудью, с короткими ногами, с широкими ногтями — ты говоришь, что любишь меня?!!

Она упала на диван, и слезы, как вешние воды с гор, хлынули из глаз ее.

А я сидел, задумчиво опершись подбородком о свою спокойную холодную руку, и внимательно рассматривал плачущую женщину.

И думал:

«Понять женщину легко, но объяснить ее трудно. Какое это нечеловеческое, выдуманное чьей-то разгоряченной фантазией существо! Что может быть общего между мной и ею, кроме физической близости и примитивных домашних интересов?»

А она рыдала, исходила слезами, изредка ударяясь головой о собственные, сложенные на спинке дивана руки:

— А я-то, глупая, думала все время, что мы созданы друг для друга!! Еще давеча, когда к чаю подали печенье и ты выбирал только соленое, то я подумала: Господи, как много между нами общего, хым... хым...

— Между нами — общее?! Что за ересь говоришь ты? С какой стороны мы похожи друг на друга? Я — большой, толстый, сильный, ты — маленькая, хрупкая, закутанная в кружевные тряпки и ленты. Я дымлю папиросами, как фабричная труба. Ты задыхаешься от этого дыма, как моль от нафталина. Попробуй надеть на меня то, что носите вы: туфли на высоченных каблуках, паутинные панталоны, кофточку из кисеи, корсет. Я сделаю несколько шагов и последовательно: упаду, простужусь насмерть и задохнусь от корсета, одним словом — погибну. Ну, что же общего между нами? А попробуй надеть мужской костюм на хорошо сложенную женщину — и спереди и сзади это будет так нехудожественно, так неэстетично... Правда, худые женщины могут надевать мужской костюм, но это только тогда, когда у них нет ни груди, ни бедер, то есть когда они похожи на мужчину.

Она подняла на меня страдающие, заплаканные глаза...

— Это все пустяки, все внешние различия, а я говорю о духовном сродстве.

— Увы, где оно?.. Мужчина почти всегда духовно и умственно превосходит женщину...

Ее глаза засверкали.

— Да?!! Ты так думаешь? А что, если я тебе скажу, что у нас в Киеве были муж и жена Тиняковы, и — знаешь ли ты это? — она окончила университет, была адвокатом, а он имел рыбную торговлю!! Вот тебе!

— Дитя ты мое неразумное,— засмеялся я, ласково, как ребенка, усаживая ее на колени.— Да ведь ты сама сейчас подчеркнула разницу между нами. Заметь, что я, мужчина, всегда говорю о правиле, а ты — бедная логикой, обыкновенная женщина — сейчас же подносишь мне исключение. Бедная головушка! Все люди имеют на руках десять пальцев — и я говорю об этом... А ты видела в паноптикуме мальчишку с двенадцатью пальцами — и думаешь, что в этом мальчишке заключено опровержение всех моих теорий о десяти пальцах.

— Ну, конечно,— удивилась она.— Как же можно говорить о том, что правило — десять пальцев, когда (ты же сам говоришь!) существуют люди с двенадцатью пальцами.

Говоря это, она деловито бегала по комнате, уже забыв о своих горьких слезах, и деловито переставляла какие-то фарфоровые фигурки и какие-то цветы в вазочках. И вся она в своих туфельках на высоких каблуках, в нечеловеческом пеньюаре из кружев и ленточек, с золотистой подстриженной кудрявой головкой и еще не высохшими от слез глазами, с ее покровительственным тоном, которым она произнесла последние слова,— вся она, эта спокойно чирикающая птица, не ведающая надвигающейся грозы моего к ней равнодушия,— вся она, как вихрем, неожиданно закружила мое сердце.

Лопнула какая-то плотина, и жалость к ней, острая и неизбывная жалость, которая сильнее любви,— затопила меня всего.

«Вот я сейчас только решил в душе своей, что не люблю ее и прогоню от себя... А куда пойдет она, эта глупая, жалкая, нелепая пичуга, которая видит в моих глазах звезды, а в манере держаться — какого-то не существующего в природе серебристого тигра? Что она знает? Каким Богам, кроме меня, она может молиться? Она, назвавшая меня вчера своим голубым сияющим принцем (и чина такого нет, прости ее Господи!).

А она, постукивая каблучками, подошла ко мне, толкнула розовой ладонью в лоб и торжествующе сказала:

— Ага, задумался! Убедила я тебя? Такой большой — и так легко тебя переспорить...

Жалость, жалость, огромная жалость к ней огненными языками лизала мое черствое, одеревеневшее сердце.

Я привлек ее к себе и стал целовать. Никогда не целовал я ее более нежно и пламенно.

— Ой, оставь,— вдруг тихонько застонала она.— Больно.

— Что такое?!

— Вот видишь, какой ты большой и глупый... Я хотела тебе сделать сюрприз, а ты... Ну да! Что ты так смотришь? Через семь месяцев нас будет уже трое... Ты доволен?

* * *

Я долго не мог опомниться.

Потом нежно посадил ее к себе на колени и, разглядывая ее лицо с тем же напряженным любопытством, с каким вивисектор разглядывает кролика, спросил недоверчиво:

— Слушай, и ты не боишься?

— Чего?..

— Да вот этого... ребенка... Ведь роды вообще опасная штука.

— Бояться твоего ребенка? — мягко, непривычно мягко усмехнулась она.— Что ты, опомнись... Ведь это же твой ребенок.

— Послушай... Можно еще устроить все это...

— Нет!

Это прозвучало как выстрел. Последующее было мягче, шутливее:

— А ты прав: между мужчиной и женщиной большая разница...

— Почему?

— Да я думаю так: если бы детей должны были рожать не женщины, а мужчины,— они бежали бы от женщин, как от чумы...

— Нет,— серьезно возразил я.— Мы бы от женщин, конечно, не бегали. Но детей бы у нас не было — это факт.

— О, я знаю. Мы, женщины, гораздо храбрее, мужественнее вас. И знаешь — это будет превесело: нас было двое — станет трое.

Потом она долго, испытующе поглядела на меня:

— Скажи, ты меня не прогонишь?

Я смутился:

— С чего ты это взяла? Разве я говорил тебе о чем-нибудь подобном?

— Ты не говорил, а подумал. Я это почувствовала.

— Когда?

— Когда переставляла цветы, а ты сидел тут на оттоманке и думал. Думал ты: на что она мне — прогоню-ка я ее.

Я промолчал, а про себя подумал другое: «Черт знает кто их сочинил, таких... Умом уверена, что люди о двенадцати пальцах, а чутьем знает то, что на секунду мелькнуло в темных глубинах моего мозга...»

— Ты опять задумался, но на этот раз хорошо. Вот теперь ты миляга.

Разгладила мои усы, поцеловала их кончики и в раздумье сказала:

— Пожалуй, что ты больше всего похож на зайца: у тебя такие же усики...

— Нет, уж извини: мне серебристый тигр больше по душе!..

— Ну, не надо плакать,— покровительственно хлопнула она меня по плечу.— Конечно, ты тигр серебряный, а усики из золота с бриллиантами.

Я глядел на нее и думал:

«Ну, кому она нужна, такая? Нет, нельзя ее прогнать. Пусть живет со мной».

— Ну, послушай... Ну, посуди сам: разве это не весело? Нас сейчас двое, а через семь месяцев будет трое.

* * *

И тут она ошиблась, как ошибалась во многом: через семь месяцев нас было по-прежнему двое — я и сын.

Она умерла от родов.

* * *

Мне очень жалко ее.

Хвост женщины

Недавно мне показывали ручную гранату: очень невинный, простодушный на вид снаряд; этакий металлический цилиндрик с ручкой. Если случайно найти на улице такой цилиндрик, можно только пожать плечами и пробормотать словами крыловского петуха: «Куда оно? Какая вещь пустая»...

Так кажется на первый взгляд. Но если вы возьметесь рукой за ручку, да размахнетесь поэнергичнее, да бросите подальше, да попадете в компанию из десяти человек, то от этих десяти человек останется человека три и то — неполных: или руки не будет хватать, или ноги.

Всякая женщина, мило постукивающая своими тоненькими каблучками по тротуарным плитам, очень напоминает мне

ручную гранату в спокойном состоянии: идет, мило улыбается знакомым, лицо кроткое, безмятежное, наружность уютная, безопасная, славная такая; хочется обнять эту женщину за талию, поцеловать в розовые полуоткрытые губки и прошептать на ушко: «Ах, если бы ты была моей, птичка моя ты райская». Можно ли подозревать, что в женщине таятся такие взрывчатые возможности, которые способны разнести, разметать всю вашу налаженную мужскую жизнь на кусочки, на жалкие обрывки.

Страшная штука,— женщина, и обращаться с ней нужно, как с ручной гранатой.

* * *

Когда впервые моя уютная холостая квартирка огласилась ее смехом (Елена Александровна пришла пить чай),— мое сердце запрыгало, как золотой зайчик на стене, комнаты сделались сразу уютнее, и почудилось, что единственное место для моего счастья — эти четыре комнаты, при условии, если в них совьет гнездо Елена Александровна.

— О чем вы задумались? — тихо спросила она.

— Кажется, что я тебя люблю,— радостно и неуверенно сообщил я, прислушиваясь к толчкам своего сердца.— А... ты?..

Как-то так случилось, что она меня поцеловала — это было вполне подходящим уместным ответом.

— О чем же ты, все-таки, задумался? — спросила она, тихо перебирая волосы на моих висках.

— Я хотел бы, чтобы ты была здесь, у меня; чтобы мы жили, как две птицы в тесном, но теплом гнезде.

— Значит, ты хочешь, чтобы я разошлась с мужем?

— Милая, неужели ты могла предполагать хоть одну минуту, чтобы я примирился с его близостью к тебе? Конечно, раз ты меня любишь — с мужем все должно быть кончено. Завтра же переезжай ко мне.

— Послушай... но у меня есть ребенок. Я ведь его тоже должна взять с собой.

— Ребенок... Ах, да, ребенок!.. кажется, Марусей зовут?

— Марусей.

— Хорошее имя. Такое... звучное! «Маруся». Как это Пушкин сказал? «и нет красавицы, Марии равной»... Очень славные стишки.

— Так вот... Ты, конечно, понимаешь, что с Марусей я расстаться не могу.

— Конечно, конечно. Но, может быть, отец ее не отдаст?

— Нет, отдаст.

— Как же это так?—кротко упрекнул я.—Разве можно свою собственную дочь отдавать? Даже звери и те...

— Нет, он отдаст. Я знаю.

— Нехорошо, нехорошо. А, может быть, он втайне страдать будет? Этак в глубине сердца. По-христиански ли это будет с нашей стороны?

— Что же делать? Зато я думаю, что девочке у меня будет лучше.

— Ты думаешь—лучше? А вот я курю сигары. Детям, говорят, это вредно. А отец не курит.

— Ну ты не будешь курить в этой комнате, где она,—вот и все.

— Ага. Значит, в другой курить?

— Ну, да. Или в третьей.

— Или в третьей. Верно. Ну, что ж... (я глубоко вздохнул). Если уж так получается, будем жить втроем. Будет у нас свое теплое гнездышко.

Две нежные руки ласковым кольцом обвились вокруг моей шеи. Вокруг той самой шеи, на которую в этот момент невидимо, незримо—уселись пять женщин.

* * *

Я вбежал в свой кабинет, который мы общими усилиями превратили в будуар Елены Александровны,—и испуганно зашептал:

— Послушай, Лена... Там кто-то сидит.

— Где сидит?

— А вот там, в столовой.

— Так это Маруся, вероятно, приехала.

— Какая Маруся?! Ей лет тридцать, она в желтом платке. Сидит за столом и мешает что-то в кастрюльке. Лицо широкое, сама толстая. Мне страшно.

— Глупый,—засмеялась Елена Александровна.—Это няня Марусина. Она ей кашку, вероятно, приготовила.

— Ня... ня?.. Какая ня... ня? Зачем ня... ня?

— Как зачем? Марусю-то ведь кто-нибудь должен нянчить?

— Ах, да... действительно. Этого я не предусмотрел. Впрочем, Марусю мог бы нянчить и мой Никифор.

— Что ты, глупенький! Ведь он мужчина. Вообще, мужская прислуга—такой ужас...

— Няня, значит?

— Няня.

— Сидит и что-то размешивает ложечкой.

— Кашку изготовила.

— Кашку?

— Ну, да, чего ты так взбудоражился?

— Взбудоражился?

— Какой у тебя странный вид.

— Странный? Да. Это ничего. Я большой оригинал... Хи-хи.

Я потоптался на месте и потом тихонько поплелся в спальню.

Выбежал оттуда испуганный.

— Лена!!!

— Что ты? Что случилось?

— Там... В спальне... Тоже какая-то худая, черная... стоит около кровати и в подушку кулаком тычет. Забралась в спальню. Наверное, воровка... Худая, ворчит что-то. Леночка, мне страшно.

— Господи, какой ты ребенок. Это горничная наша, Ульяша. Она и там у меня служила.

— Ульяша. Там. Служила. Зачем?

— Деточка моя, разве могу я без горничной? Ну посуди сам.

— Хорошо. Посудю. Нет, и... что я хотел сказать!.. Ульяша?

— Да.

— Хорошее имя. Пышное такое, Ульяния. Хи-хи. Служить, значит, будет? Так. Послушай: а что же нянька?

— Как ты не понимаешь: нянька для Маруси, Ульяша для меня.

— Ага! Ну-ну.

Огромная лапа сдавила мое испуганное сердце. Я еще больше осунулся, спрятал голову в плечи и поплелся: хотелось посидеть где-нибудь в одиночестве, привести в порядок свои мысли.

— Пойду на кухню. Единственная свободная комната.

* * *

— Лена!!!

— Господи... Что там еще? Пожар?

— Тоже сидит!

— Кто сидит? Где сидит?

— Какая-то старая. В черном платке. На кухне сидит. Пришла, уселась и сидит. В руках какую-то кривую ложку держит, с дырочками. Украла, наверное, да не успела убежать.

— Кто? Что за вздор?!

— Там. Тоже. Сидит какая-то. Старая. Ей-Богу.

— На кухне? Кому ж там сидеть? Кухарка моя, Николаевна, там сидит.

— Николаевна? Ага... Хорошее имя. Уютное такое. Послушай: а зачем Николаевна? Обедали бы мы в ресторане, как прежде. Вкусно, чисто, без хлопот.

— Нет; ты решительное дитя!

— Решительное? Нет, нерешительное. Послушай: в ресторанчик бы...

— Кто? Ты и я? Хорошо-с. А няньку кто будет кормить? А Ульяну? А Марусе если котлеточку изжарить или яичко? А если моя сестра Катя к нам погостить приедет?! Кто же в ресторан целой семьей ходит?

— Катя? Хорошее имя,—Катя. Закат солнца на реке напоминает. Хи-хи.

* * *

Сложив руки на груди и прижавшись спиной к углу, сидел на сундуке в передней мой Никифор. Вид у него был неприютный, загнанный, вызывавший слезы.

Я повертелся около него, потом молча уселся рядом и задумался: бедные мы оба с Никифором... Убежать куда-нибудь вдвоем, что ли? Куда нам тут деваться? В кабинете—Лена, в столовой—няня, в спальне—Маруся, в гостиной—Ульяша, в кухне—Николаевна. «Гнездышко»... хотел я свить, гнездышко на двоих, а потянулся такой хвост, что и конца ему не видно. Катя, вон, тоже приедет. Корабль сразу оброс ракушками и уже на дно тянет, тянет его собственная тяжесть. Эх, Лена, Лена!..

— Ну, что, брат, Никифор!—робко пробормотал я непослушным языком.

— Что прикажете?—вздохнул Никифор.

— Ну, вот, брат, и устроились.

— Так точно, устроились. Вот сижу и думаю себе: наверное, скоро расчет дадите.

— Никифор, Никифор... Есть ли участь завиднее твоей: получишь ты расчет, наденешь шапку набекрень, возьмешь в руки свой чемоданчик, засвистишь, как птица, и порхнешь к другому холостому барину. Заживете оба на славу. А я...

Никифор ничего не ответил. Только нашел в полутьме мою руку и тихо пожал ее.

Может быть, это фамильярность? Э, что там говорить!.. Просто приятно, когда руку жмет тебе понимающий человек.

* * *

Когда вы смотрите на изящную, красивую женщину,— бойко стучащую каблучками по тротуару,— вы думаете: «Какая милая! Как бы хорошо свить с ней вдвоем гнездышко».

А когда я смотрю на такую женщину,— я вижу не только женщину — бледный, призрачный тянется за ней хвост: маленькая девочка, за ней толстая женщина, за ней худая, черная женщина, за ней старая женщина с кривой ложкой, усеянной дырочками, а там дальше, совсем тая в воздухе, несутся еще и еще: сестра Катя, сестра Бася, тетя Аня, тетя Варя, кузина Меря, Подстега Сидоровна и Ведьма Ивановна... Матушка, матушка,— пожалей своего бедного сына!..

* * *

Невинный, безопасный, кроткий вид имеет ручная граната, мирно лежащая перед вами.

Возьмите ее, взмахните и подбросьте: на клочки размечется вся ваша так уютно налаженная жизнь, и не будете знать, где ваша рука, где ваша нога!

О голове я уже и не говорю.

Драма в семье Бырдиных

В богатых апартаментах графа Бырдина раздался болезненный стон.

С расширенными от ужаса глазами, схватившись за голову, застыл граф, и его взгляд — взгляд помешанного — блуждал по странице развернутого иллюстрированного журнала.

— Да, это так,— глухо произнес он.— Сомнений быть не может!

Испустив проклятие, граф схватил журнал и помчался с ним в будуар графини.

* * *

Графиня Бырдина — красавица роскошного телосложения лежала на изящной козетке и читала роман в желтой обертке, из французского быта.

Ее высокая пышная грудь, как волна в прилив, вздымалась легким дыханием, белые полные руки соперничали нежно-



стью с легкой воздушной материей пеньюара, а волнистая линия бедер свела бы с ума самого записного анахорета.

Вот какова была графиня Бырдина!

* * *

Как вихрь, ворвался несчастный граф в будуар жены.

— Полюбуйтесь! — со стоном произнес граф (они не забывались даже, когда были с глазу на глаз и называли друг друга всегда на «вы»). — Полюбуйтесь. Читали?

— Что такое? — привстала встревоженная графиня. — Какое-нибудь несчастье?

— Да уж... счастьем назвать это трудно! — горько произнес граф.

Графиня судорожно схватила журнал и на великолепном французском языке прочла указанное мужем место:

«В предстоящем зимнем сезоне модными сделаются опять худые женщины. Полные фигуры, так нашумевшие в прошлом сезоне, по всем признакам, несомненно, должны выйти из моды».

...Тихо сидела графиня, склонив голову под этим неожиданным грубым ударом.

Ее потупленный взор остановился на туфельках полной прекрасной ножки ее, нескромно обнаженной пеньюаром больше, чем нужно...

С туфелек взор перешел на колени, на прекрасный достойный резца Праксителя стан, и замер этот взор на высокой волнующейся груди.

И болезненный стон вырвался у графини. Как подкошенная, склонилась она к ногам графа, обнимая его колени. Момент был такой ужасный, что оба, сами того не замечая, перешли на «ты».

— Простишь ли ты меня, любимый?! Пойми же, что я не виновата!!! О, не покидай меня!..

Мрачно сдвинув брови, глядел граф неотступно куда-то в угол.

— О, не гляди так! — простонала графиня...— Ну, хочешь уйдем от света! Я последую за тобой, куда угодно.

— Ха-ха-ха! — болезненно рассмеялся граф,—«куда угодно»... Но, ведь, и мода эта проникнет куда угодно. Нигде не найдем мы места, где на нас бы смотрели без насмешки и язвительности. Всеми презираемые, будем мы влачить бремя нашей жизни. О, Боже! Как тяжело!!

— Послушай...— робко прошептала графиня.— А, может быть, все обойдется...

— Обойдется? — сардонически усмехнулся граф.— Скажи: считался ли до сих пор наш дом самым светским, самым модным в столице?

— О, да! — вырвалось у графини.

— Чем же теперь будут считать наш дом, если я покажу им хозяйку, в самом начале сезона уже вышедшей из моды, как шляпка на голове свояченицы устьсысольского околоточного?! Что вы на это скажете, графиня?

— О, не презирай меня,— зарыдала графиня.— Я постараюсь, я... я сделаю все, чтобы похудеть...

Граф молча встал, холодно поцеловал жену в лоб и вышел из будуара.

* * *

Заведующая «институтом красоты» встретила графа Бырдина очень радостно, но сейчас же осеклась, увидев его мрачное расстроенное лицо.

— Граф! — вскричала она.— Ваша супруга...

— Увы! — глухо произнес граф.

Он вынул журнал, показал его притихшей хозяйке и потом, сложив умоляюще руки, простонал:

— Вы! На вас вся надежда! Помогите...

После долгого раздумья и перелистывания десятка специальных книг заведующая «институтом» вздохнула и решительно произнесла:

— Выход один: вашей жене нужно похудеть.

— Но как? Как?

— Одного режима и диеты мало. Вам нужно еще почаще ее огорчать.

— Хорошо,— произнес граф, и мучительная, страдальческая складка залегла на челе его.— Будет исполнено. Я люблю ее, но... будет исполнено!

* * *

В тот же день граф, зайдя к жене, уселся на краю козетки и безо всяких предисловий начал:

— Подвинься, чего тут разлеглась!

— Граф!— кротко сказала жена.— Опомнитесь!..

— Я уже сорок лет, как граф,— сурово прорычал граф.— Но до сих пор не понимаю: как это люди могут целыми днями валяться на козетках, ровно ни черта не делая, кроме чтения глупейших романов.

Графиня тихо заплакала.

— Да право! Работать нужно, матушка, хлеб зарабатывать, а не висеть на шее у мужа.

— Граф! Что вы говорите! Ведь у нас около трехсот тысяч годового дохода... зачем же мне работать?

— Зачем? А затем, что ты дура, вот и все.

— Граф!?!!..

— Вот ты мне еще похнычешь!.. Дам по башке, так перестанешь хныкать.

Граф встал, холодно сложил на груди руки и сказал:

— Да, кстати! Я завел вчера любовницу, так ты тово... не очень-то много о себе воображай. Красивая канашка. Хо-хо-хо!

— Граф!!

— Заладила сорока Якова: граф да граф! Думаю начать пить, а вечером поеду в клуб. Начну от нечего делать нечисто играть. Выиграю деньги и обеспечу своих незаконных ребят. Восемь-то ртов — все есть хотят! Не хнычь, тебе говорят! Давно я тебя за косы не таскал, подлюку?!

Пробормотав гнусное проклятие, граф выбежал из будуара. И тут на лице его написалось страшное страдание.

— О, моя бедная! О, моя любимая,— шептали его побледневшие уста.— Для нашего общего блага делаю я это.

Он прошел к себе в кабинет, позвал всю мужскую и женскую прислугу и дал всем точные инструкции, как им относиться к графине и как с ней разговаривать.

* * *

Точно тень, бродила бедная похудевшая графиня по своим обширным апартаментам. Робко поглядывала она на двери кабинета мужа, но войти боялась...

Встретила слугу Григория, стиравшего пыль с золоченых кресел.

— Григорий, барин у себя?

— А черт его знает,— отвечал Григорий, сплевывая на ковер.— Что я сторож ему, что ли?

— Григорий! Вы пьяны?

— Не на твои деньги напился! Тоже фря выискалась. Видали мы таких! Почище даже видали.

— Ульян! Степан! Дорофей! возьмите Григория — он пьян.

— Сдурели вы, что ли, матушка,— наставительно сказал старый с седыми бакенами дворецкий Ульян, входя в гостиную.— Кричит тут, сама не знает, чего. Нечего тут болтаться, вишь, человек работает! Ступай себе в будуар, пока не попало.

Вне себя от гнева, сверкая глазами, влетела графиня в кабинет графа, писавшего какие-то письма.

— Это еще что такое?! — взревел граф, бросая в жену тяжелым пресс-папье.— Вон отсюда!!! Всякие тут еще будут ходить. Пошла, пошла, ведьма киевская!

И когда жена, рыдая, убежала, граф с мучительным вздохом снова обратился к письмам...

Он писал:

«Уважаемая баронесса! К сожалению, должен сказать вам, что двери нашего дома для вас закрыты. После всего происшедшего (не буду о сем распространяться) ваше появление на наших вечерах было бы оскорблением нашего дома. Граф Бырдин».

«Княгиня! Надеюсь, вы сами поймете, что вам бывать у нас неудобно. Почему? Не буду объяснять — чтобы еще больше не обидеть вас. Так-то-с! Граф Бырдин».

— Хорошие они обе,— печально прошептал граф.— Обе хорошие — и баронесса, и княгиня.— Но что же делать, если в них пудов по пяти с лишком.

А графиня таяла, как свеча. Даже сам граф Бырдин стал поглядывать на нее одобрительно и однажды даже похлопал по костлявому плечу.

— Скелетик мой,— нежно прошептал он.

* * *

Жуткий нечеловеческий стон раздался в роскошных апартаментах графа.

Остановившимися от ужаса глазами глядел граф на страшные, роковые строки свежего номера иллюстрированного журнала...

Строки гласили:

«Как быстро меняется в наше время всесильная царица-мода! Только три месяца тому назад мы сообщали, что устанавливается прочная мода на худых женщин — и что же! Только три месяца продержалась эта мода и канула в вечность, уступив дорогу победоносному шествию женщин рубенсовского типа, с широкими мощными бедрами, круглыми плечами и полными круглыми руками. Ave, modes et robes[1] для полных женщин!

— Все погибло! — простонал граф.— Я отказал от дому рубенсовской баронессе и тициановской княгине, а они были бы украшением моего дома. Я извел жену, свел на нет ее прекрасное пышное тело... Увы, мне! Поправить все? Но как? До сезона осталось 2 недели... Что скажут?!

Мужественной рукой вынул он из роскошного футляра остро отточенную бритву...

* * *

Чье это хрипение там слышится? Чья алая кровь каплет на дорогой персидский ковер? Чьи ослабевшие руки судорожно хватаются за ножку кресла?

Графское это хрипенье, графская кровь, графские руки...

И недаром поэт писал:

«Погиб поэт, невольник чести»...

Спи спокойно!

* * *

На похоронах платье графини Бырдиной было отделано черным валансеном, а сама она была отделана на обе корки светскими знакомыми за то, что погубила мужа, и за то, что не модная.

---

[1] Да здравствуют моды и платья *(лат., фр.)*.

* * *

Кладбище мирно дремлет...

Тихо качают ивы над могилой своими печальными верхушками:

— Дурак ты, мол, дурак!..

Исторические нравоучительные рассказы

Как Дидона построила Карфаген

Когда встречаются мошенник и дурак, то ясно: в этой комбинации всегда проиграет дурак.

Сестра жестокого тирского царя Пигмалиона, спасаясь от его преследований, пришла со своими приближенными в Африку. Осмотревшись и познакомившись с жителями, она уговорила их пойти на такую сделку:

— Я вам плачу вот эти небольшие деньги за то, чтобы вы мне продали земли столько, сколько охватит воловья шкура.

Африканцы почесали затылки и сказали друг другу:

— Видно, дура баба. Земли у нас сколько угодно — пусть берет этот клочок. Не обеднеем, чай.

— Ну, как же? — торопила Дидона.

— Идет! По рукам.

— По рукам, так по рукам,— пробормотала Дидона.

Непосредственно затем разрезала воловью шкуру на тонкие ремни и охватила себе такой кусок земли, который можно было охватить воловьим ремнем.

Снова почесались африканцы — да уж поздно было.

Отсюда и пошло выражение: «народ мы темный». Как известно — африканцы черные.

Так и возник Карфаген.

* * *

Вот, милые дети: если будете совершать земельные сделки, то имейте в кармане воловью шкуру. Если же этот прием не пройдет, то можно смошенничать как-нибудь иначе.

Преступная лень

Мидийский царь Астиаг покушал на ночь поросенка с хреном, и ему приснилось, будто из живота его дочери выросло развесистое дерево, которое тенью своею покрыло всю Азию.

Спрошенные по этому поводу маги объяснили·

— Дело ясное: Кир родится.

Понятно, что Астиаг испугался своего будущего тенистого развесистого родственника... Призвал вельможу Гарпага и сказал ему:

— Голубчик, Гарпаг... Там у дочери родился Кир, так ты его тово... Ну, да мне тебя не учить... Понял?

— Ухлопать прикажете?

— Натурально.

Гарпаг откланялся, но по лени передал это поручение пастуху; тот тоже был не из прилежных: попросил жену. А жена, конечно, раскисла и, вместо того, чтобы распорядиться с ребенком по-царски,—спрятала его.

Так и вырос Кир.

* * *

Дети! Никогда не поручайте другим тех дел, которые возложены на вас.

О, Солон, Солон, Солон!

Персидский царь Кир победил Лидийского царя Креза,—богатого, действительно, как Крез.

Когда Креза взяли в плен, Кир благосклонно сказал:

— Нынче что-то холодно. Пленник наш мерзнет. Подогрейте его на костре.

Когда Креза взвалили на костер, он поднял глаза к небу и заплакал, как дитя:

— О, Солон, Солон, Солон!

— Солоно тебе приходится?—осведомился, плохо понимавший по-лидийски Кир.

— Не то, коллега,—отвечал Крез.—А я просто вспомнил греческого мудреца Солона, перед которым я однажды расхвастался своими богатствами. «Правда,—спросил я,—что меня можно назвать самым счастливым человеком?»—«Ну, нет,—сказал Солон,—прежде своей кончины никто не может назвать себя счастливым».

— Ишь ты,—удивился Кир и приказал стащить Креза с костра.

* * *

Эта история, дети, должна научить вас искать беседы с мудрецами, а не с дураками, которые всегда могут, как говорится, подвести под монастырь...

Перстень Поликрата, или, Как ни вертись, от судьбы не уйдешь

Жил-был тиран Поликрат. Ему так везло, что все удивлялись.

Чтобы смягчить зависть Богов, Поликрат решил подвергнуть себя какому-нибудь лишению: он выехал в открытое море и бросил в воду свой самый дорогой перстень. Дальше все пошло, как по маслу: рыбак поймал большую рыбу, подарил (и тут повезло) ее Поликрату, Поликрат зажарил ее, и когда стал есть, то чуть не сломал зуб (все-таки не сломал; и тут повезло!)... Почему же спрашивается, он чуть не сломал зуб? Да очень просто: в рыбе был брошенный им в воду перстень (самый редкий случай везения)...

Нужно ли добавлять, что вскоре после этого Поликрат был пойман персидским сатрапом и повешен, со всем уважением, которое было его сану свойственно.

Вот тебе и перстень. Вот тебе и везение.

* * *

С тех пор цена на рыбу так поднялась, что нынче фунт осетрины меньше, чем за три рубля не купишь.

Жаль только, что рыба совершенно перестала питаться перстнями.

Об искусном поэте

Афинский поэт Фроних написал трагедию «Взятие Милета». Во время ее представления зрители не могли удержаться от рыданий, и поэт был осужден заплатить пеню в 1000 драхм за такое живое напоминание этого печального события.

* * *

О, дети! Как мы были бы счастливы, если бы и сейчас тоже применялся этот закон по отношению к авторам военных пьес и рассказов.

Пусть бы лучше денежки их плакали, а не читатели.



Что может быть хорошего в бочке

Как известно, Диоген жил в бочке, почему многие доверчивые люди и считали его мудрецом.

Мы с этим не согласны. Например:

Однажды его посетил (?) Александр Македонский. Диоген, по обыкновению, как дурак, сидел в своей бочке.

— Диоген,— сказал Александр.— Хочешь, я окажу тебе какую-нибудь милость?

— Хочу,— грубо отвечал Диоген.

— Какую?

— Отойди, ты закрываешь мне солнце.

Остроумно ли это, дети? Ничуть. Человек высокопоставленный обращается к тебе, как к порядочному, хочет сделать тебе что-нибудь приятное, а ты? Как ты ему отвечаешь? Где тебя учили таким ответам? Мудрец ты? Водовоз ты, а не мудрец.

За свои грубые ответы Диоген, как известно, и ходил всегда с фонарями...

* * *

Дети! Будьте благопристойны.

Где у человека должны быть камни

Оратор Демосфен, в юности заика,—начал свою ораторскую деятельность тем, чем многие современные ораторы начинают, продолжают и кончают: его освистали.

Но он не смутился этим: набил себе рот камнями и произнес такую громовую речь против Филиппа, что эту речь удивленные современники назвали филиппикой.

* * *

Очень жаль, что современные ораторы не похожи на Демосфена: у них не камни, а каша во рту.

Камни же они обыкновенно держат за пазухой и бросают их безо всякого толку в чужой огород.

Благородный жест Александра Македонского

Александр Македонский и все его войско залезли однажды в такую глушь, где не было совсем воды. Однако какой-то расторопный воин нашел небольшую лужицу, зачерпнул шлемом воды и принес ее Александру.

Александр заглянул в шлем и сказал:

— Как я буду пить воду в то время, когда мое войско изнывает от жажды.

И вылил воду на землю.

Поступок, конечно, красивый, но вот, дети, его объяснение: перед тем, как пить, Александр заглянул в шлем — и что же он увидел там: немного жидкой кашицы из мусора и грязи, в которой плавала дохлая крыса.

Дети, какой поступок он совершил?

1. Гигиенический.
2. Красивый.
3. Исторический.

* * *

Дети! Помните, что вы тоже можете совершать красивые исторические поступки, в особенности тогда, когда другого выхода нет.

Жарение Муция á la Сцеволы

Молодой римский человек Муций Сцевола пробрался во вражеский этрусский лагерь с целью ухлопать царя Порсену. Но, по близорукости или по чему другому, убил постороннего, совершенно не заинтересованного человека.

Когда его поймали, Порсена сказал:

— Я сожгу тебя живым.

Тогда Муций положил руку на огонь, пылавший в жаровне, и сказал:

— Начихать мне на твои угрозы. Видишь — сам могу жариться, сколько угодно.

Историк говорит, что изумленный таким героизмом Порсена помиловал Муция Сцеволу и поспешил (?) заключить мир.

* * *

Дети! Встречали ли вы более практичного молодого человека, чем Сцевола?

Он сразу сообразил, что пусть лучше сгорит одна рука, чем весь он — с руками, с ногами и головой, если его начнут жечь палачи Порсены.

А если бы даже его трюк с рукой и не произвел впечатления, то чем он рисковал? Так или иначе — сожгут целиком... А если царь, восхитясь таким поступком, помилует, то руку потом можно залечить: сделать компресс из картофельной муки или помазать обожженное место чернилами. Тоже помогает.

* * *

Дети! Будьте практичны, и вы никогда ни в огне не сгорите, ни в воде не потонете.

Несчастье особого рода

Римский консул Дуилий разбил карфагенян. В благодарность за это римляне постановили, чтобы за ним всюду следовал флейтист, дудящий на флейте, и человек с зажженным факелом.

Как известно, у консула Дуилия была интрижка с одной знатной патрицианкой — и что же! Этот победитель и герой очутился в самом невыносимом положении: как только он собирался на тайное свидание к своей возлюбленной, за ним бе-

жала целая процессия — впереди флейтист, за ним факелоносец, а сзади толпа любопытных.

— Куда это несет нашего Дуилия?

— Да к этой, знаете... Он с ней уже второй год путается.

— А муж что же?

— Ну, уж эти мужья... Ему и факелом освещают и в дудку дудят — разве муж видит и слышит что-нибудь?

Историк говорит, что Дуилий, терпение которого лопнуло, выхватил однажды у флейтщика дудку, пробил ему голову, а потом поджег факелом и факелоносца и себя...

Так и погиб этот чудный отзывчивый человек...

* * *

Дети! Помните: для преуспеяния в жизни не нужно совершать громких подвигов... живите себе тихо, смирно, почитайте старших, кланяйтесь начальству, и ни один ваш поступок не будет освещен светом факела, и ни об одном вашем поступке не продудят на весь мир...

Зря не топай

Римский военачальник Помпей вздумал воевать с непослушным воле римского сената Юлием Цезарем.

Войск у Помпея не было, но он не смущался этим.

Часто говорил своим друзьям:

— Лишь топну ногой, и из земли появятся легионы.

В это время Цезарь перешел Рубикон и обрушился на беззаботного Помпея.

Помпей вздумал топнуть ногой, чтобы из-под земли явились легионы.

Топнул раз, топнул два — никто из земли не вылез. Ни одна собака.

Топал он, топал, пока не пришлось ему сломя голову топать от Цезаря, куда глаза глядят.

И чем же кончилось это топанье? Убили его в Египте (куда человека занесло!), и конец.

* * *

Помните, милые дети, что исторические фразы говорить легко, а исполнять обещанное трудно.

Так что — зря не топайте.

Люди — братья

Их было трое: бывший шулер, бывший артист императорских театров — знаменитый актер и третий — бывший полицейский пристав 2-го участка Александро-Невской части.

Сначала было так: бывший шулер сидел за столиком в ресторане на Приморском бульваре и ел жареную кефаль, а актер и пристав порознь бродили между публикой, занявшей все столы, и искали себе свободного местечка. Наконец бывший пристав не выдержал: подошел к бывшему шулеру и, вежливо поклонившись, спросил:

— Не разрешите ли подсесть к вашему столику? Верите, ни одного свободного места!

— Скажите! — сочувственно покачал головой бывший шулер.— Сделайте одолжение, садитесь! Буду очень рад. Только не заказывайте кефали — жестковата.— При этом бывший шулер вздохнул: — Эх, как у Донона жарили судачков обернуар!

Лицо бывшего пристава вдруг озарилось тихой радостью.

— Позвольте! Да вы разве петербуржец?!

— Я-то?.. Да вы знаете, мне даже ваше лицо знакомо. Если не ошибаюсь, вы однажды составляли на меня протокол по поводу какого-то недоразумения в Экономическом клубе?..

— Да Господи ж! Конечно! Знаете, я сейчас чуть не плачу от радости!.. Словно родного встретил. Да позвольте вас просто по-русски...

Знаменитый актер, бывший артист императорских театров, увидев, что два человека целуются, смело подошел и сказал:

— А не уделите ли вы мне местечка за вашим столом?

— Вам?! — радостно вскричал бывший шулер.— Да вам самое почтеннейшее место надо уступить. Здравствуйте, Василий Николаевич!

— Виноват!.. Почему вы меня знаете? Вы разве петербуржец? Да как же, господи! И господин бывший пристав петербуржец из Александро-Невской части, и я петербуржец из Экономического клуба, и вы.

— Позвольте... Мне ваше лицо знакомо!!

— Еще бы! По клубу же! Вы меня еще — дело прошлое — били сломанной спинкой от стула за якобы накладку.

— Стойте! — восторженно крикнул пристав.— Да ведь я же по этому поводу и протокол составлял!!

— Ну конечно! Вы меня еще выслали из столицы на два года без права въезда! Чудесные времена были!



— Да ведь и я вас, господин пристав, припоминаю,— обрадовался актер.— Вы меня целую ночь в участке продержали!!!

— А вы помните, за что?—засмеялся пристав.

— Черт его упомнит! Я, признаться, так часто попадал в участки, что все эти отдельные случаи слились в один яркий сверкающий круг.

— Вы тогда на пари разделись голым и полезли на памятник Александра Третьего на Знаменской площади.

— Господи!—простонал актер, схватившись за голову.— Слова-то какие: Александр Третий, Знаменская площадь, Экономический клуб... А позвольте вас, милые петербуржцы...

Все трое обнялись и, сверкая слезинками на покрасневших от волнения глазах, расцеловались.

— О, Боже, Боже,—свесил голову на грудь бывший шулер,—какие воспоминания!.. Сколько было тогда веселой, чисто столичной суматохи, когда вы меня били... Где-то теперь спинка от стула, который вы... А, чай, теперь от тех стульев и помина не осталось?

— Да,— вздохнул бывший пристав.— Все растащили, все погубили, мерзавцы... А мой участок, помните?

— Это второй-то?—усмехнулся актер.—Как отчий дом помню: восемнадцать ступенек в два марша, длинный коридор,

налево ваш кабинет. Портрет государя висел. Ведь вот было такое время: вы — полицейский пристав, я — голый, пьяный актер, снятый с царского памятника, а ведь мы уважали друг друга. Вы ко мне вежливо, с объяснением... Помню, папироску мне предложили и искренне огорчились, что я слабых не курю...

— Помните шулера Афонькина? — спросил бывший шулер.

— Очень хороший был человек.

— Помню, как же. Замечательный. Я ведь и его бил тоже.

— Пресимпатичная личность. В карты, бывало, не садись играть — зверь, а вне карт — он тебе и особенный салат-омар состряпает, и «Сильву» на рояли изобразит, и наизусть лермонтовского «Демона» продекламирует.

— Помню, — кивнул головой пристав. — Я и его высылал. Его в Приказчичьем сильно тогда подсвечниками обработали.

— Милые подсвечники, — прошептал лирически актер, — где-то вы теперь?.. Разворовали вас новые вандалы! Ведь вот времена были: и электричество горело, а около играющих всегда подсвечники ставили.

— Традиция, — задумчиво сказал бывший шулер, разглаживая шрам на лбу. — А позвольте, дорогие друзья, почествовать вас бутылочкой «Абрашки»...

Радостные пили «Абрау». Пожимали друг другу руки и любовно, без слов, смотрели друг другу в глаза.

Перед закрытием ресторана бывший шулер с бывшим приставом выпили на «ты».

Они лежали друг у друга в объятиях и плакали, знаменитый актер простирал над ними руки и утешал:

— Петербуржцы! Не плачьте! И для нас когда-нибудь небо будет в алмазах! И мы вернемся на свои места!.. Ибо все мы, вместе взятые, — тот ансамбль, без которого немыслима живая жизнь!!

Деловая жизнь

Ознакомившись с городом, я решил заняться делами. Узнав, что все деловые люди собираются в специальном кафе на Пере, я пошел туда, потребовал чашку кофе и уселся выжидательно за столик — не наклюнется ли какое дельце.

На ловца, как говорится, и зверь бежит. Ко мне подсел неизвестный господин, потрепал меня по плечу и сказал:

— Здравствуйте, господин писатель! Не узнаете меня?

— Как не узнаю, — с вялой вежливостью возразил я. — Очень даже хорошо узнаю. Как поживаете?

— Дела разные ломаю. А вы?

— Я тоже думаю каким-нибудь делом заняться.

— Лиры есть?

— Немножко есть,— хлопнул я себя по карману.

Лицо моего собеседника выразило напряженное внимание.

— Гм... Что мне для вас придумать?.. Гм... Есть у меня одно дельце, да. Впрочем, поделюсь с вами. Скажите, вы знаете, сколько весит баран?

— Какой баран?—удивился я.

— Обыкновенный. Знаете, сколько он весит?

— А черт его знает! Я до сих пор писал рассказы, а не взвешивал баранов.

— Как же вы не знаете веса барана!—с упреком сказал незнакомец.

— Не приходилось. Впрочем, если нужно, я как-нибудь на днях, когда будет свободное время...

— Ну так знайте же, что средний баран весит три пуда.

Я изобразил на своем лице напряженное удовольствие.

— Смотрите-ка, кто бы мог подозревать!

— Да, да. Три пуда. А вы знаете, сколько стоит фунт баранины? Пятьдесят пиастров!

— Да, вообще сейчас жизнь очень запуталась,— неопределенно заметил я.

— Ну, для умного человека жизнь проста, как палец. Итак, продолжаю. А знаете ли вы, сколько стоит целый баран в Кады-Кее? Десять лир. Итак, вот вам дело: вы даете двадцать лир и я двадцать лир. Я покупаю двух овец, режу их...

— Не надо их резать,— сентиментально заметил я,— они такие хорошенькие.

— А как же иначе мы их на мясо продадим? Я их сам зарежу, не бойтесь. Итак, на ваши двадцать лир вы будете иметь шесть пудов овечьего мяса. По розничной цене — шестьдесят лир. Да шкура в вашу пользу, да рога.

Хотя я до сих пор рогатых овец не встречал, но это, очевидно, была местная порода.

Я кивнул головой с видом знатока.

— Очень хорошее дельце. А когда прикажете внести деньги?

— Да хоть сейчас: чем скорее, так лучше. Сколько тут у вас? Ровно двадцать? Ну вот и спасибо. Завтра утром бараны будут уже у нас. Хотите, я приведу их к вам показать?

— Не знаю, удобно ли это. Вдруг ни с того, ни с сего бараны заходят на квартиру... Да еще моя хозяйка против этих посторонних визитов... Нет, лучше их просто зарежьте. Только не мучьте. Хорошо?

Мой новый компаньон заверил, что смерть этих невинных созданий будет совершенно безболезненна и легка, как сон, и, пожав мне руку, умчался с озабоченным лицом.

С тех пор прошло восемь дней. Пока я не вижу ни моего компаньона, ни баранов, ни прибыли.

Очевидно, с компаньоном что-нибудь случилось.

Иногда по ночам меня мучит совесть: прав ли я был, поручив этому слабосильному человеку опасную процедуру умерщвления баранов? А что если они по дороге сбежали от него? А что если перед смертью они вступили с ним в борьбу и, разъяренные предстоящей участью, растерзали моего бедного компаньона?

Вчера со мной произошел удивительный случай: иду по улице, вдруг вижу,—мой компаньон навстречу.

Я радостно кинулся к нему:

— Здравствуйте, голубчик! Ну, что слышно с баранами?

Он удивленно взглянул на меня:

— Какие бараны? Простите, я вас совершенно не знаю.

— Ка-а-ак?.. Да ведь мы же вместе хотели зарабатывать на баранах!

— Простите, я вас в первый раз вижу. Я иногда зарабатываю на баранах, но зарабатываю один.

И, отстранив меня, он пошел дальше.

«Однако, какое удивительное сходство!..—бормотал я себе под нос, провожая его взглядом.—То же лицо, тот же голос и даже на баранах зарабатывает, как и тот!»

Много тайн хранит в себе чарующий, загадочный Восток!

Русское искусство

— Вы?

— Я.

— Глазам своим не верю.

— Таким хорошеньким глазам не верить—это преступление.

Отпустить подобный комплимент днем на Пере, когда сотни летящего мимо народа не раз толкают вас в бока и в спину,— для этого нужно быть очень светским, чрезвычайно элегантным человеком.

Таков я и есть.

Обладательница прекрасных глаз, известная петербургская

драматическая актриса, стояла передо мной, и на ее живом лукавом лице в одну минуту сменялось десять выражений.

— Слушайте, Простодушный. Очень хочется вас видеть. Ведь вы — мой старый милый Петербург. Приходите чайку выпить.

— А где вы живете?

Во всяком другом городе этот простой вопрос вызвал бы такой же простой ответ: улица такая-то, дом номер такой-то.

Но не таков городишко Константинополь!

На лице актрисы появилось выражение небывалой для нее растерянности.

— Где я живу? Позвольте. Не то Шашлы-Башлы, не то Биюк-Темрюк. А может быть, и Казанлы-Базанлы. Впрочем, дайте мне лучше карандаш и бумажку, я вам нарисую.

Отчасти делается понятна густая толпа, толкущаяся на Пере: это все русские стоят друг против друга и по полчаса объясняют свои адреса: не то Шашлы-Башлы, не то Бабаджан-Османды.

Выручают обыкновенно карандаш и бумажка, причем отправной пункт — Токатлиан: это та печка, от которой всегда танцует ошалевший русский беженец.

Рисуются две параллельных линии — Пера. Потом квадратик — Токатлиан. Потом...

— Вот вам,— говорит актриса, чертя карандашом по бумаге,— эта штучка — Токатлиан. От этой штучки вы идите налево, сворачивайте на эту штучку, потом огибаете эту штучку — и тут второй дом — где я живу. Номер двадцать два. Третий этаж, квартира барона К.

Я благоговейно спрятал в бумажник этот странный документ и откланялся.

На другой день вечером, когда я собрался в гости к актрисе, зашел знакомый.

— Куда вы?

— Куда? От Токатлиана прямо, потом свернуть в эту штучку, потом в другую. Квартира барона К.

— Знаю. Хороший дом. Что ж это вы, дорогой мой, идете в такое аристократическое место — и в пиджаке?

— Не фрак же надевать!

— А почему бы и нет? Вечером в гостях фрак — самое разлюбезное дело. Все-таки это ведь заграница!

— Фрак так фрак,— согласился я.

Оделся и, сверкая туго накрахмаленным пластроном фрачной сорочки, отправился на Перу — танцевать от излюбленной русской печки.

Если в Константинополе вам известна улица и номер дома, то это только половина дела. Другая половина — найти номер дома. Это трудно. Потому что седьмой номер помещается между двадцать девятым и четырнадцатым, а шестнадцатый скромно заткнулся между сто двадцать седьмым и девятнадцатым.

Вероятно, это происходит оттого, что туркам наши арабские цифры неизвестны. Дело происходило так: решив перенумеровать дома по-арабски, муниципалитет наделал несколько тысяч дощечек с разными цифрами и свалил их в кучу на главной площади. А потом каждый домовладелец подходил и выбирал тот номер, закорючки и загогулины которого приходились ему более по душе.

Искомый номер двадцать два был сравнительно приличен: между двадцать четвертым и тринадцатым.

На звонок дверь открыла дама очень элегантного вида.

— Что угодно?

— Анна Николаевна здесь живет?

— Какая?

— Русская. Беженка.

— Ах, это вы к Аннушке! Аннушка, тебя кто-то спрашивает!

Раздался стук каблучков, и в переднюю выпорхнула моя приятельница в фартуке и с какой-то тряпкой в руке.

Первые слова ее были такие:

— Чего тебя, ирода, черти-то по парадным носят? Не мог через черный ход приттить!

— Виноват, — растерялся я, — вы сказали...

— Что сказала, то и сказала. Это мой кум, барыня! Я его допрежь того в Петербурхе знала. Иди уж на кухню, раздевайся там. Недотепа!

Кухня была теплая, уютная, но не особенно пригодная для моего элегантного фрака. Серая тужурка и каска пожарного были бы здесь гораздо уместнее.

— Ну, садись, кум, коль пришел. Самовар, чать, простыл, по стакашку еще нацедить возможное дело.

— А я вижу, вы с гран-кокет перешли на характерные, — уныло заметил я, вертя в руках огромную ложку с дырочками.

— Чаво? Я, стал-быть, тут у кухарках пристроилась. Ничего, хозяева добрые, не забижают.

— На своих харчах? — деловито спросил я, чувствуя, как на моей голове невидимо вырастает медная пожарная каска.

— Хозяйские и отсыпное хозяйское.

— И доход от мясной и зеленной имеете?

— Законный процент (в последнем слове она сделала ударение на «о»). А то, может, щец похлебаешь? С обеда осталось. Я б разогрела.

Вошла хозяйка.

— Аннушка, самовар поставь.

Во мне заговорил джентльмен.

— Позвольте, я поставлю,— предложил я, кашлянув в кулак.— Я мигом. Стриженая девка не успеет косы заплести, как я его ушкварю. И никаких гвоздей. Вы только покажите, куда насыпать уголь и куда налить воды.

— Кто это такой, Аннушка? — спросила хозяйка, с остолбенелым видом разглядывая мой фрак.

— Так, один тут. Вроде как сродственник. Он, барыня, тихий. Ни тебе напиться, ни тебе набезобразить.

— Вы давно знакомы?

— С Петербурга,— скромно сказал я, переминаясь с ноги на ногу.— Аннушка в моих пьесах играла.

— Как... играла... Почему... в ваших?..

— А кто тебя за язык тянет, эфиоп,— с досадой пробормотала Аннушка.— Места только лишишься из-за вас, чертей. Видите ли, барыня... Ихняя фамилия — Простодушный.

— Что ж вы тут, господи, пожалуйте в столовую, я вас с мужем познакомлю. Мы очень рады.

— Видала? — заносчиво сказал я, подмигивая.— А ты меня все ругаешь. А со мной господа за ручку здороваются и к столу приглашают.

С черного хода постучались. Вошел еще один Аннушкин гость, мой знакомый генерал, командовавший когда-то Третьей армией. Он скромно остановился у притолоки, снял фуражку с галуном и сказал:

— Чай да сахар. Извините, что поздно. Такое наше дело швейцарское.

* * *

Мы сидели в столовой, за столом, покрытым белоснежной скатертью. Мы трое — кухарка, швейцар и я.

Хозяин побежал в лавку за закуской и вином.

Хозяйка раздувала на кухне самовар.

А мы сидели трое — кухарка, швейцар и я — и, сблизив головы, тихо говорили о том, что еще так недавно сверкало, зеленело и искрилось, что блистало, как молодой снег на солнце, что переливалось всеми цветами радуги и что теперь — залилось океаном тонкой грязи.

Усталые, затуманенные слезами глаза тщетно сверлят завесу мглы, повешенную Господом Богом... какая это мгла? Предрассветная? Или это сумерки, за которыми идет ночь, одиночество, отчаяние?

Прехорошенькая дама повисла на пуговице моего пиджака и мелодично прощебетала:

— Пойдемте к хироманту!

— Чего-о-о?

— Я говорю вам — идите к хироманту! Этот оккультизм такая прелесть. И вам просто нужно пойти к хироманту! Эти хироманты в Константинополе такие замечательные!

— Ни за что не пойду,— увесисто возразил я.— Ноги моей не будет... или, вернее — руки моей не будет у хироманта.

— Ну, а если я вас поцелую,— пойдете?

Когда какой-либо вопрос переносится на серьезную деловую почву,— он начинает меня сразу интересовать.

— Солидное предложение,— задумчиво сказал я.— А когда пойти?

— Сегодня же. Сейчас.

— Аванс будет?

Фирма оказалась солидная, не стесняющаяся затратами.

Пошел.

* * *

Римские патриции, которым надоедало жить, перед тем, как принять яд, пробовали его на своих рабах.

Если раб умирал легко и безболезненно, патриций спокойно следовал его примеру.

Я решил поступить по этому испытанному принципу: посмотреть сначала, как гадают другому, а потом уже и самому шагнуть за таинственную завесу будущего.

Около русского посольства всегда толчется масса праздной публики.

Я подошел к воротам посольства, облюбовал молодого человека в военной шинели без погон, подошел, попросил прикурить и прямо приступил к делу.

— Бывали вы когда-нибудь у хироманта? — спросил я.

— Не бывал. А что?

— Вы сейчас ничего не делаете?

— Буквально ничего. Третий месяц ищу работы.

— Так пойдем к хироманту. Это будет стоить две лиры.

— Что вы, милый! Две лиры!!! Откуда я их возьму? У меня нет и пятнадцати пиастров!

— Чудак вы! Не вы будете платить, а я вам заплачу за беспокойство две лиры. Только при условии: чтоб я присутствовал при гадании!

Молодой человек зарумянился, неизвестно почему помялся, оглядел свои руки, вздохнул и сказал:

— Ну, что ж... Пойдем.

Хиромант принял нас очень любезно.

— Хиромантия,— приветливо заявил он,— очень точная наука. Это не то что какие-нибудь там бобы или кофейная гуща. Садитесь.

На столе лежал человеческий череп.

Я приблизился, бесцельно потыкал пальцем в пустую глазницу и рассеянно спросил:

— Ваш череп?

— Конечно, мой. А то чей же.

— Очень симпатичное лицо. Обаятельная улыбка. Скажите, он вам служит для практических целей или просто как изящная безделушка?

— Помилуйте! Это череп одного халдейского мага из Мемфиса.

— А вы говорите — ваш. Впрочем, дело не в этом. Погадайте-ка сему молодому человеку.

Мой новый знакомый застенчиво протянул хироманту правую руку, но тот отстранил ее и сказал:

— Левую.

— Да разве не все равно, что правая, что левая?

— Отнюдь. Исключительно по левой руке. Итак, вот передо мной ваша левая рука... Ну, что ж я вам скажу?.. Вам пятьдесят два года.

— Будет,— мягко возразил мой «патрицианский раб».— Пока только двадцать четыре.

— Вы ошибаетесь. Вот эта линия показывает, что вам уже немного за пятьдесят. Затем проживете вы до... до... черт знает, что такое?!

— А что? — заинтересовался я.

— Никогда я не видел более удивительной руки и более замечательной судьбы. Знаете ли, до каких пор вы проживете, судя по этой совершенно бесспорной линии?

— Ну?

— До двухсот сорока лет!!

— Порядочно!! — завистливо крякнул я.

— Не ошибаетесь ли вы? — медовым голосом заметил обладатель замечательной руки.

— Я голову готов прозакладывать!

Он наклонился над рукой еще ниже.

— Нет, эти линии!!! Что-то из ряду вон выходящее!!! Вот смотрите — сюда и сюда. В недалеком прошлом вы занимали последовательно два королевских престола: один около тридцати лет, другой около сорока.

— Позвольте,— робко возразила коронованная особа.— Сорок и тридцать лет — это уже семьдесят. А вы говорили, что мне и всего-то пятьдесят два.

— Я не знаю, ничего не знаю,— в отчаянии кричал хиромант, хватаясь за голову.— Это первый случай в моей пятнадцатилетней практике! Ваша проклятая рука меня с ума сведет!!

Он рухнул в кресло, и голова его бессильно упала на стол рядом с халдейским черепом.

— А что случилось? — участливо спросил я.

— А то и случилось,— со стоном вскричал хиромант,— что когда этот господин сидел на первом троне, то он был умерщвлен заговорщиками!! Тут сам черт ничего не разберет! Умерщвлен, а сидит. Разговаривает!!! Привели вы мне клиента — нечего сказать!!

— Были вы умерщвлены на первом троне? — строго спросил я.

— Ей-Богу, нет. Видите ли... Я служил капитаном в Марковском полку, а что касается престола...

— Да ведь эта линия — вот она! — в бешенстве вскричал хиромант, тыча карандашом в мирную капитанскую ладонь.— Вот один престол, вот другой престол! А это вот что! Что это? Ясно: умерщвлен чужими руками!

— Да вы не волнуйтесь,— примирительно сказал я.— Вы же сами сказали, что его величество проживет двести сорок лет. Чего же тут тревожиться по пустякам? Вы лучше поглядите, когда и от чего он умрет по-настоящему, так сказать — начисто.

— Отчего он умрет?.. Позвольте-ка вашу руку...

Хиромант ястребиным взором впился в капитанскую ладонь, и снова испуг ясно отразился на его лице.

— Ну, что? — нетерпеливо спросил я.

— Я так и думал, что будет какая-нибудь гадость,— в отчаянии застонал хиромант.

— Именно?

— Вы знаете, отчего он умрет? От родов.

Мы на минуту оцепенели.

— Не ошибаетесь ли вы? Если принять во внимание его пол, а также тот преклонный возраст, который...

— «Который, который»!! Ничего не который! Я не мальчишка, чтобы меня дурачить, и вы не мальчишка, чтобы я мог вам врать. Я честно говорю только то, что вижу, а вижу я такое, что и этого молодого человека и меня надо отправить в сумасшедший дом!! Это сам дьявол написал на вашей ладони эти антихристовы письмена!



— Ну уж и дьявол,— смущенно пробормотал молодой человек.— Это считается одной из самых солидных фирм: Кнаус и Генкельман, Берлин, Фридрихштрассе, триста сорок пять.

Мы оба выпучили на него глаза.

— Господа, не сердитесь на меня... Но ведь я же вам давал сначала правую руку, а вы не захотели. А левая, конечно... Я и сам не знаю, что они на ней вытиснули...

— Кто-о? — взревел хиромант.

— Опять же Кнаус и Генкельман, Берлин, Фридрихштрассе, триста сорок пять. Видите ли, когда мне под Первозвановкой оторвало кисть левой руки, то мой дядя, который жил в Берлине, как представитель фабрики искусственных конеч...

Череп халдейского мудреца полетел мимо моего плеча и, кляцнув зубами, зацепился челюстью за шинель капитана. За черепом полетели две восковых свечи и какая-то древняя книга, обтянутая свиной кожей.

— Бежим,— шепнул я капитану,— а то он так озверел, что убить может.

Бежали, схватившись за руки, по узкому грязному переулку. Отдышались.

— Лёгко отделались,— одобрительно засмеялся я.— Скажите, кой черт поддел вас не признаться сразу, что ваша левая лапа резиновая, как галоша «Проводник»?

— Да я, собственно, боялся потерять две лиры. Вы знаете,

когда пять дней подряд питаешься одними бубликами... А теперь, конечно, сам понимаю, что ухнули мои две лирочки.

— Ну, нет,— великодушно сказал я.— Вам, ваше величество, еще двести пятнадцать лет жить осталось, так уж денежки-то ой-ой как нужны. Получайте.

* * *

Встретил даму. Ту самую.

— Ну что, были?

— Конечно, был. Аванс отработал честно.

— Ну, что же?— с лихорадочным любопытством спросила она.— Что же он вам сказал?

— А вы верите всему, что они предсказывают?— лукаво спросил я.

— Ну, конечно.

— Так он сказал, что с вас причитается еще целый ворох поцелуев.

До чего эти женщины суеверны, до чего доверчивы.

О гробах, тараканах и пустых внутри бабах

Как-то давно-давно мне рассказали забавный анекдот... Один еврей, не имеющий права жительства, пришел к царю и говорит:

— Ваше величество! Дайте мне, пожалуйста, право жительства!

— Но ведь ты же знаешь, что правом жительства могут пользоваться только ремесленники.

— Ну, так я ремесленник.

— Какой же ты ремесленник! Что ты умеешь делать?

— Уксус умею делать.

— Подумаешь, какое ремесло,— усмехнулся скептически государь,— и я умею делать уксус.

— И вы умеете? Ну, так вы тоже будете иметь право жительства!

Прошли идиллические времена, когда рождались подобные анекдоты; настали такие времена, когда не только скромные фабриканты уксуса, но и могущественные короли — не имеют права жительства...

Некоторое исключение представляет собой Константинополь: человек, который умеет делать уксус, здесь не пропадет. Искусство «делать уксус» в той или другой форме — все-таки дает право на жизнь.

Вот мои встречи с такими «ремесленниками, имеющими право жительства», неунывающими, мужественными делателями «уксуса».

* * *

Они сидели на скамейке в саду Пти-Шан и дышали теплым весенним воздухом — бывший журналист, бывший поэт и бывш... чуть по привычке не сказал — бывшая сестра журналиста... Нет, сестра журналиста была настоящая... Дама большой красоты, изящества и тонкого шарма...

Всем трем я искренно обрадовался, и они обрадовались мне.

— Здорово, ребята! — приветствовал я эту тройку. — Что поделываете в Константинополе?

Все трое переглянулись и засмеялись.

— Что мы поделываем... Да вы не поймете, если мы скажем...

— Я не пойму? Да нет на свете профессии, которой бы я не понял!

— Я, например, — сказал журналист, — лежу в гробу.

— А я, — подхватил поэт, — хожу в женщине.

— А я, — деловито заявила журналистова сестра, — состою при зеленом таракане.

— Все три ремесла — довольно странные, — призадумался я. — Делать уксус гораздо легче. Кой черт, например, занес вас в гроб?..

— Одна гадалка принаняла. У нее оккультный кабинет: лежу в гробу и отвечаю на вопросы клиентов. Правда, ответы мои глубиной и остроумием не блещут, но все же они неизмеримо выше идиотских вопросов клиентов.

— А вот вы, который «ходит в женщине»? Каким ветром вас туда занесло?

— Не ветром, а голодом. Огромная баба из картона и коленкора. Я влезаю внутрь и начинаю бродить по Пере, неся на себе это чудовище, в лапах которого красуется реклама одного ресторана.

— Поистине, — сказал я, — ваши профессии изумительны, но они бледнеют перед карьерой Ольги Платоновны, состоящей при зеленом таракане!

— Смейтесь, смейтесь. Однако, зеленый таракан меня кормит. Собственно, он не зеленый, а коричневый, но цвета пробочного жокея, которого он несет на себе, — зеленые. И поэтому я обязана иметь на правом плече большой зеленый бант: цвет моего таракана. Да что вы так смотрите? Просто здесь

устроены тараканьи бега, и вот я служу на записи в тараканий тотализатор. Просто, кажется?

— Очень. Все просто. Один в гробу лежит, другой в бабе ходит, третья — при таракане состоит.

Отошел я от них и подумал:

— Ой крепок еще русский человек, ежели ни гроб его не берет, ни карнавальное чучело не пугает, ежели простой таракан его кормит...

Аргонавты и золотое руно

С тех пор как осенью 1920 года пароход покинул берег Крыма, и до самого Константинополя они так и ходили нераздельно вместе — впереди толстый, рыжебородый, со сложенными на груди руками, а за ним, немного сзади, двое: худощавый брюнет с усиками и седенький, маленький. Этот вечный треугольник углом вперед напоминал стадо летящих журавлей.

Только один раз я увидел их не в комбинации треугольника: они дружно выстроились у борта парохода, облокотясь о перила, и поплевывали в тихую воду Черного моря с таким усердием, будто кто-нибудь дал им поручение — так или иначе, а повысить уровень черноморской воды.

Я подошел и бесцельно облокотился рядом.

— Ну что, юноша,— обратился вдруг ко мне седенький.— Как делишки?

— Ничего себе, юноша,— приветливо ответил я.— Дрянь делишки.

— Что думаете делать в Константинополе?

— А черт его знает. Что придется.

— Так нельзя,— наставительно отозвался черноусый мужчина.— Надо заранее выработать план действий, чтобы не очутиться на константинопольском берегу растерянным дураком. Вот мы выработали себе по плану — и спокойны.

— Прекрасное правило,— пришел я в истинное восхищение.— Какие же ваши планы?

Седенький подарил морскую гладь искусным полновесным плевком и, поглядев на удаляющиеся с глаз плоды своего рта, процедил сквозь энергично сжатые губы:

— Газету буду издавать.

— Ого! Где?

— Что значит — где? В Константинополе. Я думаю сразу ахнуть и утреннюю и вечернюю. Чтобы захватить рынок. Вообще Константинополь — золотое дно!

— Дно-то дно,— с некоторым сомнением согласился я.— Только золотое ли?



— Будьте покойны,— вмешался черноусый.— На этом дне лежат золотые россыпи, только нужно уметь их раскопать. Впрочем, мои планы скромнее.

И две стороны треугольника сейчас же поддержали третью:

— Да, его планы скромнее.

— Журнал будете издавать?— попытался догадаться я.

— Ну что там ваш журнал! Чепуха. Нет, мне пришла в голову свежая мыслишка. Только вы никому из других пассажиров не сообщайте. Узнают — сразу перехватят.

Я твердо поклялся, что унесу эту тайну с собой в могилу.

— Так знайте: я решил открыть в Константинополе русский ресторан.

— Гм... Я, правда, никогда до сих пор не бывал в Константинополе, но... мне кажется, что... там в этом направлении кое-что сделано.

— Черта с два сделано! Разве эти головотяпы сумеют? Нет, у меня все будет особенное: оркестр из живых венгерцев, метрдотель — типичный француз, швейцар — швейцарец с алебардой, а вся прислуга — негры!

— И вы всю эту штуку назовете русским рестораном?

— Почему бы и нет? Кухня-то ведь русская! Щи буду закатывать, кулебяки загибать, жареных поросят зашпаривать. На всю Турцию звон сделаю.

— Но ведь для этого дела нужны большие деньги!

— Я знаю, тысяч десять лир. Но это самое легкое. Найду какого-нибудь богатого дурака-грека — в компании с ним и обтяпаем.

Молчавший доселе бородач вдруг загрохотал, подарил морскую гладь сложным плевком с прихотливой завитушкой и дружески ударил меня по плечу.

— Нет, это все скучная материя — дела, расчеты, выкладки. Вот у меня план так план. Знаете что я буду делать?

— А Бог вас знает.

— То-то и оно. Ничего не буду делать. Сложа руки буду сидеть. Валюту везу. Ловко, а!

— Замечательно.

— Да-а. Узнает теперь этот Константинополишка Никанора Сырцова! Ей-бо, право! Палец о палец не ударю. Сложа руки и буду сидеть. Поработали и буде. Ежели встречу там где — шампанеей до краев налью. Да просто заходи в лучший готель и спроси Никанора Сырцова — там я и буду. А може, я в Васькиной газете публиковаться буду: «Такой-то Никанор Гаврилов Сырцов разыскивает родных и знакомых на предмет выпивки с соответствующей закуской». А в кабак мы с тобой будем ходить только в Петькин: пусть нам негры да венгерцы дурака ломают. Поддержим приятеля, хе-хе! Хай живе Украина!

Журавлиный треугольник отделился от перил, взмахнул крыльями и плавно понесся в трюм на предмет насыщения своих пернатых желудков.

* * *

Пока все беженство кое-как утрясалось, пока я лично устраивался — никто из журавлиного треугольника не попадался мне на глаза.

Но однажды, когда я скромно ужинал в уголке шумного ресторана, ко мне подлетел головной журавль — Никанор Сырцов.

— Друг! — завопил он. — Говорил, шампанеей налью — налью! Пойдем до кабинету. Какие цыгане — пальчики оближешь! Как зальются — так или на отцовскую могилу хочется бежать, или кому-нибудь по портрету заехать. Благороднейшие люди.

Он сцепился со мной на абордаж, после долгой битвы победил меня и, взяв на буксир, отшвартовал «до кабинету», который оказался холодной, дымной, накуренной комнатой, на-

полненной людьми. В руках у них были гитары, на плечах — линялые кунтуши, на лицах скука непроходимая.

— Эх, брат! — воскликнул Сырцов, становясь в позу. — Люблю я тебя, а за что, и сам не знаю. Хороший человек, чтоб ты сдох! Веришь совести — вторую тысячу пропиваю!.. А ну, вы, конокрады, ушкварьте: «Две гитары за стеной!»

Пел Сырцов, рыдал Сырцов в промежутках, и снова плясал Сырцов, оделяя всех алчущих и жаждущих бокалами шампанского и лирами

— Во, брат! — кричал он, путаясь неверными ногами в странном танце. — Это я называю жить сложа руки! Вот она, брат, это и есть настоящая жизнь! Ой, жги, жги, жги!

Последний призыв Никанора цыгане приняли вяло и вместо поджога только хлопали бокал за бокалом, зевая, перемигиваясь и переталкиваясь локтями. Впрочем, и сам Сырцов не мог точно указать, какой предмет обречен им на сжигание.

— Постой, — попытался я остановить пляшущего Никанора. — Расскажи мне лучше — что поделывают твои приятели? Открыли ресторан? Издают газету?..

— А черт их знает. Я восьмой день дома не был — так что мне газета! На нос мне ее, что ли?

* * *

Шел я однажды вечером по Пти-Шан.

Около знаменитого ресторана «Георгия Карпыча» раздался нечеловеческий вопль:

— Интер-р-есная газета «Пресс дю суар»![1] Купите, господин!

Я пригляделся: вопил издатель из журавлиного треугольника.

Очевидно, вся его издательская деятельность ограничилась тем, что он издавал вопли, с головой уйдя в несложное газетное дело сбыта свежих номеров.

— Что же это вы чужую газету продаете, — участливо спросил я. — А своя где?

— Дело, это... Налаживается, — нерешительно промямлил он. — Еще месяц, два и этого... С разрешением дьявольски трудно!..

— А что ваш приятель, как его дело с рестораном?

— Пожалуйте! Тут за углом, второй дом, вывеска. Навестите, он будет рад.

[1] «Вечерняя газета» *(фр.)*.

«Слава Богу,— подумал я, идя по указанному адресу, хоть один устроился».

Этот последний, увидав меня, действительно обрадовался.

Подошел к моему столику, обмахнул его салфеткой, вынул из кармана карточку и сказал:

— Вот приятная встреча! Что прикажете? Водочки с закусочкой, горячего или просто чашку кофе?

— Вы что тут, в компании? Нашли дурака-грека с деньгами?

— Нет, собственно, он нашел меня, дурака. Или, вернее, я его, конечно, нашел, ну, так вот... Гм!.. Пока служу. У него, впрочем, действительно есть большие деньги. Я только... этого. Не заинтересован.

— А венгерцев и негров нет?

Он отвернулся к окну и стал салфеткой протирать заплаканное стекло.

— И швейцар ваш без алебарды, обезоруженный, в опорках...

— Шутить изволите. Может, винца прикажете? Хорошее есть...

. . . .

Еще месяц с грохотом пронесся над нашими головами.

Проходя мимо греческого пустынного ресторанчика, я иногда видел дремлющего с салфеткой в руках у стены смелого инициатора дела, построенного на венгерцах, неграх, швейцарах и алебардах.

И по-прежнему издатель на углу яркой улицы издавал стоны:

— «Пресс дю суар»!

Вчера, остановившись и покупая газету, я спросил простодушно:

— А что же ваша собственная газета?

— Наверное, скоро разрешится.

— Ну, а что ваш приятель, Никанор Сырцов? По-прежнему сидит сложа руки?

— Сложа-то сложа. Только не сидит, а лежит. От голодного тифа или что-то вроде — помер. Все деньги на цыган да на разные глупости проухал. У меня в конце концов по пяти пиастров перехватывал. Да мне тоже, знаете, их взять неоткуда. Вот тебе и «сложа руки»! Много их, таких дураков.

И когда он говорил это — у него было каменное неподвижное лицо, как у старых боксеров, которых другие боксеры лупили по щекам огромными каменными кулачищами, отчего лицо делается навсегда непробиваемым.

Жестокий этот боксер — Константинополь. Каменеет лицо от его ударов.

Трагедия русского писателя

Меня часто спрашивают:

— Простодушный! Почему вы торчите в Константинополе? Почему не уезжаете в Париж?

— Боюсь,— робко шепчу я.

— Вот чудак... Чего ж вы боитесь?

— Я писатель. И потому боюсь оторваться от родной территории, боюсь потерять связь с родным языком.

— Эва! Да какая же это родная территория — Константинополь.

— Помилуйте — никакой разницы. Проходишь мимо автомобиля — шофер кричит: «Пожалуйте, господин!» Цветы тебе предлагают: «Не купите ли цветочков? Дюже ароматные!» Рядом: «Пончики замечательные!» В ресторан зашел — со швейцаром о Достоевском поговорил, в шантан пойдешь, слышишь:

> Матреха, брось свои замашки,
> Скорей тангу со мной пляши...

Подлинная черноземная Россия!

— Так вы думаете, что в Париже разучитесь писать по-русски?

— Тому есть примеры,— печально улыбнулся я.

— А именно?..

Не отнекиваясь, не ломаясь, я тут же рассказал одну известную мне грустную историю —

О русском писателе

Русский пароход покидал русские берега, отправляясь за границу.

Опершись о борт, стоял русский писатель рядом со своей женой и тихо говорил:

— Прощай, моя бедная, истерзанная родина! Временно я покидаю тебя. Уже на горизонте маячит Эйфелева башня, Нотр-Дам, Итальянский бульвар, но еще не скрылась из глаз моих ты, моя старая, добрая, так любимая мною Россия! И на чужбине я буду помнить твои маленькие церковки и зеленые монастыри, буду помнить тебя, холодный красавец Петербург, твои улицы, дома, буду помнить «Медведя» на Конюшенной, где так хорошо было запить расстегай рюмкой рябиновой! На

всю жизнь врежешься ты в мозг мне — моя смешная, нелепая и бесконечно любимая Россия!

Жена стояла тут же; слушала эти писательские слова — и плакала.

* * *

Прошел год.

У русского писателя была уже квартира на бульваре Гренель и служба на улице Марбеф, многие шоферы такси уже кивали ему головой, как старому знакомому, уже у него было свое излюбленное кафе на улице Пигаль и кабачок на улице Сен-Мишель, где он облюбовал рагу из кролика и совсем недурное «ординэр»...

Пришел он однажды домой после кролика, после «ординэра» — сел за письменый стол, подумал и, тряхнув головой, решил написать рассказ о своей дорогой родине.

— Что ты хочешь делать? — спросила жена.

— Хочу рассказ написать.

— О чем?

— О России.

— О че-ем?!

— Господи Боже ты мой! Глухая ты, что ли? О Рос-сии!!!

— Calmez-vous, je vous en prie[1]. Что ж ты можешь писать о России?

— Мало ли! Начну так: «Шел унылый, скучный дождь, — который только и может идти в Петербурге... Высокий молодой человек быстро шагал по пустынной в это время дня Дерибасовской»

— Постой! Разве такая улица есть в Петербурге?

— А черт его знает. Знакомое словцо. Впрочем, поставлю для верности — Невскую улицу. Итак, «...Высокий молодой человек шагал по Невской улице, свернул на Конюшенную и вошел, потирая руки, к «Медведю». — «Что, холодно, monsieur? — спросил метрдотель, подавая карточку. — Mais oui[2], — возразил молодой сей господин. — Я есть большой замерзавец на свой хрупкий организм!»

— Послушай, — робко перебила жена, — разве есть такое слово «замерзавец»?

— Ну да! Человек, который быстро замерзает — суть замерзавец. Пишу дальше: «Прошу вас очень, — сказал тот молодой господин. — Подайте мне один застегай с немножечком poisson bien frais[3] и одну рюмку рабиновку».

---

[1] Успокойся, пожалуйста *(фр.)*.
[2] Да нет *(фр.)*.
[3] Свежей рыбы *(фр.)*.



— Что это такое — рабиновка?

— Это такое... du водка.

— А, по-моему, это еврейская фамилия: Рабиновка — жена Рабиновича.

— Ты так думаешь?.. Гм! Как, однако, трудно писать по-русски!

И принялся грызть перо.

Грыз до утра.

* * *

И еще год пронесся над писателем и его женой.

Писатель пополнел, округлел, завел свой auto[1], вообще та вечерняя газета, где он вел парижскую хронику, щедро оплачивала его — «сет селебр рюсс»[2].

Однажды он возвращался вечером из ресторана, где оркестр ни с того ни с сего сыграл «Боже, царя храни»... Знакомая мелодия навеяла целый рой мыслей о России...

«О, нотр повр Рюсси![3] — печально думал он. — Когда я приходить домой, я что-нибудь будить писать о наша славненькая матучка Руссия».

---

[1] Автомобиль *(фр.)*.
[2] Этого знаменитого русского *(фр.)*.
[3] О, наша бедная Россия! *(фр.)*

Пришел. Сел. Написал.

«Была большая дождика. Погода был то, что называй веритабль петербуржьен[1]! Один молодой господин ходил по одна улица по имени сей улица: Крещиатик... Ему очень хотелось manger[2]. Он заходишь на Конюшню, сесть на медведь, и поехать в restaurant, где скажишь: garson, une tasse[3] рабинович и одна застегайчик avec[4] тарелошка с ухами».

* * *

Я кончил.

Мой собеседник сидел, совсем раздавленный этой тяжелой историей.

Оборванный господин в красной феске подошел к нам и хрипло сказал:

— А что, ребятежь, нет ли у кого прикурить цигарки?

— Да,— ухмыльнулся мой собеседник.— Трудно вам уехать из русского города.

Мой первый дебют

Между корью и сценой существует огромное сходство: тем и другим хоть раз в жизни нужно переболеть.

Но между корью и сценой существует и огромная разница: в то время как корью переболеешь только раз в жизни — и конец, заболевание сценой делается хроническим, неизлечимым.

Более счастливые люди отделываются редкими припадками вроде перемежающейся лихорадки, выступая три-четыре раза в год на клубных сценах в любительских спектаклях; все же неудачники — люди с более хрупкими организмами — заболевают прочно и навсегда.

Три симптома этой тяжелой болезни: 1) исчезновение растительности на лице, 2) маниакальное стремление к сманиванию чужих жен и 3) бредовая склонность к взятию у окружающих денег без отдачи.

---

[1] Настоящая петербургская *(фр.)*.
[2] Есть *(фр.)*.
[3] Человек, рюмку *(фр.)*.
[4] С *(фр.)*.

* * *

Гулял я всю свою жизнь без забот и огорчений по прекрасному белому свету, резвился, как птичка, и вдруг однажды будто злокачественным ветром меня прохватило.

Встречаю в ресторане одну знакомую даму — очень недурную драматическую артистку.

— Что это,— спрашиваю,— у вас такое лицо расстроенное?

— Ах, не поверите! — уныло вздохнула она.— Никак второго любовника не могу найти...

«Мессалина!» — подумал я с отвращением.

Вслух резко спросил:

— А разве вам одного мало?

— Конечно, мало. Как же можно одним любовником обойтись? Послушайте... может, вы на послезавтра согласитесь взять роль второго любовника?

— Мое сердце занято! — угрюмо пробормотал я.

— При чем тут ваше сердце?

— При том, что я не могу разбрасываться, как многие другие, для которых нравственность...

Она упала локтями и головой на стол и заколыхалась от душившего ее смеха.

— Сударыня! Если вы способны смеяться над моим первым благоуханным чувством... над девушкой, которой вы даже не знаете, то... то...

— Да позвольте,— сказала она, утирая выступившие слезы.— Вы когда-нибудь играли на сцене?

Не кто иной, как черт, дернул меня развязно сказать:

— Ого! Сколько раз! Я могу повторять, как и Савина: «Сцена — моя жизнь».

— Ну?.. Так вы знаете, что такое на театральном жаргоне «любовник»?

— Еще бы! Это такие... которые... Одним словом, любовники. Я ведь давеча думал, что вы о вашей личной жизни говорите...

Она встала с видом разгневанной королевы:

— Вы нахал! Неужели вы думаете, что я могу в личной жизни иметь двух любовников?!

Это неопределенное возмущение я понял впоследствии, когда простак сообщил мне, что у нее на этом амплуа было и четыре человека.

— В наказание за то, что вы так плохо обо мне подумали, извольте выручить нас, пока не приехал Румянцев,— вы сыграете Вязигина в «После крушения» и Крутобедрова в «Ласточкином гнезде». Вы играли Вязигина?

Ее пренебрежительный тон так задел меня, что я бодро отвечал:

— Сколько раз!

— Ну и очень мило. Нынче вечером я пришлю роль. Репетиция завтра в одиннадцать.

Очевидно, в моей душе преобладает женское начало: сначала сделаю, а потом только подумаю: что я наделал!

* * *

Роль была небольшая, но привела меня в полное уныние.

Когда читаешь всю пьесу, то все обстоит благополучно: знаешь, кто тебе говорит, почему говорит и что говорит.

А в роли эти необходимые элементы отсутствовали.

Никакой дьявол не может понять такого, например, разговора:

Явление 6

Ард. В экипажах и пешком.

А, княжна Мэри.

Ард. Этого несчастья.

Спасибо, я вам очень обязан.

Ард. Его нужно пить.

Это вы так о ней выражаетесь...

Ард. Капризам.

В таком случае я способен переступить все границы.

Гриб. Две чечетки.

Надо быть во фраке.

Кто эти «Ард.» и «Гриб.»? Родственники мои, враги, старые камердинеры или светские молодые люди?..

Я швырнул роль на стол и, хотя было уже поздно, побежал к одному своему другу, который отличался тем, что все знал. Это был человек, у которого слово «нет» отсутствовало в лексиконе.

— Ты знаешь, что нужно, чтобы играть на сцене?

— Знаю.

— Что же? Скажи, голубчик!

— Только нахальство! Если ты вооружишься невероятной, нечеловеческой наглостью, то все сойдет с рук. Даже, пожалуй, похлопают.

— По ком? — боязливо спросил я.

— До тебя не достанут. Ладошами похлопают. Но только помни: нахальство, нахальство и еще раз оно же.

Ушел я успокоенный.

На репетиции я заметил, что героем дня был суфлер. К не-

му все относились с тихим обожанием. Простак даже шепнул мне:

— Ах, как подает! Чудо!

Я удивленно посмотрел на суфлера: он ничего никому не подавал, просто читал по тетради.

Однако мне не хотелось уронить себя:

— Это что за подача! Вот мне в Рязани подавали — так с ума сойти можно!

Я совсем не знал роли, но с некоторым облегчением заметил, что вся труппа в этом отношении шла со мной нога в ногу.

Актер, игравший старого графа, прислушался к словам суфлера и после монолога о том, что его сын проиграл десять тысяч, вдруг кокетливо добавил:

— Ах, я ни за что не выйду замуж!

— Это не ваши слова,— сонно заметил суфлер.— Дочка, вы говорите: «Ах, я ни за что не выйду замуж».

Дочка рабски повторила это тяжелое решение.

В путанице и неразберихе я был не особенно заметен, как незаметен обломок спички в куче старых окурков.

* * *

— Побольше нахальства! — сказал я сам себе, когда парикмахер спросил, какой мне нужен парик.

— Видите ли... Я вам сейчас объясню... Представьте себе человека избалованного, легкомысленного, но у которого случаются минуты задумчивости и недовольства собой, минуты, когда человек будто поднимается и парит сам над собой, уносясь в те небесные глубины...

— Понимаю-с,— сказал парикмахер, тряхнув волосами,— блондинистый городской паричок.

— А? Во-во! Только чтоб он на глаза не съехал.

— Помилуйте! А лак на что? Да и вошьем.

— Побольше нахальства! — сказал я сам себе, усаживаясь в вечер спектакля перед зеркалом гримироваться.

Увы!.. Нахальства было много, а красок еще больше. И куда, на какое место какая краска — я совершенно не постигал.

Вздохнул, мужественно нарисовал себе огромные брови, нарумянил щеки — задумался.

Вся гримировальная задача для новичка состоит только в том, чтобы сделаться на себя непохожим.

«Эх! Приклеить бы седую бороду — вот бы ловко! Пойди-ка тогда, узнай. Но раз по смыслу роли нельзя бороды — ограничимся усами».

Усы очень мило выделялись на багровом фоне щек.

* * *

В первом акте я должен выбежать из боковых дверей в белом теннисном костюме. Перед выходом мне сунули в руку какую-то плетеную штуку вроде выбивалки для ковров, но я решил, что эта подробность только стеснит мои первые шаги, и бросил плетенку за кулисами.

— А вот и я! — весело вскричал я, выскочив на что-то ослепительно яркое, с огромной зияющей дырой впереди.

— А, здравствуйте,— пропищала инженю.— Слушайте, тут пчела летает, я бою-юсь. Дайте вашу ракетку — я ее убью!..

Я добросовестно, как это делалось на репетициях, протянул ей пустую руку.

Она, видимо, растерялась.

— Позвольте... А где же ракетка?

— Какая ракетка? (Побольше наглости! Как можно больше нахальства!) Ракетка? А я, знаете, нынче именинник, так я ее зажег. Здорово взлетела. Ну, как поживаете?

— Сошло! — пробормотал я, после краткого диалога вылетая за кулисы.— До седьмого явления можно и закурить.

* * *

— Вам выходить! — прошипел помощник режиссера.

— Знаю, не учите,— солидно возразил я, поглаживая рукой непривычные усы.

И вдруг... сердце мое похолодело: один плохо приклеенный ус так и остался между моими пальцами.

— Вам выходить!!!

Я быстро сорвал другой ус, зажал его в кулак и выскочил на сцену.

Первые мои слова должны быть такие:

— Граф отказал, мамаша.

Я решил видоизменить эту фразу:

— А я, мамаша, уже успел побриться. Идет? Не правда ли, моложе стал?

Усы в кулаке стесняли меня. Я положил их на стол и сказал:

— Это вам на память. Вделайте в медальон. Пусть это утешит вас в том, что граф отказал.

— Он осмелился?! — охнула мать моя, смахнув незаметно мой подарок на пол.— Где же совесть после этого?

Сошла и эта сцена. Я в душе поблагодарил своего всезнающего друга.

* * *

В третьем акте мои первые слова были:

— Он сейчас идет сюда.

После этого должен был войти старый граф, но в стройно театральном механизме что-то испортилось.

Граф не шел.

Как я после узнал, он в этот момент был занят тем, что жена била его в уборной зонтиком за какую-то обнаруженную интрижку с театральной портнихой.

— Он сейчас придет, мамаша, не волнуйтесь,— сказал я, покойно усаживаясь в кресло.

Мы подождали. На сцене секунды кажутся десятками минут.

— Он, уверяю вас, придет сейчас!— заорал я во все горло, желая дать знать за кулисы о беспорядке.

Граф не шел.

— Что это, мамаша, вы взволнованы?— спросил я заботливо.— Я вам принесу сейчас воды.

Вылетел за кулисы и зашипел:

— Где граф, черт его дери?!!

— Ради Бога,— подскочил помощник,— протяните еще минутку: он приклеивает оторванную бороду.

Я пожал плечами и вернулся.

— Нет воды,— грубо сказал я.— Ну и водопроводец наш!

Мы еще посидели...

— Мамаша!— нерешительно сказал я.— Есть ли у вас присутствие духа? Я вам хочу сообщить нечто ужасное...

Она удивленно и растерянно поглядела на меня.

— Дело в том, что когда я вышел за водой, то мимоходом узнал ужасную новость, мамаша. Автомобиль графа по дороге наскочил на трамвай, и графа принесли в переднюю с проломленной головой и переломанными ногами... Кончается!

Я уже махнул рукой на появление графа и только решил как-нибудь протянуть до тех пор, пока кто-нибудь догадается спустить занавес.

Мы помолчали.

— Да...— неопределенно протянул я.— Жизнь не ждет. Вообще, эти трамваи... Вот я вам сейчас расскажу историю, как у меня в трамвае вытянули часы. История длинная... так минут на десять, на пятнадцать, но ничего. Надо вам сказать, мамаша, что есть у меня один приятель — Васька. Живет он на Рождественской. С сестрой. Сестра у него красавица, пышная такая — еще за нее сватался Григорьев, тот самый, который...

— Вы меня звали, Анна Никаноровна?— вдруг вошел изу-

родованный мною граф, с достоинством останавливаясь в дверях.

— А, граф,— вскочил я.— Ну, как ваше здоровье? Как голова?

— Вы меня звали, Анна Никаноровна?— строго повторил граф, игнорируя меня.

— Я рад, что вы дешево отделались,— с удовольствием заметил я.

Он поглядел на меня, как на сумасшедшего, заморгал и вдруг сказал:

— Простите, Анна Никаноровна, но я должен сказать вашему сыну два слова.

Он вытащил меня за кулисы и сказал:

— Вы что?! Идиот или помешанный? Почему вы говорите слова, которых нет в пьесе?

— Потому что надо выходить вовремя. Я вас чуть не похоронил, а вы лезете. Хоть бы голову догадались тряпкой завязать.

— Выходите!— прорычал режиссер.

* * *

Могу с гордостью сказать, что в этот дебютный день я покорил всех своей находчивостью.

В четвертом акте, где героиня на моих глазах стреляется, она сунула руку в ящик стола и... не нашла револьвера.

Она опустила голову на руки, и когда я подошел к ней утешить ее, она прошептала:

— Нет револьвера: что делать?

— Умрите от разрыва сердца. Я вам сейчас что-то сообщу.

Я отошел от нее, схватился за голову и простонал:

— Лидия! Будьте мужественны! Я колебался, но теперь решил сказать все. Знайте же, что ваша мать зарезала вашу сестренку и отравилась сама.

— Ах!— вскрикнула Лидия и, мертвая, шлепнулась на пол.

* * *

Нас вызывали.

Я же того мнения, что если мы и заслужили вызова, то не перед занавесом, а в камере судьи— за издевательство над беззащитной публикой.

Находчивость на сцене

О своих первых шагах на сцене я рассказывал в другом месте. Но мои последующие шаги должны быть (я так полагаю) также интересны для читателя.

Вот один из таких шагов:

* * *

Я уже три недели, как играю на сцене. Вид у меня импозантный, важный, и на всех не играющих на сцене — я смотрю с высоты своего величия.

Сидел я однажды с актерами в винном погребке за бутылкой вина и шашлыком и поучал своих старших товарищей, как нужно толковать роль Хлестакова, не смущаясь тем, что задолго до меня мой коллега Гоголь гораздо тщательнее и тоньше объяснил актерам эту роль.

Худощавый молодой господин с белыми волосами и истощенным вечной насмешкой лицом подошел к нам и принялся дружески пожимать руки актерам:

— Здравствуйте, Гаррики!

Нас познакомили.

— Вы тоже актер? — снисходительно спросил я.

— Что вы! — возразил он, оскаливая зубы.— Как это вы можете по первому впечатлению так дурно судить о человеке?! Я не актер, но в вашем деле кое-что понимаю. Вы давно на сцене?

Я погладил свои бритые щеки:

— Порядочно. Завтра будет 3 недели!

— Ого! Значит, через восемь дней можно уже и юбилей праздновать. Хе-хе... Воображаю: как вы волнуетесь на сцене!

— Кто — я? Ни капельки.

— Ну да, знаем мы! Конечно, если роль вызубрили, да под суфлера идете, да окружены опытными товарищами — тогда ничего. А представьте себе — на сцене какая-нибудь неожиданность, что-нибудь такое, что не предусмотрено ни автором, ни режиссером — воображаю вашу растерянную физиономию и трясущиеся колени...

— Ну,— усмехнулся я.— Меня не легко смутить.

— На сцене-то? Да бывают такие случаи, когда и Варламова с Давыдовым можно, что называется, угробить!

— Меня не угробите.

— Люблю скромных молодых людей,— вскричал он.

Потом задумался, искоса на меня поглядывая. У меня было такое впечатление, что я действую ему на нервы...

— Что у вас идет завтра в театре?

— «Колесо жизни» Рахимова. Сам автор обещал завтра придти посмотреть, как я играю Чешихина.

— Ах, вы играете Чешихина? И вы говорите, что вас невозможно на сцене смутить, сбить с толку?

— Да. По-моему, это гнилая задача.

Он зловеще улыбнулся. Протянул костлявую руку.

— Хотите заклад? На 6 бутылок кахетинского, на 6 шашлыков.

— Не хочу.

— Почему?!

— Мало. По десяти того и другого, плюс кофе с бенедиктином.

— Молодой человек! Вы или далеко пойдете, или... плохо кончите. Согласен!

Таким образом состоялось это странное пари.

* * *

Шел второй акт «Колеса жизни». У меня только что кончилась бурная сцена с любимой девушкой, которая заявила мне, что любит не меня, а другого.

— Кто этот другой? — спросил я крайне мрачно.

— Это вас не касается,— гордо ответила она, выходя за двери.

Свою роль я хорошо знал. После ухода любимой девушки я должен схватиться за голову, поскрежетать зубами, уткнуться головой в диванную подушку, а потом вынуть из кармана револьвер и приставить к виску. В этот момент хозяйка дома, которая тайно любит меня, а я ее не люблю — выбегает, хватает меня за руку и, рыдая на моей груди, признается в своем чувстве... Такие пьесы, скажу по секрету, играть не трудно, а еще легче — писать.

Я уже схватился за голову, уже по авторскому замыслу поскрежетал зубами и только что подскочил к дивану, чтобы «уткнуться головой в подушку» — как боковая дверь распахнулась, и худой молодец с белыми волосами — тот самый, который взял подряд как бы то ни было смутить меня на сцене — этот самый парень вышел на первый план самым непринужденным образом.

С двух сторон я услышал два шипения: впереди — суфлера, из боковой кулисы — помощника режиссера. Из директорской ложи глянуло на нас остолбенелое лицо автора.

— Здравствуйте, Чешихин! — развязно сказал беловолосый, протягивая мне руку.— Не ожидали? Я на огонек завернул.

Впереди я слышал шипенье, сбоку за кулисой отчаянное проклятие.

— Здравствуй, Вася,—мрачно сказал я.—Только ты сейчас зашел не вовремя. Мне не до тебя. Может быть, завернешь в другой раз, а? мне нужно быть одному...

— Ну, вот еще глупости!—засмеялся беловолосый нахал, развалившись на диване.—Посидим, поболтаем.

Публика ничего не замечала, но за кулисами зловещий шум все усиливался.

Я задумчиво прошелся по сцене.

— Вася!—сказал я значительно.—Ты знаешь Лидию Николаевну?

Он покосился на меня и, незаметно подмигнув, проронил:

— Конечно, знаю. Преаппетитная девчонка.

— А-а!—вскричал я в неожиданном порыве бешенства.— Так это, значит, ты тот, из-за которого она отказала мне?! (Суфлерская будка вдруг опустела, но я от этого почувствовал себя еще увереннее и легче) Ты?! Отвечай, негодяй!

«Вася» поглядел испуганно на мои сжатые кулаки и сказал примирительным тоном:

— Бросьте... поговорим о чем-нибудь другом...

— О другом?!—заревел я, торжествующе поглядывая на автора, который метался в директорской ложе, как лошадь на пожаре.—О другом? Ты меня довел почти до смерти и теперь хочешь говорить о другом?! Отвечай! (я бросился на него, стал ему коленом на грудь и стал колотить головой об спинку дивана). Отвечай—как у вас далеко зашло?!

«Вася» побледнел, как смерть, и прошептал:

— Пустите меня, медведь! Вы так задушите! Шуток не понимаете, что ли?

— Ты сейчас умрешь!—прорычал я.—Другой раз тебе будет неповадно!

Он глядел на меня умоляющими глазами.

Потом прошептал:

— Ну, я проиграл пари, какого черта вам еще нужно? Пустите, я уйду.

— Смерть тебе!—вскричал я со злобным торжеством— и так стукнул его голову о спинку дивана, что он крякнул и свалился на пол.

— Неужели, я убил его?!—вскричал я, театрально заламывая руки.—Воды, воды этому несчастному!

Я схватил графин с водой и вылил щедрую струю на корчившееся тело «Васи».

Он испуганно закричал.

— Очнулся! — обрадовался я. — А теперь иди, несчастный, и постарайся на свободе обдумать свое поведение!

Я взял его в охапку и почти вышвырнул в боковую дверь. Схватился за голову. Прислушался. По мягким звукам ударов и по заглушенным стонам за кулисами я понял, что передал неудачливого Васю в верные руки.

— Итак, вот кто ее избранник! — вскричал я страдальчески. — Нет! Лучше смерть, чем такое сознание.

Дальше все пошло, как по маслу: я вынул револьвер, приставил к виску, из средних дверей выбежала любящая женщина, упала на грудь — одним словом, я опять стал на рельсы, с которых меня попробовали стащить так неудачно.

«Колесо жизни» завертелось: в будке показался суфлер, в ложе — успокоенный автор.

* * *

После спектакля мне подали в уборную записку:

«Жрите сегодня ваше вино и шашлык без меня. Я все оплатил. Иду домой сохнуть и расправляться. Будьте вы прокляты!»

Фокстрот

— Вы любите ли сыр? — спросили раз ханжу.

— Люблю, — он отвечал, — я вкус в нем нахожу.

А другого ханжу спросили прозой:

— Вы любите фокстрот?

— О, да! — восторженно отвечал он. — Чудный танец. Сколько в нем огня — грации. Какая глубина мысли.

Человечество сразу вдруг поглупело.

Каждая эпоха вообще, а особенно эпоха глупости — должна иметь свой танец. И мои «главою скорбные» современники выдумали фокстрот.

Эпохи ума, красоты, изящества и настоящего блеска отмечались последовательно: менуэтом, мазуркой, величественным полонезом, вѐнским вальсом, даже сногсшибательным канканом.

Наша убогая эпоха отмечена:

Фокстротом.

— «Фокстрот» — названо по-английски. По-французски этот танец называется «данс д'Имбесиль», а на честном прямолинейном русском языке «пляска дураков».

Во всех шантанах и дансингах мира ежевечерне происходит по окончании программы одна и та же сцена: средина залы очищается от столов и стульев, и откуда-то выползает странный оркестр, очевидно, нарочно созданный для вышесказанного танца... Два-три бездельника начинают тренькать на банджо, пианист в это время сводит личные счеты с беззащитным пианино, кое-кто дудит в дудку, а самый главный — большею частью, джентльмен с черным лицом и белыми зубами — ведет себя совсем по-издевательски: окружен он барабанами, тарелками, ложками, вилками — целым столовым прибором. Но этого мало: странная машина, стоящая около него, увешана всем, что не нашло полезного применения в хозяйстве: пустыми бутылками, старыми сковородками, платяными щетками, испорченными частями автомобиля и чайными ситечками... по всей этой рухляди чернокожий вдруг начинает свирепо колотить барабанными палками, присвистывая, икая и огогокая.

Он дудит, пищит, стонет, трезвонит, бьет палкой по стульям, по полу, по бутылкам, чайным ситечкам и по вывешенному тут же портрету своего предка...

И под эту музыку его родины, звучавшую еще при Ливингстоне, когда в котлах варились взятые в плен горемычные враги, а тут же сбоку еще живым рубили головы, как капусту,— под эту музыку начинается фокстрот.

Вяло, скучающе выбредает на середину дама. За ней плетется кавалер, а на лице его, вместо радости предстоящего танца, написаны все невзгоды, обрушившиеся с утра: неоплаченная квартира, холодная комната, ехидно лопнувший ботинок и предстоящее возвращение домой по слякоти.

Угрюмо обвивает он красной лапой худосочную талию дамы и принимается топтаться, уставившись с беспросветным видом в угол потолка.

Потоптался. Потряс плечами. Потрясла плечами и дама. Судорожно дернул крупом. Дернула и дама. Потом ноги его, как отварные макароны, заплелись одна за другую. Расплелись. Снова потоптался.

Тяжелая работа, скучная. А надо!

Вот ты, каналья, топчешься тут, будто виноград на вино давишь, а ты бы лучше дома посидел. Книжку бы почитал! Небось, Достоевского, Диккенса и не нюхал, об Оскаре Уайльде не имеешь и понятия, а туда же — в светскую жизнь ударился — я, дескать, вращаюсь в светском вихре!

Еще можно понять тех джентльменов и леди, которые за весь этот страдальческий выпляс получают по два, по три дол-

лара в вечер: такая же работа, как и скучное ведение бухгалтерских книг или набивание папирос.

Но как проникнуть в таинственные изгибы психологии тех добровольцев, которые без всякого понуждения и выгоды тоже выходят на средину, с лицами людей, только что приговоренных к долгосрочному тюремному заключению, и начинают под грохот сковородок, угрюмо, с окостеневшим взором, семенить ногами, даже не бросив косого взгляда, не поинтересовавшись: а что это за прекрасная девушка тут же судорожно бьется под моей рукой, извиваясь, трясясь и спотыкаясь...

А может быть, это царица красоты, под огнем глаз которой пышно забурлит кровь и сладко забьется сердце?!

Кой черт! Он даже руки ей не пожмет после танца: затихла музыка, дико взвизгнув напоследок,— и кончилась пляска заводной куклы.

Щелкнула раскрутившаяся пружинка, и обе куклы с сонными лицами распадаются.

* * *

Однажды был я с приятелем в кафе-шантане, и полюбился нам один фокстротист пуще ясна сокола. Это был парень с лицом ацтека и головой микроцефала... На макушке рос густым кустарником пук волос, нос занимал на лице такое командующее положение, что рту и глазкам буквально некуда было деваться. Ослепительно короткие брюки выказывали пару фокстротных тощих ног — о, как полюбился нам этот паренек с наружностью выгнанного конторщика!

В тот вечер он сделал верст пятнадцать, не считая всех сплетений ногами и трясений плечами и крупом.

И он заметил тоже, что полюбился нам,— это немного оживило окостеневшего беднягу,— по крайней мере, он даже в нашу честь выкинул два-три фортеля ногами, расставив их ножницами, а потом согнув с хитрым подскоком.

Мы его поощряли, как могли,— улыбались, подмигивали,— и этот бедный заброшенный цветок совершенно расцвел.

Из пятнадцати топтавшихся кавалеров, он был единственным, который проявил некоторые признаки жизни в этом царстве анабиоза.

И теперь, когда я, сидя в позе созерцателя в каком-нибудь дансинге, натыкаюсь взглядом на знакомый куст волос на макушке и короткие панталоны, болтающиеся на тонких ногах — мы оба молчаливо оживляемся, и лица наши светлеют: он видит во мне тонкого ценителя искусств, доку и знатока. Я в нем вижу честного работягу — самого большого дурака

между фокстротистами и самого искусного фокстротиста между дураками.

Прощай, милый микроцефалический ацтек!.. Земля тебе пухом, когда ты будешь выделывать свои кренделя, ножницы и макароны...

Белая ворона

Он занимался кристаллографией. Ни до него, ни после него я не видел ни одного живого человека, который бы занимался кристаллографией. Поэтому мне трудно судить — имелась ли какая-нибудь внутренняя связь между свойствами его характера и кристаллографией, или свойства эти не находились под влиянием избранной им профессии.

Он был плечистый молодой человек с белокурыми волосами, розовыми полными губами и такими ясными прозрачными глазами, что в них даже неловко было заглядывать: будто подсматриваешь в открытые окна чужой квартиры, в которой все жизненные эмоции происходят при полном освещении.

Его можно было расспрашивать о чем угодно — он не имел ни тайн, ни темных пятен в своей жизни — пятен, которые, как леопардовая шкура, украшают все грешное человечество.

Я считаю его дураком, и поэтому все наше знакомство произошло по-дурацки: сидел я однажды вечером в своей комнате (квартира состояла из ряда комнат, сдаваемых плутоватым хозяином), сидел мирно, занимался,— вдруг слышу за стеной топот ног, какие-то крики, рев и стоны...

Я почувствовал, что за стеной происходит что-то ужасное. Сердце мое дрогнуло, я вскочил, выбежал из комнаты и распахнул соседнюю дверь.

Посредине комнаты стоял плечистый молодец, задрапированный красным одеялом с диванной подушкой, нахлобученной на голову, и топал ногами, издавая ревущие звуки, приплясывая и изгибаясь самым странным образом.

При стуке отворенной двери он обернулся ко мне и, сделав таинственное лицо, предостерег:

— Не подходите близко. Оно ко мне привыкло, а вас может испугаться. Оно всю дорогу плакало, а теперь утихло...

И добавил с гордой самонадеянностью:

— Это потому, что я нашел верное средство, как его развлечь. Оно смотрит и молчит.

— Кто «оно»? — испуганно спросил я.

— Оно, ребенок. Я нашел его на улице и притащил домой.

Действительно, на диване, обложенное подушками, лежало крохотное существо и большими остановившимися глазами разглядывало своего увеселителя...

— Что за вздор? Где вы его нашли? Почему вы обыкновенного человеческого ребенка называете «оно»?!

— А я не знаю еще — мальчик оно или девочка. А нашел я его тут в переулке, где ни одной живой души. Орало оно, будто его режут. Я и взял.

— Так вы бы его лучше в полицейский участок доставили.

— Ну, вот! Что он, убил кого, что ли? Прехорошенький ребеночек! А? Вы не находите?

Он с беспокойством любящего отца посмотрел на меня.

В это время ребенок открыл рот и во всю мочь легких заорал.

Его покровитель снова затопал ногами, заплясал, помахивая одеялом и выкидывая самые причудливые коленца.

Наконец, усталый, приостановился и, отдышавшись, спросил:

— Не думаете ли вы, что он голоден? Что «такие» едят?

— Вот «такие»? Я думаю, все их меню заключается в материнском молоке.

— Гм! История. А где его, спрашивается, достать? Молока этого?

Мы недоумевающе посмотрели друг на друга, но наши размышления немедленно же были прерваны стуком в дверь.

Вошла прехорошенькая девушка и, бросив на меня косой взгляд, сказала:

— Алеша, я принесла вам взятую у вас книгу лекций профес... Это еще что такое?

— Ребеночек. На улице нашел. Правда, милый?

Девушка приняла в ребенке деятельное участие: поцеловала его, поправила пеленки и обратила вопросительный взгляд на Алешу.

— Почему он кричит? — строго спросила она.

— Не знаю. Я его ничем не обидел. Вероятно, он голоден.

— Почему же вы ничего не предпринимаете?

— Что же я могу предпринять?! Вот этот господин (он, кажется, понимает толк в этих делах...) советует покормить грудью. Не можем же мы с ним, согласитесь сами...

В это время его взор упал на юную, очевидно, только этой весной расцветшую, грудь девушки, и лицо его озарилось радостью.

— Послушайте, Наташа... Не могли бы вы... А?

— Что такое? — удивленно спросила девушка.

— Не могли бы вы... покормить его грудью? А мы пока вышли бы в соседнюю комнату... Мы не будем смотреть.

Наташа вспыхнула до корней волос и сердито сказала:

— Послушайте... Всяким шуткам есть границы... Я не ожидала от вас...

— Я не понимаю, что тут обидного?—удивился Алеша.—Ребенку нужна женская грудь, я и подумал...

— Вы или дурак, или нахал,—чуть не плача, сказала девушка, отошла к стене и уткнулась лицом в угол.

— Чего она ругается?—изумленно спросил меня Алеша.—Вот вы—человек опытный... Что тут обидного, если девушка покормит...

Я отскочил в другой угол и, пряча лицо в платок, затрясся.

Потом позвал его:

— Пойдите-ка сюда... Скажите, сколько вам лет?

— Двадцать два. А что?

— Чем вы занимаетесь?

— Кристаллографией...

— И вы думаете, что эта девушка может покормить ребенка...

— Да что ж ей... жалко, что ли?

Содрогание моих плеч сделалось до того явным, что юная парочка могла обидеться. Я махнул рукой, выскочил из комнаты, побежал к себе, упал на кровать, уткнул лицо в подушку и поспешно открыл все клапаны своей смешливости. Иначе меня бы разорвало, как детский воздушный шар, к которому приложили горящую папироску...

За стеной был слышен крупный разговор. Потом все утихло, хлопнула дверь, и по коридору раздались шаги двух пар ног.

Очевидно, хозяин и гостья, помирившись, пошли пристраивать куда-нибудь в более надежные руки свое сокровище.

* * *

Вторично я увидел Алешу недели через две.

Он зашел ко мне очень расстроенный.

— Я пришел к вам посоветоваться.

— Что-нибудь случилось?—спросил я, заражаясь его озабоченным видом.

— Да! Скажите, что бы вы сделали, если бы вас поцеловала чужая дама?

— Красивая?—с цинизмом, присущим опытности, спросил я.

— Она красивая, но я не думаю, чтобы это в данном случае играло роль.

— Конечно, это деталь,— сдерживая улыбку, согласился я.— Но в таких делах иногда подобная пустяковая деталь важнее главного!

— Ну-да! А в случае со мной, главное-то и есть самое ужасное. Она оказалась — замужем!

Я присвистнул:

— Значит, вы целовались, а муж увидел?!

— Не то. Во-первых, не «мы целовались», а она меня поцеловала. Во-вторых, муж ничего и не знает.

— Так что же вас тревожит?

— Видите ли... Это в моей жизни первый случай. И я не знаю, как поступить? Жениться на ней — невозможно. Вызвать на дуэль мужа — за что? Чем же он виноват? Ах! Это случилось со мной в первый раз в жизни. Запутано и неприятно. И потом — если она замужем — чего ради ей целоваться с чужими?!

— Алеша!

— Ну?..

— Чем вы занимались всю вашу жизнь?

— Я же говорил вам: кристаллографией.

— Мой вам дружеский совет: займитесь хоть ботаникой... Все-таки, это хоть немного расширит ваш кругозор. А то — кристаллография... она, действительно...

— Вы шутите, а мне вся эта история так неприятна, так неприятна...

— Гм... А с Наташей помирились?

— Да,— пробормотал он, вспыхнув.— Она мне объяснила; и я понял, какой я дурак.

— Алешенька, милый...— завопил я.— Можно вас поцеловать?

Он застенчиво улыбнулся и, вероятно, вспомнив по ассоциации о предприимчивой даме, сказал:

— Вам — можно.

Я поцеловал его, успокоил, как мог, и отпустил с миром.

* * *

Через несколько дней после этого разговора он робко вошел ко мне, поглядел в угол и осведомился:

— Скажите мне: как на вас действует сирень?

Я уже привык к таинственным извивам его свежей благоухающей мысли. Поэтому, не удивляясь, ответил:

— Я люблю сирень. Это растение из семейства многолетних действует на меня благотворно.

— Если бы не сирень — ничего бы этого не случилось,— опустив глаза вниз, пробормотал он.— Это «многолетнее» растение, как вы называете его — ужасно!

— А что?

— Мы сидели на скамейке в саду. Разговаривали. Я объяснял ей разницу между сталактитом и сталагмитом — да вдруг — поцеловал!!

— Алеша! Опомнитесь! Вы? Поцеловали? Кого?

— Ее. Наташу.

И извиняясь, добавил:

— Очень сирень пахла. Голова кружилась. Не зная свойств этого многолетнего растения — не могу даже разобраться: виноват я или нет... Вот, я и хотел знать ваше мнение?..

— Когда свадьба? — лаконически осведомился я.

— Через месяц. Однако, как вы догадались?!.. Она меня... любит!..

— Да что вы говорите?! Какое совпадение?! А помните, я прошлый раз говорил вам, что ботаника все-таки выше вашей кристаллографии. О зоологии и физиологии я уже не говорю.

— Да...— задумчиво проговорил он, глядя в окно светлым, чистым взглядом.— Если бы не сирень — я бы так никогда и не узнал, что она меня любит.

* * *

Он сидел задумчивый, углубленный в свои новые, такие странные и сладкие переживания, а я глядел на него и мысли,— мысли мудрого циника — копошились в моей голове.

— Да, братец... Теперь ты узнаешь жизнь... Узнаешь, как и зачем целуются женщины... Узнаешь на собственных детях, каким способом их кормить, а впоследствии узнаешь, может быть, почему жены целуют не только своих мужей, но и чужих молодых человеков. Мир твоему праху, белая ворона!..

О МАЛЕНЬКИХ — ДЛЯ БОЛЬШИХ

Вечером

Посвящаю
Лиде Терентьевой

Подперев руками голову, я углубился в «Историю французской революции» и забыл все на свете.

Сзади меня потянули за пиджак. Потом поцарапали ногтем по спине. Потом под мою руку была просунута глупая морда деревянной коровы. Я делал вид, что не замечаю этих ухищрений. Сзади прибегали к безуспешной попытке сдвинуть стул. Потом сказали:

— Дядя!

— Что тебе, Лидочка?

— Что ты делаешь?

С маленькими детьми я принимаю всегда преглупый тон.

— Я читаю, дитя мое, о тактике жирондистов.

Она долго смотрит на меня.

— А зачем?

— Чтобы бросить яркий луч аналитического метода на неясности тогдашней конъюнктуры.

— А зачем?

— Для расширения кругозора и пополнения мозга серым веществом.

— Серым?

— Да. Это патологический термин.

— А зачем?

У нее дьявольское терпение. Свое «а зачем» она может задавать тысячу раз.

— Лида! Говори прямо: что тебе нужно? Запирательство только усилит твою вину.

Женская непоследовательность. Она, вздыхая, отвечает:

— Мне ничего не надо. Я хочу посмотреть картинки.

— Ты, Лида, вздорная, пустая женщина. Возьми журнал и беги в паническом страхе в горы.

— И потом, я хочу сказку.

Около ее голубых глаз и светлых волос «История революции» бледнеет.

— У тебя, милая, спрос превышает предложение. Это не хорошо. Расскажи лучше ты мне.

Она карабкается на колени и целует меня в шею.

— Надоел ты мне, дядька, со сказками. Расскажи да расскажи. Ну, слушай... Ты про Красную Шапочку не знаешь?

Я делаю изумленное лицо:

— Первый раз слышу.

— Ну, слушай... Жила-была Красная Шапочка...

— Виноват... Не можешь ли ты указать точно ее местожительство? Для уяснения, при развитии фабулы.

— А зачем?

— Где она жила?!

Лида задумывается и указывает единственный город, который она знает.

— В этом... В Симферополе.

— Прекрасно! Я сгораю от любопытства слушать дальше.

— ...Взяла она маслецо и лепешечку и пошла через лес к бабушке...

— Состоял ли лес в частном владении или составлял казенную собственность?

Чтобы отвязаться, она сухо бросает:

— Казенная. Шла, шла, вдруг из лесу волк!

— По-латыни — Lupus.

— Что?

— Я спрашиваю: большой волк?

— Вот такой. И говорит ей...

Она морщит нос и рычит:

— Ккрасная Шапочка... Куда ты идешь?

— Лида! Это неправда! Волки не говорят. Ты обманываешь своего старого, жалкого дядьку..

Она страдальчески закусывает губу:

— Я больше не буду рассказывать сказки.

Мне стыдно.

— Ну, я тебе расскажу. Жил-был мальчик...

— А где он жил? — ехидно спрашивает она.

— Он жил у Западных отрогов Урала. Как-то папа взял его и понес в сад, где росли яблоки. Посадил под деревом, а сам влез на дерево рвать яблоки. Мальчик и спрашивает: «Папаша... яблоки имеют лапки?» — «Нет, милый».— «Ну, значит, я жабу слопал!»

Рассказ идиотский, нелепый, подслушанный мною однажды у полупьяной няньки. Но на Лиду он производит потрясающее впечатление.

— Ай! Съел жабу?

— Представь себе. Очевидно, притупление вкусовых сосочков. А теперь ступай. Я буду читать.

Минут через двадцать знакомое дергание за пиджак, легкое царапание ногтем — и шепотом:

— Дядя! Я знаю сказку.

Отказать ей трудно. Глаза сияют, как звездочки, и губки топырятся так смешно...

— Ну, ладно. Излей свою наболевшую душу.

— Сказка! Жила-была девочка. Взяла ее мама в сад, где росли эти самые... груши. Влезла на дерево, а девочка под грушей сидит. Хорошо-о. Вот девочка и спрашивает: «Мама! Груши имеют лапки?» — «Нет, детка».— «Ну, значит, я курицу слопала!»

— Лидка! Да ведь это моя сказка!

Дрожа от восторга, она машет на меня руками и кричит:

— Нет, моя, моя, моя! У тебя другая.

— Лида! Знаешь ты, что это — плагиат? Стыдись!

Чтобы замять разговор, она просит:

— Покажи картинки.

— Ладно. Хочешь, я найду в журнале твоего жениха?

— Найди.

Я беру старый журнал, отыскиваю чудовище, изображающее гоголевского Вия, и язвительно преподношу его девочке:

— Вот твой жених.

В ужасе она смотрит на страшилище, а затем, скрыв горькую обиду, говорит с притворной лаской:

— Хорошо-о... Теперь дай ты мне книгу — я твоего жениха найду.

— Ты хочешь сказать: невесту?

— Ну, невесту.

Опять тишина. Влезши на диван, Лида тяжело дышит и все перелистывает книгу, перелистывает...

— Пойди сюда, дядя,— неуверенно подзывает она.— Вот твоя невеста...

Палец ее робко ложится на корявый ствол старой, растрепанной ивы.

— Э, нет, милая. Какая же это невеста? Это дерево. Ты поищи женщину пострашнее.

Опять тишина и частый шорох переворачиваемых листов. Потом тихий, тонкий плач.

— Лида, Лидочка... Что с тобой?

Едва выговаривая от обильных слез, она бросается ничком на книгу и горестно кричит:

— Я не могу... найти... для тебя... страшную... невесту.

Пожав плечами, сажусь за революцию; углубляюсь в чтение.

Тишина... Оглядываюсь.

С непросохшими глазами, Лида держит перед собой дверной ключ и смотрит на меня в его отверстие. Ее удивляет, что если ключ держать к глазу близко, то я виден весь, а если отодвинуть, то только кусок меня.

Кряхтя, она сползает с дивана, приближается ко мне и смотрит в ключ на расстоянии вершка от моей спины.

И в глазах ее сияет неподдельное изумление и любопытство перед неразрешимой загадкой природы...

Дети

I

Я очень люблю детишек и без ложной скромности могу сказать, что и они любят меня.

Найти настоящий путь к детскому сердцу — очень затруднительно. Для этого нужно обладать недюжинным чутьем, тактом и многим другим, чего не понимают легионы разных бонн, гувернанток и нянек.

Однажды я нашел настоящий путь к детскому сердцу, да так основательно, что потом и сам был не рад.

* * *

Я гостил в имении своего друга, обладателя жены, свояченицы и троих детей, трех благонравных мальчиков от 8 до 11 лет.

В один превосходный летний день друг мой сказал мне за утренним чаем:

— Миленький! Сегодня я с женой и свояченицей уеду дня на три. Ничего, если мы оставим тебя одного?

Я добродушно ответил:

— Если ты опасаешься, что я в этот промежуток подожгу твою усадьбу, залью кровью окрестности и, освещаемый заревом пожаров, буду голый плясать на неприветливом пепелище,— то опасения твои преувеличены более чем на половину.

— Дело не в том... А у меня есть еще одна просьба: присмотри за детишками! Мы, видишь ли, забираем с собой и немку.

— Что ты! Да я не умею присматривать за детишками. Не имею никакого понятия: как это так за ними присматривают?

— Ну, следи, чтобы они все сделали вовремя, чтобы не очень шалили и чтобы им в то же время не было скучно... Ты такой милый!..

— Милый-то я милый... А если твои отпрыски откажутся признать меня как начальство?

— Я скажу им... О, я уверен, вы быстро сойдетесь. Ты такой общительный.

Были призваны дети. Три благонравных мальчика в матросских курточках и желтых сапожках. Выстроившись в ряд, они посмотрели на меня чрезвычайно неприветливо.

— Вот, дети,— сказал отец,— с вами остается дядя Миша! Михаил Петрович. Слушайтесь его, не шалите и делайте все, что он прикажет. Уроки не запускайте. Они, Миша, ребята хорошие, и, я уверен, вы быстро сойдетесь. Да и три дня — не год же, черт возьми!

Через час все, кроме нас, сели в экипаж и уехали.

II

Я, насвистывая, пошел в сад и уселся на скамейку. Мрачная, угрюмо пыхтящая троица опустила головы и покорно последовала за мной, испуганно поглядывая на самые мои невинные телодвижения.

До этого мне никогда не приходилось возиться с ребятами. Я слышал, что детская душа больше всего любит прямоту и дружескую откровенность. Поэтому я решил действовать начистоту.

— Эй, вы! Маленькие чертенята! Сейчас вы в моей власти, и я могу сделать с вами все, что мне заблагорассудится. Могу хорошенько отколотить вас, поразбивать вам носы или даже утопить в речке. Ничего мне за это не будет, потому что общество борьбы с детской смертностью далеко, и в нем происходят крупные неурядицы. Так что вы должны меня слушаться и вести себя подобно молодым благовоспитанным девочкам. Ну-ка, кто из вас умеет стоять на голове?

Несоответствие между началом и концом речи поразило ребят. Сначала мои внушительные угрозы навели на них панический ужас, но неожиданный конец перевернул, скомкал и смел с их бледных лиц определенное выражение.

— Мы... не умеем... стоять... на головах.

— Напрасно. Лица, которым приходилось стоять в таком положении, отзываются об том с похвалой. Вот так, смотрите!

Я сбросил пиджак, разбежался и стал на голову.

Дети сделали движение, полное удовольствия и одобрения,

но тотчас же сумрачно отодвинулись. Очевидно, первая половина моей речи стояла перед их глазами тяжелым кошмаром.

Я призадумался. Нужно было окончательно пробить лед в наших отношениях.

Дети любят все приятное. Значит, нужно сделать им что-нибудь исключительно приятное.

— Дети! — сказал я внушительно.— Я вам запрещаю — слышите ли, категорически и без отнекиваний запрещаю вам в эти три дня учить уроки!

Крик недоверия, изумления и радости вырвался из трех грудей. О! Я хорошо знал привязчивое детское сердце. В глазах этих милых мальчиков засветилось самое недвусмысленное чувство привязанности ко мне, и они придвинулись ближе.

Поразительно, как дети обнаруживают полное отсутствие любознательности по отношению к грамматике, арифметике и чистописанию. Из тысячи ребят нельзя найти и трех, которые были бы исключением...

За свою жизнь я знал только одну маленькую девочку, обнаруживавшую интерес к наукам. По крайней мере, когда бы я ни проходил мимо ее окна, я видел ее склоненной над громадной не по росту книжкой. Выражение ее розового лица было совершенно невозмутимо, а глаза от чтения или от чего другого утратили всякий смысл и выражение. Нельзя сказать, чтобы чтение прояснило ее мозг, потому что в разговоре она употребляла только два слова: «Папа, мама», и то при очень сильном нажатии груди. Это, да еще уменье в лежачем положении закрывать глаза составляло всю ее ценность, обозначенную тут же, в большом белом ярлыке, прикрепленном к груди: «7 руб. 50 коп.»

Повторяю — это была единственная встреченная мною прилежная девочка, да и то это свойство было навязано ей прихотью торговца игрушками.

Итак, всякие занятия и уроки были мной категорически воспрещены порученным мне мальчуганам. И тут же я убедился, что пословица «запрещенный плод сладок» не всегда оправдывается: ни один из моих трех питомцев за эти дни не притронулся к книжке!

III

— Будем жить в свое удовольствие,— предложил я детям.— Что вы любите больше всего?

— Курить! — сказал Ваня.

— Купаться вечером в речке! — сказал Гришка.

— Стрелять из ружья! — сказал Леля.

— Почему же вы, отвратительные дьяволята,— фамильярно спросил я,— любите все это?

— Потому что нам запрещают,— ответил Ваня, вынимая из кармана папироску.— Хотите курить?

— Сколько тебе лет?

— Десять.

— А где ты взял папиросы?

— Утащил у папы.

— Таскать, имейте, братцы, в виду, стыдно и грешно, тем более такие скверные папиросы. Ваш папа курит страшную дрянь. Ну да если ты уже утащил — будем курить их. А выйдут — я угощу вас своими.

Мы развалились на траве, задымили папиросами и стали непринужденно болтать. Беседовали о ведьмах, причем я рассказал несколько не лишенных занимательности фактов из их жизни. Бонны обыкновенно рассказывают детям о том, сколько жителей в Северной Америке, что такое звук и почему черные материи поглощают свет. Я избегал таких томительных разговоров.

Поговорили о домовых, живших на конюшне.

Потом беседа прекратилась. Молчали...

— Скажи ему! — шепнул толстый, ленивый Лелька подвижному, порывистому Гришке.— Скажи ты ему!..

— Пусть лучше Ваня скажет,— шепнул так, чтобы я не слышал, Гришка.— Ванька, скажи ему.

— Стыдно,— прошептал Ваня.

Речь, очевидно, шла обо мне.

— О чем вы, детки, хотите мне сказать? — осведомился я.

— Об вашей любовнице,— хриплым от папиросы голосом отвечал Гришка.— Об тете Лизе.

— Что вы врете, скверные мальчишки? — смутился я.— Какая она моя любовница?

— А вы ее вчера вечером целовали в зале, когда мама с папой гуляли в саду.

Меня разобрал смех.

— Да как же вы это видели?

— А мы с Лелькой лежали под диваном. Долго лежали, с самого чая. А Гришка на подоконнике за занавеской сидел. Вы ее взяли за руку, дернули к себе и сказали: «Милая! Ведь я не с дурными намерениями!» А тетка головой крутит, говорит: «Ах, ах!..»

— Дура! — сказал, усмехаясь, маленький Лелька.

Мы помолчали.

— Что же вы хотели мне сказать о ней?

— Мы боимся, что вы с ней поженитесь. Несчастным человеком будете.

— А чем же она плохая? — спросил я, закуривая от Ванькиной папиросы.

— Как вам сказать... Слякоть она!

— Не женитесь! — предостерег Гришка.

— Почему же, молодые друзья?

— Она мышей боится.

— Только всего?

— А мало? — пожал плечами маленький Лелька.— Визжит, как шумашедшая. А я крысу за хвост могу держать!

— Вчера мы поймали двух крыс. Убили,— улыбнулся Гришка. Я был очень рад, что мы сошли со скользкой почвы моих отношений к глупой тетке, и ловко перевел разговор на разбойников.

О разбойниках все толковали со знанием дела, большой симпатией и сочувствием к этим отверженным людям.

Удивились моему терпению и выдержке: такой я уже большой, а еще не разбойник.

— Есть хочу,— сказал неожиданно Лелька.

— Что вы, братцы, хотите: наловить сейчас рыбы и сварить на берегу реки уху с картофелем или идти в дом и есть кухаркин обед?

Милые дети отвечали согласным хором:

— Ухи.

— А картофель как достать: попросить на кухне или украсть на огороде?

— На огороде. Украсть.

— Почему же украсть лучше, чем попросить?

— Веселее,— сказал Гришка.— Мы и соль у кухарки украдем. И перец! И котелок!

Я снарядил на скорую руку экспедицию, и мы отправились на воровство, грабеж и погром.

IV

Был уже вечер, когда мы, разложив у реки костер, хлопотали около котелка. Ваня ощипывал стащенного им в сарае петуха, а Гришка, голый, только что искупавшийся в теплой речке, плясал перед костром.

Ко мне дети чувствовали нежность и любовь, граничащую с преклонением.

Лелька держал меня за руку и безмолвно, полным обожания взглядом глядел мне в лицо.

Неожиданно Ванька расхохотался.

— Что, если бы папа с мамой сейчас явились? Что бы они сказали?

— Хи-хи! — запищал голый Гришка. — Уроков не учили, из ружья стреляли, курили, вечером купались и лопали уху вместо обеда.

— А все Михаил Петрович, — сказал Лелька, почтительно целуя мою руку.

— Мы вас не выдадим!

— Можно называть вас Мишей? — спросил Гришка, окуная палец в котелок с ухой. — Ой, горячо!..

— Называйте. Бес с вами. Хорошо вам со мной?

— Превосхитительно!

Поужинав, закурили папиросы и разлеглись на одеялах, притащенных из дому Ванькой.

— Давайте ночевать тут, — предложил кто-то.

— Холодно, пожалуй, будет от реки. Сыро, — возразил я.

— Ни черта! Мы костер будем поддерживать. Дежурить будем.

— Не простудимся?

— Нет, — оживился Ванька. — Накажи меня Бог, не простудимся!!!

— Ванька! — предостерег Лелька. — Божишься? А что немка говорила?

— Божиться и клясться нехорошо, — сказал я. — В особенности так прямолинейно. Есть менее обязывающие и более звучные клятвы... Например: «Клянусь своей бородой!», «Тысяча громов»... «Проклятие неба!»

— Тысяча небов! — проревел Гришка. — Пойдем собирать сухие ветки для костра.

Пошли все. Даже неповоротливый Лелька, державшийся за мою ногу и громко сопевший.

Спали у костра. Хотя он к рассвету погас, но никто этого не заметил, тем более что скоро пригрело солнце, защебетали птицы, и мы проснулись для новых трудов и удовольствий.

V

Трое суток промелькнули, как сон. К концу третьего дня мои питомцы потеряли всякий человеческий образ и подобие...

Матросские костюмчики превратились в лохмотья, а Гришка бегал даже без штанов, потеряв их неведомым образом в реке. Я думаю, что это было сделано им нарочно, — с прямой целью отвертеться от утомительного снимания и надевания штанов при купании.

Лица всех трех загорели, голоса от ночевок на открытом воздухе огрубели, тем более что все это время они упражнялись лишь в кратких, выразительных фразах:

— Проклятье неба! Какой это мошенник утащил мою папиросу?.. Что за дьявольщина! Мое ружье опять дало осечку. Дай-ка, Миша, спичечки!

К концу третьего дня мною овладело смутное беспокойство: что скажут родители по возвращении?

Дети успокаивали меня, как могли:

— Ну, поколотят вас, эка важность! Ведь не убьют же!

— Тысяча громов!—хвастливо кричал Ванька.—А если они, Миша, дотронутся до тебя хоть пальцем, то пусть берегутся. Даром им это не пройдет!

— Ну, меня-то не тронут, а вот вас, голубчики, отколошматят. Покажут вам и курение, и стрельбу, и бродяжничество.

— Ничего, Миша!—успокаивал меня Лелька, хлопая по плечу.—Зато хорошо пожили!

Вечером приехали из города родители, немка и та самая «глупая тетка», на которой дети не советовали мне жениться из-за мышей.

Дети попрятались под диваны и кровати, а Ванька залез даже в погреб.

Я извлек их всех из этих мест, ввел в столовую, где сидело все общество, закусывая с дороги, и сказал:

— Милый мой! Уезжая, ты выражал надежду, что я сближусь с твоими детьми и что они оценят общительность моего нрава. Я это сделал. Я нашел путь к их сердцу... Вот, смотри! Дети! Кого вы любите больше: отца с матерью или меня?

— Тебя!—хором ответили дети, держась за меня, глядя мне в лицо благодарными глазами.

— Пошли вы бы со мной на грабеж, на кражу, на лишения, холод и голод?

— Пойдем,—сказали все трое, а Лелька даже ухватил меня за руку, будто бы мы должны были сейчас, немедленно пуститься в предложенные мной авантюры.

— Было ли вам эти три дня весело?

— Ого!!

Они стояли около меня рядом, сильные, мужественные, с черными от загара лицами, облаченные в затасканные лохмотья, которые придерживались грязными руками, закопченными порохом и дымом костра.

Отец нахмурил брови и обратился к маленькому Лельке, сонно хлопавшему глазенками:

— Так ты бы бросил меня и пошел бы за ним?

— Да! — сказал бесстрашный Лелька, вздыхая. — Клянусь своей бородой! Пошел бы.

Лелькина борода разогнала тучи. Все закатились хохотом, и громче всех истерически смеялась тетя Лиза, бросая на меня лучистые взгляды.

Когда я отводил детей спать, Гришка сказал грубым, презрительным голосом:

— Хохочет... Тоже! Будто ей под юбку мышь подбросили! Дура.

Индейская хитрость

После звонка прошло уж минут десять, все уже сидели за партами, а учитель географии не являлся. Сладкая надежда стала закрадываться в сердца некоторых — именно тех, которые и не разворачивали вчера истрепанные учебники географии... Сладкая надежда:

— А вдруг не придет совсем?

Учитель пришел на двенадцатой минуте.

Подсолнухин Иван вскочил, сморщил свою хитрую, как у лисицы, маленькую остроносую мордочку и воскликнул деланно испуганным голосом:

— Слава Богу! Наконец-то вы пришли! А мы тут так всполошились — не случилось ли с вами чего?

— Глупости... Что со мной случится...

— Отчего вы такой бледный, Алексан Ваныч?

— Не знаю... У меня бессонница.

— А к моему отцу раз таракан в ухо заполз.

— Ну, и что же?

— Да ничего.

— Причем тут таракан?

— Я к тому, что он тоже две ночи не спал.

— Кто, таракан? — пошутил учитель.

Весь класс заискивающе засмеялся.

— Только бы не спросил, — подумали самые отчаянные бездельники, — а то можно смеяться хоть до вечера.

— Не таракан, а мой папаша, Алексан Ваныч. Мой папаша, Алексан Ваныч, три пуда одной рукой подымает.

— Передай ему мои искренние поздравления...

— Я ему советовал идти в борцы, а он не хочет. Вместо этого служит в банке директором — прямо смешно.

Так как учитель уже развернул журнал и разговор грозил иссякнуть, толстый хохол Нечипоренко решил «подбросить дров на огонь»:

— Я бы на вашем месте, Алексан Ваныч, сказал этому Подсолнухину, что он сам не понимает, что говорит. Директор банка — это личность уважаемая, а борец в цирке...

— Нечипоренко! — сказал учитель, погрозив ему карандашом.— Это к делу не относится. Сиди и молчи.

Сидевший на задней скамейке Карташевич, парень с очень тугой головой, решил, что и ему нужно посторонним разговором оттянуть несколько минут.

Натужился и среди тишины молвил свое слово:

— Молчание — знак согласия.

— Что? — изумился учитель.

— Я говорю — молчание знак согласия.

— Ну, так что же?

— Да ничего.

— Ты это к чему сказал?

— Вы, Алексан Ваныч, сказали Нечипоренке «молчи»! Я и говорю: «молчание — знак согласия».

— Очень кстати. Знаешь ли ты, Карташевич, когда придет твоя очередь говорить?

— Гм! Кхи! — закашлялся Карташевич.

— ...когда я спрошу у тебя урок. Хорошо?

Карташевич не видел в этом ничего хорошего, но принужден был согласиться, сдерживая свой гудящий бас:

— Горожо.

— Карташевич через двух мальчиков перепрыгивает,— счел уместным сообщить Нечипоренко.

— А мне это зачем знать?

— Не знаю... извините... Я думал, может, интересно...

— Вот что, Нечипоренко. Ты, брат, хитрый, но я еще хитрее... Если ты скажешь еще что-либо подобное, я напишу записку твоему отцу...

— «К отцу, весь издрогнув, малютка приник»,— продекламировал невпопад Карташевич.

— Карташевич! Ступай приникни к печке. Вы сегодня с ума сошли, что ли? Дежурный! Что на сегодня готовили?

— Вятскую губернию.

— А-а... Хорошо-с. Прекрасная губерния. Ну... спросим мы... Кого бы нам спросить?

Он посмотрел на притихших учеников вопросительно. Конечно, ответить ему мог каждый, не задумываясь. Иванович посоветовал бы спросить Нечипоренку, Патваканов — Блимберга, Сураджев — Патваканова, и все вместе они искренно посоветовали бы вообще никого не спрашивать.

— Спросим мы...

Худощавый мечтательный Челноков поймал рассеянный взгляд учителя, опустил голову, но сейчас же поднял ее и не менее рассеянно взглянул на учителя.

— Ого! — подумал он. — Глядит на Блимберга. А ну-ка, Блимберг, раскошелив...

— Челноков!

Челноков бодро вскочил, захлопнув под партой какую-то книгу, и сказал:

— Здесь!

— Ну? Неужели здесь? — изумился учитель. — Вот поразительно! А ну-ка, что ты нам скажешь о Вятской губернии?

— Кхе! Кха! Хррр...

— Что это с тобой? Ты кашляешь?

— Да, кашляю, — обрадовался Челноков.

— Бедненький... Ты, вероятно, простудился?

— Да... вероятно...

— Вероятно! Может быть, твоему здоровью угрожает опасность?

— Угрожает... — машинально ответил Челноков.

— Боже мой, какой ужас! Может быть, даже жизни угрожает опасность?

Челноков сделал жалобную гримасу и открыл было уже рот, но учитель опустил голову в журнал и сказал совершенно другим, прежним тоном:

— Ну-с... Расскажи нам, что тебе известно о Вятской губернии.

— Вятская губерния, — сказал Челноков, — отличается своими размерами. Это одна из самых больших губерний России... По своей площади она занимает место равное... Мексике и штату Виргиния... Мексика одна из самых богатых и плодородных стран Америки, населена мексиканцами, которые ведут стычки и битвы с гверильясами. Последние иногда входят в соглашение с индейскими племенами шавниев и гуронов, и горе тому мексиканцу, который...

— Постой, — сказал учитель, выглядывая из-за журнала. — Где ты в Вятской губернии нашел индейцев?

— Не в Вятской губернии, а в Мексике.

— А Мексика где?

— В Америке.

— А Вятская губерния?

— В... Рос... сии.

— Так ты мне о Вятской губернии и говори.

— Кгм! Почва Вятской губернии имеет мало чернозему, климат там суровый и потому хлебопашество идет с трудом. Рожь, пшеница и овес — вот что, главным образом, может про-

израстать в этой почве. Тут мы не встретим ни кактусов, ни алоэ, ни цепких лиан, которые, перекидываясь с дерева на дерево, образуют в девственных лесах непроходимую чащу, которую с трудом одолевает томагавк отважного пионера Дальнего Запада, который смело пробирается вперед под немолчные крики обезьян, разноцветных попугаев, оглашающих воздух...

— Что?!

— Оглашающих, я говорю, воздух.

— Кто и чем оглашает воздух?

— Попугаи... криками...

— Одного из них я слышу. К сожалению, о Вятской губернии он ничего не рассказывает.

— Я, Алексан Ваныч, о Вятской губернии и рассказываю... Народонаселение Вятской губернии состоит из великороссов. Главное их занятие хлебопашество и охота. Охотятся за пушным зверем — волками, медведями и зайцами, потому что других зверей в Вятской губернии нет... Нет ни хитрых гибких леопардов, ни ягуаров, ни громадных свирепых бизонов, которые целыми стадами спокойно пасутся в своих льяносах, пока меткая стрела индейца или пуля из карабина скваттера...

— Кого-о?

— Скваттера.

— Это что за кушанье?

— Это не кушанье, Алексан Ваныч, а такие... знаете... американские помещики...

— И они живут в Вятской губернии?!

— Нет... Я — к слову пришлось...

— Челноков, Челноков!.. Хотел я тебе поставить пятерку, но — к слову пришлось и поставлю двойку. Нечипоренко!

— Тут!

— Я тебя об этом не спрашиваю. Говори о Вятской губернии.

— Кхе!

— Ну? — поощрил учитель.

И вдруг — все сердца екнули — в коридоре бешено прозвенел звонок на большую перемену.

— Экая жалость! — отчаянно вздохнул Нечипоренко.— А я хотел ответить урок на пятерку. Как раз сегодня выучил!..

— Это верно? — спросил учитель.

— Верно.

— Ну, так я тебе поставлю... тоже двойку, потому что ты отнял у меня полчаса.

Рассказ для «Лягушонка»

Редактор детского журнала «Лягушонок», встретив меня, сказал:

— Не напишете ли вы для нашего журнала рассказ?

Я не ожидал такой просьбы. Тем не менее спросил:

— Для какого возраста?

— От восьми до тринадцати лет.

— Это трудная задача,— признался я.— Мне случалось встречать восьмилетних детей, которые при угрозе отдать их бабе-Яге моментально затихали, замирая от ужаса, и я знавал тринадцатилетних детишек, которые пользовались всяким случаем, чтобы стянуть из буфета бутылку водки; а при расчетах после азартной карточной игры, в укромном месте, пытались проткнуть ножами животы друг друга.

— Ну, да,— сказал редактор.— Вы говорите о тринадцатилетних р а з в и т ы х детях и о восьмилетних — отставших в развитии. Нет! Рассказ, обыкновенно, нужно писать для среднего типа ребенка, руководствуясь, приблизительно, десятилетним возрастом.

— Понимаю. Значит, я должен написать рассказ для обыкновенного ребенка десяти лет?

— Вот именно. В этом возрасте дети очень понятливы, сообразительны, как взрослые, и очень не любят того сюсюканья, к которому прибегают авторы детских рассказов. Дети уже тянутся к изучению жизни! Не нужно забывать, что ребенок в этом возрасте гораздо больше знает и о гораздо большем догадывается, чем мы полагаем. Если вы примете это во внимание, я думаю, что рассказец у вас получится хоть куда...

— Ладно,— пообещал я.— Завтра вы получите рассказ.

В тот же вечер я засел за рассказ. Я отбросил все, что отдавало сюсюканьем, я старался держаться трезвой правды и реализма, который, по-моему, так должен был подкупить любознательного ребенка и приохотить его к чтению.

Редактор прочел рассказ до половины, положил его на стол и, подперев кулаками голову, изумленно стал меня разглядывать:

— Это вы писали для детей?

— Да... Приблизительно, имея в виду десятилетний возраст. Но если и восьмилетний развитой мальчишка...

— Виноват!! Вот как начинается ваш рассказ:

День Лукерьи.

«Кухарка Лукерья встала рано утром и, накинув платок, побежала в лавочку... Под воротами в темном углу ее дожидался разбитной веселый дворник Федосей. Он ущипнул изумленную Лукерью за круглую аппетитную руку, прижал ее к себе и, шлепнув с размаху по спине, шепнул на ухо задыхающимся голосом:

— Можно прийти к тебе сегодня ночью, когда господа улягутся?

— Зачем? — хихикнула Лукерья, толкнув Федосея локтем в бок.

— Затем, — сказал простодушный Федосей, — чтобы...» Ну, дальше я читать не намерен, потому что, я думаю, от такого рассказа вспыхнет до корней волос и солдат музыкантской команды.

Я пожал плечами.

— Мне нет дела до какого-то там солдата музыкантской команды, но живого любознательного ребенка такой рассказ должен заинтриговать.

— Знаете что? — потирая руки, сказал редактор. — Вы этот рассказ попытайтесь пристроить в «Вестнике общества защиты падших женщин», а если там его найдут слишком пикантным — отдайте в «Досуги холостяка». А нам напишите другой рассказ.

— Не знаю уж, что вам и написать. Старался, как лучше, избегал сюсюканья, как огня...

— Нет, вы напишите хороший детский рассказ, держась сферы тех интересов, которые питают ребенка десяти-одиннадцати лет. Ребенок очень любит рассказы о путешествиях — дайте ему это со всеми подробностями, потому что в подробностях для ребенка есть своеобразная прелесть. Вы можете даже не стесняться фантазировать, но чтобы фантазия была реальна, — иначе ребенок ей не поверит, — чтобы фантазия была основана на цифрах, вычислениях и точных размерах. Вот что дает ребенку полную иллюзию и что приковывает его к книжке.

— Конечно, я это сделаю, — сказал я, протягивая руку редактору «Лягушонка». — Через два дня такой рассказ уже будет у вас в руках.

И я, обдумав как следует тему, написал рассказ:

Как я ездил в Москву.

«Недавно мне пришлось съездить в Москву. В путеводителе я нашел несколько поездов и после недолгого размышления решил остановиться на отходящем ровно в 11 часов по петер-

бургскому времени. Правда, были еще два поезда — в 7 час. 30 мин. и в 9 час. 15 мин. по петербургскому времени, но они не были так удобны. Для того, чтобы попасть на вокзал, я взял извозчика, сторговавшись за 40 копеек. Ехали мы около 25 минут, и на вокзал я приехал за 16 минут до отхода поезда. Известно, что от Петербурга до Москвы расстояние 604 версты, каковое расстояние поезд проходит в 12 часов с остановками или в 10 часов без остановок, т. е. 60 верст в час. Мне досталось место № 7 в вагоне № 2...»

В этом месте редактор, читавший вслух мой рассказ о путешествии, остановился и спросил:

— Можно быть с вами откровенным?

— Пожалуйста!

— Никогда мне не приходилось читать более скучной и глупой вещи... Железнодорожное расписание — штука хорошая для справок, но как беллетристический рассказ...

— Да, рассказ суховат,— согласился я.— Но самый недоверчивый ребенок не усомнится в его правдивости. По-моему, самая печальная правда лучше красивой лжи!..

— Вы смешиваете ложь с выдумкой,— возразил редактор.— Ребенок не переносит лжи, но выдумка дорога его сердцу. И потом мальчишку никогда не заинтересует то, что близко от него, то, что он сам видел. Его тянет в загадочно-прекрасные неизвестные страны, он любит героические битвы с индейцами, храбрые подвиги, путешествия по пустыне на мустангах, а не спокойную езду в вагоне первого класса с плацкартой и вагон-рестораном. Для мальчишки звук выстрела из карабина в сто раз дороже паровозного гудка на станции Москва-товарная. Вот вам какое путешествие нужно описать!

— Вот осел,— подумал я, пожимая плечами.— Сам не знает, что ему надо.

— Пожалуй,— сказал я вслух,— теперь я понял, что вам нужно. Завтра вы получите рукопись.

На другой день редактор «Лягушонка» вертел в руках рукопись «Восемьдесят скальпов Голубого Опоссума», и на лице его было написано все, что угодно, кроме выражения восторга, на которое я имел право претендовать.

— Ну? — нетерпеливо сказал я.— Чего вы там мнетесь. Вот вам рассказ без любви, без сюсюканья, и сухости в нем нет ни на грош.

— Совершенно верно,— сказал редактор, дернув саркастически головой.— В этом рассказе нет сухости, нет, так сказать, ни одного сухого места, потому что он с первой до последней страницы залит кровью. Послушайте-ка первые строки вашего «путешествия»:

«Группа охотников расположилась на ночлег в лесу, не подозревая, что чья-то пара глаз наблюдает за ними. Действительно, из-за деревьев вышел, крадучись, вождь Голубой Опоссум и, вынув нож, ловким ударом отрезал голову крайнему охотнику.

— Оах! — воскликнул он. — Опоссум отомщен.

И, пользуясь сном охотников, он продолжал свое дело... Голова за головой отделялась от спящих тел, и скоро груда темных круглых предметов чернела, озаренная светом костра. После того, как Опоссум отрезал последнюю голову, он сел к огню и, напевая военную песенку, стал обдирать с голов скальпы. Работа спорилась...»

— Извольте видеть! — раздраженно сказал редактор. — «Работа спорилась». У вас это сдирание скальпов описано так, будто бы кухарка у печки чистит картофель. Кроме того, на следующих двух страницах у вас бизон выпускает рогами кишки мустанга, две англичанки сгорают в пламени подожженного индейцами дома, а потом индейцы в числе тысячи человек попадают в вырытую для них яму и, взорванные порохом, разлетаются вдребезги. Согласитесь сами — нужно же знать границы.

— Да что вам, жалко их, что ли? — усмехнулся я. — Пусть их режут друг другу головы и взрывают друг друга. На наш век хватит. А зато ребенок получает потрясающие, захватывающие его страницы.

— Милый мой! Если бы существовал специальный журнал для рабочих городской скотобойни — ваш рассказ явился бы лучшим его украшением... А ребенка после такого рассказа придется свести в сумасшедший дом. Напишите вы лучше вот что...

Я видел, что мы оба чрезвычайно опротивели друг другу. Я считал его тупоумным человеком со свинцовой головой и мозгами, работающими только по неприсутственным дням. Он видел во мне бестолковую бездарность, сказочного дурака, который при малейшем принуждении к молитве сейчас же разбивал себе лоб. Он не понимал, что человек такого исключительного темперамента и кипучей энергии, как я, не мог остановиться на полдороге, шел вперед напролом, и всякую предложенную ему задачу разрешал до конца.

Я чувствовал, что мой энергичный талант был той оглоблей, которой нельзя орудовать в тесной лавке продавца фарфора.

— Напишите-ка вы, — промямлил редактор «Лягушонка», — лучше вот что...

— Стойте,— крикнул я, хлопнув рукой по столу.— Без советов! Попробую я написать одну вещицу на свой страх и риск. Может быть, она подойдет вам. Сдается мне, что я раскусил вас, почтеннейший.

Через час я подал ему четвертую и последнюю вещь. Называлась она:

Лизочкино горе.

Мама подарила Лизочке в день ангела рубль и сказала, что Лизочка может истратить его, как хочет.

Лизочка решила купить на эти деньги занятную книжку, чтобы в минуты отдыха своей мамы читать ей из этой книжки интересные рассказы для самообразования.

Лизочка оделась, вышла на улицу и, мечтая о книжке, которую она должна сейчас купить, весело шагала по тротуару.

— Милая барышня,— послышался сзади нее тихий голос.— Подайте Христа ради. Я и моя дочка целый день не ели.

Лизочка обернулась, увидела бедную больную женщину и, не раздумывая больше, сунула ей в руку рубль.

— На-те, купите себе на эти деньги горячей пищи!

И вернувшись домой без книжки, Лизочка припала к плечу мамы и, рассказав ей о своей встрече, горько заплакала.

— Чего ты плачешь? — спросила мама удивленно.— Не оттого ли, что тебе жалко своего доброго порыва?

— Нет, мама,— отвечала благородная девочка.— Мне жалко, что я не имела трех рублей.

* * *

— Ну, вот видите,— сказал редактор «Лягушонка».— Я был уверен, что в конце концов вы и напишете то, что нам нужно!

О детях

(МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПСИХОЛОГИИ)

У детей всегда бывает странный, часто недоступный пониманию взрослых уклон мыслей.

Мысли их идут по какому-то *своему* пути; от образов, которые складываются в их мозгу, веет прекрасной дикой свежестью.

Вот несколько пустяков, которые запомнились мне.

I

Одна маленькая девочка, обняв мою шею ручонками и уютно примостившись на моем плече, рассказывала:

— Жил-был слон. Вот однажды пошел он в пустыню и лег спать... И снится ему, что он пришел пить воду к громадному-прегромадному озеру, около которого стоят сто бочек сахару. Больших бочек. Понимаешь? А сбоку стоит громадная гора. И снится ему, что он сломал толстый-претолстый дуб и стал разламывать этим дубом громадные бочки с сахаром. В это время подлетел к нему комар. Большой такой комар — величиной с лошадь...

— Да что это, в самом деле, у тебя,— нетерпеливо перебил я.— Все такое громадное: озеро громадное, дуб громадный, комар громадный, бочек сто штук...

Она заглянула мне в лицо и с видом превосходства пожала плечами:

— А как же бы ты думал. Ведь он же слон?

— Ну, так что?

— И потому что он слон, ему снится все большое. Не может же ему присниться стеклянный стаканчик, или чайная ложечка, или кусочек сахара.

Я промолчал, но про себя подумал:

«Легче девочке постигнуть психологию спящего слона, чем взрослому человеку — психологию девочки».

II

Знакомясь с одним трехлетним мальчиком крайне сосредоточенного вида, я взял его на колени и, не зная, с чего начать, спросил:

— Как ты думаешь: как меня зовут?

Он осмотрел меня и ответил, честно глядя в мои глаза:

— Я думаю — Андрей Иваныч.

На бессмысленный вопрос я получил ошибочный, но вежливый, дышащий достоинством ответ.

III

Однажды летом, гостя у своей замужней сестры, я улегся после обеда спать.

Проснулся я от удара по голове, такого удара, от которого мог бы развалиться череп.

Я вздрогнул и открыл глаза.

Трехлетний крошка стоял у постели с громадной палкой в руках и с интересом меня разглядывал.

Так мы долго молча смотрели друг на друга.

Наконец он с любопытством спросил:

— Что ты лопаешь?

Я думаю, этот поступок и вопрос были вызваны вот чем: бродя по комнатам, малютка забрался ко мне и стал рассматривать меня, спящего. В это время я во сне, вероятно, пожевывал губами. Все, что касалось жевания вообще и пищи в частности, очень интересовало малютку. Чтобы привести меня в состояние бодрствования, малютка не нашел другого способа, как сходить за палкой, треснуть меня по голове и задать единственный вопрос, который его интересовал:

— Что ты лопаешь?

Можно ли не любить детей?

Смерть африканского охотника

I

Общие рассуждения. Скала

Мой друг, моральный воспитатель и наставник Борис Попов, провозившийся со мной все мои юношеские годы, часто говорил своим глухим, ласковым голосом:

— Знаете, как бы я нарисовал картину «Жизнь»? По необъятному полю, изрытому могилами, тяжело движется громадная стеклянная стена... Люди с безумно выкатившимися глазами, напряженными мускулами рук и спины хотят остановить ее наступательное движение, бьются у нижнего края ее, но остановить ее невозможно. Она движется и сваливает людей в подвернувшиеся ямы — одного за другим... Одного за другим! Впереди ее — пустые отверстые могилы; сзади — наполненные, засыпанные могилы. И кучка живых людей у края видит прошлое: могилы, могилы и могилы. А остановить стену невозможно. Все мы свалимся в ямы. Все.

Я вспоминаю эту ненаписанную картину и, пока еще стеклянная стена не смела меня в могилу, хочу признаться в одном чудовищном поступке, совершенном мною в дни моего детства. Об этом поступке никто не знает, а поступок дикий и для детского возраста неслыханный: у основания большой желтой скалы, на берегу моря, недалеко от Севастополя, в пустынном месте — я закопал в песке, я похоронил одного англичанина и одного француза...

Мир праху вашему — краснобаи и обманщики!

Стеклянная стена движется на меня, но я прикладываю к ней лицо и, сплюснув нос, вижу оставшееся позади: моего отца, индейца Ва-пити и негра Башелико. А за ними в тяжелых прыжках и извивах мощных тел мечутся львы, тигры и гиены.

Это все главные действующие лица той истории, которая окончилась таинственными похоронами у основания большой скалы на пустынном морском берегу.

* * *

Мои родители жили в Севастополе, чего я никак не мог понять в то время: как можно было жить в Севастополе, когда существуют Филиппинские острова, южный берег Африки, пограничные города Мексики, громадные прерии Северной Америки, мыс Доброй Надежды, реки Оранжевая, Амазонка, Миссисипи и Замбези?..

Меня, десятилетнего пионера в душе, местожительство отца не удовлетворяло.

А занятие? Отец торговал чаем, мукой, свечами, овсом и сахаром.

Конечно, я ничего не имел против торговли... но вопрос: чем торговать? Я допускал торговлю кошенилью, слоновой костью, вымененной у туземцев на безделушки, золотым песком, хинной коркой, драгоценным розовым деревом, сахарным тростником... Я признавал даже такое опасное занятие, как торговля черным деревом (негроторговцы так называют негров).

Но мыло! Но свечи! Но пиленый сахар!

Проза жизни тяготила меня. Я уходил на несколько верст от города и, пролеживая целыми днями на пустынном берегу моря, у подножия одинокой скалы, мечтал...

Пиратское судно решило пристать к этому месту, чтобы закопать награбленное сокровище: скованный железом сундук, полный старинных испанских дублонов, гиней, золотых бразильских и мексиканских монет и разной золотой, осыпанной драгоценными камнями утвари...

Грубые голоса, загорелые лица, хриплый смех и ром, ром без конца...

Я, спрятавшись в одному мне известном углублении на верхушке скалы, молча слежу за всем происходящим: мускулистые руки энергично роют песок, опускают в яму тяжелый сундук, засыпают его и, сделав на скале таинственную отметку, уезжают на новые грабежи и приключения. Одну минуту я колеблюсь: не примазаться ли к ним? Хорошо поездить вместе, погреться под жарким экваториальным солнцем, погра-



бить мимо идущих «купцов», сцепиться на або]
ским бригом, дорого продавая свою жизнь, по1
ча с англичанами — верный галстук на шею.

С другой стороны, можно к пиратам и не і
Другая комбинация не менее заманчива: вырг
блонами, притащить к отцу, а потом купить н
деньги» фургон, в которых ездят южно-африк
оружия, припасов, нанять нескольких охотник
нии да и двинуться на африканские алмазные і

Положим, отец и мать забракуют Африку! Нс
Остается прекрасная Северная Америка с бизон
ными прериями, мексиканскими вакеро и раскр
дейцами. Ради такой благодати стоило бы рис
ми — ха-ха!

Солнце накаливает морской песок у моих н
пенно удлиняются, а я, вытянувшись в холодк
ванной мною скалой, книга за книгой поглощ
любимцев: Луи Буссенара и капитана Майн Ри

«...Расположившись под тенью гигантского
шественники с удовольствием вдыхали вкусн
рившейся над костром передней ноги слона. І
сорвал несколько плодов хлебного дерева и пр
к вкусному жаркому. Основательно позавтракав і

несколькими глотками кристальной воды из ручья, разбавленной ромом, наши путешественники, и т. д.».

Я глотаю слюну и шепчу, обуреваемый завистью:

— Умеют же жить люди! Ну-с... позавтракаем и мы.

Из тайного хранилища в расселине скалы я вынимаю пару холодных котлет, тарань, кусок пирога с мясом, бутылку бузы и — начинаю насыщаться, изредка поглядывая на чистый морской горизонт: не приближается ли пиратское судно?

А тени все длиннее и длиннее...

Пора и в свой блокгауз на Ремесленной улице.

Я думаю, — скала эта на пустынном берегу стоит и до сих пор, и расселина сохранилась, и на дне ее, вероятно, еще лежит сломанный ножик и баночка с порохом — там все по-прежнему, а мне уже тридцать два года, и все чаще кто-нибудь из добрых друзей восклицает с радостным смехом:

— Гляди-ка! А ведь у тебя тоже появился седой волос.

II

Первое разочарование

Не знаю, кто из нас был большим ребенком, — я или мой отец.

Во всяком случае, я, как истый краснокожий, не был бы способен на такое бурное проявление восторга, как отец в тот момент, когда он сообщил мне, что к нам едет настоящий зверинец, который пробудет всю Святую неделю и, может быть (в этом месте отец подмигнул с видом дипломата, разоблачающего важную государственную тайну), останется и до мая.

Внутри у меня все замерло от восторга, но наружно я не подал виду.

Подумаешь, зверинец! Какие там звери? Небось, и агути нет, и гну, и анаконды — матери вод, не говоря уж о жирафах, пеккари и муравьедах.

— Понимаешь — львы есть! Тигры! Крокодил! Удав! Укротители и хозяин у меня кое-что в лавке покупают, так говорили. Вот это, брат, штука! Индеец там есть — стрелок, и негр.

— А что негр делает? — спросил я с побледневшим от восторга лицом.

— Да уж что-нибудь делает, — неопределенно промямлил отец. — Даром держать не будут.

— Какого племени?

— Да племени, брат, хорошего, сразу видно. Весь черный, как ни поверни. На первый день пасхи пойдем — увидишь.

Кто поймет мое чувство, с которым я нырнул под красную кумачовую с желтыми украшениями отделку балагана? Кто оценит симфонию звуков хриплого аристона, хлопанья бича и потрясающего рева льва?

Где слова для передачи сложного дивного сочетания трех запахов: львиной клетки, конского навоза и пороха?..

Эх, очерствели мы!..

Однако когда я опомнился, многое в зверинце перестало мне нравиться.

Во-первых — негр.

Негр должен быть голым, кроме бедер, покрытых яркой бумажной материей. А тут я увидел профанацию: негра в красном фраке, с нелепым зеленым цилиндром на голове. Во-вторых, негр должен быть грозен. А этот показывал какие-то фокусы, бегал по рядам публики, вынимая из всех карманов замасленные карты, и вообще относился ко всем очень заискивающе.

В-третьих — тяжелое впечатление произвел на меня Ва-пити,— индеец, стрелок из лука. Правда, он был в индейском национальном костюме, украшен какой-то шкурой и утыкан перьями, как петух, но... где же скальпы? Где ожерелье из зубов серого медведя-гризли?

Нет, все это не то.

И потом: человек стреляет из лука — во что? — в черный кружок, нарисованный на деревянной доске.

И это в то время, когда в двух шагах от него сидят его злейшие враги, бледнолицые!

— Стыдись, Ва-пити, краснокожая собака! — хотел сказать я ему.— Твое сердце трусливо, и ты уже забыл, как бледнолицые отняли у тебя пастбище, сожгли вигвам и угнали твоего мустанга. Другой порядочный индеец не стал бы раздумывать, а влепил бы сразу парочку стрел в физиономию вон тому акцизному чиновнику, сытый вид которого доказывает, что гибель вигвама и угон мустанга не обошлись без его содействия.

Увы! Ва-пити забыл заветы своих предков. Ни одного скальпа не содрал он сегодня, а просто раскланялся на аплодисменты и ушел. Прощай, трусливая собака!

Чем дальше, тем больше падало мое настроение: худосочная девица надевала себе на шею удава, будто это был вязаный шерстяной платок.

Живой удав — и он стерпел это, не обвил негодницу своими смертоносными кольцами? Не сжал ее так, чтобы кровь из нее брызнула во все стороны?! Червяк ты несчастный, а не удав!

Лев! Царь зверей, величественный, грозный, одним прыжком выносящийся из густых зарослей и, как гром небесный,

обрушивающийся на спину антилопы... Лев, гроза чернокожих, бич стад и зазевавшихся охотников, прыгал через обруч! Становился всеми четырьмя лапами на раскрашенный шар! Гиена становилась передними ногами ему на круп!..

Да будь я на месте этого льва, я так тяпнул бы этого укротителя за ногу, что он другой раз и к клетке близко бы не подошел.

И гиена тоже обнаглела, как самая последняя дрянь...

Прошу не осуждать меня за кровожадность... Я рассуждал, так сказать, академически.

Всякий должен делать свое дело: индеец снимать скальп, негр — есть попавших к нему в лапы путешественников, а лев — терзать без разбору того, другого и третьего, потому что читатель должен понять: пить-есть всякому надо.

Теперь я и сам недоумеваю: что я надеялся увидеть, явившись в зверинец? Пару львов, вырвавшихся из клетки и доедающих в углу галерки не успевшего удрать матроса? Индейца, старательно снимающего скальпы со всего первого ряда обезумевших от ужаса зрителей? Негра, разложившего костер из выломанных досок слоновой загородки и поджаривающего на этом костре мучного торговца Слуцкина?

Вероятно, это зрелище было бы единственное, которое меня бы удовлетворило...

А когда мы выходили из балагана, отец сообщил мне ликующим тоном:

— Представь себе, я пригласил сегодня вечером к нам в гости хозяина, индейца и негра. Повеселимся.

Это была та же отцовская черта, которая приводила его к покупке на базаре каракатиц, которых мы потом вдвоем с отцом и съедали. Я — из любви к приключениям, он — из желания доказать всем домашним, что покупка его не носит определенного характера бессмысленности.

— Да-с. Пригласил. Интересные люди.

С таким видом, вероятно, Ротшильд теперь приглашает к себе Шаляпина.

Дух меценатства свил себе в отце прочное гнездо.

III

Второе разочарование. Смерть

Удар за ударом!

Индеец Ва-пити и негр Башелико явились к нам в серых

пиджаках, которые сидели на них, как перчатка на карандаше.

Они по примеру хозяина зверинца христосовались с отцом и мамой.

Негр — каннибал — христосовался!

Краснокожая собака — Ва-пити, которого засмеяли бы индейские скво (бабы),— христосовался!

Боже, Боже! Они ели кулич. После жареного миссионера — кулич! А грозный индеец Ва-пити мирно съел три крашеных яйца, измазав себе всю кирпичную физиономию синим и зеленым цветом. Это — вместо раскраски в цвета войны.

Кончилось тем, что отец, хватив киевской наливки свыше меры, затянул «Виют витры, виют буйны», а индеец ему подтягивал!!

А негр танцевал с теткой польку-мазурку... Правда, при этом ел ее, но только глазами...

И в это время играл не тамтам, а торбан под умелой рукой отца.

А грозный немец, хозяин зверинца, просто спал, забыв своих львов и слонов.

* * *

Утром, когда еще все спали, я встал и, надев фуражку, тихо побрел по берегу бухты.

Долго брел, грустно брел.

Вот и моя скала, вот и расселина — мое пище- и книгохранилище.

Я вынул Буссенара, Майн Рида и уселся у подножия скалы. Перелистал книги... в последний раз.

И со страниц на меня глядели индейцы, поющие: «Виют витры, виют буйны», глядели негры, танцующие польку-мазурку под звуки хохлацкого торбана, львы прыгали через обруч и слоны стреляли хоботом из пистолета...

Я вздохнул.

Прощай, мое детство, мое сладкое, изумительно интересное детство...

Я вырыл в песке под скалой яму, положил в нее все томики француза Буссенара и англичанина капитана Майн Рида, засыпал эту могилу, встал и выпрямился, обведя горизонт совсем другим взглядом... Пиратов не было и не могло быть; не должно быть.

Мальчик умер.
Вместо него — родился юноша.

* * *

В слонов лучше всего стрелять разрывными пулями.

. . . .

Страшный Мальчик

Обращая взор свой к тихим розовым долинам моего детства, я до сих пор испытываю подавленный ужас перед Страшным Мальчиком.

Широким полем расстилается умилительное детство — безмятежное купанье с десятком других мальчишек в Хрустальной бухте, шатанье по Историческому бульвару с целым ворохом наворованной сирени под мышкой, бурная радость по поводу какого-нибудь печального события, которое давало возможность пропустить учебный день, «большая перемена» в саду под акациями, змеившими золотисто-зеленые пятна по растрепанной книжке «Родное Слово» Ушинского, детские тетради, радовавшие взор своей снежной белизной в момент покупки и внушавшие на другой день всем благомыслящим людям отвращение своим грязным пятнистым видом, тетради, в которых по тридцати, сорока раз повторялось с достойным лучшей участи упорством: «Нитка тонка, а Ока широка» или пропагандировалась несложная проповедь альтруизма: «Не кушай, Маша, кашу, оставь кашу Мише», переснимочные картинки на полях географии Смирнова, особый, сладкий сердцу запах непроветренного класса — запах пыли и прокисших чернил, ощущение сухого мела на пальцах после усердных занятий у черной доски, возвращение домой под ласковым весенним солнышком, по протоптанным среди густой грязи, полупросохшим, упругим тропинкам, мимо маленьких мирных домиков Ремесленной улицы и, наконец, — среди этой кроткой долины детской жизни, как некий грозный дуб, возвышается крепкий, смахивающий на железный болт кулак, венчающий худую, жилистую, подобно жгуту из проволоки, руку Страшного Мальчика.

Его христианское имя было Иван Аптекарев, уличная кличка сократила его на «Ваньку Аптекаренка», а я в пугливом, кротком сердце моем окрестил его: Страшный Мальчик.

Действительно, в этом мальчике было что-то страшное: жил он в местах совершенно неисследованных — в нагорной части Цыганской Слободки; носились слухи, что у него были

родители, но он, очевидно, держал их в черном теле, не считаясь с ними, запугивая их; говорил хриплым голосом, поминутно сплевывая тонкую, как нитка, слюну сквозь выбитый Хромым Возжонком (легендарная личность!) зуб; одевался же он так шикарно, что никому из нас даже в голову не могло прийти скопировать его туалет: на ногах рыжие, пыльные башмаки с чрезвычайно тупыми носками, голова венчалась фуражкой, измятой, переломленной в неподлежащем месте и с козырьком, треснувшим посредине самым вкусным образом.

Пространство между фуражкой и башмаками заполнялось совершенно выцветшей форменной блузой, которую охватывал широченный кожаный пояс, спускавшийся на два вершка ниже, чем это полагалось природой, а на ногах красовались штаны, столь вздувшиеся на коленках и затрепанные внизу, что Страшный Мальчик одним видом этих брюк мог навести панику на население.

Психология Страшного Мальчика была проста, но совершенно нам, обыкновенным мальчикам, непонятна. Когда кто-нибудь из нас собирался подраться, он долго примеривался, вычислял шансы, взвешивал и, даже все взвесив, долго колебался, как Кутузов перед Бородино. А Страшный Мальчик вступал в любую драку просто, без вздохов и приготовлений: увидев не понравившегося ему человека, или двух, или трех, он крякал, сбрасывал пояс и, замахнувшись правой рукой так далеко, что она чуть его самого не хлопала по спине, бросался в битву.

Знаменитый размах правой руки делал то, что первый противник летел на землю, вздымая облако пыли; удар головой в живот валил второго; третий получал неуловимые, но страшные удары обеими ногами... Если противников было больше, чем три, то четвертый и пятый летели от снова молниеносно закинутой назад правой руки, от методического удара головой в живот — и так далее.

Если же на него нападали пятнадцать, двадцать человек, то сваленный на землю Страшный Мальчик стоически переносил дождь ударов по мускулистому гибкому телу, стараясь только повертывать голову с тем расчетом, чтобы приметить, кто в какое место и с какой силой бьет, дабы в будущем закончить счеты со своими истязателями.

Вот что это был за человек — Аптекаренок.

Ну, не прав ли я был, назвав его в сердце своем Страшным Мальчиком?

Когда я шел из училища в предвкушении освежительного купания на «Хрусталке», или бродил с товарищем по Истори-

ческому бульвару в поисках ягод шелковицы, или просто бежал неведомо куда по неведомым делам,— все время налет тайного, неосознанного ужаса теснил мое сердце: сейчас где-то бродит Аптекаренок в поисках своих жертв... Вдруг он поймает меня и изобьет меня вконец — «пустит юшку», по его живописному выражению.

Причины для расправы у Страшного Мальчика всегда находились...

Встретив как-то при мне моего друга Сашку Ганнибоцера, Аптекаренок холодным жестом остановил его и спросил сквозь зубы:

— Ты чего на нашей улице задавался?

Побледнел бедный Ганнибоцер и прошептал безнадежным тоном:

— Я... не задавался.

— А кто у Снурцына шесть солдатских пуговиц отнял?

— Я не отнял их. Он их проиграл.

— А кто ему по морде дал?

— Так он же не хотел отдавать.

— Мальчиков на нашей улице нельзя бить,— заметил Аптекаренок и, по своему обыкновению, с быстротой молнии перешел к подтверждению высказанного положения: со свистом закинул руку за спину, ударил Ганнибоцера в ухо, другой рукой ткнул «под вздох», отчего Ганнибоцер переломился надвое и потерял всякое дыхание, ударом ноги сбил оглушенного, увенчанного синяком Ганнибоцера на землю и, полюбовавшись на дело рук своих, сказал прехладнокровно:

— А ты...— Это относилось ко мне, замершему при виде Страшного Мальчика, как птичка перед пастью змеи.— ...А ты что? Может, тоже хочешь получить?

— Нет,— пролепетал я, переводя взор с плачущего Ганнибоцера на Аптекаренка.— За что же... Я ничего.

Загорелый, жилистый, не первой свежести кулак закачался, как маятник, у самого моего глаза.

— Я до тебя давно добираюсь... Ты мне попадешь под веселую руку. Я тебе покажу, как с баштана незрелые арбузы воровать!

«Все знает проклятый мальчишка»,— подумал я. И спросил, осмелев:

— А на что они тебе... Ведь это не твои.

— Ну и дурак. Вы воруете все незрелые, а какие же мне останутся? Если еще раз увижу около баштана — лучше бы тебе и на свет не родиться.

Он исчез, а я после этого несколько дней ходил по улице с чувством безоружного охотника, бредущего по тигровой



тропинке и ожидающего, что вот-вот зашевелится тростник и огромное полосатое тело мягко и тяжело мелькнет в воздухе.

Страшно жить на свете маленькому человеку.

* * *

Страшнее всего было, когда Аптекаренок приходил купаться на камни в Хрустальную бухту.

Ходил он всегда один, несмотря на то, что все окружающие мальчики ненавидели его и желали ему зла.

Когда он появлялся на камнях, перепрыгивая со скалы на скалу, как жилистый поджарый волчонок, все невольно притихали и принимали самый невинный вид, чтобы не вызвать каким-нибудь неосторожным жестом или словом его сурового внимания.

А он в три-четыре методических движения сбрасывал блузу, зацепив на ходу и фуражку, потом штаны, стянув заодно с ними и ботинки, и уже красовался перед нами, четко вырисовываясь смуглым, изящным телом спортсмена на фоне южного неба. Хлопал себя по груди и если был в хорошем настроении, то, оглядев взрослого мужчину, затесавшегося ка-

ким-нибудь образом в нашу детскую компанию, говорил тоном приказания:

— Братцы! А ну, покажем ему «рака».

В этот момент вся наша ненависть к нему пропадала — так хорошо проклятый Аптекаренок умел делать «рака».

Столпившиеся, темные, поросшие водорослями скалы образовывали небольшое пространство воды, глубокое, как колодец... И вот вся детвора, сгрудившись у самой высокой скалы, вдруг начинала с интересом глядеть вниз, охая и по-театральному всплескивая руками:

— Рак! Рак!

— Смотри, рак! Черт знает, какой огромадный! Ну и штука же!

— Вот так рачище!.. Гляди, гляди — аршина полтора будет.

Мужичище — какой-нибудь булочник при пекарне или грузчик в гавани — конечно, заинтересовывался таким чудом морского дна и неосторожно приближался к краю скалы, заглядывая в таинственную глубь «колодца».

А Аптекаренок, стоявший на другой, противоположной скале, вдруг отделялся от нее, взлетал аршина на два вверх, сворачивался в воздухе в плотный комок, спрятав голову в колени, обвив плотно руками ноги, и, будто повисев в воздухе полсекунды, обрушивался в самый центр «колодца».

Целый фонтан — нечто вроде смерча — взвивался кверху, и все скалы сверху донизу заливались кипящими потоками воды.

Вся штука заключалась в том, что мы, мальчишки, были голые, а мужик — одетый и после «рака» начинал напоминать вытащенного из воды утопленника.

Как не разбивался Аптекаренок в этом узком скалистом колодце, как он ухитрялся поднырнуть в какие-то подводные ворота и выплыть на широкую гладь бухты — мы совершенно недоумевали. Замечено было только, что после «рака» Аптекаренок становился добрее к нам, не бил нас и не завязывал на мокрых рубашках «сухарей», которые приходилось потом грызть зубами, дрожа голым телом от свежего морского ветерка.

* * *

Пятнадцати лет от роду мы все начали «страдать».

Это — совершенно своеобразное выражение, почти не поддающееся объяснению. Оно укоренилось среди всех мальчишек нашего города, переходящих от детства к юности, и самой ча-

стой фразой при встрече двух «фрайеров» (тоже южное арго) было:

— Дрястуй, Сережка. За кем ты стрядаешь?

— За Маней Огневой. А ты?

— А я еще ни за кем.

— Ври больше. Что же ты, дрюгу боишься сказать, что ли ча?

— Да мине Катя Капитанаки очень привлекаеть.

— Врешь?

— Накарай мине Господь.

— Ну, значит, ты за ней стрядаешь.

Уличенный в сердечной слабости, «страдалец за Катей Капитанаки» конфузится и для сокрытия прелестного полудетского смущения загибает трехэтажное ругательство.

После этого оба друга идут пить бузу за здоровье своих избранниц.

Это было время, когда Страшный Мальчик превратился в Страшного Юношу. Фуражка его по-прежнему вся пестрела противоестественными изломами, пояс спускался чуть не на бедра (необъяснимый шик), а блуза верблюжьим горбом выбивалась сзади из-под пояса (тот же шик); пахло от Юноши табаком довольно едко.

Страшный Юноша, Аптекаренок, переваливаясь, подошел ко мне на тихой вечерней улице и спросил своим тихим, полным грозного величия голосом:

— Ты чиво тут делаешь, на нашей улице?

— Гуляю...— ответил я, почтительно пожав протянутую мне в виде особого благоволения руку.

— Чиво ж ты гуляешь?

— Да так себе.

Он помолчал, подозрительно оглядывая меня.

— А ты за кем стрядаешь?

— Да ни за кем.

— Ври!

— Накарай меня Госп...

— Ври больше! Ну? Не будешь же ты здря (тоже словечко) шляться по нашей улице. За кем стрядаешь?

И тут сердце мое сладко сжалось, когда я выдал свою сладкую тайну:

— За Кирой Костюковой. Она сейчас после ужина выйдет.

— Ну, это можно.

Он помолчал. В этот теплый нежный вечер, напоенный грустным запахом акаций, тайна распирала и его мужественное сердце.

Помолчав, спросил:

— А ты знаешь, за кем я стрядаю?

— Нет, Аптекаренок,— ласково сказал я.

— Кому Аптекаренок, а тебе дяденька,— полушутливо, полусердито проворчал он.— Я, братец ты мой, стрядаю теперь за Лизой Евангопуло. А раньше я стрядал (произносить «я» вместо «а» — был тоже своего рода шик) за Маруськой Королькевич. Здорово, а? Ну, брат, твое счастье. Если бы ты что-нибудь думал насчет Лизы Евангопуло, то...

Снова его уже выросший и еще более окрепший жилистый кулак закачался у моего носа.

— Видал? А так ничего, гуляй. Что ж... всякому стрядать приятно.

Мудрая фраза в применении к сердечному чувству.

* * *

12 ноября 1914 года меня пригласили в лазарет прочесть несколько моих рассказов раненым, смертельно скучавшим в мирной лазаретной обстановке.

Только что я вошел в большую, уставленную кроватями палату, как сзади меня с кровати послышался голос:

— Здравствуй, фрайер. Ты чего задаешься на макароны?

Родной моему детскому уху тон прозвучал в словах этого бледного, заросшего бородой раненого.

Я с недоумением поглядел на него и спросил:

— Вы это мне?

— Так-то, не узнавать старых друзей? Погоди, попадешься ты на нашей улице — узнаешь, что такое Ванька Аптекаренок.

— Аптекарев?!

Страшный Мальчик лежал передо мной, слабо и ласково улыбаясь мне.

Детский страх перед ним на секунду вырос во мне и заставил и меня и его (потом, когда я ему признался в этом) рассмеяться.

— Милый Аптекаренок? Офицер?

— Да.

— Ранен?

— Да.— И, в свою очередь: — Писатель?

— Да.

— Не ранен?

— Нет.

— То-то. А помнишь, как я при тебе Сашку Ганнибоцера вздул?

— Еще бы. А за что ты тогда «до меня добирался»?

— А за арбузы с баштана. Вы их воровали, и это было нехо рошо.

— Почему?

— Потому что мне самому хотелось воровать.

— Правильно. А страшная у тебя была рука, нечто вроде железного молотка. Воображаю, какая она теперь...

— Да, брат,— усмехнулся он.— И вообразить не можешь.

— А что?

— Да вот, гляди.

И показал из-под одеяла короткий обрубок.

— Где это тебя так?

— Батарею брали. Их было человек пятьдесят. А нас, этого... Меньше.

Я вспомнил, как он с опущенной головой и закинутой назад рукой слепо бросался на пятерых — и промолчал.

Бедный Страшный Мальчик!

* * *

Когда я уходил, он, пригнув мою голову к своей, поцеловал меня и шепнул на ухо:

— За кем теперь стрядаешь?

И такая жалость по ушедшем сладком детстве, по книжке «Родное Слово» Ушинского, по «большой перемене» в саду под акациями, по украденным пучкам сирени,— такая жалость затопила наши души, что мы чуть не заплакали.

Блины Доди

Без сомнения, у Доди было свое настоящее имя, но оно как-то стерлось, затерялось, и хотя этому парню уже шестой год — он для всех Додя и больше ничего.

И будет так расти этот мужчина с загадочной кличкой «Додя», будет расти, пока не пронюхает какая-нибудь проворная гимназисточка в черном передничке, что пятнадцатилетнего Додю на самом деле зовут иначе, что неприлично ей звать взрослого кавалера какой-то собачьей кличкой, и впервые скажет она замирающим от волнения голосом:

— Ах, зачем вы мне такое говорите, Дмитрий Михайлович?

И сладко забьется тогда сердце Доди, будто впервые шагнувшего в заманчивую остро-любопытную область жизни взрослых людей: «Дмитрий Михайлович!..» О, тогда и он докажет же ей, что он взрослый человек: он женится на ней.

— Дмитрий Михайлович, зачем вы целуете мою руку! Это нехорошо.

— О, не отталкивайте меня, Евгения (это вместо Женички-то!) Петровна.

Однако все это в будущем. А пока Доде — шестой год, и никто, кроме матери и отца, не знает, как его зовут на самом деле: Даниил ли, Дмитрий ли или просто Василий (бывают и такие уменьшительные у нежных родителей).

* * *

Характер Доди едва-едва начинает намечаться. Но грани этого характера выступают довольно резко: он любит все приятное и с гадливостью, омерзением относится ко всему неприятному; в восторге от всего сладкого; ненавидит горькое, любит всякий шум, чем бы и кем бы он ни был произведен; боится тишины, инстинктивно, вероятно, чувствуя в ней начало смерти... С восторгом измазывается грязью и пылью с головы до ног; с ужасом приступает к умыванию; очень возмущается, когда его наказывают, но и противоположное ощущение — ласки близких ему людей — вызывает в нем отвращение.

Однажды в гостях у Додиных родителей сидели двое: красивая молодая дама Нина Борисовна и молодой человек Сергей Митрофанович, не спускавший с дамы застывшего в полном восторге взора. И было так: молодой человек, установив прочно и надолго свои глаза на лице дамы, машинально взял земляничную «соломку» и стал рассеянно откусывать кусок за куском, а дама, заметив вертевшегося тут же Додю, схватила его в объятия и, тиская мальчишку, осыпала его целым градом бурных поцелуев.

Додя отбивался от этих ласк с энергией утопающего матроса, борющегося с волнами, извивался в нежных теплых руках, толкал даму в высокую пышную грудь и кричал с интонациями дорезываемого человека:

— Пусс... ти, дура! Ос... ставь, дура!

Ему страшно хотелось освободиться от «дуры» и направить все свое завистливое внимание на то, как рассеянный молодой человек поглощает земляничную соломку. И Доде страшно хотелось быть на месте этого молодого человека, а молодому человеку еще больше хотелось быть на месте Доди. И один, отбиваясь от нежных объятий, а другой, печально похрустывая земляничной соломкой, с бешеной завистью поглядывали друг на друга.

Так слепо и нелепо распределяет природа дары свои.

Однако справедливость требует отметить, что молодой человек в конце концов добился от Нины Борисовны таких же ласк, которые получил и Додя. Только молодой человек вел себя совершенно иначе: не отбивался, не кричал: «Оставь, дура», а тихо, безропотно, с оттенком даже одобрения покорился своей вековечной мужской участи...

Кроме перечисленных Додиных черт, в характере его есть еще одна черта: он — страшный приобретатель. Черта эта тайная, он не высказывает ее. Но увидев, например, какой-нибудь красивый дом, шепчет себе под нос: «Хочу, чтобы дом был мой». Лошадь ли он увидит, первый ли снежок, выпавший на дворе, или приглянувшегося ему городового,— Додя, шмыгнув носом, сейчас же прошепчет: «Хочу, чтобы лошадь была моя; чтобы снег был мой; чтобы городовой был мой».

Рыночная стоимость желаемого предмета не имеет значения. Однажды, когда Додина мать сказала отцу: «А, знаешь, доктор нашел у Марины Кондратьевны камни в печени»,— Додя сейчас же прошептал себе под нос: «Хочу, чтобы у меня были камни в печени».

Славный, бескорыстный ребенок.

* * *

Когда мама, поглаживая шелковистый Додин затылок, сообщила ему:

— Завтра у нас будут блины...— Додя не преминул подумать: «Хочу, чтобы блины были мои»,— и спросил вслух:

— А что такое блины?

— Дурачок! Разве ты не помнишь, как у нас были блины в прошлом году?

Глупая мать не могла понять, что для пятилетнего ребенка протекший год — это что-то такое громадное, монументальное, что как Монблан заслоняет от его глаз предыдущие четыре года. И с годами эти монбланы все уменьшаются и уменьшаются в росте, делаются пригорками, которые не могут заслонить от зорких глаз зрелого человека его богатого прошлого, ниже, ниже делаются пригорки, пока не останется один только пригорок, увенчанный каменной плитой да покосившимся крестом.

Год жизни наглухо заслонил от Доди прошлогодние блины. Что такое блины? Едят их? Можно ли на них кататься? Может, это народ такой — блины? Ничего в конце концов неизвестно.

Когда кухарка Марья ставила с вечера опару, Додя смотрел на нее с почтительным удивлением и даже, боясь втайне, чтобы всемогущая кухарка не раздумала почему-нибудь делать

блины,— искательно почистил ручонкой край ее черной кофты, вымазанной мукой.

Этого показалось ему мало:

— Я люблю тебя, Марья,— признался он дрожащим голосом.

— Ну, ну. Ишь какой ладный мальчушечка.

— Очень люблю. Хочешь, я для тебя у папы папиросок украду?

Марья дипломатично промолчала, чтобы не быть замешанной в назревающей уголовщине, а Додя вихрем помчался в кабинет и сейчас же принес пять папиросок. Положил на край плиты.

И снова дипломатичная Марья сделала вид, что не заметила награбленного добра. Только сказала ласково:

— А теперь иди, Додик, в детскую. Жарко тут, братик.

— А блины-то... будут?

— А для чего же опару ставлю!

— Ну, то-то.

Уходя, подкрепил на всякий случай:

— Ты красивая, Марья.

* * *

Положив подбородок на край стола, Додя надолго застыл в немом восхищении...

Какие красивые тарелки! Какая чудесная черная икра... Что за поражающая селедка, убранная зеленым луком, свеклой, маслинами. Какая красота — эти плотные, слежавшиеся сардинки. А в развалившуюся на большой тарелке неизвестную нежно-розовую рыбу Додя даже ткнул пальцем, спрятав моментально этот палец в рот с деланно-рассеянным видом. («Гм!.. Соленое».)

А впереди еще блины — это таинственное, странное блюдо, ради которого собираются гости, делается столько приготовлений, вызывается столько хлопот.

«Посмотрим, посмотрим,— думает Додя, бродя вокруг стола.— Что это там у них за блины такие...»

Собираются гости...

Сегодня Додя первый раз посажен за стол вместе с большими, и поэтому у него широкое поле для наблюдений.

Сбивает его с толку поведение гостей.

— Анна Петровна — семги! — настойчиво говорит мама.

— Ах, что вы, душечка,— ахает Анна Петровна.— Это много! Половину этого куска. Ах, нет, я не съем!

«Дура»,— решает Додя.

— Спиридон Иваныч! Рюмочку наливки. Сладенькой, а?

— Нет, уж я лучше горькой рюмочку выпью.

«Дурак!» — удивляется про себя Додя.

— Семен Афанасьич! Вы, право, ничего не кушаете!..

«Врешь, — усмехнулся Додя. — Он ел больше всех. Я видел».

— Сардинки? Спасибо, Спиридон Иваныч. Я их не ем.

«Сумасшедшая какая-то, — вздыхает Додя. — Хочу, чтоб сардинки были мои...»

Марина Кондратьевна, та самая, у которой камни в печени, берет на кончик ножа микроскопический кусочек икры.

«Ишь ты, — думает Додя. — Наверное, боится побольше-то взять: мама так по рукам и хлопнет за это. Или просто задается, что камни в печени. Рохля».

Подают знаменитые долгожданные блины.

Все со зверским выражением лица набрасываются на них. Набрасывается и Додя. Но тотчас же опускает голову в тарелку и, купая локон темных волос в жидком масле, горько плачет.

— Додик, милый, что ты? Кто тебя обидел?..

— Бли... ны...

— Ну? Что блины? Чем они тебе не нравятся?

— Такие... круглые...

— Господи... Так что же из этого? Обрежу тебе их по краям, — будут четырехугольные...

— И со сметаной...

— Так можно без сметаны, чудачина ты!

— Так они тестяные!

— А ты какие бы хотел? Бумажные, что ли?

— И... не сладкие.

— Хочешь, я тебе сахаром посыплю?

Тихий плач переходит в рыдание. Как они не хотят понять, эти тупоголовые дураки, что Доде блины просто не нравятся, что Додя разочаровался в блинах, как разочаровывается взрослый человек в жизни! И никаким сахаром его не успокоить.

Плачет Додя.

Боже! Как это все красиво, чудесно началось, — все, начиная от опары и вкусного блинного чада — и как все это пошло, обыденно кончилось: Додю выслали из-за стола.

* * *

Гости разошлись.

Измученный слезами, Додя прикорнул на маленьком диванчике. Отыскав его, мать берет на руки отяжелевшее от дремоты тельце и ласково шепчет:

— Ну ты... блиноед африканский... Наплакался?

И тут же, обращаясь к отцу, перебрасывает свои мысли в другую плоскость:

— А знаешь, говорят, Антоновский получил от Мразича оскорбление действием.

И, подымая отяжелевшие веки, с усилием шепчет обуреваемый приобретательским инстинктом Додя:

— Хочу, чтобы мне было оскорбление действием.

Тихо мерцает в детской красная лампадка. И еще слегка пахнет всепроникающим блинным чадом...

Галочка

Однажды в сумерки весеннего, кротко умиравшего дня к Ирине Владимировне Овраговой пришла девочка двенадцати лет, Галочка Кегич.

Сняв в передней верхнюю серую кофточку и гимназическую шляпу, Галочка подергала ленту в длинной русой косе, проверила, все ли на месте, и вошла в неосвещенную комнату, где сидела Ирина Владимировна.

— Где вы тут?

— Это кто? А! Сестра своего брата. Мы с вами немного ведь знакомы. Здравствуйте, Галочка.

— Здравствуйте, Ирина Владимировна. Вот вам письмо от брата. Хотите, читайте его при мне, хотите — я уйду.

— Нет, зачем же? Посидите со мной, Галочка. Такая тоска... Я сейчас.

Она зажгла электрическую лампочку с перламутровым абажуром и при свете ее погрузилась в чтение письма.

Кончила...

Рука с письмом вяло, бессильно упала на колени, а взгляд мертво и тускло застыл на освещенном краешке золоченой рамы на стене.

— Итак — все кончено? Итак — уходит?

Голова опустилась ниже.

Галочка сидела, затушеванная полутьмой, вытянув скрещенные ножки в лакированных туфельках и склонив голову на сложенные ладонями руки.

И вдруг в темноте звонко, — как стук хрустального бокала о бокал, — прозвучал ее задумчивый голосок:

— Удивительная эта штука — жизнь.

— Что-о-о? — вздрогнула Ирина Владимировна.

— Я говорю: удивительная вещь — наша жизнь. Иногда бывает смешно, иногда грустно.

— Галочка! Почему вы это говорите?

— Да вот смотрю на вас и говорю. Плохо ведь вам, небось, сейчас.

— С чего вы взяли....

— Да письмо-то это, большая радость, что ли?..

— А вы разве... знаете... содержание письма?

— Не знала бы, не говорила бы.

— Разве Николай показывал вам?..

— Колька дурак. У него не хватает даже соображения поговорить со мной, посоветоваться. Ничего он мне не показывал. Я хотела было из самолюбия отказаться снести письмо, да потом мне стало жалко Кольку. Смешной он и глупый.

— Галочка... Какая вы странная. Вам двенадцать лет, кажется, а вы говорите, как взрослая.

— Мне, вообще, много приходится думать. За всех думаешь, заботишься, чтобы всем хорошо было. Вы думаете, это легко?

Взгляд Ирины Владимировны упал на прочитанное письмо, и снова низко опустилась голова.

— И вы тоже, миленькая, хороши! Нечистый дернул вас потёпаться с этим ослом Климухиным в театр. Очень он вам нужен, да? Ведь я знаю, вы его не любите, вы Кольку моего любите — так зачем же это? Вот все оно так скверно и получилось.

— Значит, Николай из-за этого... Боже, какие пустяки! Что же здесь такого, если я пошла в театр с человеком, который мне нужен, как прошлогодний снег.

— Смешная вы, право. Уже большой человек вы, а ничего не смыслите в этих вещах. Когда вы говорите это мне, я все понимаю, потому что умная и, кроме того, — девочка. А Колька большой ревнивый мужчина. Узнал — вот и полез на стену. Надо бы, кажется, понять эту простую штуку...

— Однако, он мне не пишет причины его разрыва со мной.

— Не пишет ясно почему: из самолюбия. Мы, Кегечи, — все безумно самолюбивы.

Обе немного помолчали.

— И смешно мне глядеть на вас обоих и досадно. Из-за какого рожна, спрашивается, люди себе кровь портят? Насквозь вас вижу: любите друг друга так, что аж чертям тошно. А мучаете один другого. Вот уж никому этого не нужно. Знаете, выходите за Кольку замуж. А то прямо смотреть на вас тошнехонько.

— Галочка! Но ведь он пишет, что не любит меня!

— А вы и верите? Эх, вы. Вы обратите внимание, раньше у него были какие-то там любовницы...

— Галочка!

— Чего там — Галочка. Я, слава Богу, уже 12 лет Галочка. Вот я и говорю: раньше у него было по три любовницы сразу, а теперь вы одна. И он все время глядит на вас, как кот на сало.

— Галочка!!

— Ладно там. Не подумайте, пожалуйста, что я какая-нибудь испорченная девчонка, а просто, я все понимаю. Толковый ребенок, что и говорить. Только вы Кольку больше не дразните.

— Чем же я его дразню?

— А зачем вы в письме написали о том художнике, который вас домой с вечера провожал? Кто вас за язык тянул? Зачем? Только, чтобы моего Кольку подразнить. Стыдно! А еще большая!

— Галочка!.. Откуда вы об этом письме знаете?!

— Прочитала.

— Неужели Коля...

— Да, как же! Держите карман шире... Просто открыла незапертый ящик и прочитала...

— Галочка!!!

— Да ведь я не из простого любопытства. Просто хочу вас и его устроить, с рук сплавить просто. И прочитала, чтобы быть... как это говорится? в курсе дела.

— Вы, может быть, и это письмо прочитали?

— А как же! Что я вам, простой почтальон, что ли, чтобы втемную письма носить... Прочитала. Да вы не беспокойтесь! Я для вашей же пользы это... Ведь никому не разболтаю.

— А вы знаете, что чужие письма читать неблагородно?

— Начихать мне на это. Что с меня взять? Я маленькая. А вы большой глупыш. Обождите, я вас сейчас поцелую. Вот так. А теперь надевайте кофточку, шляпу — и марш к Кольке. Я вас отвезу.

— Нет, Галочка, ни за что!

— Вот поговорите еще у меня. Уж вы раз наделали глупостей, так молчите. А Колька сейчас лежит у себя на диване носом вниз и киснет, как собака. Вообразите — лежит и киснет... Вдруг — входите вы! Да ведь он захрюкает от радости.

— Но ведь он же мне написал, что...

— Чихать я хотела на его письмо. Ревнивый этот самый Колька, как черт. Наверно, и я такая же буду, как вырасту. Ну, не разговаривайте. Одевайтесь! Ишь ты! И у вас вон глазки повеселели. Ах вы, мышатки мои милые!..

— Так я переоденусь только в другое платье...

— Ни-ни! Надо, чтобы все по-домашнему было. Это уютненькое. Только снимите с волос зеленую бархатку, она вам не идет... Есть красная?

— Есть.

— Ну, вот и умница. Давайте, я вам приколю. Вы красивая и симпатичная... Люблю таких. Ну, поглядите теперь на меня... Улыбаетесь? То-то. А Кольке прямо, как придете, так и скажите: «Коля, ты дурак». Ведь вы с ним на ты, я знаю. И целуетесь уже. Раз видела. На диванчике. Женитесь, ей-Богу, чего там.

— Галочка! Вы прямо необыкновенный ребенок.

— Ну, да! Скажете тоже. Через четыре года у нас в деревне нашего брата уже замуж выдают, а вы говорите ребенок. Ох-хо!.. Уморушка с вами. Духами немного надушитесь — у вас хорошие духи — и поедем. Дайте ему слово, что вы плевать хотели на Климухина, и скажите Кольке, что он самый лучший. Мужчины это любят. Готовы, сокровище мое? Ну,— айда к этой старой крысе!

* * *

«Старая крыса», увидев вошедшую странную пару, вскочил с дивана и растерянный, со скрытым восторгом во взоре, бросился к Ирине Владимировне.

— Вы?!. У меня?.. А письмо... получили?..

— Чихать мы хотели на твое письмо,— засмеялась Галочка, толкая его в затылок.— Плюньте на все и берегите здоровье. Поцелуйтесь, детки, а я уже смертельно устала от этих передряг.

Оба уселись рядом на диване и рука к руке, плечо к плечу — прильнули друг к другу.

— Готово? — деловым взглядом окинула эту группу с видом скульптора-автора Галочка.— Ну а мне больше некогда возиться с вами. У меня, детки, признаться откровенно, с арифметикой что-то неладно. Пойти подзубрить, что ли. Благословляю вас и ухожу. Кол-то мне из-за вас тоже, знаете, получать не расчет...

Нянька

I

Будучи принципиальным противником строго обоснованных, хорошо разработанных планов, Мишка Саматоха перелез невысокую решетку дачного сада без всякой определенной цели.

Если бы что-нибудь подвернулось под руку, он украл бы; если бы обстоятельства располагали к тому, чтобы ограбить,— Мишка Саматоха и от грабежа бы не отказался. Отчего же? Лишь бы после можно было легко удрать, продать «блатокаю» награбленное и напиться так, «чтобы чертям было тошно».

Последняя фраза служила мерилом всех поступков Саматохи... Пил он, развратничал и дрался всегда с таким расчетом, чтобы «чертям было тошно». Иногда и его били, и опять-таки били так, что «чертям было тошно».

Поэтическая легенда, циркулирующая во всех благовоспитанных детских, гласит, что у каждого человека есть свой ангел, который радуется, когда человеку хорошо, и плачет, когда человека огорчают.

Мишка Саматоха сам добровольно отрекся от ангела, пригласил на его место целую партию чертей и поставил себе целью все время держать их в состоянии хронической тошноты.

И действительно, Мишкиным чертям жилось несладко.

II

Так как Саматоха был голоден, то усилие, затраченное на преодоление дачной ограды, утомило его.

В густых кустах малины стояла зеленая скамейка. Саматоха утер лоб рукавом, уселся на нее и стал, тяжело дыша, глядеть на ослепительную под лучами солнца дорожку, окаймленную свежей зеленью.

Согревшись и отдохнув, Саматоха откинул голову и замурлыкал популярную среди его друзей песенку:

Родила меня ты, мама,
По какой такой причине?
Ведь меня поглотит яма
По кончине, по кончине...

Маленькая девочка лет шести выкатилась откуда-то на сверкающую дорожку и, увидев полускрытого ветками кустов Саматоху, остановилась в глубокой задумчивости.

Так как ей были видны только Саматохины ноги, она прижала к груди тряпичную куклу, защищая это беспомощное создание от неведомой опасности, и после некоторого колебания бесстрашно спросила:

— Чии это ноги?

Отодвинув ветку, Саматоха наклонился вперед и стал, в свою очередь, рассматривать девочку.

— Тебе чего нужно? — сурово спросил он, сообразив, что появление девочки и ее громкий голосок могут разрушить все его пиратские планы.

— Это твои... ножки? — опять спросила девочка, из вежливости смягчив смысл первого вопроса.

— Мои.

— А что ты тут делаешь?

— Кадрель танцую, — придавая своему голосу выражение глубокой иронии, отвечал Саматоха.

— А чего же ты сидишь?

Чтобы не напугать зря ребенка, Саматоха проворчал:

— Не просижу места. Отдохну да и пойду.

— Устал? — сочувственно сказала девочка, подходя ближе.

— Здорово устал. Аж чертям тошно.

Девочка потопталась на месте около Саматохи и, вспомнив светские наставления матери, утверждавшей, что с незнако-



мыми нельзя разговаривать, вежливо протянула Саматохе руку:

— Позвольте представиться: Вера.

Саматоха брезгливо пожал ее крохотную ручонку своей корявой лапой, а девочка, как истый человек общества, поднесла к его носу и тряпичную куклу:

— Позвольте представить: Марфушка. Она не живая, не бойтесь. Тряпичная.

— Ну? — с ласковой грубоватостью, неискренно, в угоду девочке удивился Саматоха. — Ишь ты, стерва какая.

Взгляд его заскользил по девочке, которая озабоченно вправляла в бок кукле высунувшуюся из зияющей раны паклю.

«Что с нее толку! — скептически думал Саматоха. — Ни сережек, ни медальончика. Платье можно было бы содрать и башмаки, да что за них там дадут? Да и визгу не оберешься».

— Смотри, какая у нее в боке дырка, — показала Вера.

— Кто же это ее пришил? — спросил Саматоха на своем родном языке.

— Не пришил, а сшил, — поправила Вера. — Няня сшила. А ну, поправь-ка ей бок. Я не могу.

— Эх ты, козявка! — сказал Саматоха, беря в руки куклу. Это была его первая работа в области починки человеческого тела. До сих пор он его только портил.

III

Издали донеслись чьи-то голоса. Саматоха бросил куклу и тревожно поднял голову. Схватил девочку за руку и прошептал:

— Кто это?

— Это не у нас, а на соседней даче. Папа и мама в городе...

— Ну?! А нянька?

— Нянька сказала мне, чтобы я не шалила, и она потом убежала. Сказала, что вернется к обеду. Наверно, к своему приказчику побежала.

— К какому приказчику?

— Не знаю. У нее есть какой-то приказчик!

— Любовник, что ли?

— Нет, приказчик. Слушай...

— Ну?

— А как тебя зовут?

— Михайлой, — ответил Саматоха крайне неохотно.

— А меня Вера.

«Пожалуй, тут будет фарт»,— подумал Саматоха, смягчаясь.— Эй, ты! Хошь, я тебе гаданье покажу, а?

— А ну, покажи,— взвизгнула восторженно девочка.

— Ну, ладно. Дай-кось руку... Ну вот, видишь — ладошка. Во... Видишь, вон загибинка. Так по этой загибинке можно сказать, когда кто именинник.

— А ну-ка! Ни за что не угадаешь.

Саматоха сделал вид, что напряженно рассматривает ручку девочки.

— Гм! Сдается мне по этой загибинке, что ты именинница семнадцатого сентября. Верно?

— Вер-р-р-но! — завизжала Вера, прыгая около Саматохи в бешеном восторге.— А ну-ка, нá еще руку, скажи, когда мама именинница?

— Эх, ты, дядя! Нешто по твоей руке угадаешь? Тут, брат, мамина рука требовается.

— Да мама сказала: в шесть часов приедет... Ты подождешь?

— Там видно будет.

Как это ни странно, но глупейший фокус с гаданьем окончательно самыми крепкими узами приковал девочку к Саматохе. Вкус ребенка извилист, прихотлив и неожидан.

— Давайте еще играть... Ты прячь куклу, а я ее буду искать. Ладно?

— Нет,— возразил рассудительный Саматоха.— Давай лучше играть в другое. Ты будто бы хозяйка, а я гость. И ты будто меня угощаешь. Идет?

План этот вызвал полное одобрение хозяйки. Взрослый человек, с усами, будет как всамделишный гость, и она будет его угощать!

— Ну, пойдем, пойдем, пойдем!

— Слушай ты, клоп. А у вас там никого дома нет?

— Нет, нет, не бойся, вот чудак! Я одна. Знаешь, будем так: ты будто бы кушаешь, а я будто бы угощаю!

Глазенки ее сверкали, как черные бриллианты.

IV

Вера поставила перед гостем пустые тарелки, уселась напротив, подперла рукой щеку и затараторила:

— Кушайте, кушайте! Эти кухарки такие невозможные. Опять, кажется, котлеты пережарены. А ты, Миша, скажи: «Благодарю вас, котлеты замечательные».

— Да ведь котлет нет,— возразил практический Миша.

— Да это не надо... Это ведь игра такая. Ну, Миша, говори!

— Нет, брат, я так не могу. Давай лучше я всамделишные кушанья буду есть. Буфет-то открыт? Всамделишно когда, так веселее. Э?

Такое отсутствие фантазии удивило Веру. Однако она безропотно слезла со стула, пододвинула его к буфету и заглянула в буфет.

— Видишь ты, тут есть такое, что тебе не понравится: ни торта, ни трубочек, а только холодный пирог с мясом, курица и яйца вареные.

— Ну что ж делать — тащи. А попить-то нечего?

— Нечего. Есть тут, да только горькое, что ужас. Ты, небось, и пить-то не будешь. Водка.

— Тащи сюда, поросенок! Мы все это по-настоящему разделаем. Без обману.

V

Закутавшись салфеткой (полная имитация зябкой мамы, кутавшейся всегда в пуховый платок), Вера сидела напротив Саматохи и деятельно угощала его.

— Пожалуйста, кушайте. Не стесняйтесь, будьте как дома. Ах, уж эти кухарки, опять пережарила пирог, чистое наказание.

Она помолчала, выжидая реплики.

— Ну?

— Что, ну?

— Что ж ты не говоришь?

— А что я буду говорить?

— Ты говори: «Благодарю вас, пирог замечательный».

В угоду ей проголодавшийся Саматоха, запихивая огромный кусок пирога в рот, неуклюже пробасил:

— Благодарю вас... пирог знаменитый!

— Нет: замечательный!

— Ну да. Замечательный.

— Выпейте еще рюмочку, пожалуйста. Без четырех углов изба не строится.

— Благодарю вас, водка замечательная.

— Ах, курица опять пережарена. Эти кухарки — чистое наказание.

— Благодарю вас, курица замечательная,— прогудел Саматоха, подчеркивая этим стереотипным ответом полное отсутствие фантазии.

— В этом году лето жаркое,— заметила хозяйка.

— Благодарю вас, лето замечательное. Я еще баночку выпью.

— Нельзя так,— строго сказала девочка.— Я сама должна предложить... Выпейте, пожалуйста, еще рюмочку... Не стесняйтесь. Ах, водка, кажется, очень горькая. Ах, уж эти кухарки. Позвольте, я вам тарелочку переменю.

Саматоха не увлекался игрой так, как хозяйка, не старался быть таким кропотливым и точным в деталях, как она. Поэтому, когда маленькая хозяйка отвернулась, он вне всяких правил игры сунул в карман серебряную вилку и ложку.

— Ну, достаточно,— сказал он.— Сыт.

— Ах, вы так мало ели!.. Скушайте еще кусочек.

— Ну, будет там канитель тянуть, довольно. Я так налопался, что чертям тошно.

— Миша, Миша,— горестно воскликнула девочка, с укоризной глядя на своего друга.— Разве так говорят? Надо сказать: «Нет уж, увольте, премного благодарен. Разрешите закурить?»

— Ну, ладно, ладно... Увольте, много благодарен. Дай-ка папироску.

Вера убежала в кабинет и вернулась оттуда с коробкой сигар.

— Вот эти сигары я покупал в Берлине,— сказала она басом.— Крепковатые, да я других не курю.

— Мерси вам,— сказал Саматоха, оглядывая следующую комнату, дверь в которую была открыта.

Глядя на Саматоху снизу вверх и скроив самое лукавое лицо, Вера сказала:

— Миша! Знаешь во что давай играть?

— Во что?

— В разбойников.

VI

Это предложение поставило Мишу в некоторое затруднение. Что значит играть в разбойников? Такая игра с шестилетней девочкой казалась глупейшей профанацией его ремесла.

— Как же мы будем играть?

— Я тебя научу. Ты будто разбойник и на меня нападаешь, а я будто кричу: ох, забирайте все мои деньги и драгоценности, только не убивайте Марфушку.

— Какую Марфушку?

— Да куклу. Только я должна спрятаться, а ты меня ищи.

— Постой, это, брат, не так. Не пассажир должен сначала прятаться, а разбойник.

— Какой пассажир?

— Ну... этот вот... которого грабят. Он не должен сначала прятаться.

— Да ты ничего не понимаешь,— вскричала хозяйка.— Я должна спрятаться.

Хотя это было искажение всех разбойничьих приемов и традиций, но Саматоха и не брался быть их блюстителем.

— Ну ладно, ты прячься. Только нет ли у тебя какого-нибудь кольца или брошки?..

— Зачем?

— А чтоб я мог у тебя отнять.

— Так это можно нарочно... будто отнимаешь.

— Нет, я так не хочу,— решительно отказался капризный Саматоха.

— Ах ты Господи! Чистое с тобой наказание! Ну, я возьму мамины часики и брошку, которые в столике у нее лежат.

— Сережек нет ли? — ласково спросил Саматоха, стремясь, очевидно, обставить игру со сказочной роскошью.

VII

Игра была превеселая.

Верочка прыгала вокруг Саматохи и кричала.

— Пошел вон! Не смей трогать Марфушку! Возьми лучше мои драгоценности, только не убивай ее. Постой, где же у тебя нож?

Саматоха привычным жестом полез за пазуху, но сейчас же сконфузился и пожал плечами.

— Можно и без ножа. Нарочно ж...

— Нет, я тебе лучше принесу из столовой.

— Только серебряный! — крикнул ей вдогонку Саматоха.

Игра кончилась тем, что, забрав часы, брошку и кольцо в обмен на драгоценную жизнь Марфушки, Саматоха сказал:

— А теперь я тебя как будто запру в тюрьму.

— Что ты, Миша! — возразила на это девочка, хорошо, очевидно, изучившая, кроме светского этикета, и разбойничьи нравы.— Почему же меня в тюрьму! Ведь ты разбойник — тебя и надо в тюрьму.

Покоренный этой суровой логикой, Миша возразил:

— Ну так я тебя беру в плен и запираю в башню.

— Это другое дело. Ванная — будто б башня... Хорошо?

Когда он поднял ее на руки и понес, она, барахтаясь, зацепилась рукой за карман его брюк.

— Смотри-ка Миша, что это у тебя в кармане? Ложка?! Это чья?

— Это, брат, моя ложка.

— Нет, это наша. Видишь, вон, вензель. Ты, наверное, нечаянно ее положил, да? Думал, платок?

— Нечаянно, нечаянно! Ну, садись-ка, брат, сюда.

— Постой! Ты мне и руки свяжи, будто бы чтоб я не убежала.

— Экая фартовая девчонка,— умилился Саматоха.— Все-то она знает. Ну, давай свои лапки!

Он повернул ключ в дверях ванной и, надев в передней чье-то летнее пальто, неторопливо вышел.

По улице шагал с самым рассеянным видом.

Прошло несколько дней.

Мишка Саматоха, как волк, пробирался по лужайке парка между нянек, колясочек младенцев, летящих откуда-то резиновых мячей и целой кучи детворы, копошившейся на траве.

Его волчий взгляд прыгал от одной няньки к другой, от одного ребенка к другому.

Под громадным деревом сидела бонна, углубившаяся в книгу, а в двух шагах маленькая трехлетняя девочка расставляла какие-то кубики. Тут же на траве раскинулась ее кукла размером больше хозяйки — длинноволосое, розовощекое создание парижской мастерской, одетое в голубое платье с кружевами.

Увидев куклу, Саматоха нацелился, сделал стойку и вдруг как молния прыгнул, схватил куклу и унесся в глубь парка на глазах изумленных детей и нянек.

Потом послышались крики и вообще началась невероятная суматоха.

Минут двадцать без передышки бежал Мишка, стараясь запутать свой след.

Добежал до какого-то дощатого забора, отдышался и, скрытый деревьями, довольно рассмеялся.

— Ловко,— сказал он.— Поди-ко-сь, догони.

Потом вынул замусленный огрызок карандаша и стал шарить по карманам обрывок какой-нибудь бумажки.

— Эко, черт! Когда нужно, так и нет,— озабоченно проворчал он.

Взгляд его упал на обрывок старой афиши на заборе. Ветер шевелил отклеившимся куском розовой бумаги.

Саматоха оторвал его, крякнул и, прислонившись к забору, принялся писать что-то.

Потом уселся на землю и стал затыкать записку кукле за пояс.

На клочке бумаги были причудливо перемешаны печатные фразы афиши с рукописным творчеством Саматохи.

Читать можно было так:

«Многоуважаемая Вера! С дозволения начальства. Очень прошу не обижаться, что я ушел тогда. Было нельзя. Если бы кто-нибудь вернулся — засыпался бы я. А ты девочка знатная, понимаешь, что к чему. И прошу тебя получить... бинокли у капельдинеров... сью куклу, мною для тебя найденную на улице... Можешь не благодарить... Артисты среди акта на аплодисменты не выходят... Уважаемого тобой Мишу С. А. Ложку-то я забыл тогда вернуть! Прощ.»

— Вот он где, ребята! Держи его! Вот ты узнаешь, как кукол воровать, паршивец!.. Стой... не видешь!.. Собачье мясо!..

Саматоха вскочил с земли, с досадой бросил куклу под ноги окружавших его дворников и мальчишек и проворчал с досадой:

- Свяжись только с бабой — вечно в какую-нибудь историю втяпаешься.

В ожидании ужина

Обращая свои усталые взоры к восходу моей жизни, я вижу ярче всего себя — крохотного ребенка с бледным серьезным личиком и робким тихим голоском — за беседой с пришедшими к родителям гостями.

Беседа эта была очень коротка, но оставляла она по себе впечатление сухого унылого самума, мертвящего все живое.

Большой, широкий гость с твердыми руками и жесткой, пахнущей табаком бородой глупо тыкался из угла в угол в истерическом ожидании ужина и, исчерпав все мотивы в ленивой беседе с отцом и матерью, наконец обращал свои скучающие взоры на меня...

— Ну-с, молодой человек,— с небрежной развязностью спрашивал он.— Как мы живем?

Первое время я относился к такому вопросу очень серьезно... Мне казалось, что если такой большой гость задает этот вопрос,— значит, ему мой ответ очень для чего-то нужен.

И я, подумав некоторое время, чтобы осведомить гостя как можно точнее о своих делах, вежливо отвечал:

— Ничего себе, благодарю вас. Живу себе помаленьку.

— Так-с, так-с. Это хорошо. А ты не шалишь?

Нужно быть большим дураком, чтобы ждать на такой вопрос утвердительного ответа. Конечно, я отвечал отрицательно:

— Нет, не шалю.

— Тэк-с, тэк-с. Ну, молодец.

Постояв надо мной минуту в тупом раздумье (что бы еще спросить?), он поворачивался к родителям и начинал говорить, стараясь засыпать всякой дрянью широкий овраг, отделяющий его от ужина:

— А он у вас совсем мужчина!

— Да, растет так, что прямо и незаметно. Ведь ему уже девятый год.

— Что вы говорите?! — восклицал гость с таким изумлением, как будто бы он узнал, что мне восемьдесят лет.— Вот уж никак не предполагал!

— Да, да, представьте.

Первое время моему самолюбию очень льстило, что все обращали такое лихорадочное внимание на меня; но скоро я понял эту нехитрую механику, диктуемую законами гостеприимства: родители очень боялись, чтобы гости в ожидании ужина не скучали, а гости, в свою очередь, никак не хотели показать, что они пришли только ради ужина и что им мой возраст да и я сам так же интересны, как прошлогодний снег

И все же после первого гостя передо мной — скромно забившимся в темный уголок за роялем — вырастал другой гость с худыми узловатыми руками и небритой щетиной на щеках (эти особенности гостей прежде всего запоминались мною благодаря многочисленным фальшивым поцелуям и объятиям):

— А, вы тут, молодой человек. Ну что — мечтаешь все?

— Нет,— робко шептал я.— Так... сижу.

— Так... сидишь?! Ха-ха! Это очень мило! Он «так сидит». Ну, сиди. Маму любишь?

— Люблю...

— Правильно.

Он делал движение, чтобы отойти от меня, но тут же вспомнив, что до желанного ужина добрых десять минут,— раскачавшись на длинных ногах, томительно спрашивал:

— Ну, как наши дела?

— Ничего себе, спасибо.

— Учишься?..

— Учусь.

Он скучающе отходил от меня, но едва лицо его поворачивалось к родителям — оно совершенно преображалось: восторг был написан на этом лице...

— Прямо замечательный мальчик! Я спрашиваю: учишься? А он, представьте: учусь,— говорит. Сколько ему?

— Девятый.

Остальные гости тоже поворачивали ко мне скучающие

лица, и разговор начинал тлеть, чадить и дымить, как плохой костер из сырых веток.

— Неужели девятый? А я думал — семь.

— Время-то как идет!

— И не говорите! Только в позапрошлом году был седьмой год, а теперь уже девятый.

Он говорил это, а в то же время одно ухо его настороженно приподнималось, как у кошки, услышавшей царапанье крысы под полом: в соседней комнате, накрывая на стол, лязгнули ножом о тарелку.

— Дети очень быстро растут.

— Да, он потому такой и худенький. Это от роста.

— Вырастешь — большой будешь, — делает меткое замечание рыжий гость, продвигаясь поближе к дверям, ведущим в столовую.

Выходит горничная; шепчет что-то матери; все вздрагивают, как от электрического тока, но в силу законов гостеприимства не показывают вида, что готовы сорваться и побежать в столовую. Наоборот, у всех простодушные лица, и игра в спокойствие достигает апогея:

— Вы его в гимназию думаете или в реальное?

— Не знаю еще... Реальное, я думаю, лучше.

— О, безусловно! Реальное — это такая прелесть. Если вы хотите его счастья, я позволю дать вам такой совет...

— Пожалуйте, господа, закусить, — раздается голос отца из столовой.

И вот — ужас! — совет, от которого зависит все мое счастье, так и не дается благожелательным гостем. Он подскакивает, будто бы кресло им выстрелило, но сейчас же спохватывается и говорит:

— Ну зачем это, право! Такое беспокойство вам, ей-Богу.

На всех лицах как будто отражается невидимое солнце; все потирают руки, все переминаются с ноги на ногу, с тоской давая дорогу дамам, которых они в глубине души готовы сшибить ударом кулака и, перепрыгнув через них, на крыльях ветра помчаться в столовую; у всех лица, помимо воли, растягиваются в такую широкую улыбку, что губы входят в берега только после первого куска отправленной в рот семги...

Подумать только, что все это, все эти неуловимые для грубого глаза штрихи я подметил в детстве, только в моем нежном восприимчивом детстве, когда все так важно, так значительно. Теперь наблюдательность огрубела, и все, что казалось раньше достойным пристального внимания, — теперь сделалось обычным, ординарным.

Чистая, нежная пленка, на которой раньше отражался каждый волосок, так исцарапалась за эти десятки лет, так огрубела, загрязнилась, что только грубое помело способно оставить на этой пленке заметный чувствительный след.

* * *

Вот странно: почему, бишь, это я вспомнил сейчас все рассказанное выше...

Что заставило меня из пыльной мглы забытого вытащить маленького тихого мальчика с худым бледным личиком, вытащить всех этих черных и рыжих гостей с колючими бородами и широкими твердыми руками — всех этих больших, скучающих людей, которые, тупо уставившись на меня, спрашивали в тоскливом ожидании заветного ужина:

— Ну, как мы живем?

Почему я все это вспомнил?

Ах, да!

Дело вот в чем: сейчас я стою — большой взрослый человек — перед маленьким мальчиком, сыном хозяина дома, и спрашиваю его, покачиваясь на ленивых ногах:

— Ну, как мы живем?

Со взрослыми у меня разговоры все исчерпаны, ужин будет только через полчаса, а ждать его так тоскливо...

— Маму свою любишь?..

Цветы под градом

Эта картина своей идилличностью могла умилить кого угодно: сумерки; на диване, в углу уютно примостилась Клавдия Михайловна; около нее сидел Выпуклов и читал ей вполголоса какую-то книжку; у полупотухшего камина — я; у моих ног играл маленький сын Клавдии Михайловны — Жоржик. Было тихо, только в камине изредка потрескивало не совсем догоревшее полено.

— Дядя, что это? — спрашивал Жоржик, протягивая мне книжку.

— Это? Слон.

— А зачем он такой?

— Маму не слушался, — отвечал я, стараясь из всего извлечь для ребенка нравоучение. — Не слушался маму, ел одно сладкое — вот и растолстел!

— А вот это желтенькое — слушалось маму?

— Жирафа? Обязательно.

Умиленный ребенок наклонился и поцеловал добродетельную жирафу в ее желтую с пятнами шею.

— Как вас любит Жоржик,— заметила Клавдия Михайловна, поворачивая ко мне лицо с большими загадочно мерцавшими глазами.

— Я думаю! — самодовольно улыбнулся я.— Ко мне дети так и льнут.

Вам его бы свести в кинематограф.

- Когда-нибудь сведу.

— А вы сейчас бы его повели.

— Сейчас? Хорошо. Мы пойдем все вместе?

— О, нет. Что касается меня, так я устала дьявольски.

— Я тоже,— сказал Выпуклов, отрываясь от книги.

— Впрочем, я не знаю,— нерешительно промычал я,— есть ли тут детские кинематографы?..

— Глупости! Будто мальчику не все равно. Ему лишь бы лошадки бегали, собачки... кошечки разные... Жоржик! Хочешь поглядеть, как слоники бегают?

— Позвольте, но ведь слонов там может и не быть!

— Ну, это не важно. Другое что-нибудь будет бегать. Скажите няне, чтобы она его одела.

* * *

Жоржик семенил рядом со мной, уцепившись за мою руку с такой завидной прочностью, что я умилился: этот ребенок чувствовал ко мне полное доверие и считал меня самой надежной опорой в окружавшем нас эгоистическом мире.

— Постой! — сказал я, приостанавливаясь.— Вот тут тебе и кинематограф, оказывается, есть. На вашей же улице. Ну, что тут такое? «Жизнь на пляже» — веселая комедия в 2-х частях. «Где-то теперь твое личико смуглое?» — роскошная драма. Жоржик! Хочешь видеть роскошную драму?

— Хочу,— согласился покладистый Жоржик.— А драма какая будет?

— Я ж тебе говорю — роскошная.

— А я люблю, когда петух бывает.

— Какой петух?

— А я не знаю. Картины все какие-то нехорошие, серые. А как картина окончится — петух всегда появляется. Красный. Я, как с мамой был — только этого петуха и ждал. В углу он всегда.

— Гм... да...— пробормотал я.— Это его ставят в угол за то, что он шалит. Ну, пойдем, брат, за билетами.

— Пойдем, брат,— пропищал Жоржик, уцепившись за мою ногу... (руку свою я с трудом высвободил для производства билетной операции).

Было тесно и душно. Я протиснулся куда-то, наступая на невидимые ноги, уселся и облегченно вздохнул.

— Ну, Жоржик,— смотри, брат.

— Буду смотреть, брат,— согласился Жоржик.— Что это тут будет?

— «Жизнь на пляже», комедия. Начало уже — видишь?

— Дядя!

— Ну?

— А зачем эта женщина ходит с голыми руками и с ногами?

— Да это видишь ли — очень просто. Да-а... Штука, братец ты мой, простая: она маму не слушалась, рвала башмачки и платье — мама ее и раздела.

— А куда это она входит? Что это за домичек такой?

— Это кабинка. Да ты смотри!

— Да я смотрю. А это какой это дядя идет?

— Так себе, обыкновенный. Гуляет.

— А зачем он смотрит в щелочку?

— Он? Да ведь тут море близко, вот он и смотрит... боится, чтобы она не утонула.

Сзади меня кто-то сказал соседу довольно явственно:

— Слышали вы когда-нибудь более идиотские объяснения?

— Жоржик,— сказал я не менее явственно.— Жоржик! Можешь себе представить, что бывают на свете тупоголовые лошади, совершенно не понимающие психологии и умственного уровня ребенка?

— А петух скоро будет? — осведомился Жоржик, совершенно игнорируя непонятную для него фразу.

— Петух! А Бог его знает... Видишь, вон, еще дядя идет.

— Ой, смотри: он этого, который в щелочку смотрит, палкой бьет. Зачем это он?

— За то, что тот по песку валяется. Видишь, никогда не нужно по песку валяться.

Хронологически мое соображение было не совсем правильно: следствие у меня было впереди причины — подсматривавший господин сначала получил удар палкой, а потом уже повалился на песок. Но простодушный ребенок свято мне верил.

— Ага! Он, значит, раньше валялся по песку, а тот это увидел и говорит: «Ты зачем это?» И палкой его побил. А куда это они бегут?

Я решил идти по раз намеченному пути:

— Чай пить. А то опоздают — мама бранить будет.

— А вот смотри — первый-то опять идет обратно.

— Ну да же! Его оставили без чаю за то, что он по песку валялся. Так, брат, поступать не полагается. Этак всякий будет по песку валяться — так что ж оно получится...

— А вот смотри — она уже из этого домика выходит уже в платье... А ты говорил — мама ей не дает.

— Да, конечно! Она, видишь ли... Гм! Нехорошая женщина. Она украла это платье.

В этот момент молодой повеса, скрывавшийся за кабинкой, выскочил из-за угла, бросился к вышедшей даме и, обняв ее, впился ей в губы страстным поцелуем.

— Что это он? — забеспокоился Жоржик.

— Она его дочка, понимаешь? Он ее любит. Это ее папа. Ну, значит, любит и, как полагается, целует.

— А вон смотри: опять тот бежит. Опять ее папу палкой бьет. За что?

— Он это не бьет, видишь ли. А так просто. Тот по песку давеча валялся, ну, костюм, конечно, в песке — вот тот и выколачивает. Это его слуга. Понял, брат?

— Понял, брат, — кротко согласился Жоржик.

— Как можно поручать ребенка такому кретину, — искренно удивился кто-то сзади.

— Жоржик! — громко заметил я. — Когда ты вырастешь, так не будь дураком и старайся понять следующее: то, что подходящее для взрослого, не всегда подходящее для маленького.

Сзади из темноты неизвестный голос возразил:

— Знаете, Петр Иванович, я не понимаю: если детям такие картины не подходят, так почему взрослые остолопы водят их сюда?

Кровь во мне закипела.

— Жоржик! — сказал я. — Обрати внимание на то, что самая худшая порода ослов, это та, которая...

— Смотри-ка, — перебил Жоржик. — Папа побежал, а его слуга остался с ней, с его дочкой. Смотри, она плачет, становится перед ним на колени. К чему это?

— Ну, как же... Неужели, ты не понимаешь? Она бегала голыми ногами по песку, могла простудиться... Вот слуга на нее и кричит.

Мне решительно не везло с объяснениями: в тот момент, когда «слуга» кричал на коленопреклоненную «дочку», она вскочила и бросилась в его объятия.

— Что это он ей делает? — спросил сбитый с толку предыдущими объяснениями Жоржик.

— Кусает ее. Видишь, укусил ей щеку... теперь ухо... губу... в глаз теперь вцепился.

— Чего же она не плачет?

— Ну, что она, маленькая, что ли! Терпит. Вот и ты теперь старайся — если ушибешься или что другое — не плачь. Видишь, она даже улыбается.

— Смотри-ка, они уже дома... А вот слуга под еённую кровать лезет — зачем?

— Ну, это уже они спать ложатся, уже, значит, кончено. Пойдем, брат.

— А давай, брат, до петуха посидим.

— Поздно уже будет, какие там петухи. Пойдем!

Я вскочил и, стараясь заслонить от Жоржика совсем разнуздавшийся экран, повлек доверчивого малютку к выходу.

Вдогонку нам несколько голосов сказали удовлетворенно:

— Давно бы так!

* * *

Поднимаясь по лестнице, мы увидели парадную дверь квартиры Жоржика открытой. На пороге стояла горничная, припавши к швейцару и впившись губами в его бритую щеку.

— Кусаются,— сказал Жоржик.— Вот еще дурные.

Горничная подавленно взвизгнула и умчалась, а мы прошли в столовую, из столовой в кабинет, из кабинета в будуар, и тут я на пороге, тихонько откинув портьеру, задержал Жоржика.

— Тссс! Не мешай, Жоржик, не надо. Мама занята. Пойдем лучше сюда, в столовую.

— А что мы будем тут делать? Скучно. Я хочу к маме.

— Не стоит, Жоржик. Люди — звери, Жоржик... Знаешь, что, брат? Мы сейчас вдвоем, а теперь я один — видел: им ничего не стоит укусить совершенно постороннего человека.

— Не люблю я, брат, когда кусаются,— согласилось со мной это покладистое дитя.

И мы долго сидели в темной столовой, прижавшись друг к другу...

Берегов — воспитатель Киси

I

Студент-технолог Берегов — в будущем инженер, а пока полуголодное, но веселое существо — поступил в качестве воспитателя единственного сына семьи Талалаевых.

Первое знакомство воспитателя с воспитанником было таково:

— Кися,— сказала Талалаева,— вот твой будущий наставник, Георгий Иванович,— познакомься с ним, Кисенька... Дай ему ручку.

Кися — мальчуган лет шести-семи, худощавый, с низким лбом и колючими глазками — закачал одной ногой, наподобие маятника, и сказал скрипучим голосом:

— Не хочу! Он — рыжий.

— Что ты, деточка,— засмеялась мать.— Какой же он рыжий?.. Он — шатен. Ты его должен любить.

— Не хочу любить!

— Почему, Кисенька?

— Вот еще, всякого любить.

— Чрезвычайно бойкий мальчик,— усмехнулся Берегов.— Как тебя зовут, дружище?

— Не твое дело.

— Фи, Кися! Надо ответить Георгию Ивановичу: меня зовут Костя.

— Для кого Костя,— пропищал ребенок, морща безбровый лоб,— а для кого Константин Филиппович. Ага?..

— Он у нас ужасно бойкий,— потрепала мать по его острому плечу.— Это его отец научил так отвечать. Георгий Иванович, пожалуйте пить чай.

За чайным столом Берегов ближе пригляделся к своему воспитаннику: Кися сидел, болтая ногами и бормоча про себя какое-то непонятное заклинание. Голова его на тонкой, как стебелек, шее качалась из стороны в сторону.

— Что ты, Кисенька? — заботливо спросил отец.

— Отстань.

— Видали? — засмеялся отец, ликующе оглядывая всех сидевших за столом.— Какие мы самостоятельные, а?

— Очень милый мальчик,— кивнул головой Берегов, храня самое непроницаемое выражение на бритом лице.— Только я бы ему посоветовал не болтать ногами под столом. Ноги от этого расшатываются и могут выпасть из своих гнезд.

— Не твоими ногами болтаю, ты и молчи,— резонно возразил Кися, глядя на воспитателя упорным, немигающим взглядом.

— Кися, Кися! — полусмеясь, полусерьезно сказал отец.

— Кому Кися, а тебе дяденька,— тонким голоском, как пичуга, пискнул Кися и торжествующе оглядел всех...

Потом обратился к матери:

— Ты мне мало положила сахару в чай. Положи еще.

Мать положила еще два куска.

— Еще.

— Ну, на тебе еще два!

— Еще!..

— Довольно! И так уже восемь.

— Еще!!

В голосе Киси прозвучали истерические нотки, а рот подозрительно искривился. Было видно, что он не прочь переменить погоду и разразиться бурным плачем с обильным дождем слез и молниями пронзительного визга.

— Ну, на тебе еще! На! Вот тебе еще четыре куска. Довольно!

— Положи еще.

— На! Да ты попробуй... Может, довольно?

Кися попробовал и перекосился на сторону, как сломанный стул.

— Фи-и! Сироп какой-то... Прямо противно.

— Ну, я тебе налью другого...

— Не хочу! Было бы не наваливать столько сахару.

— Чрезвычайно интересный мальчик! — восклицал изредка Берегов, но лицо его было спокойно.

II

За обедом Берегов первый раз услышал, как Кися плачет. Это производило чрезвычайно внушительное впечатление.

Мать наливала ему суп в тарелку, а Кися внимательно следил за каждым ее движением.

— На, Кисенька.

— Мало супу. Подлей.

— Ну, на. Довольно?

— Еще подлей.

— Через край будет литься!..

— Лей!

Мать тоскливо поглядела на сына, вылила в тарелку еще ложку, и когда суп потек по ее руке, выронила тарелку. Села на свое место и зашипела, как раскаленное железо, на которое плюнули.

Кися все время внимательно глядел на нее, как вивисектор на расчленяемого им в целях науки кролика, а когда она схватилась за руку, спросил бесцветным голосом:

— Что, обожглась? Горячо?

— Как он любит свою маму! — воскликнул Берегов.

Голос его был восторженный, но лицо спокойное, безоблачное.

— Кися,— сказал отец,— зачем ты выкладываешь из банки всю горчицу... Ведь не съешь. Зачем же ее зря портить?

— А я хочу,— сказал Кися, глядя на отца внимательными немигающими глазами.

— Но ведь нам же ничего не останется!

— А я хочу!

— Ну, дай же мне горчицу, дай сюда...

— А я... хочу!

Отец поморщился и со вздохом стал деликатно вынимать горчицу из цепких тоненьких лапок, похожих на слабые коготки воробья...

— А я хо... хо... ччч...

Голос Киси все усиливался и усиливался, заливаемый внутренними, еще не нашедшими выхода слезами; он звенел, как пронзительный колокольчик, острый, проникающий иголками в самую глубину мозга... И вдруг — плотина прорвалась, и ужасный, непереносимый человеческим ухом визг и плач хлынули из синего искривленного рта и затопили все... За столом поднялась паника, все вскочили, мать обрушилась на отца с упреками, отец схватился за голову, а сын камнем свалился со стула и упал на пол, завыв протяжно, громко и страшно, так, что, кажется, весь мир наполнился этими звуками, задушив все другие звуки. Казалось, весь дом слышит их, вся улица, весь город заметался в смятении от этих острых, как жало змеи, звуков.

— О, Боже,— сказала мать,— опять соседи прибегут и начнут кричать, что мы убиваем мальчика!

Это соображение придало новые силы Кисе: он уцепился для общей устойчивости за ножку стола, поднял кверху голову и завыл совсем уже по-волчьи.

— Ну, хорошо, хорошо уж! — хлопотала около него мать.— На тебе уж, на тебе горчицу! Делай, что хочешь, мажь ее, молчи только, мое золото, солнышко мое. И перец на, и соль,— замолчи же. И в цирк тебя возьмем — только молчи!..

— Да-а,— протянул вдруг громогласный ребенок, прекращая на минуту свой вой.— Ты только так говоришь, чтоб я замолчал, а замолчу, и в цирк не возьмешь.

— Ей-Богу, возьму.

Очевидно, эти слова показались Кисе недостаточными, потому что он помолчал немного, подумал и, облизав языком пересохшие губы, снова завыл с сокрушающей силой.

— Ну, не веришь, на тебе три рубля, вот! Спрячь в карман, после купим вместе билеты. Ну, вот — я тебе сама засовываю в карман!

Хотя деньги мать всунула в карман, но можно было предположить, что они были всунуты ребенку в глотку,—так мгновенно прекратился вой.

Кися, захлопнув рот, встал с пола, уселся за стол, и все его спокойно-торжествующее лицо говорило: «А что,—будете теперь трогать?..»

— Прямо занимательный ребенок,—крякнул Берегов.— Я с ним позаймусь с большим удовольствием.

III

В тот день, когда Талалаевы собрались ехать к больной тетке в Харьков, Талалаева-мать несколько раз говорила Берегову:

— Послушайте! Я вам еще раз говорю—вся моя надежда на вас. Прислуга—дрянь, и ей нипочем обидеть ребенка. Вы же, я знаю, к нему хорошо относитесь, и я оставляю его только на вас.

— О, будьте покойны!—добродушно говорил Берегов.—На меня можете положиться. Я ребенку вреда не сделаю...

— Вот это только мне и нужно!

В момент отъезда Кисю крестила мать, крестил отец, крестила и другая тетка, ехавшая тоже к харьковской тетке. За компанию перекрестили Берегова, а когда целовали Кисю, то от полноты чувств поцеловали и Берегова:

— Вы нам теперь, как родной!

— О, будьте покойны.

Мать потребовала, чтобы Кися стоял в окне, дабы она могла бросить на него с извозчика последний взгляд.

Кисю утвердили на подоконнике, воспитатель стал подле него, и они оба стали размахивать руками самым приветливым образом.

— Я хочу, чтоб открыть окно,—сказал Кися.

— Нельзя, брат. Холодно,—благодушно возразил воспитатель.

— А я хочу!

— А я тебе говорю, что нельзя... Слышишь?

И первый раз в голосе Берегова прозвучало какое-то железо.

Кися удивленно оглянулся на него и сказал:

— А то я кричать начну...

Родители уже садились на извозчика, салютуя окну платком и ручным саквояжем.

— А то я кричать начну...

В ту же секунду Кися почувствовал, что железная рука сда-

вила ему затылок, сбросила его с подоконника и железный голос лязгнул над ним:

— Молчать, щенок! Убью, как собаку!!

От ужаса и удивленья Кися даже забыл заплакать... Он стоял перед воспитателем с прыгающей нижней челюстью и широко открытыми остановившимися глазами.

— Вы... не смеете так,— прошептал он.— Я маме скажу.

И опять заговорил Берегов железным голосом, и лицо у него было железное, твердое:

— Вот, что, дорогой мой... Ты уже не такой младенец, чтобы не понимать. Вот тебе мой сказ: пока ты будешь делать все по-моему,— я с тобой буду в дружеских отношениях, во мне ты найдешь приятеля... Без толку я тебя не обижу... Но! если! только! позволишь! себе! одну! из твоих! штук!— Я! спущу! с тебя! шкуру! и засуну! эту шкуру! тебе в рот! Чтобы ты не орал!

«Врешь,— подумал Кися,— запугиваешь. А подниму крик, да сбегутся соседи — тебе же хуже будет».

Рот Киси скривился самым предостерегающим образом. Так первые редкие капли дождя на крыше предвещают тяжелый обильный ливень.

Действительно, непосредственно за этим Кися упал на ковер и, колотя по нем ногами, завизжал самым первоклассным по силе и пронзительности манером...

Серьезность положения придала ему новые силы и новую изощренность.

Берегов вскочил, поднял, как перышко, Кисю, заткнул отверстый рот носовым платком и, скрутив Кисе назад руки, прогремел над ним:

— Ты знаешь, что визг неприятен, и поэтому работаешь, главным образом, этим номером. Но у меня есть свой номер: я затыкаю тебе рот, связываю руки-ноги и кладу на диван. Теперь: в тот момент, как ты кивнешь головой, я пойму, что ты больше визжать не будешь и сейчас же развяжу тебя. Но если это будет с твоей стороны подвох и ты снова заорешь — пеняй на себя. Снова скручу, заткну рот и продержу так — час. Понимаешь? Час по моим часам — это очень много.

С невыразимым ужасом глядел Кися на своего строгого воспитателя. Потом промычал что-то и кивнул головой.

— Сдаешься, значит? Развязываю.

Испуганный, истерзанный и измятый, Кися молча отошел в угол и сел на кончик стула.

— Вообще, Кися,— начал Берегов, и железо исчезло в его голосе, дав место чему-то среднему между сотовым медом и лебяжьим пухом.— Вообще, Кися, я думаю, что ты не такой

уж плохой мальчик, и мы с тобой поладим. А теперь бери книжку, и мы займемся складами...

— Я не знаю, где книжка,— угрюмо сказал Кися.

— Нет, ты знаешь, где она.

— А я не знаю!

— Кися!!!

Снова загремело железо, и снова прорвалась плотина и хлынул нечеловеческий визг Киси, старающегося повернуть отверстый рот в ту сторону, где предполагались сердобольные квартиранты.

Кричал он секунды три-четыре.

Снова Берегов заткнул ему рот, перевязал его, кроме того, платком и, закатав извивающееся тело в небольшой текинский ковер, поднял упакованного таким образом мальчика.

— Видишь ли,— обратился он к нему.— Я с тобой говорил, как с человеком, а ты относишься ко мне, как свинья. Поэтому, я сейчас отнесу тебя в ванную, положу там на полчаса и уйду. На свободе ты можешь размышлять, что тебе выгоднее — враждовать со мной или слушаться. Ну, вот. Тут тепло и безвредно. Лежи.

IV

Когда, полчаса спустя, Берегов распаковывал молчащего Кисю, тот сделал над собой усилие и, подняв страдальческие глаза, спросил:

— Вы меня, вероятно, убьете?

— Нет, что ты. Заметь — пока ты ничего дурного не делаешь, и я ничего дурного не делаю... Но если ты еще раз закричишь,— я снова заткну тебе рот и закатаю в ковер — и так всякий раз. Уж я, брат, такой человек!

Перед сном пили чай и ужинали.

— Кушай,— сказал Берегов самым доброжелательным тоном.— Вот котлеты, вот сардины.

— Я не могу есть котлет,— сказал Кися.— Они пахнут мылом.

— Неправда. А, впрочем, ешь сардины.

— И сардины не могу есть, они какие-то плоские...

— Эх ты,— потрепал его по плечу Берегов.— Скажи просто, что есть не хочешь.

— Нет хочу. Я бы съел яичницу и хлеб с вареньем.

— Не получишь! (Снова это железо в голосе. Кися стал вздрагивать, когда оно лязгало.) Если ты не хочешь есть, не стану тебя упрашивать. Проголодаешься — съешь. Я тут все оставлю до утра на столе. А теперь пойдем спать.

— Я боюсь спать один в комнате.

— Чепуха. Моя комната рядом; можно открыть дверь. А если начнешь капризничать — снова в ванную! Там, брат, страшнее.

— А если я маме потом скажу, что вы со мною делаете...

— Что ж, говори. Я найду себе тогда другое место.

Кися свесил голову на грудь и, молча побрел в свою комнату.

V

Утром, когда Берегов вышел в столовую, он увидел Кисю, сидящего за столом и с видом молодого волчонка пожирающего холодные котлеты и сардины.

— Вкусно?

Кися промычал что-то набитым ртом.

— Чудак ты! Я ж тебе говорил. Просто ты вчера не был голоден. Ты, вообще, меня слушайся — я всегда говорю правду и все знаю. Поел? А теперь принеси книжку, будем учить склады.

Кися принес книжку, развернул ее, прислонился к плечу Берегова и погрузился в пучину науки.

. . . .

— Ну, вот, молодцом. На сегодня довольно. А теперь отдохнем. И знаешь, как? Я тебе нарисую картинку...

Глаза Киси сверкнули.

— Как... картинку...

— Очень, брат, просто. У меня есть краски и прочее. Нарисую, что хочешь — дом, лошадь с экипажем, лес, а потом подарю тебе. Сделаем рамку и повесим в твоей комнате.

— Ну, скорей! А где краски?

— В моей комнате. Я принесу.

— Да зачем вы, я сам. Вы сидите. Сам сбегаю. Это действительно здорово!

VI

Прошла неделя со времени отъезда Талалаевых в Харьков.

Ясным солнечным днем Берегов и Кися сидели в городском сквере и ели из бумажной коробочки пирожки с говядиной.

— Я вам, Георгий Иваныч, за свою половину пирожков отдам,— сказал Кися.— У меня рубль есть дома.

— Ну, вот еще глупости. У меня больше есть. Я тебя угощаю. Лучше мы на этот рубль купим книжку, и я тебе почитаю.

— Вот это здорово!

— Только надо успеть прочесть до приезда папы и мамы.

— А разве они мешают?

— Не то что мешают. Но мне придется уйти, когда мама узнает, что я тебя в ковер закатывал, морил голодом.

— А откуда она узнает? — с тайным ужасом спросил Кися.

— Ты же говорил тогда, что сам скажешь...

И тонкий, как серебро, голосок прозвенел в потеплевшем воздухе:

— С ума я сошел, что ли?!

Три желудя

Нет ничего бескорыстнее детской дружбы... Если проследить начало ее, ее истоки, то в большинстве случаев наткнешься на самую внешнюю, до смешного пустую причину ее возникновения: или родители ваши были «знакомы домами» и таскали вас, маленьких, друг к другу в гости, или нежная дружба между двумя крохотными человечками возникла просто потому, что жили они на одной улице, или учились оба в одной школе, сидели на одной скамейке — и первый же разделенный братски пополам и съеденный кусок колбасы с хлебом посеял в юных сердцах семена самой нежнейшей дружбы.

Фундаментом нашей дружбы — Мотька, Шаша и я — послужили все три обстоятельства: мы жили на одной улице, родители наши были «знакомы домами» (или, как говорят на юге — «знакоми домамы»); и все трое вкусили горькие корни учения в начальной школе Марьи Антоновны, сидя рядом на длинной скамейке, как желуди на одной дубовой ветке.

У философов и у детей есть одна благородная черта — они не придают значения никаким различиям между людьми — ни социальным, ни умственным, ни внешним. У моего отца была галантерейная лавка (аристократия), Шашин отец работал в порту (плебс, разночинство), а Моткина мать просто существовала на проценты с грошового капитала (рантье, буржуазия), умственно Шаша стоял гораздо выше нас с Мотькой, а физически Мотька почитался среди нас — веснушчатых и худосочных — красавцем.

Ничему этому мы не придавали значения... Братски воровали незрелые арбузы на баштанах, братски их пожирали и братски же катались потом по земле от нестерпимой желудочной боли. Купались втроем, избивали мальчишек с сосед-

ней улицы втроем, и нас били тоже всех трех — единодушно и нераздельно.

Если в одном из трех наших семейств пеклись пироги — ели все трое, потому что каждый из нас почитал святой обязанностью с опасностью для фасада и тыла воровать горячие пироги для всей компании.

У Шашиного отца — рыжебородого пьяницы — была прескверная манера лупить своего отпрыска, где бы он его ни настигал, а так как около него всегда маячили и мы, то этот прямолинейный демократ бил и нас, на совершенно равных основаниях.

Нам и в голову не приходило роптать на это, и отводили мы душу только тогда, когда Шашин отец брел обедать, проходя под железнодорожным мостом, а мы трое стояли на мосту и, свесив головы вниз, заунывно тянули:

Рыжий, красный,
Человек опасный...
Я на солнышке лежал,
Кверху бороду держал...

— Сволочи! — грозил снизу кулаком Шашин отец.

— А ну иди сюда, иди,— грозно говорил Мотька.— Сколько вас нужно на одну руку?

И если рыжий гигант взбирался по левой стороне насыпи, мы, как воробьи, вспархивали и мчались на правую сторону — и наоборот. Чего там говорить — дело было беспроигрышное.

Так счастливо и безмятежно жили мы, росли и развивались до шестнадцати лет.

А в шестнадцать лет дружно, взявшись за руки, подошли мы к краю воронки, называемой жизнью, как щепки попали в водоворот, и водоворот закружил нас.

Шаша поступил в наборщики в типографию «Электрическое усердие». Мотю мать отправила в Харьков в какую-то хлебную контору, а я остался непристроенным, хотя отец и мечтал «определить меня на умственные занятия» — что это за штука, я и до сих пор не знаю. Признаться, от этого сильно пахло писцом в мещанской управе, но, к моему счастью, не оказалось вакансий в означенном мрачном и скучном учреждении...

С Шашей мы встречались ежедневно, а где был Мотька и что с ним — об этом ходили только туманные слухи, сущность которых сводилась к тому, что он удачно «определился на занятия» и что сделался он таким франтом, что не подступись.

Мотька постепенно сделался объектом нашей товарищеской гордости и лишенных зависти мечтаний возвыситься со временем до него, Мотьки.

И вдруг получилось сведение, что Мотька должен прибыть в начале апреля из Харькова «в отпуск с сохранением содержания». На последнее усиленно напирала Мотькина мать, и в этом «сохранении содержания» видела бедная женщина последний лавр в победном венке завоевателя мира Мотьки.

* * *

В этот день не успели закрыть «Электрическое усердие», как ко мне ворвался Шаша и, сверкая глазами, светясь от восторга, как свечка, сообщил, что уже видели Мотьку едущим с вокзала и что на голове у него настоящий цилиндр!..

— Такой, говорят, франт,— горделиво закончил Шаша,— такой франт, что пусти — вырвусь.

Эта неопределенная характеристика франтовства разожгла меня так, что я бросил лавку на приказчика, схватил фуражку — и мы помчались к дому блестящего друга нашего.

Мать его встретила нас несколько важно, даже с примесью надменности, но мы впопыхах не заметили этого и, тяжело дыша, первым делом потребовали Мотю.

Ответ был самый аристократический:

— Мотя не принимает.

— Как не принимает? — удивились мы.— Чего не принимает?

— Вас принять не может. Он сейчас очень устал. Он сообщит вам, когда сможет принять.

Всякой шикарности, всякой респектабельности должны быть границы. Это уже переходило даже те широчайшие границы, которые мы себе начертили.

— Может быть, он нездоров?..— попытался смягчить удар деликатный Шаша.

— Здоров-то он здоров... Только у него, он говорит, нервы не в порядке... У них в конторе перед праздниками было много работы... Ведь он теперь уже помощник старшего конторщика. Очень на хорошей ноге...

Нога, может быть, была и подлинно хороша, но нас она, признаться, совсем придавила: «Нервы, не принимает»...

Возвращались мы, конечно, молча. О шикарном друге впредь до выяснения не хотелось говорить. И чувствовали мы себя такими забитыми, так униженно жалкими, провинциальными, что хотелось и расплакаться и умереть или, в крайнем

случае, найти на улице сто тысяч, которые дали бы и нам шикарную возможность носить цилиндр и «не принимать» — совсем как в романах.

— Ты куда? — спросил Шаша.

— В лавку. Скоро запирать надо. (Боже, какая проза!) А ты?

— А я домой... Выпью чаю, поиграю на мандолине и завалюсь спать.

Проза не меньшая! Хе-хе.

* * *

На другое утро — было солнечное воскресенье — Мотькина мать занесла мне записку: «Будьте с Шашей в городском саду к 12 часам. Нам надо немного объясниться и пересмотреть наши отношения. Уважаемый вами Матвей Смелков».

Я надел новый пиджак, вышитую крестиками белую рубашку, зашел за Шашей — и побрели мы со стесненными сердцами на это дружеское свидание, которого мы так жаждали и которого так инстинктивно, панически боялись.

Пришли, конечно, первыми. Долго сидели с опущенными головами, руки в карманах. Даже в голову не пришло обидеться, что великолепный друг наш заставляет ждать так долго.

Ах! Он был действительно великолепен... На нас надвигалось что-то сверкающее, пестрое, до крика элегантное, брящающее многочисленными брелоками и скрипящее лаком желтых ботинок с перламутровыми пуговицами.

Пришелец из неведомого мира графов, золотой молодежи, карет и дворцов, он был одет в коричневый жакет, белый жилет, какие-то сиреневые брючки, а голова увенчивалась сверкающим на солнце цилиндром, который если и был мал, то размеры его уравновешивались огромным галстуком с таким же огромным бриллиантом. Палка с лошадиной головой обременяла правую аристократическую руку. Левая рука была обтянута перчаткой цвета освежеванного быка. Другая перчатка высовывалась из внешнего кармана жакета так, будто грозила нам своим вялым указательным пальцем: «Вот я вас!.. Отнеситесь только без должного уважения к моему носителю».

Когда Мотя приблизился к нам развинченной походкой пресыщенного денди, добродушный Шаша вскочил и, не могши сдержать порыва, простер руки сиятельному другу:

— Мотька! Вот, брат, здорово!..

— Здравствуйте, здравствуйте, господа,— солидно кивнул головой Мотька и, пожав наши руки, опустился на скамейку...

Мы оба стояли.

— Очень рад видеть вас... Родители здоровы? Ну, слава Богу, приятно, я очень рад.

— Послушай, Мотька...— начал я с робким восторгом в глазах.

— Прежде всего, дорогие друзья,— внушительно и веско сказал Мотька.— Мы уже взрослые, и поэтому «Мотьку» я считаю определенным «кельвыражансом»... хе-хе... Не правда ли? Я уже теперь Матвей Семеныч — так меня и на службе зовут, а сам бухгалтер за ручку здоровается. Оборот предприятия два миллиона. Вообще, мне бы хотелось пересмотреть в корне наши отношения.

— Пожалуйста, пожалуйста,— пробормотал Шаша. Стоял он согнувшись, будто свалившимся невидимым бревном ему переломило спину.

Перед тем как положить голову на плаху, я малодушно попытался отодвинуть этот момент.

— Теперь опять стали носить цилиндры? — спросил я с видом человека, которого научные занятия изредка отвлекают от капризов изменчивой моды.

— Да, носят,— снисходительно ответил Матвей Семеныч.— Двенадцать рублей.

— Славные брелочки. Подарки?

— Это еще не все. Часть дома. Все на кольце не помещаются. Часы на камнях, анкер, завод без ключа. Вообще, в большом городе жизнь — хлопотливая вещь. Воротнички «Монополь» только на три дня хватают, маникюр, пикники разные.

Я чувствовал, что Матвей Семенович тоже тянет, что ему тоже не по себе... Но, наконец, он решился. Тряхнул головой так, что цилиндр вспрыгнул на макушку,— и начал:

— Вот что, господа... Мы с вами уже не маленькие и вообще... детство это одно, а когда молодые люди, так совсем другое. Другой, например, добился до какого-нибудь там лучшего общества, до интеллигенции, а другие есть из низших классов, и если бы вы, скажем, увидели в одной карете графа Кочубей рядом с нашей Миронихой, которая, помните, на углу маковники продавала, так вы бы первые смеялись до безумия. Я, конечно, не Кочубей, но у меня есть известное положение, ну, конечно, и у вас есть известное положение, но не такое, а что мы были маленькими вместе, так это мало ли что... Вы сами понимаете, что мы уже друг другу не пара... и... тут, конечно, обижаться нечего — один достиг, другой не достиг, но, впрочем, если хотите, мы будем изредка встречаться около желез-

нодорожной будки, когда я буду делать прогулку,— все равно там публики нет, и мы будем как свои. Но, конечно, без особой фамильярности — я этого не люблю. Я, конечно, вхожу в ваше положение — вы меня любите, вам даже, может быть, обидно, и поверьте... я со своей стороны... если могу быть чем-нибудь полезен...

В этом месте Матвей Семенович взглянул на свои часы нового золота и заторопился:

— О-ля-ля! Как я заболтался... Семья помещика Гузикова ждет меня на пикник, и если я запоздаю, это будет нонсенс. Желаю здравствовать! Желаю здравствовать! Привет родителям!..

И он ушел, сверкающий и даже немного гнущийся под бременем респектабельности, усталый от повседневного вихря светской жизни.

* * *

В этот день мы с Шашей, заброшенные, будничные, лежа на молодой травке железнодорожной насыпи, в первый раз пили водку и в последний раз плакали.

Водку мы пьем и теперь, но уже больше не плачем.

Это были последние слезы детства. Теперь — засуха.

И чего мы плакали? Что хоронили? Мотька был напыщенный дурак, жалкий третьестепенный писец в конторе, одетый, как попугай, в жакет с чужого плеча; в крохотном цилиндре на макушке, в сиреневых брюках, обвешанный медными брелоками,— он теперь кажется мне смехотворным и ничтожным, как червяк без сердца и мозга,— почему же мы так убивались, потеряв Мотьку?..

А ведь — вспомнишь — как мы были одинаковы, как три желудя на дубовой ветке, когда сидели на одной скамейке у Марьи Антоновны.

Увы! Желуди одинаковые, но когда вырастут из них молодые дубки — из одного дубка сделают кафедру для ученого, другой идет на рамку для портрета любимой девушки, а из третьего дубка смастерят такую виселицу, что любо-дорого...

ПРИМЕЧАНИЯ

Огромное творческое наследие Аркадия Аверченко пока еще не собрано и в полной мере не исследовано. При жизни писателя было выпущено несколько десятков сборников рассказов и пьес как на родине, так и за рубежом. Единственное собрание сочинений вышло в 1925 г. на чешском языке в Праге, где жил Аверченко последние годы.

В советское время выпущены в свет книги: «Записки Простодушного» (1922), «Миниатюры» (1926), «Случай с Патлецовыми» (1926), «Юмор былых дней» (1927), «Развороченный муравейник» (1927), «Веселые устрицы» (1928), «Рассказы о старой школе» (1930).

Затем в течение 30 лет книги Аверченко не издавались.

Интерес к его творчеству в нашей стране пробуждается с начала 60-х годов, и к настоящему времени издано несколько сборников Аркадия Аверченко: Оккультные науки. М., 1964; Юмористические рассказы. М., 1964; Избранные рассказы. М., 1985; Кривые Углы. М., 1989; Одиннадцать слонов. М., 1989; Осколки разбитого вдребезги. М., 1989; Хвост женщины. М., 1990; к наиболее значительным журнальным публикациям следует отнести почти полный текст книги «Дюжина ножей в спину революции» (журнал «Юность», 1989, № 8).

Среди работ, посвященных творчеству Аркадия Тимофеевича Аверченко, следует отметить вступительные статьи О. Н. Михайлова к сборникам А. Аверченко «Юмористические рассказы» (М., 1964) и «Избранные рассказы» (М., 1985), а также раздел в книге Л. А. Спиридоновой (Евстигнеевой) «Русская сатирическая литература начала XX века» (М., 1977).

В настоящем сборнике представлены произведения разных лет, расположенные в основном в хронологическом порядке. В отдельный цикл выделены рассказы о детях.

Тексты даются по последним прижизненным изданиям. При отсутствии достоверных данных о первых публикациях, такое указание опускается и остается лишь ссылка на печатный источник, по которому воспроизводится оригинал.

Произведения печатаются в соответствии с современной орфографией и пунктуацией, лишь в отдельных случаях сохранены особенности авторского написания.

С. 26. АВТОБИОГРАФИЯ. Впервые — Аверченко А. Веселые устрицы. Спб., 1910.

Печатается по: Аверченко А. Веселые устрицы. 24-е изд. Пг., 1916.

«Автобиография», которой открывался сборник «Веселые устрицы», наряду с достоверными сведениями о жизни писателя содержит и вымышленные факты, предназначенные для усиления комического эффекта. Произведение стилизовано под Марка Твена и О'Генри.

В рецензии на первые книги Аверченко критик Вяч. Полонский отмечал, что писателю «суждено стать русским Твеном, если... климат этому не помешает. Юмор г. Аверченко имеет много общего с юмором веселого американца: он так же беззлобен и заразителен» (Полонский В. Смех и горечь / Всеобщий ежемесячник, 1910, № 7. С. 98).

Кордегардия — караульня, помещение для солдат, находящихся в карауле.

Фальер Клеман Арман (1841—1931) — французский политический деятель, президент Франции в 1906—1913 гг.

С. 34. В РЕСТОРАНЕ. Впервые — Стрекоза, 1908, № 17.

Печатается по: Аверченко А. Рассказы (юмористические). Кн. 3. Изд. 10. Пг., 1916.

Престидижидатор — фокусник, развивший необыкновенную ловкость и быстроту пальцев рук.

С. 36. СПЛЕТНЯ. Впервые — Стрекоза, 1908, № 22.

Печатается по: Аверченко А. Рассказы (юмористические). Кн. 3. Изд. 10. Пг., 1916.

...за границей в какой-то там Ривьере... —Ривьера — побережье Генуэзского залива от Ниццы до Специи, где расположено множество курортов (Ницца, Канн, Сан-Ремо, Ментона и др.).

Винт — карточная игра.

С. 40. ПРОПАВШАЯ КАЛОША ДОББЛЬСА. Впервые — Сатирикон, 1908, № 9.

Печатается по журнальной публикации.

Нострадамус Михаил (1503—1566) — астролог, придворный лейб-медик французского короля Карла IX. Пророчества Нострадамуса, написанные рифмованными четверостишиями, пользуются популярностью до сих пор.

Васко да Гама (1469—1524) — португальский мореплаватель, впервые проложивший путь из Европы в Южную Азию.

Юлий Генрих Циммерман — владелец известного нотного книгоиздательства в России; никаких симфоний, разумеется, не писал.

С. 43. ДРУГ. Впервые — Сатирикон, 1908, № 17.

Печатается по: Аверченко А. Рассказы (юмористические). Кн. 3. Изд. 10. Пг., 1916.

С. 47. ПОЕЗДКА В ТЕАТР. Впервые — Сатирикон, 1909, № 2.
Печатается по: Аверченко А. Рассказы (юмористические). Кн. 3. Изд. 10. Пг., 1916.

С. 51. ПРОВОКАТОР. Впервые — Сатирикон, 1909, № 5.
Печатается по журнальной публикации.

С. 54. ПОЭТ. Впервые — Сатирикон, 1909, № 9.
Печатается по: Аверченко А. Рассказы (юмористические). Кн. 1. Изд. 11. Пг., 1916.

С. 57. ДЕНЬ ГОСПОЖИ СПАНДИКОВОЙ. Впервые — Сатирикон, 1909, № 18.
Печатается по: Аверченко А. Рассказы (юмористические). Кн. 1. Изд. 11. Пг., 1916.

С. 61. СТРАШНЫЙ ЧЕЛОВЕК. Впервые — Сатирикон, 1909, №№ 45, 46 (Окончание в № 46 под заглавием «Конец Химикова»).
Печатается по: Аверченко А. Рассказы (юмористические). Кн. 1. Изд. 11. Пг., 1916.

С. 72. ЛЮДИ ЧЕТЫРЕХ ИЗМЕРЕНИЙ. Впервые — Сатирикон, 1908, № 24.
Печатается по: Аверченко А. Рассказы (юмористические). Кн. 3. Изд. 10. Пг., 1916.

С. 75. ИСТОРИЯ ОДНОЙ КАРТИНЫ. Впервые — Аверченко А. Юмористические рассказы. Спб., 1910.
Печатается по: Аверченко А. Рассказы (юмористические). Кн. 3. Изд. 10. Пг., 1916.

С. 78. МАГНИТ. Впервые — Сатирикон, 1910, № 2.
Печатается по: Аверченко А. Рассказы (юмористические). Кн. 2. Изд. 10. Пг., 1916.

С. 82. КРИВЫЕ УГЛЫ. Впервые — Сатирикон, 1910, № 5.
Печатается по: Аверченко А. О маленьких — для больших. Пг., 1916.

С. 88. ЖВАЧКА. Впервые — Сатирикон, 1910, № 6.

Печатается по: Фома Опискин. Сорные травы. Спб., 1914.

Фома Опискин — персонаж повести Ф. М. Достоевского «Село Степанчиково и его обитатели»; Аверченко избрал это имя в качестве одного из многочисленных своих псевдонимов.

С. 90. ОТЕЦ. Впервые — Сатирикон, 1910, № 12.

Печатается по: Аверченко А. Рассказы (юмористические). Кн. 2. Изд. 10. Пг., 1916.

Рассказ не является полностью автобиографическим, поскольку в образе отца рассказчика изображен не отец Аверченко, а отец другого сатириконца — художника Алексея Александровича Радакова (1879—1942) (см. ЦГАЛИ, ф. 2041, оп. 1, ед. хр. 116); при этом многие события и обстоятельства собственного детства органично вплетены писателем в сюжет произведения.

С. 96. ЛАКМУСОВАЯ БУМАЖКА. Впервые — Сатирикон, 1910, № 29.

Печатается по: Аверченко А. Круги по воде. Пг., 1918.

С. 101. РУССКАЯ ИСТОРИЯ. Впервые — Аверченко А. Веселые устрицы. Спб., 1910.

Печатается по: Аверченко А. Веселые устрицы. Изд. 24. Пг., 1916.

...по соглашению с эмеритурным отделом... — Эмеритура — капитал, составляемый из взносов служащих, из которого производятся доплаты к пенсиям ушедшим в отставку либо их вдовам и сиротам.

С. 106. АПОЛЛОН. Впервые — Аверченко А. Веселые устрицы. Спб., 1910.

Печатается по: Аверченко А. Веселые устрицы. Изд. 24. Пг., 1916.

«Аполлон» — художественно-литературный журнал; издавался в 1909—1917 гг.; последний номер вышел с опозданием уже в 1918 г. Редактором-издателем журнала был художник, поэт и критик С. К. Маковский (1878—1962). Журнал поддерживал в живописи модернизм и другие близкие ему по духу течения, в поэзии — акмеизм и символизм.

Анненский Иннокентий Федорович (1856—1909) — поэт, критик, переводчик античной литературы, педагог; был близок к символизму; автор двух сборников лирических стихотворений и двух сборников критических статей «Книги отражения».

Статья «О современном лиризме», помещенная в первом номере «Аполлона», вышедшем в октябре 1909 г., посвящена

поэзии русских символистов. Ирония Аверченко объясняется его неприятием всех модернистских течений как в поэзии, так и в живописи.

Тирсы — древнегреческое название прямого жезла, обвитого плющом или виноградником; принадлежность Вакха (Диониса) и его спутников; символ буйной поэзии.

Мэнада (фр.) — вакханка.

«В ожидании гимна Аполлону» — статья в этом же журнале Александра Николаевича Бенуа (1870—1960), художника, критика, историка искусства, одного из идеологов художественного объединения «Мир искусства» (1898—1924).

«О театре» — статья в этом же журнале Всеволода Эмильевича Мейерхольда (1874—1940), актера и режиссера, реформатора театра.

А поэта Бунина в академики выбрали... — писатель и поэт Иван Алексеевич Бунин (1870—1953) в 1909 году был избран почетным академиком по разряду изящной словесности.

С. 110. ПОДМОСТКИ. Впервые — Аверченко А. Веселые устрицы. Спб., 1910.

Печатается по: Аверченко А. Веселые устрицы. Изд. 24. Пг., 1916.

С. 114. НЕИЗЛЕЧИМЫЕ. Впервые — Аверченко А. Веселые устрицы. Спб., 1910.

Печатается по: Аверченко А. Веселые устрицы. Изд. 24. Пг., 1916.

С. 116. ЗОЛОТОЙ ВЕК. Впервые — Аверченко А. Веселые устрицы. Спб., 1910.

Печатается по: Аверченко А. Веселые устрицы. Изд. 24. Пг., 1916.

С. 120. МОЗАИКА. Впервые — Аверченко А. Веселые устрицы. Спб., 1910.

Печатается по: Аверченко А. Веселые устрицы. Изд. 24. Пг., 1916.

С. 127. ЧЕТВЕРО. Впервые — Аверченко А. Веселые устрицы. Спб., 1910.

Печатается по: Аверченко А. Веселые устрицы. Изд. 24. Пг., 1916.

С. 134. ЛОЖЬ. Впервые — Аверченко А. Веселые устрицы. Спб., 1910.

Печатается по: А в е р ч е н к о А. Веселые устрицы. Изд. 24. Пг., 1916.

С. 139. ВИЗИТЕР. Впервые — А в е р ч е н к о А. Веселые устрицы. Спб., 1910.

Печатается по: А в е р ч е н к о А. Веселые устрицы. Изд. 24. Пг., 1916.

С. 146. ГОРДИЕВ УЗЕЛ. Впервые — Сатирикон, 1910, № 34.

Печатается по: Ф о м а О п и с к и н. Сорные травы. Спб., 1914.

Гордиев узел — узел, которым согласно древней легенде было привязано ярмо к дышлу колесницы Гордия в храме Зевса в городе Гордиуме (Галатия). Оракул предсказал, что тот, кто распутает этот узел, будет владеть Малой Азией. Александр Македонский решил задачу просто: разрубил узел мечом.

С. 149. ПРИЗВАНИЕ. Впервые — Сатирикон, 1910, № 37.

Печатается по: А в е р ч е н к о А. Круги по воде. Пг., 1918.

С. 154. ЗОЛОТЫЕ ЧАСЫ. Впервые — Сатирикон, 1910, № 36.

Печатается по: Ф о м а О п и с к и н. Сорные травы. Спб., 1914.

С. 158. ВИКТОР ПОЛИКАРПОВИЧ. Впервые — Сатирикон, 1910, № 30; подпись: *Фальстаф.*

Печатается по: Ф о м а О п и с к и н. Сорные травы. Спб., 1914.

С. 161. МУЖЧИНЫ. Впервые — Сатирикон, 1910, № 47.

Печатается по: А в е р ч е н к о А. Рассказы (юмористические). Кн. 2. Изд 10. Пг., 1916.

С. 166. ЧАД. Впервые — Сатирикон, 1911, № 1.

Печатается по: А в е р ч е н к о А. Круги по воде, Пг., 1918.

С. 172. САЗОНОВ. Впервые — А в е р ч е н к о А. Круги по воде. Спб., 1912.

Печатается по: А в е р ч е н к о А. Круги по воде. Пг., 1918.

С. 178. КУРИЛЬЩИКИ ОПИУМА. Впервые — Сатирикон, 1911, № 10.

Печатается по: Аверченко А. Круги по воде. Пг., 1918.

С. 183. МЕДИЦИНА. Впервые — Сатирикон, 1911, № 14.

Печатается по: Аверченко А. Рассказы для выздоравливающих. Пг., 1917.

Вагнер Рихард (1813—1883) — немецкий композитор, реформатор оперы. В начале XX века многие его оперы были поставлены в России.

С. 188. Я В СВЕТЕ. Впервые — Сатирикон, 1911, № 21.

Печатается по: Аверченко А. Рассказы для выздоравливающих. Пг., 1917.

С. 194. КУПАЛЬЩИК. Впервые — Сатирикон, 1911, № 27; помета: Штейнах (Тироль).

Печатается по: Аверченко А. Рассказы для выздоравливающих. Пг., 1917.

С. 196. ПО ВЛЕЧЕНИЮ СЕРДЦА. Впервые — Сатирикон, 1911, № 32.

Печатается по: Аверченко А. Рассказы для выздоравливающих. Пг., 1917.

С. 201. МОЙ СОСЕД ПО КРОВАТИ. Впервые — «Дешевая юмористическая библиотека Сатирикона», Вып. 32., Спб., 1911.

Печатается по: «Дешевая юмористическая библиотека Нового Сатирикона». Вып. 6/32., Пг., 1914.

С. 205. НА «ФРАНЦУЗСКОЙ ВЫСТАВКЕ ЗА СТО ЛЕТ». Впервые — Сатирикон, 1912, № 8; подпись: *Фома Опискин.*

Печатается по: Фома Опискин. Сорные травы. Спб., 1914.

В конце 1911 — начале 1912 г. в Петербурге и Москве с успехом демонстрировалась выставка французской живописи.

Далила — персонаж Библии, филистимлянка, возлюбленная древнееврейского богатыря Самсона, выдавшая его врагам. Миф о Самсоне и Далиле воплощался многими художниками и скульпторами прошлого.

Семирамида — царица Ассирии в конце IX в. до н.э. С ее именем связаны висячие сады в Вавилоне — одно из «семи чудес света».

Кассо Л. А. (1864—1914) — министр народного просвещения России в 1910—1914 гг., крайний реакционер. Вступление на пост ознаменовал изданием циркуляров, в которых предпи-

сывалось запретить преподавание ряда дисциплин, изъять из курсов и библиотек таких авторов, как Геродот, Цицерон, Тит Ливий, Овидий Назон и др., усилить внешний надзор за учащимися. В знак протеста против реакционных мероприятий Кассо из Московского университета ушло 130 преподавателей, в том числе К. А. Тимирязев, П. Н. Лебедев, Н. Д. Зелинский, В. И. Вернадский.

Юлия Пастрана — бородатая женщина, вся покрытая волосами, была якобы найдена в горах Мексики в обезьяньем стаде. В 1850-е гг. ее показывали во многих городах Европы. В 1858 г. умерла в Москве от родов.

С. 207. СЕРДЦЕ ПОД СКАЛЬПЕЛЕМ. Впервые — Сатирикон, 1912, №№ 14, 15.

Печатается по: Аверченко А. Рассказы для выздоравливающих. Пг., 1917.

Ананке (греч.) — судьба, рок, правящий миром.

С. 216. КЛУСАЧЕВ И ТУРКИН (Верх автомобиля). Впервые — Сатирикон, 1912, № 30.

Печатается по: Аверченко А. Черным по белому. Пг., 1917.

С. 222. АЛЛО! Впервые — Сатирикон, 1912, № 44.

Печатается по: Аверченко А. Черным по белому. Пг., 1917.

С. 228. ОДИННАДЦАТЬ СЛОНОВ. Впервые — Новый Сатирикон, 1913, № 1.

Печатается по: Аверченко А. О хороших, в сущности, людях. Пг., 1914.

С. 233. БЕЛЬМЕСОВ. Впервые — Новый Сатирикон, 1913, № 6.

Печатается по: Аверченко А. Черным по белому. Пг., 1917.

С. 239. СТИХИЙНАЯ НАТУРА. Впервые — Сатирикон, 1913, № 8.

Печатается по: Аверченко А. Черным по белому. Пг., 1917.

С. 246. ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ СОВЕТЫ. Впервые — Синий журнал, 1913, № 8.

Печатается по этой публикации.

С. 254. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ РАССКАЗ. Впервые — Новый Сатирикон, 1913, № 13.

Печатается по: Аверченко А. О хороших, в сущности, людях. Изд. 6. Пг., 1915.

С. 259. ЧЕЛОВЕК, КОТОРОМУ ПОВЕЗЛО. Впервые — Аверченко А. Черным по белому. Спб., 1913.

Печатается по: Аверченко А. Черным по белому. Пг., 1917.

С. 269. ЮМОР ДЛЯ ДУРАКОВ. Впервые — Новый Сатирикон, 1913, № 18.

Печатается по: Аверченко А. О хороших, в сущности, людях. Изд. 6. Пг., 1915.

С. 273. СЛАБАЯ СТРУНА. Впервые — Аверченко А. О хороших, в сущности, людях. Спб., 1914.

Печатается по: Аверченко А. О хороших, в сущности, людях. Изд. 6. Пг., 1915.

С. 278. АМЕРИКАНЕЦ. Впервые — Новый Сатирикон, 1914, № 27.

Печатается по: Аверченко А. Чудеса в решете. Пг., 1918.

С. 282. ТЕЛЕГРАФИСТ НАДЬКИН. Впервые — Аверченко А. О хороших, в сущности, людях. Спб., 1914.

Печатается по: Аверченко А. О хороших, в сущности, людях. Изд. 6. Пг., 1915.

Рассказ высмеивает апологетов популярной в те годы философии эмпириокритицизма и сторонников эгоцентрической морали, проповедовавшейся в годы реакции многими литераторами и философами.

В примечании к стихотворению В. Воинова «Одинокая душа» («Новый Сатирикон», 1913, № 10) говорится: «Телеграфист Надькин действительно существует. В прежнее время он часто присылал свои произведения, пытаясь проникнуть в печать — то под псевдонимом «Крестьянин», то «Юный Шиллер». Неоднократно был изловлен, изобличен и пристыжен».

С. 287. НОВОГОДНИЙ ТОСТ.

Печатается по: Аверченко А. О хороших, в сущности, людях. Изд. 6. Пг., 1915.

С. 290. РОКОВОЙ ВОЗДУХОДУЕВ. Впервые — Новый Сатирикон, 1915, № 6.

Печатается по: Аверченко А. Синее с золотом. Пг., 1917.

С. 294. СЕМЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА. Впервые — Новый Сатирикон, 1915, № 14.

Печатается по: Аверченко А. Чудеса в решете. Пг., 1918.

С. 298. ПЫЛЕСОС. Впервые — Новый Сатирикон, 1915, № 17.

Печатается по: Аверченко А. Синее с золотом. Пг., 1917.

С. 302. БРИТВА В КИСЕЛЕ. Впервые — Новый Сатирикон, 1915, № 51.

Печатается по: Аверченко А. Синее с золотом. Пг., 1917.

С. 310. СПЕЦИАЛИСТ ПО ВОЕННОМУ ДЕЛУ. Впервые — Аверченко А. Волчьи ямы. Пг., 1915.

Печатается по этому изданию.

С. 314. УТОЧКИН. Впервые — Аверченко А. Позолоченные пилюли. Пг., 1916.

Печатается по: Аверченко А. Отдых на крапиве. Варшава, 1924.

Уточкин Сергей Исаевич (1876—1915/16) — один из первых русских летчиков. В 1910—1911 гг. совершал публичные полеты во многих городах России и за рубежом. Ряд писателей, с которыми он дружил, посвятили ему свои произведения и воспоминания (в их числе А. И. Куприн и А. Т. Аверченко).

С. 320. ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ.

Печатается по: Аверченко А. Позолоченные пилюли. Пг., 1916.

С. 324. ОБЫКНОВЕННАЯ ЖЕНЩИНА.

Печатается по: Аверченко А. Синее с золотом. Пг., 1917.

С. 329. ХВОСТ ЖЕНЩИНЫ.

Печатается по: Аверченко А. Синее с золотом. Пг., 1917.

«И нет красавицы, Марии равной» — неточная цитата из поэмы А. С. Пушкина «Полтава» (Песнь первая).

С. 334. ДРАМА В СЕМЬЕ БЫРДИНЫХ. Впервые — Аверченко А. Чудеса в решете. Пг., 1917.

Печатается по: Аверченко А. Отдых на крапиве. Варшава, 1924.

С. 340. ИСТОРИЧЕСКИЕ НРАВОУЧИТЕЛЬНЫЕ РАССКАЗЫ. Впервые — Аверченко А. Оккультные науки. Пг., 1917.

Печатается по: Аверченко А. Рассказы циника. Прага. 1925.

Этот цикл пародий написан Аверченко на основе мифологических и исторических сюжетов.

Дидона — первоначально одно из финикийских божеств; впоследствии греки сделали ее смертной женщиной, сестрой тирского царя Пигмалиона. Миф о Дидоне привлекал многих художников, поэтов, писателей, композиторов.

Кир II Великий (?—530 до н. э.) — сын Манданы, дочери Мидийского царя Астиага, в 558 до н. э. стал первым царем государства Ахменидов, завоевал Вавилон, Мидию, Лидию, значительную часть Средней Азии, греческие города в Малой Азии, так что под его власть подпали все страны от Индии до Эгейского моря.

Крез (595—546 до н. э.) — последний царь Лидии (с 560 до н. э.); его царство после победы над ним Кира было присоединено к Персии.

Солон (ок. 635—ок. 559 до н. э.) — афинский архонт с 594; античные предания причисляли его к 7 греческим мудрецам.

Поликрат (?—523 или 522 до н. э.) — тиран(правитель) на острове Самос, легенда о Поликратовом перстне послужила основой ряда поэтических произведений.

Ксеркс (?—465 до н. э.) — царь государства Ахменидов с 486 до н. э.

Диоген Синопский (ум. ок. 330—320 до н. э.) — древнегреческий философ-моралист, проповедовал аскетизм, близость к природе, жил в бочке.

Демосфен (ок. 384—322 до н. э.) — афинский оратор, призывал греков к борьбе против захватнической политики македонского царя Филиппа II.

Муций Сцевола Кай — мифический римский герой; схваченный во время осады Рима (507 до н. э.) войском этрусского царя Порсенны, он сжег на костре руку, чтобы продемонстрировать презрение к смерти.

Помпей Великий Гней (106—48 до н. э.) — римский полководец. Входил с 60 до н. э. с Крассом и Юлием Цезарем в 1-й триумвират; после распада триумвирата в 53 до н. э. воевал против Цезаря и в 48 до н. э. проиграл решающую битву.

С. 347. ЛЮДИ-БРАТЬЯ.

Печатается по: Аверченко А. Смешное в страшном. Берлин, 1923.

Донон — владелец ресторана в Петербурге.

С. 349. ДЕЛОВАЯ ЖИЗНЬ.

Печатается по: Аверченко А. Записки Простодушного. Я в Европе. Берлин, 1923.

Под именем Простодушного выведен рассказчик (Аверченко) в сборнике «Записки Простодушного», посвященном жизни эмигрантов в Константинополе.

Пера — улица в Константинополе.

С. 351. РУССКОЕ ИСКУССТВО.

Печатается по: Аверченко А. Записки Простодушного. Я в Европе. Берлин, 1923.

Токатлиан — площадь в Константинополе.

С. 355. ОККУЛЬТНЫЕ ТАЙНЫ ВОСТОКА.

Печатается по: Аверченко А. Записки Простодушного. Я в Европе. Берлин, 1923.

С. 359. О ГРОБАХ, ТАРАКАНАХ И ПУСТЫХ ВНУТРИ БАБАХ.

Печатается по: Аверченко А. Записки Простодушного. Я в Европе. Берлин, 1923.

С. 361. АРГОНАВТЫ И ЗОЛОТОЕ РУНО.

Печатается по: Аверченко А. Записки Простодушного. Я в Европе. Берлин, 1923.

Аргонавты — согласно греческой мифологии герои, отправившиеся на корабле «Арго» под предводительством Ясона в Колхиду за золотым руном.

Пти-Шан — улица в Константинополе.

С. 369. МОЙ ПЕРВЫЙ ДЕБЮТ.

Печатается по: Аверченко А. Отдых на крапиве. Варшава, 1924.

С. 376. НАХОДЧИВОСТЬ НА СЦЕНЕ.

Печатается по: Аверченко А. Отдых на крапиве. Варшава, 1924.

Гаррик Дейвид (1717—1779) — английский актер; прославился в пьесах Шекспира (25 ролей, в том числе роль Гамлета).

Варламов Константин Александрович (1849—1915) — русский актер, на сцене с 1867 г. Играл в пьесах Гоголя, Островского, сочетал психологическую глубину с яркой буффонадой, остротой.

Давыдов Владимир Николаевич (настоящее имя — Иван Николаевич Горелов) (1849—1925) — русский актер, крупнейший представитель русской реалистической школы.

С. 379. ФОКСТРОТ.

Печатается по: Аверченко А. Рассказы циника. Прага, 1925.

— *Вы любите ли сыр?..* — цитата из Козьмы Пруткова.

Ливингстон Давид (1813—1873) — английский путешественник, исследователь Африки.

Оскар Уайльд (1854—1900) — английский прозаик, поэт, драматург, критик; автор лирических сказок и замечательных комедий.

Микроцефал (греч.) — человек с маленькой головой и мозгом.

С. 382. БЕЛАЯ ВОРОНА.

Печатается по: Аверченко А. Рассказы циника. Прага, 1925.

Сталактиты — натечные минеральные образования, свешивающиеся в виде сосулек в пещерах.

Сталагмиты — натечные минеральные образования, поднимающиеся кверху со дна пещер в виде сосулек, столбов и т. п.

О МАЛЕНЬКИХ — ДЛЯ БОЛЬШИХ

В настоящий раздел включены рассказы, большинство которых вошло в сборник под таким же названием, выпущенный в 1916 году.

С. 387. ВЕЧЕРОМ. Впервые — Сатирикон, 1909, № 7.

Печатается по: Аверченко А. О маленьких — для больших. Пг., 1916.

С. 390. ДЕТИ. Впервые «Дешевая юмористическая библиотека «Сатирикона», Вып. I. Спб., 1911.

Печатается по: Аверченко А. О маленьких — для больших. Пг., 1916.

С. 397. ИНДЕЙСКАЯ ХИТРОСТЬ. Впервые — Галчонок, 1911, № 4.

Печатается по: Аверченко А. Шалуны и ротозеи. Пг., 1915.

Гверильясы — испанские ополченцы 1812 г., восставшие против Наполеона и освободившие страну от французских войск.

Льяносы — безлесные равнины в Южной Америке между рекой Ориноко и Амазонкой.

Скваттеры — колонисты, самовольно поселившиеся на свободных участках земли в США.

С. 401. РАССКАЗ ДЛЯ «ЛЯГУШОНКА». Впервые — Сатирикон, 1911, № 40.

Печатается по: Аверченко А. О маленьких — для больших. Пг., 1916.

С. 405. О ДЕТЯХ. (Материалы для психологии). Впервые — Сатирикон, 1912, № 50.

Печатается по: Аверченко А. О маленьких — для больших. Пг., 1916.

С. 407. СМЕРТЬ АФРИКАНСКОГО ОХОТНИКА.

Печатается по: Аверченко А. О хороших, в сущности, людях. Изд. 6. Пг., 1915.

С. 414. СТРАШНЫЙ МАЛЬЧИК. Впервые — Новый Сатирикон, 1914, № 51.

Печатается по: Аверченко А. Чудеса в решете. Пг., 1918.

С. 421. БЛИНЫ ДОДИ. Впервые — Новый Сатирикон, 1915, № 5.

Печатается по: Аверченко А. Чудеса в решете. Пг., 1918.

С. 426. ГАЛОЧКА. Впервые — Новый Сатирикон, 1915, № 15.

Печатается по: Аверченко А. О маленьких — для больших. Пг., 1916.

С. 430. НЯНЬКА. Печатается по: Аверченко А. О маленьких — для больших. Пг., 1916.

С. 438. В ОЖИДАНИИ УЖИНА. Впервые — Новый Сатирикон, 1916, № 18.

Печатается по: Аверченко А. Синее с золотом. Пг., 1917.

С. 441. ЦВЕТЫ ПОД ГРАДОМ. Впервые — Новый Сатирикон, 1916, № 19.

Печатается по: Аверченко А. Синее с золотом. Пг., 1917.

С. 445. БЕРЕГОВ — ВОСПИТАТЕЛЬ КИСИ.

Печатается по: Аверченко А. Синее с золотом. Пг., 1917.

С. 453. ТРИ ЖЕЛУДЯ. Впервые — Новый Сатирикон, 1918, № 9; под заглавием «Молодняк».

Печатается по: Аверченко А. Дети. Константинополь, 1922.

Ст. Никоненко

СОДЕРЖАНИЕ

О МАЛЕНЬКИХ – ДЛЯ БОЛЬШИХ

Аверченко А. Т.

А 19 Бритва в киселе. Избранные произведения / Сост., вступ. ст. и прим. С. С. Никоненко; Ил. Е. О. Ведерникова.— М.: Правда, 1990.—480 с., ил.

ISBN 5—253—00162—X

В книгу избранных произведений известного русского писателя, «короля смеха», как его называли в первой четверти двадцатого века, Аркадия Тимофеевича Аверченко (1881—1925) вошли лучшие рассказы из сборников «Веселые устрицы», «Круги по воде», «Шалуны и ротозеи», «Позолоченные пилюли», «Отдых на крапиве», «Рассказы циника» и др. Сборник представляет собой самое полное издание произведений писателя в советское время.

А $\frac{4702010000-2118}{080(02)-90}$ 2118—90 **84 Р**

Литературно-художественное издание

АВЕРЧЕНКО Аркадий Тимофеевич

БРИТВА В КИСЕЛЕ
Избранные произведения

Составитель
Никоненко Станислав Степанович

Редактор *Г. Н. Захарова*

Оформление художника *Ю. К. Бажанова*

Художественный редактор *И. С. Захаров*

Технический редактор *Е. Н. Щукина*

ИБ 2118

Сдано в набор 04.07.89. Подписано к печати 27.02.90.
Формат 84×108 1/32. Бумага типографская № 2.
Гарнитура «Эдисон». Печать высокая.
Усл. печ. л. 25,20. Усл. кр.-отт. 25,62. Уч.-изд. л. 27,95.
Тираж 500 000 экз. (1-й завод: 1 — 150 000).
Заказ № 139. Цена 2 р. 40 к.

Набрано и сматрицировано в ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типографии имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда».
125865, ГСП, Москва, А-137, улица «Правды», 24.

Отпечатано в типографии издательства «Волгоградская правда» Волгоградского обкома КПСС. 400066, Волгоград, Привокзальная площадь, Дом печати.

2 р. 40 к.

